Михаил ТУХАЧЕВСКИЙ

★

Леонтий Раковский

★

Константин ЗАСЛОНОВ



Леонтий Раковский

Михаил ТУХАЧЕВСКИЙ

★

Константин ЗАСЛОНОВ

ПОВЕСТИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1977

Р 2
Р 19

Книга старейшего ленинградского прозаика Леонтия Раковского содержит две повести. Первая посвящена герою гражданской войны маршалу М. Тухачевскому, вторая рассказывает о белорусских партизанах времен Великой Отечественной войны и о их прославленном командире Константине Заслонове.

Р $\frac{70302-045}{083(02)-77}$ 107-77

Михаил
ТУХАЧЕВСКИЙ

★

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКИЙ

I

Подпоручик Михаил Николаевич Тухачевский догонял свой полк. Тухачевский только что окончил Александровское военное училище в Москве, как нежданно-негаданно грянула война.

В субботу 12 июля 1914 года состоялось производство в подпоручики. Михаил Николаевич Тухачевский был выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк, а через неделю, 19 июля, в семь часов десять минут вечера кайзеровская Германия объявила России войну.

И молодому офицеру не удалось даже воспользоваться положенным отпуском и побыть дома.

Тухачевский выехал из Москвы в Петербург. Но в Петербурге он уже не застал полка: вся гвардия отбыла на фронт, в Восточную Пруссию. Тухачевскому пришлось ехать вслед за ней через Псков — Двинск — Вильну.

На Варшавском вокзале в Петербурге Михаил Николаевич познакомился с щеголеватым рыжим подпоручиком-преображенцем из Киева. Преображенец так же, как и Тухачевский, только что окончил военное училище, был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк и теперь разыскивал его.

Молодые офицеры отправились вместе догонять свой гвардейский корпус.

В солнечный июльский день они подъезжали к затерявшейся среди живописных холмов уютной Вильне.

Как все крупные узловые пункты, станция Вильна бурлила, словно котел. Железнодорожные пути были забиты бесконечными воинскими эшелонами, следовавшими на запад. На красных товарных вагонах красовалась надпись, издавна приготовленная на случай войны: «40 человек = 8 лошадей».

Теперь эта, еще десять дней тому назад ненужная, малопонятная надпись пригодилась вполне: вагоны были набиты людьми и лошадьми.

Где-то здесь, среди эшелонов, могла быть и гвардия. Поезд со щегольством подкатывал к станции.

На самой станции царила суматоха. Перрон был полон растерянно мечущихся пассажиров и потных носильщиков с узлами, тюками и чемоданами. Бросалось в глаза обилие офицеров. Особенно выделялись своим подчеркнуто боевым видом разные военные чиновники. У них с одного боку болталась шашка, с другого — баклажка. Кроме новенькой скрипучей портупеи военные чиновники были увешаны ремнями и кожаными футлярчиками — для бинокля, портсигара и прочего необязательного снаряжения.

Михаил Николаевич с интересом смотрел из окна вагона на вокзальную суету, а рыжий напыщенный преображенец был не на шутку озабочен.

— Черт возьми, здесь носильщика не найдешь! — возмущался он.— Подумать только: гвардейским офицерам придется самим тащить свои чемоданы и шинели, точно серой армейщине!

— Пустяки! Я постою с нашими вещами вон там, у входа в тоннель, а вы сходите к коменданту и все узнаете! — спокойно сказал Тухачевский и, взяв свой небольшой матерчатый чемоданчик, без всякого смущения вышел из вагона.

Преображенец нехотя следовал за ним.

Тухачевский остался на перроне, в тени стеклянной крыши чистенького виленского вокзала, а его спутник исчез в толпе.

Михаил Николаевич стоял, слушая непонятную польскую, литовскую и еврейскую речь. Мимо него торопливо проходили усатые паны, чопорные пани и одетые по парижской моде кокетливые паненки, видимо спешившие с балтийских курортов к себе в Варшаву. Взоры многих молодых варшавянок останавливались на красивом русском офицере.

Тухачевский рассеянно смотрел на них и думал, как с войной сразу изменилось отношение ко всему,— в другое время он с большим интересом наблюдал бы эту непривычную для его московского глаза толпу. Вот станционный колокол пробил какому-то поезду три раза, и этот всегда мелодичный звон сегодня кажется более тревожным, чем обычно...

Его мысли прервала цыганская скороговорка:

— Раскрасавчик мой, барин дорогой! Глаза твои

синие, удивительные! Позолоти старой цыганке ручку — всю правду скажу!..

Откуда-то сбоку к нему неслышно подошла старая, босая, сморщенная цыганка. Ее темное лицо было все в мелких морщинках, точно пенка закипающего молока. Цыганка протягивала ему коричневую, в кольцах, руку и заученно продолжала:

— Скажу тебе все, что было и что будет, кто по тебе сохнет-скучает и что тебя, голубок, ожидает!

Мне цыганка с морщинистым ликом
Ворожила под темным крыльцом... —

пришли на ум строчки из Блока.

Тухачевский невольно вспомнил, как, бывало, возле их пензенского Вражского становился беспокойный, крикливый цыганский табор и к ним в имение шли вереницей цыгане и цыганки с голыми и черными от загара и грязи цыганятами.

Младшие сестренки Михаила Николаевича жались к матери, — они и хотели бы взглянуть на цыган, но боялись их.

Мать Мавра Петровна, по происхождению крестьянка, смотрела на цыган по-деревенски иронически: живут, мол, не работая, кормятся враньем да обманом.

А Софья Валентиновна, бабушка со стороны отца, относилась к цыганам по-дворянски романтически: цыгане напоминали ей Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, Аполлона Григорьева...

Как бы то ни было, из имения Тухачевских Вражское цыгане всегда уходили довольные.

Михаил Николаевич протянул цыганке желтую рублевую бумажку. Рубль мгновенно исчез в ворохе неправдоподобно пестрых и грязных юбок. Старая цыганка мягко взяла руку Тухачевского и, глянув на его ладонь, затараторила:

— Красавчик мой симпатичный! Много девушек по тебе сохнет, но одна — больше всех. Волос у нее русый, глаз ясный. Долго придется ей ждать тебя, долго, но ты не кручинься — вернешься к ней живой, невредимый. Хлопот тебе будет. Хлопот тебе есть! Счастье твое хорошее: большим человеком станешь! Но ждет тебя...

— Ждет его — поезд! — перебил цыганкины рацеи вынырнувший из вокзальной толпы рыжий преображе-

нец.— Ступай, цыганка, ступай! Довольно врать! — Он оттолкнул цыганку.

— Полно слушать ерунду, поручик! Надо спешить. На втором пути, через тоннель, стоит поезд на Брест. Гвардейский корпус направлен не в Восточную Пруссию, а к Люблину! С австрийцами будем драться! — говорил преображенец, взяв свой чемодан и направляясь к тоннелю.

Цыганка стояла поодаль, закуривала, недовольно притопывала босой ногой, как бы раздумывая, ответить преображенцу или нет.

— А ты, барин, не зря такой рыжий — больно горяч! Не ершись, голубок! Не обижай старой цыганки! — неторопливо, раздельно говорила она, идя вслед за офицерами к тоннелю.

Преображенец торопился, шагая через две ступеньки. Тухачевский шел сзади, думая о том, что сказала ему цыганка.

А все-таки интересно: что же его ждет?

И невольно опять возникли стихи Блока:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю!
И приветствую звоном щита...
. . . .
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет...
. . . .
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно принимаю тебя!

2

Поручики нагнали свой гвардейский корпус за Брест-Литовском, у Лукова. Все станции на перегоне Луков — Люблин были забиты эшелонами гвардии. Но Петровская бригада — Преображенский и Семеновский полки — двигалась впереди корпуса, и подпоручикам пришлось ехать до самого Люблина. В Люблине гвардия должна была высаживаться из вагонов и следовать к фронту походным порядком.

Подъезжая к Люблину, преображенец, которому осточертели дорожные мытарства, нетерпеливо выглядывал из окна: есть ли эшелоны?

— Константин Константинович, а куда же они могут деться? — усмехнулся Тухачевский.— Успокойтесь, еще час-другой, и у вас будет денщик. Он избавит вас от всех хлопот!

У семафора уже было видно — Люблинский узел полон.

Когда поезд подошел к вокзалу, преображенец заторопился выходить. За эти дни весь его гвардейский лоск потускнел. Теперь он уже не беспокоился о том, как бы не уронить достоинства гвардейского офицера. Он не пошел на перрон, а, схватив чемодан, первым выпрыгнул на противоположную сторону, на междупутье, как сделал бы простой смертный, чтобы сократить дорогу.

Оглядываясь на пронзительно свистящие маневровые паровозы, бегавшие по путям, подпоручики спешили через путаницу рельсов и стрелок к воинским эшелонам.

Издалека было видно — у красных товарных вагонов и у нескольких зеленых классных, где, конечно, размещались господа офицеры, шла своя жизнь.

Зеленые гимнастерки мелькали и там и тут.

Было неясно только, где здесь преображенцы, а где семеновцы.

Но через несколько шагов все выяснилось.

Навстречу подпоручикам к станции шагал солдат. Тухачевский сразу приметил: у солдата на планке гимнастерки и по воротнику тянется светло-синяя гвардейская тесьма.

— Скажи-ка, служивый, это Петровская бригада? — спросил, останавливаясь, преображенец.

— Так точно, ваше высокоблагородие, Петровская! — козыряя, браво ответил солдат.

По обмундированию и выправке было ясно — солдат кадровый, а не призванный из запаса.

— Ты какого полка?

— Лейб-гвардии Семеновского, ваше высокоблагородие!

— Разве не видите, — сказал Тухачевский, — тесьма на гимнастерке ж синяя. У преображенцев — красная.

— Так точно, у преображенцев — красная,— подтвердил солдат.

Тухачевский, сам отличный строевик, с удовольствием смотрел на собранного, расторопного, видимо сме-

калистого солдата. Его открытое лицо даже не портило небольшое родимое пятнышко, красневшее чуть пониже левого виска.

— Стало быть, в ближнем эшелоне семеновцы. А где же преображенцы? — продолжал расспросы рыжий подпоручик.

— Вон там, ваше высокоблагородие, где водоразборный крант. Извольте видеть,— обернувшись, указал рукой солдат.

— Да мне ближе: я — семеновец! — сказал Михаил Николаевич.

— Ваше высокоблагородие к нам? — оживился солдат.— Дозвольте я пособлю, снесу ваш чемайданчик! — предложил он и уже хотел было взять из рук Михаила Николаевича чемодан.

— Спасибо, дружок. Лучше помогите их высокоблагородию. К Преображенскому дальше идти. А я сам, мне ведь два шага,— ответил Тухачевский.

Солдат проворно, но с меньшим одушевлением взял из рук преображенца чемодан, и подпоручики пошли каждый своей дорогой.

— До свиданья, Константин Константинович,— попрощался Тухачевский.

— До свиданья, поручик Тухачевский, до свиданья! — обернулся преображенец и помахал ему рукой.

Идя за солдатом, который нес его чемодан, щеголеватый подпоручик теперь, видимо, чувствовал себя настоящим гвардейцем: ведь шел-то он налегке!

Михаил Николаевич направился к двум зеленым вагонам третьего класса, затерявшимся среди длинной вереницы товарных.

У ближнего классного вагона чьи-то денщики ставили самовар. Было странно видеть в походной, военной обстановке пузатый мирный самовар. Денщики, возившиеся с самоваром, не обратили никакого внимания на Тухачевского.

У самой площадки вагона курили два подпоручика. Один — высокий, с румяным, как у девушки, лицом. Другой — небольшой, в пенсне, тонкий и гибкий, как хлыст. Они с любопытством смотрели на идущего к ним Тухачевского.

— Здравствуйте, господа! — поднося руку к козырьку фуражки, поздоровался Михаил Николаевич.

— Здравия желаю! — бросая папиросу и опуская руки по швам, четко, по-военному ответил подпоручик в пенсне.

— Здравствуйте, поручик,— просто сказал высокий и, приветливо улыбаясь, спросил: — Вы к нам?

— Так точно, в лейб-гвардии Семеновский полк. Позвольте познакомиться — Тухачевский!

— Комаров,— назвал себя высокий, крепко пожимая руку Михаила Николаевича.

— Подпоручик Энгельгардт-первый, — отрекомендовался офицер в пенсне, протягивая сухую, энергичную руку.

«Высокий — милый. Рубаха-парень. А этот надушенный Энгельгардт-первый — гордец! Видимо, во всем и всегда хочет быть первым»,— подумал Тухачевский.

— Вам надо представиться по начальству,— предупредил Энгельгардт, как будто бы Михаил Николаевич сам не знал этого.

— Да, но я порядком запылился в этих пересадках...

— Митрохин, снеси чемодан их высокоблагородия к нам и принеси щетки! — приказал одному из денщиков Энгельгардт.

Денщик унес чемодан Тухачевского в вагон.

— Командиром у нас его превосходительство генерал-майор Карл Карлович фон Эттер,— знакомил Тухачевского с полком подпоручик Энгельгардт.

— Солдаты зовут его «Ветер», и не без основания,— улыбнулся Комаров.

Энгельгардт недовольно покосился на товарища, но ничего не сказал, а продолжал:

— Помощником командира полка полковник фон Тимрот-первый.

«Всё немцы»,— подумалось Михаилу Николаевичу.

— Полковой адъютант — штабс-капитан Соллогуб. Штаб и офицеры первого батальона помещаются в том вагоне, а наш, второй батальон, и разные, — презрительно сощурился Энгельгардт,— лекари-аптекари и капельмейстеры — вот в этом, — кивнул он на вагон, у которого они стояли. — Мы с поручиком Комаровым из второго батальона. Дмитрий Виссарионович изволит быть в седьмой роте, а ваш покорный слуга — в пятой.

— Вот бы вас к нам в седьмую! — живо сказал Комаров.— В роте у нас всего трое офицеров: командир роты капитан Брок Иван Иванович, поручик Петр Арсеньевич Иванов-Дивов да я.

Денщик Энгельгардта принес щетки, помог Тухачевскому почиститься. Из вагона вышел плотный, крепко сбитый капитан. Это был командир шестой роты Веселаго.

— А-а, нашего полку прибыло! Добро пожаловать! — сказал он звучным баритоном, знакомясь с Тухачевским.

«Какой голос для командира! — оценил Михаил Николаевич.— И сам капитан соответствует своей фамилии: живой, энергичный. А имя-отчество у него совсем не гвардейское· Феодосий Александрович».

Вслед за Веселаго вылез из вагона попик — начинающий толстеть человек средних лет. Комаров шепнул Михаилу Николаевичу:

— Завзятый преферансист и не дурак выпить...

Тухачевский почистился, осмотрелся и пошел представляться командиру полка. Обходительный Комаров вызвался проводить его — помочь найти полкового адъютанта.

Штабс-капитан Соллогуб, лощеный гвардеец с усиками и аккуратным пробором посередине головы, повел Михаила Николаевича к командиру полка.

— Лев Львович, может быть, подпоручика можно было бы к нам в седьмую? — попросил адъютанта Комаров.

— Посмотрим,— уклончиво ответил Соллогуб.

Офицеры первого батальона с интересом смотрели на «новенького», идущего представляться командиру полка.

Вот и отделение вагона, которое занимал сам генерал-майор. Фон Эттер оказался высоким, представительным, немного грузным мужчиной.

— Очень рад! — сказал генерал-майор, подавая Тухачевскому руку.— Выходит, вы попали с корабля на бал? — пошутил он.— Что ж, посмотрим, как вы танцуете. В какую же роту вас назначить? — секунду раздумывал командир полка.

— Ваше превосходительство, может, в седьмую? — осторожно подсказал адъютант.

— Да, пожалуй, можно! Ступайте в седьмую, подпоручик Тухачевский. К капитану Броку!

— Слушаю-сь! — ответил Тухачевский и, четко сделав налево кругом, вышел.

Он шел по вагону и, думая о словах командира полка, невольно вспомнил танцы в Александровском военном училище. Как юнкера выбирали перед балом в цейхгаузе сапоги. И как его, хотя и фельдфебеля, но скромного человека, обгоняли более нахальные товарищи и юнкеру Тухачевскому доставались сапоги похуже. Но и в худших сапогах он всегда танцевал в первой паре со своей красавицей сестрой Надей.

Танцевал отменно.

3

«Бал» приближался.

Весь горизонт полыхал в багровом зареве пожаров, словно залитый кровью. Издалека доносился зловещий гром орудий. Станция в Люблине была забита санитарными поездами.

Туда, на запад, где грохотали орудия и горели деревни, двигались полки гвардии, высадившейся из эшелонов в Люблине. Гвардия получила приказ спешно идти на выручку Четвертой армии генерала Эверта, которая отступала перед превосходящими силами Первой австро-венгерской армии генерала Данкля.

Тухачевский только одни сутки побыл с полком в эшелоне. Он едва успел познакомиться с офицерами своей седьмой роты и некоторыми из второго батальона вообще.

Командира седьмой роты капитана Брока звали Иваном Ивановичем. Это был типичный «Фан-Фаныч» из обрусевших немцев, флегматичный, располневший и порядком вылысевший сорокапятилетний человек. Нерешительный и слабовольный, Брок был военным по недоразумению. Обычно у таких людей командуют жены, а здесь жены нет, и Брок плыл «по воле волн».

Третьим младшим офицером в роте кроме Комарова и самого Тухачевского числился плотно сбитый черноглазый поручик Петр Арсеньевич Иванов-Дивов-второй. В противоположность общительному, веселому Комарову, он был малоразговорчив и угрюм. О таких, как Ива-

нов-Дивов, народ метко говорит: «Нашел — молчит, потерял — молчит».

Из других офицеров второго батальона Михаил Николаевич узнал за сутки двоих: подпоручика пятой роты Энгельгардта-первого и командира шестой роты капитана Веселаго. Оба они казались Тухачевскому прирожденными военными. Но у Энгельгардта еще не было никакого боевого опыта, а Веселаго участвовал в русско-японской войне.

По своим воззрениям они резко отличались друг от друга. Веселаго — Тухачевский это ясно видел — был настоящий «отец солдатам». А об Энгельгардте приходилось сказать лишь одно, что он «слуга царю». Веселаго одинаково просто говорил со всеми — офицерами и солдатами. А лощеный Энгельгардт-первый был погвардейски подчеркнуто вежлив только с господами офицерами, а с «нижними чинами» держал себя надменно-пренебрежительно.

Солдат же своего третьего взвода — эти пятьдесят человек, командовать которыми назначил Тухачевского ротный командир Брок, — Михаил Николаевич еще не мог так скоро узнать. Они показались Тухачевскому, как следует быть гвардейцам,— бравыми и хорошо обученными. Михаил Николаевич обратил внимание на то, что в его взводе есть человек пять унтер-офицеров из запаса: они служили рядовыми. Это сильно укрепляло взвод.

Подпоручик Тухачевский выбрал себе из своего третьего взвода денщика, Ивана Глумакова. Глумаков чем-то напоминал Михаилу Николаевичу Ваську Галкина — его товарища детских лет во Вражском: Васька был так же курнос и расторопен.

На второй день после приезда Тухачевского гвардия выгружалась из эшелонов.

— Оставьте шашку в обозе да возьмите у заведующего оружием Князева винтовку. В походе она, признаться, мало удобна, но зато в бою с нею спокойнее, чем с этой селедкой, — посоветовал Тухачевскому опытный, заботливый капитан Веселаго.

Как положено в наставлении для действия пехоты в бою, генерал Эттер перед выходом из Люблина собрал весь командный состав полка и сказал о цели, которая стоит перед семеновцами. Правда, цель эта была

выражена довольно общо: «Идти на помощь отступающим частям Четвертой армии генерала Эверта». А какие они, куда отступают, никто толком не знал. Пока известно стало одно: надо двигаться через деревню Жабья Воля на юго-запад вдоль леса к высоте «двести сорок шесть».

— Высота у фольварка Амусин,— подсказал помощник командира полка полковник фон Тимрот, заглядывая через плечо командира в двухверстку, разостланную на каком-то ящике.

— А где карты? Как же мы пойдем без карт? Неужели в полку только одна карта? — невольно спросил Тухачевский, когда офицеры возвращались на свои места.

— Сделают выкопировку,— ответил Брок.

«Когда и кто?» — подумал Тухачевский, но промолчал.

— У нас всегда так: когда на охоту идти, тогда собак кормить,— огорченно сказал Веселаго.— Повторяется знакомая картина русско-японской войны.

— Ничего, господа, не возмущайтесь, карты будут: их не успели еще прислать! — успокаивал заведомой ерундой подпоручик Энгельгардт.

Михаил Николаевич уже знал его «шапками-закидайство».

В первую линию генерал Эттер поставил второй батальон.

— Бережет себя: сам небось предпочитает быть сзади,— заметил Комаров.

Колонны семеновцев прошли через Люблин без музыки и песен. Оркестр остался где-то позади, за первым батальоном. Жители смотрели на четкий строй гвардии отчужденно. Лица люблинцев отражали не восхищение, а страх и растерянность.

Конечно, если бы не эта артиллерийская канонада, которая отчетливо слышалась в городе, и не эти госпитали, занявшие лучшие городские помещения, люблинцы встречали бы гвардию с большим воодушевлением.

Люблин оказался таким же провинциально-губернским захолустьем, каким была родная Тухачевскому Пенза. Те же кое-как замощенные центральные улицы, те же незатейливые магазины. Только вместо пышногрудых куполов церквей здесь высились острые готи-

ческие шпили костелов да непривычной была польско-еврейская уличная толпа.

Но вот минули убогие хатенки пригорода с огородами и бесконечными заборами, и впереди легла желтая лента проселка. И не успела ступить на нее головная пятая рота семеновцев, как всё сразу потонуло в облаках пыли. Пылью вмиг покрылись фуражки, солдатские скатки, потные лица. Пыль противно хрустела на зубах. От наплечной портупеи, револьвера и винтовки, которую Тухачевский нес на ремне, быстро вспотела спина.

Можно представить, как изнывали под душными скатками солдаты.

Шли, как положено по уставу, не более четырех верст в час.

На проселке все вокруг как будто бы дышало покоем: и сжатое поле с летящей по воздуху паутинкой бабьего лета, и придорожные кусты олешника, и канавы, где голубели незабудки. Но впереди глухо ухали пушки и на горизонте из-за зубчатой кромки леса подымались черные облака далеких пожаров. И потому это кажущееся мирное спокойствие природы становилось еще более призрачным. Все чувствовали, что где-то близко, вот тут за этой мирной, безмятежной жизнью, притаилась война: разрушение и смерть. Сознание неотвратимой опасности овладело всеми. Михаил Николаевич слышал, как кто-то из его взвода сказал:

— Ну теперь, ребята, смерть поблизу нас ходит!

И ему резонно ответили:

— А смерть — не наследство, от нее, брат, не откажешься!

Уже садилось солнце, когда подошли к деревне с причудливым названием — Жабья Воля. Деревня лежала в низине, лягушек здесь, конечно, вволю!

Жабья Воля встретила семеновцев тоже не так, как встретила бы их месяц тому назад. Правда, старики стояли, подобострастно сняв войлочные шляпы. Михаилу Николаевичу вспомнились его независимые пензенцы — они и не подумали бы снимать картузы перед белоусым командиром второго батальона полковником Вишняковым, который ехал впереди полка. Но на лицах девушек не было обычного оживления, а женщины при виде строя семеновцев крестились, как при встрече

с покойником, и утирали слезы. И только мальчишки, как всегда, вешались на заборы, бежали рядом, смотрели на гвардию во все глаза, не оплакивали, а явно завидовали семеновцам.

Вот уже и Жабья Воля позади.

Верстах в двух за нею семеновцы встретили вереницу санитарных повозок, везущих раненых в Люблин.

Взоры всех гвардейцев невольно обратились к ним. Так неприятно было видеть перевязанные головы, руки и ноги. И эту алую кровь, просочившуюся сквозь бинты и повязки.

Разговоры в колонне смолкли, словно по команде. Шеренги семеновцев сжимались, уважительно уступая дорогу санитарным повозкам. На последней двуколке сидел раненный в голову подпоручик.

Полковник Вишняков и подъехавшие к нему командир пятой роты штабс-капитан Тавилдаров и капитан Веселаго сразу же повернули к двуколке — они хотели расспросить раненого подпоручика о неприятеле.

Двуколка остановилась, и ее тотчас же облепили офицеры проходящих рот второго батальона.

Михаила Николаевича всегда коробил вид крови. Он не подошел вместе со всеми офицерами к этой двуколке. Но когда его взвод поравнялся с ней, он услыхал, как раненый подпоручик довольно весело рассказывает:

— Австриец быстро и хорошо окапывается. Солдаты носят колючую проволоку в своих ранцах. По пятьшесть метров.

И слышал, как говорили, возвращаясь к своим ротам, Тавилдаров и Веселаго.

— А знаете, Феодосий Александрович, подпоручик держится молодцом! — хвалил Тавилдаров.

— Да, не так, как иные раненые. Обычно большинство раненых видит все в мрачном свете: он ранен сам, стало быть, все потеряно, мы разбиты...— говорил бывалый Веселаго.

Солдаты, слышавшие все разговоры, тоже обсуждали их.

— Это что же, выходит, у австрияка солдатский груз почище нашего? — не обращаясь ни к кому, спросил кто-то из третьего взвода.

— А может, у них винтовка полегше нашей?

— Наша со штыком весит десять с половиною фунтов...

— Их «манлихер» весит четырнадцать, — сказал Тухачевский.

— Вот видишь...

С каждой минутой надвигалась темнота, в которой еще более зловещими казались зарева пожаров и несмолкаемый гром орудий... Было похоже, будто по небу колотят громадной палкой.

На землю падала густая, бархатная августовская ночь.

По темному небу то и дело катились звезды, на мгновение оставляя после себя светлый след.

Михаил Николаевич с детства любил астрономию, увлекался Фламмарионом. Он знал, что это метеоры, персеиды. Обычно их много падает в августе месяце. Солдаты тоже замечали падающие звезды и судили по-своему:

— Говорят, это душеньки покойников катятся...

— В эту ночь столько, поди, нашего брата на фронтах погибает, что и звезд на всех не хватит...

В темноте идти стало хуже. Тухачевский шел и все ждал: справа должен быть лес, так, говорили, показано на карте. Но прошли уже не одну версту, а никакого леса не видно.

И вдруг колонна стала.

Солдаты отнеслись к этому по-разному: одни были рады минутному роздыху, другие встревожились — почему стали?

Тухачевский подошел к Комарову, который командовал вторым взводом:

— Почему стали, Дмитрий Виссарионович?

— Говорят, развилка дорог. Не знают, на которую свернуть...

— По карте же видно.

— Так ведь карта — одна, у генерала. И у нас выходит: «Ди эрсте колонне марширт...», — усмехнулся Комаров.

— Да, без карты трудновато, — только и сказал Михаил Николаевич.

К голове колонны проехали верхами командир полка Эттер и его помощник полковник Тимрот. Тухачевский стоял и насмешливо думал:

«В уставе полевой службы, в отделе «Управление войсками», повторяется золотое суворовское правило: «Каждый воин должен понимать свой маневр». А здесь, кажется, не только что воин, а и сам воевода вряд ли что понимает!»

— Что ж это они каждый раз так и будут приезжать с картой?

— Уж отдали бы ее в голову колонны, полковнику Вишнякову,— заметил Комаров.

Но дальше не пошли. Был получен приказ: ротам сойти с проселка на давно убранное поле и стать биваком. Огней не разжигать, выставить охранение.

— Ну совсем как при Миинхе! Вагенбурга только еще не хватает! — усмехнулся капитан Веселаго в кругу офицеров.

Тухачевский смотрел на все с крайним удивлением. «Такая неразбериха — признак неуменья воевать»,— думал он.

Солдаты же одобрили остановку:

— Чего переть на ночь глядя? Утро вечера мудренее!

— Ночью все незнакомое. Отовсюду беды жди...

— Ночью геройствовать не приходится: ни враг на тебя с почетом не посмотрит, ни друг не налюбуется...

— Впотьмах и блоха — страх!

— Да, с ночью ты один на один, вот и неловко!

Рота за ротой принимали влево, располагаясь на поле. Солдаты оживились,— этот маневр был ясен и понятен: отдыхать, спать! Что называется: «Ружья в козлы!»

Было лишь одно неудобство: не разрешалось разводить костры, да их на жнивье и не из чего было бы разжечь.

Солдаты снимали скатки и, утоптав землю ногами, ложились спать друг возле друга.

Тухачевский пожалел, что оставил в обозе вместе с чемоданом шинель. Он раздумывал: как же теперь быть? День стоял жаркий, а к ночи посвежело. И ему невольно пришло на ум когда-то слышанное присловье: «Едет генерал Дрожжаков на поверку дураков...»

И вдруг к Тухачевскому подошел его денщик.

— Ваше высокоблагородие, извольте взять,— сказал он, протягивая солдатскую шинель.

— Это чья? Откуда? — спросил Тухачевский.

— Моя.

— А вы сами как же будете?

— Мы с дружком укроемся одной. Берите, ваше высокоблагородие!

Тухачевский поблагодарил и, взяв шинель, пахнущую табаком и ружейным маслом, завернулся в нее, лег на жнивье и тотчас же уснул.

4

Семеновцев подняли чуть свет. Солнце только всходило. Ежась и позевывая, поднимались с неуютного ложа гвардейцы. Все вокруг тонуло в густом тумане. Но с каждой минутой туман редел, и вот уже стал виден перекресток с покхилившимся придорожным крестом и распятием, опоясанным выцветшей лентой.

А через минуту вырисовался холм. Одна из дорог уходила к нему.

«Верно, это и есть высота „двести шестьдесят четыре"»,— сообразил Тухачевский.

Сбоку от холма краснели черепицы нескольких построек.

«А там фольварк Амусин. Полверсты не дошли до высоты...»

Хотелось умыться, но воды не было. И уже хотелось есть, но походных кухонь не видать.

О еде думали все:

— Есть что-то хочется...

— Конечно, ведь легли не ужинав.

— Бывалые старики, сверхсрочники, говорят: перед смертью всегда есть хочется, — с улыбкой в голосе сказал кто-то.

Курящие сразу нашли выход — задымили. Михаил Николаевич не курил. Он вспомнил о шоколаде, который лежал у него в полевой сумке. Тухачевский только собрался вынуть плитку «Жоржа Бормана», как к нему подошел денщик Глумаков.

— Ваше высокоблагородие, не желаете ли отведать нашего гвардейского сухарика? — предложил он, протягивая подпоручику большой ржаной сухарь.

— Спасибо. А у вас самого есть? — спросил Михаил Николаевич.

— Есть, ваше высокоблагородие! Мы народ запасливый...

— Погодите,— сказал Тухачевский, беря сухарь.

Он достал плитку шоколада и, разломив пополам, протянул Глумакову:

— Вот, возьмите!

— Что вы, ваше высокоблагородие? Благодарствую!..— застеснялся денщик.— Мы к этому не привыкши... И мне много!..

— Да берите же! — строже сказал подпоручик.

— Это вот детя́м хорошо, а нам... — смутился денщик, беря шоколад.

— Неверно. Не только детям. Шоколад очень питателен. В других армиях, например во французской, шоколад дают всем — солдатам и офицерам...

— Может быть. Но мы, русские, не приучены, ваше высокоблагородие. Мы больше сухарик уважаем! — ответил Глумаков и отошел к товарищам.

Пока завтракали так, всухомятку, впереди в тающем тумане послышалась перестрелка — это разведка семеновцев вступила в соприкосновение с неприятелем.

5

Уже целый месяц пробыли семеновцы в боях.

Гвардии пришлось сдерживать натиск австрийцев, пытавшихся прорвать фронт у Люблина.

За месяц семеновцы хорошо обстрелялись и познакомились кое с чем на практике. Например, они узнали, что надежнее стрелять лежа, поплотнее прижавшись к земле, чем вести огонь с колена, как их учили. А преследовать отступающего неприятеля надо шагом: со всей выкладкой не очень побежишь — скоро запыхаешься... И если над деревней, где расположился полк, пролетает вражеский аэроплан, то не следует выбегать из хат и глазеть, как он трещит над головой, а лучше укрыться где-нибудь подобру-поздорову.

Офицерам разрешили не носить плечевых ремней, чтобы неприятель не мог различить командиров издалека. Противник старался выбивать в первую очередь офицеров.

Много нового узнал за этот месяц и подпоручик Михаил Тухачевский. Было больно видеть неподготов-

ленность русской армии, возмущала нераспорядительность. Не хватало не только карт, но и артиллерии, винтовок, патронов. Гвардейский мортирный дивизион плелся где-то в хвосте корпуса, и укрепленные австрийские позиции приходилось брать в лоб, голыми руками. А австрийцы били «чемоданами».

— Голубица чемоданами плюет, — говорили солдаты о гаубице.

— Хороша штука,— мрачно шутили семеновцы, глядя на громадную воронку, вырытую тяжелыми австрийскими гаубицами.— Сама убьет, сама же и похоронит! Могилы рыть не надо — на весь взвод хватит!

Михаил Николаевич с интересом присматривался к людям на войне. Солдаты не представляли для Тухачевского ничего нового. Он с детства близко знал деревню. Все его детские друзья-приятели были крестьянские мальчишки из ближайших к Вражскому деревень. Его мать — простая дорогобужская крестьянка, и, когда Тухачевские жили в Москве, к ним приезжали из Смоленщины родственники матери.

Рядовые лейб-гвардии Семеновского полка оказались такими, какими Тухачевский всегда представлял русского солдата: самоотверженными, храбрыми, непритязательными в быту и выносливыми. Такими знали русского солдата испокон веков. Недаром Карл Двенадцатый в баталии под Нарвой восхищенно кричал, глядя, как стойко сражаются семеновцы:

— Каковы мужики!

Генерал Драгомиров верно подметил, что русский солдат умеет переносить всякие лишения потому, что он с малых лет приучен к холоду и голоду. Генерал Драгомиров правильно сказал: русский солдат умеет умирать!

А вот офицеры предстали перед Михаилом Николаевичем Тухачевским в новом свете. Большинство из них были военными лишь по традиции: и дед, и отец служили в гвардии. Служили целыми семьями, оттого у многих к фамилии прибавлялась цифра, например: Зайцев-второй.

У всех у них было много гвардейского лоска, а еще больше гвардейского гонора, но очень мало военных навыков. Отрадное исключение составляли некоторые офицеры, вроде капитана Веселаго, который был све-

дущим и по-военному мыслящим человеком. Да кое-кто из молодежи, как Комаров.

И сама-то война оказалась не такой, как рисовалось в воображении. С детства война представлялась величественной, грандиозной, как Бородино на картине Верещагина. Там даже убитые лежат в красивых позах, в незапятнанных и неповрежденных мундирах, в начищенных до блеска сапогах.

Тухачевский прошел с полком через столько разрушенных и сожженных местечек и деревень: в багровом кольце пожаров в тылу догорали одни, впереди возникали другие. Видел одичавших от лишений и ужаса жителей, скрывавшихся от пуль и снарядов в подвалах и картофельных ямах. Видел смерть в самых ужасных формах. Но странно, здесь не было смятения чувств, не было привычного и должного уважения к смерти. Крышка гроба, выставленная в окне «гробовых дел мастера» на Арбате, производила большее впечатление, чем целый ряд поверженных, изуродованных тел... Здесь все покрывала одна мысль: «А я еще жив!»

За месяц австрийцы не только не прорвали русский фронт у Люблина, но откатывались к своей границе сами.

Второго сентября Петровская бригада подошла к реке Сан, у которой укрепились австрийцы.

6

Семеновцы оказались против городка Кржешов, который стоял на левом берегу Сана. За рекой виднелись остроконечные башни костела и серые провинциальные домики. В бинокль был хорошо виден железнодорожный узел, забитый товарными составами. Австрийцы спешно вывозили из Кржешова все запасы.

Если выбить их из предмостного укрепления, то можно захватить все эшелоны, сгрудившиеся на станции.

Семеновцы развернулись для наступления. Командир второго батальона Вишняков решил прорваться вдоль реки к переправе.

Австрийцы не выдержали натиска: как защищаться, если прижаты к реке? Большой соблазн уйти, пока за спиной еще стоит мост!

И голубые мундиры посыпались к мосту...

К мосту бежали и семеновцы.

И вдруг весь мост окутался дымом — ветер дул с запада, и дым плыл по ветру на русских. Первые семеновцы, подбежавшие к окутанному дымом мосту, остановились.

— Австрияк поджег мост!

Наступательный порыв — срезан...

Но из толпы солдат выскочил плотный Феодосий Александрович Веселаго.

— Ребята, за мной! — крикнул он и смело бросился на горящий мост навстречу огню и дыму.

За ним взбежал на мост и подпоручик Тухачевский.

— Впере-ед!

Семеновцы второго батальона кинулись вслед за командирами.

Роты перемешались.

Огонь быстро лизал сухие доски мостового настила. Сквозь дым с треском пробивалось пламя. Рядом с Михаилом Николаевичем бежали какие-то солдаты. Мелькнуло лицо того знакомого, с родимым пятнышком у виска.

Падали раненые и убитые.

И вот уже мост позади. Голубые мундиры бросают ружья, подымают вверх руки, испуганно вытаращив глаза.

И тут жажда жизни, восторг переполняют душу семеновцев, и от всего сердца гремит радостное, ликующее «ура-а!».

«Ура» — это значит мы снова живем!

«Ура» — это значит нам снова светит солнце и голубеет небо!

— Ура-а-а!

7

В конце января 1915 года гвардия, находившаяся в течение пяти месяцев в непрерывных маршах и боях, очутилась у Ломжи. Здесь уже пришлось иметь дело не с австрийцами, а с немцами.

У немцев все было по-иному.

Не успели семеновцы занять позицию перед городом Кольно, как увидали у немецких окопов большие щиты с написанным на них по-русски обращением: *«Привет русской гвардии!»*

В обращении заключалась тонкая издевка. Плакаты надо было читать так: «Вас под большим секретом перебросили сюда, а мы давно осведомлены об этом!»

Конечнс, в том, что немецкое командование всегда своевременно знало о всех планах и намерениях русских, не было ничего удивительного. Немецкие шпионы водились всюду, начиная с царского двора. Царица Александра Федоровна, немка по происхождению и по духу, продолжала переписываться со своим кузеном кайзером Вильгельмом Вторым, несмотря на то что между Россией и Германией шла война.

Немецкие войска сидели в надежных, утепленных бетонированных блиндажах, а русским приходилось мерзнуть под открытым небом в полевых окопах.

Как только русские начали окапываться, немцы открыли по ним артиллерийский огонь.

— Вот уже и приветствуют нас! — сказал Комаров.

— Что ж, не придерешься — приветствуют как следует! — согласился Тухачевский.

Рыть окопы было трудно: земля сильно промерзла, не взять лопатой. А прорыв верхний слой, обнаруживали под ним воду.

Немцам строить блиндажи было просто: у них этим занимались специальные команды «Armierungstruppen». И их работе не могла помешать русская артиллерия — у русских не хватало снарядов.

Седьмой роте достался участок поля, одной стороной примыкавший к лесу. Семеновцы под немецким огнем кое-как отрыли окопы.

Солдаты мрачно шутили:

— Труд да забота — все на смерть работа!

Окоп был так узок, что, проходя по его липкому от сырости дну, приходилось все время задевать то одним, то другим плечом осыпавшуюся влажную стенку. Под стенкой окопа, обращенной к неприятелю, были вырыты углубления. Их подперли столбами, а на землю набросали еловых веток. В этих норах, не раздеваясь и не снимая обуви, отдыхали солдаты.

Для офицеров вырыли в стороне небольшую землянку. К ней вел ход сообщения. Землянку покрыли бревнами, сколотили нары и стол. Узкий вход прикрыли найденной где-то в деревне старой дверью. Навесить ее было не на что, и офицеры просто загораживали ею

вход изнутри. Как и солдаты, офицеры спали не раздеваясь, потому что печурка, сложенная в углу землянки, слабо грела. Все мылись снежком.

В таких суровых условиях жизни офицерам не нужны были никакие денщики, но денщики оставались — они жили вместе с солдатами.

Так для семеновцев началась тягостная, полная лишений первая окопная зима.

8

В феврале задули настоящие сретенские вьюги. Над бруствером окопа выросли сугробы, а амбразуры наблюдателей накрыли шапки снега. Все дороги замело — ни проехать, ни пройти. Походные кухни не могли пробиться к ротам, и семеновцам приходилось есть всухомятку.

В тот памятный день 19 февраля 1915 года Комаров, командовавший ротой вместо заболевшего и отправленного в тыл Брока, уехал после полудня в штаб второго батальона в деревню Струменное. Тухачевский остался в роте с Ивановым-Дивовым.

Прошлую ночь Михаил Николаевич дежурил. Хотя немцы в эти вьюжные дни не обнаруживали особой активности — стреляли не чаще обычного, но по погоде можно было ждать всего: участок, который занимал второй батальон, острым углом выдавался вперед, был как бельмо на глазу у немцев. И Тухачевский целую ночь не спал, проверяя по окопу постовых. Днем спать тоже не пришлось. И к вечеру Михаил Николаевич мог бы сказать так, как говорили солдаты:

— До того сном обуян, что одна дума: хоть бей, хоть убей — да не буди!

Тухачевский лег на жесткие нары, покрытые мешковиной, и, поглубже надвинув папаху и засунув руки в рукава шинели, сладко заснул. Проснулся он от внезапного шума — близких выстрелов, пулеметного стрекотанья и истошных криков.

Мозг сразу пронзила мысль: «Немцы! Недоглядели! Прозевали!»

Тухачевский вскочил на ноги, выхватил из кобуры наган и только хотел отодвинуть дверь, как из хода сообщения кто-то сильно ударил в нее ногой. Дверь

упала иа Тухачевского и вышибла из его рук иаган. Михаил Николаевич отлетел к столу и не успел опомииться, как в лицо ему ударил яркий свет электрического фоиаря. Злой голос крикнул:

— Hände hoch!

На Тухачевского уставился парабеллум немецкого лейтенанта, и из-за лейтенантских плеч высунулись штыки-иожи иемецких солдат.

Сопротивляться бесполезно.

Немцы заставили его выйти из землянки.

Михаил Николаевич хотел глянуть, что происходит в окопе, откуда доиосились звуки борьбы,— где Иваиов-Дивов, где его денщик Глумаков, как держится рота,— ио из-за траверса иичего рассмотреть было иельзя. Ои успел только заметить труп солдата, лежавший у стеики окопа.

Немецкие солдаты заставили Тухачевского вылезть иа бруствер окопа. Бесцеремоино подталкивая его прикладами, оии кричали: «Schnell, schnell!» — и гиали сквозь снег и ночь к своим окопам. Сзади слышались выстрелы, пулеметная трескотия и победиые крики иемцев.

В окопе седьмой роты шел неравиый бой. К семеиовцам, видимо, подкрался в иочиой темноте целый немецкий батальои, потому что в свете ракет Михаил Николаевич увидал, как от леса бежали темные фигуры людей в касках, с иеуклюжими ранцами за плечами.

Сзади был бой, впереди — страшно сказать! — был плеи. . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

«ХОРОШО ПТИЧКЕ В ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ...»

1

Уже пятый месяц подпоручик лейб-гвардии Семеиовского полка Михаил Тухачевский томился в германском плену.

Когда иа следующий после плеиеиия деиь, 20 февраля 1915 года, подпоручика Тухачевского вместе с несколькими другими русскими офицерами отправляли из

Кольно в Германию, командир немецкой бригады, солидный «оберст», утешал их:

— О, у нас вам будет frisch und fröhlich!

Жизнь радостная и веселая!

Как бы не так!

Михаил Николаевич понимал, что это сказано для красного словца и что сам «герр оберст» не верит в то, что в плену русских ждут молочные реки и кисельные берега. Недаром ведь говорится:

Хорошо птичке в золотой клетке,
Да еще лучше иа зелеиой ветке!

Михаил Николаевич Тухачевский не считал себя врагом немецкого народа. Он полагал, что и немцы не забыли о том, как русские войска избавили Германию от наполеоновской тирании и помогали им воссоединиться. Он мог надеяться, что немцы будут относиться к русским пленным более или менее по-человечески.

При этом сразу же невольно вспоминались знаменитые сыны Германии — Вагнер и Лист, Шиллер и Гете, Клаузевиц и Бисмарк.

Да, здесь, на фронте, были и Вагнер, и Лист, и Шиллер, но совсем так, как у Гоголя в «Невском проспекте»:

«Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер. . .»

Армейский Вагнер оказался грузным и грубым фельдфебелем пехотного полка. Когда в Кольно при первом обыске подпоручик Михаил Тухачевский попросил, чтобы ему оставили его пробитую пулей полевую сумку, то Вагнер-фельдфебель беззастенчиво рванул сумку с плеч подпоручика Тухачевского.

Был в Кольно и Шиллер, но не тот вдохновенный Шиллер, а толстомордый прусский унтер, который нахально рылся в карманах русского офицера и, не моргнув глазом, сунул к себе за пазуху часы Михаила Николаевича.

А затем пленные русские могли увидеть, как их встречают жители всех этих чистеньких, красно-кирпичных немецких «бургов» и «бергов», через которые везли пленных в лагерь. Немцы и немки в победонос-

ном шовинистическом угаре зверски таращили на них глаза, воинственно потрясали кулаками и орали: «Russland muss sterben!»[1] А когда в Штральзунде пленных вывели из вагона и они шли сквозь толпу штральзундских горожан, разъяренных в непонятной ненависти и злобе, то какая-то древняя старушонка, похожая на броккенскую ведьму, прорвалась сквозь конвой. Плюясь и ругаясь, она успела несколько раз ударить зонтиком подпоручика егерского полка, шедшего рядом с Михаилом Николаевичем, пока конвойный солдат не оттолкнул ее...

Тухачевского вместе с другими офицерами доставили в приморский город Штральзунд в Померании, в лагерь военнопленных.

Вот он — Kriegsgefangenenlager!

Эта немецкая «клетка» не была золотой.

Правда, пленных офицеров разместили в бывшем летнем театре, на лепке фронтона которого еще кое-где блестела мишурная позолота. Но театр и несколько помещений, занятых под лагерь, были обнесены рядами колючей проволоки.

Клетка оставалась клеткой.

Жизнь пленных русских офицеров в этом летнем прибежище Талии была унизительна, сурова и неприглядна.

Весь зрительный зал, сцену и ложи заняли неуютные кровати, с выпирающими железными ребрами, с тощими соломенными тюфяками и подушками из стружек.

Глядя на театр, Михаил Николаевич невольно вспоминал чьи-то стихи:

Все мы — святые и воры,
Из алтаря и острога.
Все мы — смешные актеры
В театре господа бога...

Кровати стояли вплотную друг к дружке. Здесь, пожалуй, удобнее и ценнее были задние, а не первые ряды партера: они — ближе к выходу, к воздуху!

Тухачевскому повезло: ему отвели место в маленькой артистической уборной, где еще держался тонкий запах духов и пудры. В комнатке могло поместиться

---

[1] Россия должна погибнуть! *(Нем.)*

всего лишь две кровати. Соседом Михаила Николаевича Тухачевского оказался поручик сто шестьдесят девятого Ново-Трокского полка сорок третьей дивизии виленец Августин Доменикович Скоковский, попавший в плен под Гумбиненом.

Несмотря на то что поручик Скоковский служил в армейском полку, он очень подходил к Тухачевскому: был корректен, ненадоедлив в разговоре,— словом, хорошо воспитан.

Лагерные немцы — офицеры и солдаты караула — относились к русским с явным недоброжелательством и пренебрежением. Все они с тевтонской жестокостью и немецкой педантичностью старались сделать жизнь русских пленных невыносимой. Не упускали ни одного мелочного случая для того, чтобы не поиздеваться над ними.

Ведь, по понятиям германцев, презрение к врагу — главный признак высшей расы!

2

День в Штральзундском лагере начинался с утреннего «аппеля» в семь часов.

Перекличку пленных офицеров производил какой-нибудь вчерашний прусский сапожник или конюх, самодовольно-грубый фельдфебель из ландштурмистов. Заложив руки за спину и широко расставив ноги, он становился на середине площадки перед театром и кричал:

— Komm heraus![1]

Если какой-либо русский штабс-капитан или даже полковник на секунду опаздывал стать в строй или впопыхах выходил из помещения без фуражки, этот опереточно важный фельдфебель орал на русского офицера, обзывая его «verfluchte Kerl»[2].

Лагерная стража вообще была груба и заносчива.

Ни один ландштурмист лагерной команды никогда не уступал пленным офицерам дороги, даже если это был раненый, тащившийся с трудом на костылях. Ведь, по древней рыцарской поговорке, «Wehlros — ehrlos», то есть безоружный — бесчестен!

---

[1] Выходи вон! *(Нем.)*
[2] Проклятый мужик *(нем.)*.

У русских офицеров было отнято все оружие, а у каждого ландштурмиста болтался на ремне тесак. И если такой, вооруженный тесаком, воин входил в дом, на пороге которого разговаривали русские офицеры, немецкий солдат с видом полного превосходства беззастенчиво расталкивал их.

После переклички выдавали на целый день по триста граммов «кригсброта» — хлеба, специально выпекавшегося только для пленных. «Военный хлеб» был грязно-бурого цвета, сырой и тяжелый, точно кирпич. Получая его, пленные горько шутили:

— Этим кригсбротом только улицы мостить!

Резать «кригсброт» было неудобно: за ножом тянулась солома и какой-то мох, а в разрезе виднелась древесная кора и картофельная шелуха.

Умывались пленные во дворе и на открытой веранде, где год тому назад под бравурную музыку духового оркестра штральзундские меломаны пили пиво и ели сосиски. Русские денщики — на весь лагерь, на все сто с лишним пленных офицеров их оставили всего десять человек — приносили в больших баках воду. Вместе с баками они тащили жестяные шайки, над которыми офицеры умывались. Каждый пленный офицер получал ложку и жестяную кружку.

Кормили в лагере три раза в день. Завтрак — литр несладкой бурды, слабо отдающей цикорием. Обед и ужин — тарелка теплой воды, в которой плавали две-три черные от гнили картофелины или желтые ломтики брюквы. Ножей и вилок не полагалось. Да в них, собственно, и не было нужды: мяса пленные не видели в глаза. Изредка давали на ужин по кусочку вяленой рыбы неопределенной породы, но вполне определенного, далеко слышного тошнотворного запаха.

Пленные офицеры пробовали протестовать против такого отвратительного питания, но комендант лагеря майор фон Бруссе зло оттопыривал усы и обрывал:

— Не забывайте, что вы в лагере военнопленных, а не в санатории!

Столовая размещалась в небольшом полукруглом театральном фойе. Широкие окна фойе с разноцветными стеклами забрали железными решетками. Здесь стояли несколько старых некрашеных столов и тяжелые чугунные парковые скамейки.

У кого водились деньги — кому посчастливилось как-то спрятать их при первом обыске на поле боя, — должен был сдать коменданту. Разрешалось держать при себе не более двадцати марок. Впрочем, в лагере на марки нечего было и покупать. В «кантине», лагерной лавчонке, которая помещалась в тесной комнатушке бывшей театральной кассы, продавали только разную мелочь. На полках «кантины» лежали нитки, иголки, вакса, гребенки, почтовая бумага, цветные открытки, изображающие полногрудых красавиц с надписью: «Fröhliche Weinachten»[1], спички, дрянные сигареты, карандаши и в большом выборе игральные карты — Штральзунд издавна славился их производством. Карты широко предлагались еще и потому, что немцы наивно полагали, будто русским офицерам не о чем больше и думать в плену, как об игре в преферанс или в «дурачки».

3

Подпоручик Тухачевский не покупал карт: в семье Тухачевских не любили карточной игры. В пензенском Вражском и в московской квартире на Филипповском переулке играли только в шахматы.

Вообще Михаил Николаевич не думал о том, как и чем убить время. Тухачевский был всецело поглощен одним — мыслью о побеге. Он не мог примириться со своим тягостным, постыдным положением пленного. Он болел душой, что так нелепо, в первые же месяцы войны невредимым попал в неволю. Ведь никто же не знал, при каких обстоятельствах произошло это. Еще подумают, что подпоручик Тухачевский не хотел защищаться!

От такой мысли его бросало в краску. Тухачевский в бессильной злобе сжимал кулаки.

Беспокоило и другое. После смерти отца он и старший брат Николай оказались главной опорой семьи. А как же будут жить мать и сестры теперь, когда он в плену?

И еще, пока родные узнают, где он и что с ним...

От всех этих невеселых мыслей Тухачевский не находил себе места. Он должен бежать! Бежать поскорее!

---

[1] Веселое рождество (*нем.*).

И с первых дней сразу же стал знакомиться со штральзундской обстановкой.

Попав в Штральзунд, Тухачевский немедленно отправил домой письмо. В нем Михаил Николаевич написал: «...читайте „Слово о полку Игореве"», намекая на то, что он постарается бежать из плена.

Штральзунд был старым приморским городом. Он лежал против острова Рюген, в двух шагах от Балтийского моря. Было ясно: стоит сесть в Штральзундском проливе в лодку и пройти мимо острова Рюген, и вы сразу окажетесь в открытом море. А там попутный ветер и морские течения помогут приплыть в соседние Данию или Швецию.

Поручик Скоковский, который жил в лагере Штральзунд уже более полугода — он был взят в плен в Восточной Пруссии, — рассказал, что еще в прошлую осень так, с помощью лодки, благополучно бежал из Штральзунда пленный русский капитан.

И Михаил Николаевич стал тщательно обдумывать план подобного побега.

Лагерный русский фельдшер, которого комендант возил однажды в город в гарнизонный лазарет за противохолерными прививками для военнопленных, рассказал Тухачевскому о городе Штральзунде. Фельдшер восхищался красивыми церквами XV века и средневековой ратушей, но Михаила Николаевича в его рассказе заинтересовало иное. Фельдшер сказал, что, проезжая через дамбу, соединяющую Штральзунд с островом Рюген, на котором расположен гарнизонный лазарет, он видел по обоим берегам пролива и в Штральзундской гавани много разных лодок.

К летнему театру примыкал небольшой парк. На посыпанных гравием дорожках раньше стояли те железные скамейки, которые унесли в лагерную столовую. А в центре парка бил маленький фонтан. Но теперь фонтан выключили, и на его цементных бортах обычно усаживались покурить гуляющие пленные.

Территория парка была окаймлена живой изгородью из кустов акации. За акацией виднелся невысокий деревянный забор. А дальше километра на полтора тянулось до самого пролива чье-то поле ржи. Там, за рожью, лежали на берегу пролива рыбачьи челны. В них и заключалось все спасение Тухачевского...

У Михаила Николаевича созрел план побега, в который он посвятил своего милого соседа поручика Скоковского, — осуществить побег одному, без чьей-то дружеской помощи, было невозможно.

С наступлением летних дней пленным разрешалось два раза в неделю гулять после обеда три часа в парке.

Происходило это так.

Желающие идти на прогулку выстраивались на площадке перед театром. Капрал пересчитывал их и под конвоем двух ландштурмистов вел в парк. В парке проходили через небольшую калитку, сделанную в проволочных заграждениях, окружавших территорию лагеря. У калитки стоял часовой. Когда возвращались назад, капрал вновь пересчитывал у калитки пленных.

План Тухачевского был несложен: нужно пройти в парк вместе со всей группой, но так, чтобы не попасть в число тех, которых пересчитал капрал. А из парка с помощью сочувствующих товарищей нетрудно будет пробраться через кусты акации и невысокий забор в рожь. Перекличка в лагере производится только в одиннадцать часов вечера, и хватятся беглеца не раньше полуночи. До этих пор нужно успеть найти на берегу лодку и отчалить...

Сторожей и собак на поле как будто не слышно.

Оставалось решить главный вопрос: как проникнуть в парк во время прогулки и остаться неучтенным капралом?

Поручик Скоковский предложил простой выход. Все знали, что у калитки стоят, сменяясь, двое ландштурмистов: низенький, черный, с вечно небритой щетиной на подбородке баварец и светлоусый, улыбчивый силезский поляк.

Скоковский несколько раз говорил с земляком по-польски и угощал поляка-ландштурмиста сигаретами. Августин Доменикович предлагал сделать так. Пусть Михаил Николаевич станет в строй и пройдет в парк легально вместе со всеми, а Скоковский через минуту после их ухода выбежит из помещения вслед за ними и попросит часового пропустить его, будто бы Скоковский задержался.

В ближайший прогулочный день они попробовали сделать это. Поляк-часовой не задумываясь пропустил

опоздавшего Скоковского. Когда немецкий капрал на обратном пути вновь пересчитал пленных и у него вдруг оказалось одним человеком больше, он только сконфуженно махнул рукой и сказал:

— Gut!

В следующий раз оба они пошли на прогулку на законном основании и выбрали в зарослях акации место, наиболее подходящее для побега. Скоковский заручился согласием трех своих товарищей из сорок третьей Виленской дивизии помочь Тухачевскому. Офицеры должны были отвлекать внимание ландштурмистов, пока Тухачевский переберется сквозь кусты акации.

Оставалось ждать удобного случая, чтобы во время очередной прогулки стоял на посту поляк, а не тот черный немец.

Тухачевскому не терпелось. Когда собирались уходить на прогулку и он видел, что у калитки дежурит немец, Михаил Николаевич мрачнел от досады.

Была середина июня. В начале месяца шли дожди и море штормило. А теперь уже несколько дней дул небольшой попутный зюйд-вест. Кроме того, Михаила Николаевича подстегивали слухи, ходившие в лагере, будто у входа в Штральзундский пролив, у мыса Дарссер-Орт, видели русские подводные лодки. Если бы вдруг встретить в море своих, как все могло бы окончиться легко и быстро!

Шли дни, а дежурства черного немца все совпадали с послеобеденными прогулками.

Но всему бывает конец. И настал день, когда у калитки прохаживался с винтовкой на ремне светлоусый силезец.

Скоковский тотчас же предупредил своих товарищей.

И все прошло так, как намечалось. Тухачевский вместе с группой пленных офицеров вышел в парк. Минутой позже Скоковский подбежал к поляку-часовому.

— Troche spóznilem sie. Przepuśé mnie, bracie[1], — сказал он часовому и сунул ему в руку пачку сигарет.

— A, bardzo prosze, panie porócznіku, idzćie![2] — распахнул калитку солдат.

Как и было заранее условлено, группа офицеров со-

---

[1] Немного опоздал. Пропусти меня, братец *(польск.)*.

[2] А, прошу вас, господин поручик, идите! *(Польск.)*

рок третьей дивизии устроила в парке у фонтана французскую борьбу. Капрал и ландштурмисты охраны с интересом глазели на них, закинув винтовки за плечи.

Поручик Скоковский с двумя товарищами-пленными везли тачки с гравием. Они загородили тачками то место в углу парка, где Тухачевский собрался пролезать сквозь акацию. Тухачевский, улучив момент, продрался на коленях сквозь густые кусты к забору.

Скоковский с товарищами тотчас же потащили тачки в другую сторону. Ландштурмисты продолжали смотреть на борьбу, смеясь над поверженными борцами и поощряя победителей.

Михаил Николаевич лежал в укромном уголке, прислушиваясь к тому, что делается в парке. Ему удалось расшатать две доски в заборе. Вот где пригодились давние, с детских лет, занятия гимнастикой, пригодилась физическая сила! Младшие сестренки — Лиза, Оля и Маша — немного побаивались, но любили, когда Миша сажал кого-либо из них на стул и одной рукой поднимал стул за ножку.

Время прогулки тянулось для Тухачевского невероятно долго. Но вот до его слуха донеслось капральское:

— Genug! [1]

Значит, капрал вынул из футляра свои карманные часы-луковицу и убедился, что уже гуляли положенные три часа.

Еще несколько минут, и в парке все затихло. Пленных увели в лагерь.

Михаил Николаевич приподнялся, раздвинул расшатанные внизу доски забора и выполз в поле. Согнувшись, он вошел в густую стену ржи. Раздвигая спелые, шуршащие колосья, он побежал к берегу.

Вот и берег. Вот и пролив!

Тухачевский смотрел, и у него кружилась голова.

Он оглянулся на островерхие шпили штральзундских церквей и ратуши. По проливу к Рюгену и к выходу в море шныряли катера, моторные и простые лодки. Из Штральзундской гавани к морю прошел, дымя, маленький белый пароходик. Фельдшер не лгал — судов и суденышек плавало много. Некоторые лодки шли

[1] Довольно! *(Нем.)*

на веслах. Но на этом берегу Михаил Николаевич не видел ни одной лодки без людей.

Он пошел по берегу, стараясь не приближаться к людям, а идти возле самой ржи. Рожь скоро кончилась. Слева виднелись черепичные крыши усадьбы, к которой бежала дорога. Слышался лай собак, по дороге шли люди.

Он решил вернуться назад и во ржи дождаться темноты.

4

Тухачевский лежал, укрытый стеной ржи. Он наблюдал, что делается на берегу, около дороги из поселка. Вблизи Михаил Николаевич видел всего лишь две лодки. В одну сел мужчина, видимо пришедший из усадьбы. Он принес с собой весла, отомкнул привязанную на цепь лодку и уехал к острову. А из второй лодки, тоже бывшей на цепи, двое мальчишек удили рыбу.

Приходилось ждать.

Томительно тянулись не только часы, каждая минута. Иногда сквозь гудки пароходов ветерок доносил бой часов штральзундской ратуши. Тухачевский представлял, что делается сейчас в лагере: ужинают...

Уже под вечер мужчина, ездивший на остров, вернулся. Он запер лодку на замок, взял весла и ушел.

«Очевидно, и во второй лодке тоже нет весел. Чем же я стану грести?» — подумал Михаил Николаевич.

Перед ним стояли две задачи: сбить у лодки замок и найти что-нибудь, чем можно грести.

Камень он отыскал тут же, на берегу. Оставалось раздобыть какую-либо доску.

«Эврика! — вспомнил он.— Надо оторвать уже наполовину оторванную доску от забора в парке!»

Тухачевский подождал, пока окончательно стемнеет. Мальчишки-рыболовы уже убежали с удочками домой.

Михаил Николаевич пошел по ржи назад, к парку. Он уже был в нескольких шагах от забора, когда навстречу ему, злобно рыча, неожиданно бросилась овчарка. Тухачевский отпрянул назад. Овчарка была на поводке — ее держал немецкий солдат.

— Halt! Hände hoch! [1] — крикнул немец.

Сбоку, с шумом раздвигая рожь, выскочил второй. Он держал винтовку наперевес.

[1] Стой! Руки вверх! *(Нем.)*

Михаил Николаевич догадался: в лагере узнали о его побеге раньше, чем он предполагал, и пустили по следу овчарку.

Все пропало...

Первый блин оказался комом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОСЫЛКА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

1

На учетной карточке военнопленного подпоручика Михаила Тухачевского красовалась особая отметка красным карандашом «F», что означало: «Flüchtling», то есть беглец.

Действительно, подпоручик Тухачевский уже дважды пытался бежать из немецких лагерей, но оба раза его ловили.

И вот теперь этого упорно не желающего покориться печальным обстоятельствам, твердого и последовательного в своих намерениях русского офицера доставили в штрафной лагерь в саксонский город Галле.

Михаил Николаевич Тухачевский томился в тяжком германском плену уже целый год. Галле был четвертым лагерем, в который попал Тухачевский, и потому его ничто не могло удивить.

В Галле Михаил Николаевич увидел все то же, что видел в Штральзунде, Бескове и Кюстрине, где успел побывать за год.

Здесь был такой же заносчивый и жестокий комендант из отставных обер-лейтенантов с торчком стоящими, как у кайзера Вильгельма Второго, усами, те же грубые фельдфебели-ландштурмисты из разжиревших бюргеров, те же солдаты ландштурма в старых, пахнущих нафталином и мышами серых мундирах и сапогах с короткими голенищами. Здесь была та же «кантына», открывающаяся в часы обеда, где продавалась по произвольным, взвинченным ценам разная мелочь.

Кормили в Галле по одному для всех лагерей меню — бурдой из брюквы, картофельной шелухи и рыбьих костей и выдавали «военный хлеб», в котором

с каждым месяцем все меньше становилось муки и все больше несъедобных примесей.

Только само помещение, где жили в Галле военнопленные русские офицеры, было несколько отлично от других лагерей.

В большинстве случаев офицерские лагеря размещались либо в старых, ставших непригодными, казармах, либо в сырых казематах средневековых крепостей.

Галле являлся исключением: лагерь для военнопленных офицеров немцы устроили в бывшем фабричном цехе какой-то упраздненной фабрики, добросовестно опутав его рядами колючей проволоки (колючей проволоки немцы не жалели — это же не картошка!).

Огромный фабричный цех разделили пополам на два этажа, установив внизу столбы. На них настлали деревянный пол. Пол второго этажа был щелист, и весь шлак и мусор, принесенный со двора по внутренней лестнице, сыпался сквозь щели в первый этаж на головы живущих там.

Громадные радужно-тусклые от застарелой фабричной копоти и грязи окна на втором этаже начинались от самого пола. Вся громада бывшего фабричного цеха делилась в обоих этажах дощатыми перегородками на отдельные комнаты. В каждой из них стояли почти вплотную друг к дружке двадцать пять кроватей. Меблировка и постели были обычные. Посреди комнаты — стол и ни одной скамейки или табуретки. Обшарпанные железные кровати, жесткие матрацы, набитые стружками, такая же, из стружек, подушка («как у покойников» — говорили пленные) и серо-бурое жесткое одеяло. Оно казалось как бы естественным продолжением самой кровати.

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда... —

мысленно продекламировал Михаил Николаевич Тухачевский, когда его в мартовское утро 1916 года ввели в комнату № 3 на первом этаже.

Да! Убогая, тюремная обстановка. Тягостная, подневольная жизнь! И, конечно, все это уже было. Но было не «когда-то», а всего лишь месяц тому назад в Кюстрине. Все это было полгода тому назад в Беско-

ве — небольшом городке возле Берлина, а еще раньше — в приморском Штральзунде...

Но двор в Галле выглядел особенно неприглядным и мрачным: его покрывал толстый слой каменноугольного шлака. И на нем ни единого зеленого пятнышка — ни деревца, ни кустика.

А от шагов десятков уныло слонявшихся из угла в угол узников над двором висела дымка мелкой угольной пыли.

Безрадостная, жуткая картина!..

2

Ближайшими соседями Михаила Николаевича Тухачевского по комнате № 3 оказались два пехотных офицера — прапорщик Филиппов и подпоручик Мисевич. Кровать Мисевича стояла слева, а Филиппова — справа от кровати Михаила Николаевича.

Мисевич — высокий блондин с парикмахерскими черными усиками — сразу же не понравился Михаилу Николаевичу. За год скитаний по лагерям Тухачевский перевидел много разных людей и уже понемногу научился разбираться в них.

Мисевич представлял собой весьма нередкий среди кадровых армейских офицеров тип. Он был одним из тех гимназистов, которые «убоялись бездны премудрости» и, не одолев полного гимназического курса, предпочли с шестого класса поступить в юнкерское училище, благо туда принимали без законченного среднего образования. В юнкерском училище он оказался неплохим строевиком, но науками по-прежнему себя не утруждал — увлекался не тактикой и стратегией, а девушками и бильярдом. Юнкерское училище он окончил, как тогда выражались, «под союзом», то есть в списке юнкеров, окончивших училище, его фамилия стояла последней: «... и Мисевич».

Не успел Михаил Николаевич подойти к своей кровати и положить на нее узелок с пожитками, как Мисевич запросто, не знакомясь, обратился к Тухачевскому:

— Поручик, нет ли у вас папиросочки?

— Простите, я не курю,— вежливо, но сухо ответил Тухачевский.

— Вот беда: и вы не курите, как и он,— кивнул на Филиппова Мисевич.— А в преферанс играете?

— Нет. Не люблю карт,— улыбнулся одними глазами Михаил Николаевич.

Мисевич только махнул в безнадежности рукой и, напевая опереточное:

Это девушки все обожают,
От принцесс до крестьянок простых...—

достал из-под подушки изрядно потрепанную колоду карт и ушел.

Тухачевский взглянул на второго соседа. Справа у своей кровати стоял среднего роста прапорщик лет тридцати, постарше Тухачевского. В его подобранной, худощавой фигуре угадывался гимнаст. Михаил Николаевич уже обратил внимание на то, что этот сосед справа прекрасно владеет немецким языком. Когда капрал-ландштурмист, который привел Тухачевского в комнату № 3, еще у двери крикнул, не обращаясь, в сущности, ни к кому, где тут у них свободное место, худощавый прапорщик ответил капралу на безукоризненном немецком языке.

— Позвольте познакомиться,— подошел к нему Михаил Николаевич, — подпоручик Тухачевский.

— Очень приятно. Филиппов, Александр Павлович, — поклонившись, просто ответил он. — Вы, очевидно, тоже не в первом лагере? — спросил Филиппов.

— Так точно. Я уже год в плену.

— Садитесь, прошу вас, поговорим, — предложил Филиппов.

Михаил Николаевич поклонился и сел к себе на кровать. Филиппов уселся против него, на своей.

— Я тоже больше года маюсь...— сказал Филиппов. — Взят в плен тринадцатого октября тысяча девятьсот четырнадцатого года под Варшавой.

— А я в феврале тысяча девятьсот пятнадцатого под Кольно.

— И где же успели побывать? — спросил Филиппов.

— В Штральзунде, Бескове и Кюстрине.

— А в Кроссене быть не довелось?

— Нет.

— Говорят, в Кроссене — самый лучший офицер-

ский лагерь. Его показывают всем «нейтралам». А в Штральзунде был и я. Как же! Помещался в бельэтаже, в ложе «В»,— улыбнулся Филиппов.— Если вас привезли сюда, в штрафной лагерь, стало быть, и вы пробовали бежать?

— Пробовал два раза, — ответил Тухачевский, — и оба раза неудачно: из Штральзунда и Кюстрина.

— Из Штральзунда, конечно, пытались на лодке?

— Хотел на лодке, но не успел достать ее...

— А из Кюстрина как?

— Три месяца рыл с двумя товарищами подкоп. И напрасно...

— Знакомая история... А из Бескова не собирались бежать?

— Было невозможно: Берлин в двух шагах, пленных мало — всего шестьдесят человек, а охрана — зверская.

— А за что же тогда отправили вас из Бескова в Кюстрин? — полюбопытствовал Филиппов. — Ведь Кюстрин тоже штрафной лагерь!

— Я увидел, что из Бескова не убежать, и решил во что бы то ни стало переменить место.

— «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест»? — вопросительно продекламировал с улыбкой Филиппов.

— Да, вот именно! Я изо всех сил старался обозлить коменданта. А он был такой важный, майор Тунцельман фон Адлерфлюг! Отвратительный тип!

— Коменданты все такие!

— Однажды в Бесков приехал для инспекции какой-то ландштурмистский генерал. Он вошел к нам, а я сделал вид, что не замечаю генерала. Комендант подскочил ко мне с кулаками, кричит: «Это вам будет дорого стоить!» А я ему: «Скажите, сколько? Я в долгу не останусь!»

— Так, так,— кивал головой Филиппов.— Ну и что же сделал герр Тунцельман фон Адлерфлюг? Какой «полет» устроил он вам?

— Устроил. На следующий же день я полетел в Кюстрин...

— В Кюстрине, говорят, очень плохо, чуть ли не как в Нейссе.

— В Кюстрине ужасно. Полутемные казематы. Окна

упираются в земляной вал. Сидишь, как в могиле... А позвольте узнать, откуда и как бежали вы? — спросил Михаил Николаевич.

— Я тоже дважды пытался бежать. В первый раз из Торгау. Там на территории лагеря находилась швейная мастерская. Мне удалось переодеться и выйти из лагеря вместе с рабочими. Прошел через город в лес, но у меня не было ни карты, ни компаса. Шел по звездам на запад. Хотел выйти к голландской границе. Ночью напоролся на полевую жандармерию. Жандармы ходят с собаками, с бульдогами. В бегстве это самая неприятная встреча. Посадили на месяц в тюрьму, а потом отправили в Бур-бай-Магдебург. Там заведовал офицерской кухней. Бежал вон с этим франтом, Мисевичем, с помощью подкопа. Но в городе Мисевич попался — он же из всего немецкого языка знает одно: «Ein glas Bier» [1].

— Да, вам хорошо — вы прекрасно говорите по-немецки.

— Я окончил в Петербурге немецкую школу, «Петершуле», на Невском, а потом служил конторщиком в немецкой фирме «Блюмберг и Ромпе» в Гостином дворе... Вы ведь тоже знаете немецкий язык?

— Немногим больше, чем подпоручик Мисевич,— пошутил Тухачевский.

— Вы, насколько я понимаю, из гвардии?

— Точно так. Я из лейб-гвардии Семеновского. А вы?

— Я — армейщина... Действительную отбывал вольноопределяющимся в сто сорок пятом Новочеркасском, а призван из запаса в восемьдесят шестой Вильманстрандский... Простите, как ваше имя-отчество?

— Михаил Николаевич.

— Михаил Николаевич,— наклонившись к Тухачевскому и кладя ему руку на колено, спросил Филиппов, — вы долго намерены оставаться здесь?

— Нет, не собираюсь засиживаться... Я все равно буду пытаться бежать! — убежденно ответил Тухачевский.

Он говорил откровенно — прапорщик Филиппов понравился ему, внушал доверие.

---

[1] Одна кружка пива *(нем.)*.

— Михаил Николаевич, давайте попытаем счастья вместе? — предложил Филиппов.

— Что же, хорошо, Александр Павлович, я согласен! — живо отозвался Тухачевский.

3

Первые дни в Галле Тухачевский проводил, как обычно на новом месте, — знакомился с обстановкой и людьми. Пленные офицеры занимались в Галле тем же, чем занимались во всех лагерях: валялись на жестких ребрах коек, вели бесконечные споры-разговоры, ждали писем и посылок из России, играли в карты да слонялись по убийственно пыльному двору.

Конечно, самой злободневной, всегдашней темой бесед и споров была война.

И в Штральзунде, и в Бескове, и в Кюстрине пленные охотились за каждым обрывком газет, который попадал к ним. Газеты в виде оберточного материала оказывались в посылках из дому. Лагерные немецкие рабочие заворачивали в газеты свой «фриштык». Из этих случайных обрывков пленные узнавали, что делается дома и в самой Германии. Знали, например, о том, что Германия объявила морскую блокаду Англии, а Италия воюет со своими бывшими союзниками Германией и Австрией и что бездарный Николай Второй стал верховным главнокомандующим армиями.

Местные немецкие газеты проговаривались кое о чем из своих домашних дел: печатали, например, «Die 10 Kriegsgebote» — перефразированные десять библейских заповедей: «Что должен и чего не должен есть немец во время войны».

Из этой коротенькой заметки пленные выводили заключение, что в Германии не так уж густо с продовольствием, как уверяют фельдфебели-ландштурмисты и все эти коменданты.

В провинциальных газетах попадались и такие объявления, которые говорили о том, что не все немцы шовинисты и враги: «Доводится до всеобщего сведения, что всякое внимание, которое будет оказываться проживающим здесь русским, угрожает штрафом. Обратное же отношение не будет иметь никаких последствий». Значит, кое-где было же сочувствие к застигнутым в

Германии войной русским людям! Значит, в Германии есть не только Гинденбурги и Людендорфы!

Кроме того, лагерная администрация раздавала пленным агитационную газету «Русские известия». Эта насквозь лживая, предательская газета издавалась в Берлине на русском языке специально для обработки пленных в прогерманском духе. Судя по ней, положение Германии на фронтах всегда было блестящим, а союзники терпели поражения.

«Русские известия» систематически печатали примеры неудачных побегов пленных, чтобы мятежным душам, вроде подпоручика Тухачевского и прапорщика Филиппова, не было повадно бежать. Они пугали беглецов: мол, на пути столько рек и каналов, многие тонут. И в побеге только потеряешь здоровье,— как будто немцы беспокоились о здоровье русских! И этот провокационный листок доходил в своей беспардонной и наглой лжи до полного абсурда, утверждая, что пленные увезут на родину «лучшие воспоминания о приятном и полезном препровождении времени в плену» и «светлый образ немецкого часового», который в действительности открыто презирал русских пленных и старался как мог изощреннее поиздеваться над ними.

Знакомясь со всей доступной для обозрения территорией лагеря, Тухачевский в первые дни обнаружил в Галле то, чего не встречал ни в одном лагере: оказалось, что в Галле существовала лагерная библиотека. Ее организовали сами пленные офицеры.

В углу пыльного двора стояли два кирпичных барака. В одном из них жили пленные солдаты-денщики, обслуживавшие офицеров. А во втором помещалась баня и просторная умывальная комната. В этой комнате и стоял небольшой шкаф с книгами. Библиотека была открыта от обеда до ужина.

В один из дней Михаил Николаевич решил заглянуть в библиотеку. Тухачевский вошел в умывалку и остановился на пороге. Шкаф был раскрыт. На его четырех полках стояло несколько десятков книг разного формата, в переплетах и без переплетов.

«У нашего Коли больше книг!» — подумал Михаил Николаевич, вспомнив библиотеку своего старшего брата Николая, которого за его пристрастие к книгам в семье Тухачевских звали «домашней энциклопедией».

Возле шкафа у окна стоял с книгой в руках лысоватый артиллерийский штабс-капитан в очках. Он, очевидно, и заведовал библиотекой.

— Простите, можно посмотреть книги? — спросил Тухачевский.

— Пожалуйста, выбирайте, что вам приглянется, — ответил штабс-капитан, чуть поднимая глаза от страницы.

Михаил Николаевич подошел к шкафу и начал просматривать книги одну за другой.

В основном здесь были разные издания классиков. Приложения к «Ниве», издания Сытина, Сойкина, Вольфа, берлинские издания Ладыжникова и другие.

Вон любимый Тухачевским Лев Толстой. Такие привычные, небольшие томики «Войны и мира» в знакомом издании Кушнерова. «Детство и отрочество», «Севастопольские рассказы», Пушкин в одном томе, с иллюстрациями, памятными еще с гимназических лет, такой же Гоголь и «земляк» Тухачевских — чембарский Лермонтов. Вспомнилась далекая, родная Пенза. Так захотелось увидеть всех своих — мать, сестер, братьев! . .

Вот томики Чехова, Достоевского, Тургенева. Вот пленительная «Анна Каренина».

Повеяло Москвой. Живо представился тихий Филипповский переулок. Напротив дома, где жили Тухачевские, снимал квартиру молодой капитан с красивой женой. Братья Тухачевские засматривались на нее. Весной, когда были открыты окна и Миша видел, как офицер возвращается с женой из города, он кричал младшему брату Игорю:

— Ира, играй!

Ира, вечно сидевший за роялем, начинал играть марш Мендельсона. И офицерша не могла не слышать этой встречи. Через несколько минут капитан и его красивая жена входили в свою квартиру. Было видно, как они садятся за стол и денщик подает им обед. Жена сажала своего капитана спиной к окну, а сама помещалась напротив. Она время от времени лукаво вскидывала глаза на окна Тухачевских. Офицерша чем-то напоминала Михаилу Николаевичу Анну Каренину. Это и вспомнилось сейчас.

Тухачевский продолжал перебирать книги. Дальше шли Лесков, Бунин, Гончаров, Горький, Гаршин, Лео-

нид Андреев и «александровец» — как и Тухачевский, кончивший когда-то Александровское военное училище — Куприн.

— Простите, откуда получены эти книги? — полюбопытствовал он.

— Классиков прислала из Швеции жена посланника Неклюдова, — ответил лысоватый штабс-капитан.

«Неклюдов... Нехлюдов...» — подумалось.

А вот и само «Воскресение», зачитанное до дыр.

Кропоткин — «Записки революционера».

А на следующей полке — иностранцы, но такие близкие: Флобер, Мопассан, Золя, Ибсен, Стриндберг, Метерлинк и любимый Кнут Гамсун...

Тухачевский отложил гамсуновский «Голод» и нагнулся к нижней полке, где лежали еще какие-то книги и газеты. Он бросил взгляд на лежащую сверху газету:

«Социал-демократ. Центральный Орган Российской социал-демократической рабочей партии, № 45-46, Женева, 11 окт. 1915 г.»

Стал читать:

«МАНИФЕСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЦИММЕРВАЛЬДЕ

Пролетарии Европы!

Более года длится война. Миллионы трупов покрывают поля сражений, миллионы людей превращаются на всю жизнь в калек. *Европа превратилась в гигантскую человеческую бойню.* Трудами многих поколений созданная культура отдана на расточение. Самое дикое варварство торжествует ныне свою победу над всем, что составляло гордость человечества».

Как метко и верно! Надо взять и прочесть весь материал внимательно! Но кто же подписал этот поразительный манифест?

Тухачевский посмотрел подписи:

«За немецкую делегацию...»

«За французскую делегацию...»

«За итальянскую делегацию...»

Поставлены какие-то фамилии, которые ничего не говорят подпоручику Тухачевскому.

«За русскую делегацию: Н. Ленин, Павел Аксельрод и М. Бобров». Об Аксельроде и Боброве слышал в первый раз. А вот о Ленине Тухачевский кое-что знал.

В Москве к ним в маленький флигелек в тихом Филипповском переулке, где жили Тухачевские, частенько хаживал знакомый студент-юрист Николай Николаевич Кулябко. Кулябко так же, как и Тухачевские, был предан музыке (он мечтал стать дирижером) и, кроме того, считал себя убежденным марксистом. И отец, и родной дядя Коли Кулябко, Юрий Павлович Кулябко, были социал-демократами. Особенно много сил отдавала партийной работе жена Юрия Павловича Прасковья Ивановна Кулябко. Еще до 1905 года она выполняла поручения Ленина. Маленькая, худощавая, но проворная, как мышка (она в партии носила такую же кличку), Прасковья Ивановна Кулябко хорошо знала Владимира Ильича Ленина и Надежду Константиновну Крупскую. Из рассказов Коли Кулябко Тухачевские и услыхали о Ленине и Крупской.

В России Михаил Николаевич ничего не читал из того, что писал Ленин.

«Может быть, здесь удастся прочесть?» — мелькнуло в голове.

— А нет ли у вас чего-либо из работ Ленина? — спросил он лысоватого штабс-капитана.

Штабс-капитан с интересом глянул на Тухачевского:

— Есть.

Он шагнул к шкафу и достал с нижней полки брошюру:

— Вот, пожалуйста!

Тухачевский взял брошюру. На обложке было напечатано: «Социализм и война».

— Это кстати!

Он начал листать брошюру, читая некоторые абзацы:

«Социалисты всегда осуждали войну между народами, как варварское и зверское дело».

«Теперешняя война есть империалистическая война».

«Война есть продолжение политики иными (именно: насильственными) средствами.

Это знаменитое изречение принадлежит одному из самых глубоких писателей по военным вопросам, Клаузевицу».

«Да, да, это — Клаузевиц!» — вспомнил Тухачев-

ский. Михаил Николаевич живо представил себе два больших тома в кирпичного цвета обложках. На них напечатано: «Война (теория стратегии). Сочинение Клаузевица. Перевод с немецкого К. Войде».

Клаузевица Тухачевский хорошо знал: в Александровском военном училище юнкер Тухачевский внимательно проштудировал оба тома «Войны». И тут же вспомнилось, как сказано у Клаузевица дальше:

«Политика ставит цель, война — орудие для ее достижения».

Интересная брошюра. Надо ее прочесть как следует!

Он обернулся к штабс-капитану:

— Если позволите, я возьму брошюру и вот этот номер «Социал-демократа»?

— Берите. Вы из какой комнаты?

— Из третьей. Моя фамилия — Тухачевский, — сказал Михаил Николаевич, ставя на место томик Гамсуна.

Штабс-капитан стал записывать брошюру и газету в свою тетрадочку, которая лежала на подоконнике.

Тухачевский, взяв брошюру и газету, пошел через черный от угольной пыли двор.

Из его соседей на месте оказался только Мисевич. Александр Павлович Филиппов, свободно говоривший по-немецки, уже второй день добивался у коменданта лагеря разрешения устроить на заднем отрезке двора площадку для городков. Дело было, конечно, не в городках: Филиппов хотел как-либо стороной разузнать, где расположены посты караула,— вся территория бывшей фабрики была обнесена высокой каменной стеной.

— Что вы взяли интересного почитать? — спросил Мисевич, садясь на постели.

Тухачевский молча протянул ему брошюру.

— Э-э, я-то думал, какой-либо роман! Мне война и без того осточертела! — разочарованно скривился Мисевич, возвращая брошюру Тухачевскому.— А вот в шестой комнате есть Поль де Кок... Вообще, что тут читать, глаза портить? Пойду-ка я лучше к соседям, заложим до ужина пулечку!

И Мисевич ушел, напевая из любимой оперетки:

По ночам лишь о том и мечтают,
Чтобы сбылись желания их!

В комнате стоял шум — говорили, спорили.

Михаил Николаевич сел на кровать и углубился в

брошюру, не обращая внимания на то, что со щелистого потолка сыплется песок,— на втором этаже ходили.

...На следующий день Тухачевский встретился с лысоватым штабс-капитаном после завтрака на дворе.

— Брошюру я еще почитаю, а газету могу сегодня же вернуть с благодарностью,— сказал он.

— Сегодня как раз не возвращайте: к нам пожаловали из Красного Креста посмотреть, как мы живем. Приехала вдова генерала Самсонова и княгиня Ширвашидзе. Они, конечно, захотят посмотреть, что мы читаем. И если увидят такие издания, сразу изымут,— ответил штабс-капитан.

— Скажите, откуда вы получили брошюру и газеты? — поинтересовался Тухачевский.

— Из Швейцарии.

— Ленин прислал?

— Нет, не он. Тоже какая-то женщина. Крупенская, что ли...

— Крупская,— поправил Михаил Николаевич.

— Да, да, Крупская!

— Так ведь это — жена Ленина,— улыбнулся одними глазами, как улыбался всегда, Тухачевский.

Михаил Николаевич Тухачевский не мог предполагать, что через два года он будет встречаться и говорить с Лениным и что Ленин в его жизни будет иметь такое решающее значение.

4

Тухачевский был доволен своим новым компаньоном. Александр Павлович Филиппов понравился ему как человек, и, кроме того, Филиппов обладал весьма нужными для побега качествами. Во-первых, он в совершенстве знал немецкий язык, а во-вторых, был хорошо тренирован физически. Филиппов оказался разносторонним спортсменом: хорошо стрелял и плавал, играл в теннис и футбол. Александр Павлович происходил из известной в Петербурге футбольной семьи Филипповых. Пять братьев Филипповых играли в коломяжском футбольном клубе, и Александр — центрфорвардом.

Тухачевский и Филиппов, насколько могли, обследовали лагерь в Галле. Лагерь сильно охранялся. За высокой кирпичной стеной находились посты охраны,

но установить их пока не удавалось. В город не пускали, а гулять разрешалось только на территории бывшей фабрики.

Прошла неделя, началась вторая, а Тухачевский и Филиппов никак не могли придумать никакого плана побега.

И вдруг все разрешилось само собою. Комендант объявил, что в Галле будут размещены французские офицеры, взятые в плен в Мобеже, а русских перевезут в другое место.

Такая неожиданная перетасовка не удивила никого. Когда у немцев на фронте не было успешных операций, они перевозили пленных из одного лагеря в другой. Делали это затем, чтобы население думало, будто германская армия одерживает победы и это везут трофеи и пленных, взятых в последних боях.

Всех пленных разбили на две группы: одну отправили куда-то на восток, а вторую — на север. Тухачевский и Филиппов попали на север. Вместе с ними уезжал и лысоватый штабс-капитан Игнатюк. Он увозил с собой лагерную библиотеку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БАД-ШТУЕР

1

Небольшую партию пленных русских офицеров, в которую входили Тухачевский и Филиппов, везли трое суток. Пленные понимали, что их умышленно не торопятся доставить по назначению.

В первые два дня им не давали ничего, кроме хлебного пайка. На третий день поезд остановился на небольшой станции за Магдебургом. Русским приказали выйти из вагонов: их собирались вести куда-то покормить. Окруженные ландштурмистами, пленные офицеры тянулись по перрону вслед за капралом. Они не ждали особых разносолов, но надеялись хоть выпить чашечку горячего желудевого кофе. И вдруг пленные увидели: навстречу им шли четыре сестры милосердия и двое санитаров. Санитары несли что-то на подносах. Пленным уже показалось, что на тарелках лежат сосиски...

Русские не верили своим глазам: такую встречу в их подневольной жизни они видели впервые. Пленные с радостными улыбками устремились к санитарам, но сестры грубо оттолкнули их, громко предупреждая:

— Нет, нет, это не для вас! Не для русских собак! Это нашим дорогим героям!

И стали потчевать конвойных.

А русских погнали в конец перрона, где им дали по тарелке какой-то размазни...

На четвертый день езды пленных высадили в Мекленбурге на станции Ганции.

Захудалая, затерявшаяся среди сосновых лесов, станция произвела на русских хорошее впечатление. В этом, конечно, большую роль сыграли весенний солнечный день и безмятежная тишина пристанционного городка.

Весна была в разгаре. Все кругом цвело и радовалось жизни. Ожили и пленные. Снова кружили голову несбыточные надежды. Думалось: отсюда, из этого лагеря, укрытого в сосновых лесах, будет легче бежать, чем из каких-либо крепостных фортов.

Русские офицеры живо складывали на лагерную фуру свои убогие пожитки — узелки, свертки, вещевые мешки, чемоданчики — и становились в колонну. Пленных повели в лагерь, до которого считалось несколько километров. От конвойных ландштурмистов все узнали, что лагерь называется Бад-Штуер и что он расположен у озера Плауер в бывшем купальном пансионе.

Пленные с удовольствием прошли километров пять по лесной дороге, затем около километра по шоссе и свернули на проселок, бежавший среди зеленых полей.

Так приятно было услышать жаворонка и задорную перекличку петухов, доносившуюся откуда-то из-за леса.

Еще полкилометра, и вдали показались знакомые, надоевшие контуры лагеря: высокий забор из нескольких рядов колючей проволоки и вышки часовых. Но за всем этим виднелся большой двухэтажный деревянный дом, окруженный деревьями. Сосновая роща подходила к самой усадьбе. А сбоку блестело чистое зеркало большого озера.

— Немного похоже, как в Штральзунде, — заметил Тухачевский.

— Отсюда мы должны непременно убежать! — сказал Филиппов.

В Бад-Штуере уже помещалось человек тридцать пленных русских офицеров. Прибывшим из Галле предложили устраиваться кто где хочет.

Тухачевский и Филиппов облюбовали небольшую комнату в мансарде — туда вела скрипучая лестница. В мансарде, подальше от ландштурмистских глаз, удобнее готовиться к побегу: скрипучая лестница всегда предупредит заранее, что кто-то идет!

В мансарде они застали высокого светлоусого поручика пятого Земгальского латышского полка Лициса.

После мрачного и неуютного лагеря в Галле живописный Бад-Штуер показался санаторием. Но кормили здесь так же впроголодь, как всюду.

Спокойно-рассудительный поручик Лицис показал своим соседям открытку, которую он собирался посылать родным в Ригу. На открытке военнопленного, на этом бланке «Kriegsgefangenensendung» Лицис написал: «Bruder Bads, grüsse die Bekannten, welche wohnen auf Maisenaustrasse. Wohnt noch Fräulein Baromus bei Beeschu auf Atritumustrasse?»

В переводе получалось: «Брат Бадс, поклонись знакомым, которые живут на улице Майзенау. Живет ли еще барышня Баромус у Беешу, на улице Атритуму?»

На первый взгляд текст как будто не заключал в себе ничего особенного, но он предстал другим, когда Лицис объяснил, что «бадс» по-латышски — голод, «майзенау» значит — хлеба нет, «баромус» — нас кормят, «атритуму» — отбросы. . .

Многие пленные слали родным такие зашифрованные письма о своем тяжелом, полуголодном существовании в плену.

В Бад-Штуере было так же голодно, как и всюду, но немножко вольготнее, чем в других лагерях.

Комендант лагеря капитан Рерих разрешал пленным гулять после обеда в роще и купаться в озере, но брал с каждого пленного подписку о том, что русский не станет пытаться бежать с прогулки.

Когда Тухачевский и Филиппов впервые пошли в рощу, Александр Павлович предложил Михаилу Николаевичу бежать, но Тухачевский наотрез отказался:

— Не могу,— я же дал слово Рериху!

— Пустяки: ведь вы дали слово немцу, врагу...

— Все равно. Слово есть слово! — стоял на своем Тухачевский.— Найдем какой-либо иной выход!

Но проходили дни, а выхода все никак не могли придумать.

2

Осмотревшись на новом месте, Тухачевский снова стал наведываться в лагерную библиотеку. Штабс-капитан Игнатюк перевез все книги из Галле в Бад-Штуер. Он и здесь раздобыл у коменданта небольшой шкаф и поставил его в коридоре первого этажа. Книги были все те же — за это время ничего нового не прибавилось.

Михаил Николаевич досконально пересмотрел их, перечитал заново «Записки революционера» Кропоткина — хотел возобновить в памяти историю побега Кропоткина из тюрьмы. Нашел еще одну подходящую книжку — ее словно нарочно прислали в библиотеку пленных. Книжка была издана в 1908 году в Берлине и называлась так: «Лев Дейч. Четыре побега».

В ней рассказывалось, как Дейч бежал из киевской тюрьмы и из Сибири. Все это было интересно, но практически не давало ничего... Кроме чтения и всегдашних бесконечных разговоров с Филипповым о планах побега Михаил Николаевич играл на скрипке. Вся семья Тухачевских была музыкальная. Музыку привили с детства бабушка Софья Валентиновна и отец Николай Николаевич. Они оба хорошо играли на рояле. Братья Александр и Игорь учились в Московской консерватории, а Миша играл на скрипке самоучкой.

Братья Тухачевские часто составляли трио: Миша играл на скрипке, Шура на виолончели, а Игорь на рояле. В плену Михаил Николаевич тосковал без музыки. Он купил через торговца лагерной лавчонки скрипку. Истратил на нее все свои сбережения — пятьдесят марок.

Младшие офицеры получали в плену жалованье — шестьдесят марок в месяц. Из них сорок марок высчитывали на «питание»: за эту вечную брюкву, подававшуюся в разных видах каждый день, и за бурду, пышно именуемую «кофе». На руки выдавали только два-

дцать марок — на стирку белья, табак, мыло и прочую мелочь.

Это напоминало известную песенку о солдатском жалованье:

По три денежки на день —
Куда хочешь, туда день...

И все-таки Михаил Николаевич скопил пятьдесят марок на скрипку. И когда в лагере в одиннадцать часов вечера гасились огни и все затихало, из мансарды лились звуки скрипки — это играл подпоручик Тухачевский, так все и знали. Комендант капитан Рерих не запрещал музыки,— он сам был музыкант.

А за проволочными заграждениями, за лагерной решеткой шла большая жизнь. До пленных доходили отголоски событий.

В Берлине состоялась первомайская демонстрация во главе с солдатом Карлом Либкнехтом. Как и следовало ожидать, Карла Либкнехта арестовали.

Тухачевский старался расспросить помощника коменданта словоохотливого фельдфебеля-лейтенанта Шветцера. Шветцер только морщился и переводил разговор на другое. Но через некоторое время он сам охотно заговорил о Карле Либкнехте, сказав, что Карла Либкнехта присудили к четырем годам и одному месяцу каторжной тюрьмы.

— И выгнали вашего Карла Либкнехта вон из армии! Heraus![1] — говорил с удовлетворением фельдфебель-лейтенант.

В середине июня лагерь взбудоражила как-то просочившаяся новость — генерал Брусилов начал большое наступление в Галиции. Предположениям и слухам не было конца. Доморощенные стратеги и дипломаты предсказывали самые необычайные события. Конечно, больше всего предсказывали конец войны — это была самая заветная мечта всех.

О наступлении Брусилова немцы не хотели даже и слышать.

— Das ist Lüge![2] — отвечали они.

---

[1] Вон! *(Нем.)*
[2] Это — ложь! *(Нем.)*

А фельдфебель-лейтенант Шветцер кривился и говорил, оправдываясь:

— Э, австрийцы не умеют воевать!

Лето проходило.

Уходили лучшие для побега теплые ночи, а Тухачевский и Филиппов все не могли придумать, как бы убежать из этого докучного «пансиона».

Пленных в Бад-Штуере содержалось немного — около семидесяти человек, а караул был большой и тщательно охранял лагерь.

Бежать из Бад-Штуера вообще было не так-то удобно: до голландской границы — далеко, километров четыреста, а до русской, до конца германо-русского фронта,— втрое больше...

Филиппов продолжал настаивать на побеге с прогулки, но Тухачевский не соглашался.

И наконец план побега был найден случайно.

3

Стиркой белья пленных офицеров в Бад-Штуере сначала не ведал никто. Каждый устраивался как мог: одним белье стирали денщики, другие отдавали прачкам, оставшимся в Бад-Штуере от бывшего пансиона, а третьи, проигравшись в карты, стирали в озере сами.

В середине лета расторопный комендант фон Рерих упорядочил это дело. Все белье стали стирать в городской прачечной в Ганцине. За бельем из города приезжал раз в неделю на пароконной фуре старый немец Ганс, точно сошедший с рисунков Вильгельма Буша, — в допотопном колпаке, с фарфоровой трубкой в зубах. По субботам Ганс привозил в лагерь выстиранное белье, а в понедельник утром приезжал забирать белье в стирку.

Каждый пленный офицер имел для своего белья специальный бумажный мешок. Все мешки складывались в четыре больших деревянных ящика, которые запирали висячими замками. Один ключ от ящиков хранился в прачечной, а второй держал у себя в Бад-Штуере подслеповатый унтер-офицер, ведавший всем лагерным бельем.

Ящики стояли в сенях, в кладовушке.

В первый раз, как Тухачевский и Филиппов увидели эти ящики для белья, у них сразу же возникла мысль: а что, если самим залезть в ящики, дождаться, когда Ганс вывезет их за пределы лагеря, а там, по дороге в Ганцин, вылезть из ящиков и бежать?

Тухачевский и Филиппов были не очень высоки ростом и не очень объемисты. Они видели, что каждый из них уместится в бельевом ящике. Лицис, с которым они поделились своим планом, одобрил его.

— Конечно, вы поместитесь оба, а вот я бы не влез в ящик! — говорил он, оглядывая свою ширококостную, высокую фигуру.

Тухачевский и Филиппов принялись энергично готовиться к побегу, учитывая, что идти до голландской границы придется не неделю и не две. Рюкзаки, хотя и плохонькие, были у них у обоих, перочинные ножи и кружки — тоже. Котелок Филиппов купил у ландштурмиста. Запасли спичек. Хуже обстояло дело с провиантом: в Бад-Штуере можно было купить только соль.

Александр Павлович написал родным в Петербург, и оттуда ему прислали два кило копченой колбасы, сорок галет и десять мясных кубиков бульона «Магги».

Филиппов купил у солдата компас и электрический фонарик, а у бывшего пансионатского шофера автомобильную карту Мекленбург — Ганновер в футляре серо-зеленого цвета. (Филиппов был состоятельнее Тухачевского: он ежемесячно получал из Петербурга часть своего жалованья от фирмы Ромпе — не менее трехсот марок.)

Оставалось решить два основных вопроса — надо было подобрать ключ к висячему замку бельевого ящика (замки были все одинаковы) и сделать так, чтобы можно было, лежа в ящике, запертом снаружи, открыть его крышку изнутри.

Первую задачу решили довольно быстро — Александр Павлович сам сумел сделать к замку отмычку. Со второй задачей придумали справиться иначе: в одной половинке завесов заменить шурупы деревянными клинышками, которые можно легко выковырять изнутри ножом. На все приготовления ушло больше месяца. Только в сентябре Тухачевский и Филиппов смогли привести свой план в исполнение.

В субботу 5 сентября, к вечеру, в лагерь притащил-

ся старый Ганс. Он привез пакеты с чистым бельем. Денщики внесли ящики в кладовушку, и пленные офицеры мигом разобрали свое белье.

Поздно вечером Тухачевский, как обычно, играл на скрипке. Михаилу Николаевичу вспомнилась сцена из побега Кропоткина: пока Кропоткин готовил побег, один из его пособников играл на скрипке мазурку Контского. Этой мазурки Михаил Николаевич не знал, а играл мазурку Венявского...

А в это время Александр Павлович Филиппов тихонько спустился в кладовушку и в обоих намеченных ящиках заменил часть шурупов деревянными клинышками.

С утра в воскресенье 6 сентября, когда все пленные должны были класть свои пакеты с грязным бельем в ящики, Тухачевский и Филиппов не выходили из кладовой, смотрели, чтобы офицеры, укладывая белье, не повредили бы завесы.

— Готово! — сказал унтер-офицеру Филиппов, когда немец пришел закрывать ящики на замок.

— O, ja, ja. Sehr gut! [1] — ответил немец.

Он закрыл замки и вместе с Филипповым и Тухачевским вышел из кладовушки.

Последний день проходил у Тухачевского и Филиппова в волнении. У каждого из них это был третий побег. Как-то удастся он?

День прошел. Все вещи были давно приготовлены. Михаил Николаевич в последний раз поиграл вечером на скрипке, — скрипку, к сожалению, придется оставить.

И вот настало утро 7 сентября 1916 года.

Прошел «аппель», прошел скудный завтрак.

С минуты на минуту должен был приехать на своей высокой фуре старый Ганс. Лицис стоял на страже у дверей кладовушки, чтобы не пускать в нее никого. А Тухачевский и Филиппов открыли отмычкой замки у бельевых ящиков. Они перебросили из двух ящиков в остальные бумажные мешки с бельем и кое-как улеглись в ящики.

Лицис закрыл отмычкой оба ящика на замок и стал ждать приезда Ганса.

Вот наконец в лагерных воротах показалась пара

---

[1] О, да, да. Очень хорошо! *(Нем.)*

вороных и пестрый колпак Ганса, восседавшего на козлах с длинным кнутом в руках.

Ганс подкатил к дому, денщики вынесли из кладовушки ящики и поставили их на фуру. Лицис смотрел, чтобы ящики, в которых лежали Тухачевский и Филиппов, были поставлены рядом, в задок фуры.

Ганс взмахнул кнутом, и фура не спеша выехала из лагеря.

4

Лежать в ящике все-таки было очень неудобно — тесно. Михаил Николаевич скорчился, вжал голову в плечи. От неправильного положения стало затекать тело. Но приходилось терпеть. . .

Выехали на проселок — фура кое-где подскакивала на неровностях дороги. Хотя ящик был не так уж плотно сбит, но все же Тухачевскому стало душно. По его лицу тек пот.

Скорее бы миновать проселок и шоссе!

Михаил Николаевич условился с Александром Павловичем, что вылезать из ящиков они будут, как только въедут в лес.

Вот с проселка выехали на шоссе, колеса покатились гладко, без всякой тряски. Михаил Николаевич повернулся и стал перочинным ножом подковыривать нижнюю часть завесы, которую вместо шурупов держали деревянные клинышки. Завеса поддалась. В открывшуюся небольшую щель потянуло свежим ветерком.

Сейчас, сейчас!

И вот наконец фура съехала с шоссе и покатилась, подпрыгивая на корнях деревьев, по лесной дороге. Тухачевский поднял крышку, высунул голову и огляделся. На дороге не было никого. Старый Ганс безмятежно дремал на высоких козлах, покачиваясь из стороны в сторону.

Михаил Николаевич легонько постучал по крышке ящика, в котором лежал Филиппов. Крышка поднялась, из ящика высунулся вспотевший, но оживленный Александр Павлович. Он махнул головой: вылезаем!

Беглецы осторожно выбрались из ящиков и спрыгнули с фуры. Ганс не слышал ничего: он продолжал дремать. Лошади спокойно шли по знакомой дороге.

Тухачевский и Филиппов юркнули в кусты.

Впереди была долгожданная, желанная свобода!

5

В побеге Тухачевский и Филиппов точно придерживались своего плана, намеченного ими в Бад-Штуере.

Оба они бежали уже в третий раз. Михаилу Николаевичу еще не доводилось путешествовать по чужой земле ночью, а Александр Павлович, хоть и недолго, но шел по звездам из Торгау.

Обычно беглецы пускались в путь только тогда, когда наступала темнота. Немецкая деревня засыпала рано — часов в десять. Выходить засветло они считали опасным. Их несколько необычная одежда (поверх пиджаков на них были накидки-крылатки, как у лейтенанта Шмидта) и наспех бритые лица могли вызывать подозрения.

Тухачевский и Филиппов шли всю ночь. К их счастью, луны не было. Где можно, они двигались по дороге, но, заслышав шум, сворачивали в кусты или в поле. Населенные пункты обязательно обходили. На рассвете друзья присматривали себе где-либо укромное, надежное местечко для отдыха, и главное, для того, чтобы переждать день. На день приходилось прятаться от людского глаза.

Томительны были эти дневные часы в ничегонеделании и вечном опасении, что их вот-вот накроют! Единственным занятием за целый день было тщательное, кропотливое изучение по автомобильной карте предстоящего ночного маршрута да слежка за ближайшей дорогой. Вот к речке пробежала ватага мальчишек, вот старушка в черной соломенной шляпке везет тачку с хворостом, вот на шарабане отправился в город усатый, краснорожий бюргер.

Передвигаться ночью по Германии помогали столбы с указателями, стоявшие на перекрестках и у всех населенных мест. Указатели были прикреплены к столбам высоко — выше человеческого роста, и, чтобы прочесть их, приходилось влезать на столб и, освещая фонариком, читать. Это всегда охотно выполнял Михаил Николаевич — он ловко лазил. (Тухачевский рассказал Александру Павловичу, что любил лазить с детства и что у них во Вражском не осталось ни одного высокого дерева, на которое бы он не влезал будучи еще гимназистом.) Михаил Николаевич светил фонариком и чи-

тал название, а Филиппов, стоя внизу, смотрел во все глаза — не видит ли их кто-нибудь со стороны.

Выбрать подходящее место для дневки было не так легко и просто: ведь выбиралось оно в полутьме. В первые дни пути они убедились в этом на опыте. Однажды Тухачевский и Филиппов остановились на дневку в глухом, как им казалось, уголке леса. Леса в Германии непохожи на русские. В немецких лесах нет ни повала, ни вывороченных с корнем деревьев, за которыми в России хорошо укрываются даже медведи. Товарищи улеглись под сенью густых кустов, завернулись в накидки и спокойно уснули. Филиппов проснулся,— ему почудились близкие голоса. Он глянул из-за кустов и обмер: шагах в тридцати от них трое мужчин сгребали листья и подрезывали на деревьях сучья, готовясь к зиме. То, что беглецы приняли в темноте за лесную опушку, оказалось на самом деле уголком парка.

Филиппов сейчас же разбудил Тухачевского, и они не мешкая убрались из парка подобру-поздорову.

В другой раз их разбудил своим свистом подросток, пришедший в лес ранним утром по грибы. Хорошо, что мальчик не заметил их.

Жизнь беглецов была полна трудностей и лишений. Им не всегда удавалось умыться, и не всегда они пили чистую воду. Случались дни, что с утра до вечера моросил дождик, а обсушиться негде. А самое главное — не хватало еды. Их дневной рацион составляли две-три галеты, граммов сто колбасы и кружка бульона «Магги», если удавалось вскипятить в котелке воду. Вечером, перед отправлением в поход, они разжигали в какой-либо ямке небольшой костер, подвешивали котелок, а сами издали наблюдали — не заметит ли кто-нибудь их костер? Это приготовление скудной пищи отнимало много времени. И так они проходили за ночь в лучшем случае километров пятнадцать. Двигались они очень осторожно, оглядываясь и прислушиваясь. Шли гуськом, шаг в шаг: впереди Тухачевский — он прекрасно ориентировался на местности, сзади Филиппов.

Нервы были так натянуты, что любой звук заставлял их вздрагивать.

Однажды на рассвете они, обходя небольшой мекленбургский городок, шли через местный городской парк. Александр Павлович увидел на аллее автомат,

выбрасывающий пакетик леденцов. Они давно не ели сладкого, и Филиппов бросил в автомат десятипфенниговую монету. Автомат так пронзительно затрещал, что друзья бросились от автомата прочь. Им казалось, что на этот треск сбежится весь город... Но в парке не было ни души. Осмотревшись, они взяли пакетик с леденцами и долго смеялись над своим напрасным испугом.

И так, в постоянном, непрекращающемся напряжении, недоедая и недосыпая, они прошли десять дней.

Семнадцатого сентября, среди ночи, Тухачевский и Филиппов подошли к первой большой водной преграде, реке Эльбе.

Искать мост и не подумали, заранее постановили — переправляться через Эльбу вплавь. Им повезло: в одном месте на берегу они нашли остатки старого, полузатонувшего плота. Небольшой плот намок и, конечно, не смог бы поднять обоих. Они придумали положить на плот одежду и рюкзаки, где были соль, спички, компас, карта и прочее, а самим плыть, держась за плот.

Как неприятно раздеваться в ночной сырости — над рекой стлался туман,— но еще неприятнее лезть в студеную, мрачную воду... Неизвестно, что было холоднее — вода или воздух.

И вот отяжелевший плот тронулся с места. Рядом с ним плыли беглецы. Плыть приходилось медленно, и река казалась бесконечной... Они плыли, коченея в холодной воде, и все никак не могли достичь берега. Стали нервничать.

— Может быть, мы заблудились и делаем круги, как тонущие мыши? — заикаясь от стужи, сказал Тухачевский.

Филиппов чувствовал себя не лучше.

Наконец начало светать. И беглецы, к удивлению и ужасу, увидели, что плывут не по реке, а по какому-то неширокому каналу. Они не заметили, как вышли в него.

Немедленно пристали к берегу, прислушались. Где-то вблизи работала молотилка. Тухачевский и Филиппов торопливо вылезли на берег, оделись и поднялись наверх. В полукилометре от канала светились огни какого-то населенного пункта. Сбоку от деревни чернел лес — их всегдашний спаситель. Друзья поспешили к

лесу, уже не задерживаясь на деревенских огородах, хотя провиант у них был на исходе.

В лесу они доели свои последние запасы, взятые из Бад-Штуера: четыре галеты и граммов двести колбасы. Бульон «Магги» кончился накануне...

Приходилось переходить на «подножный» корм.

6

За Эльбой начался новый, более трудный этап.

Из запасов провизии у них осталась только горсть соли. Основной едой беглецов сделались немецкие овощи и фрукты.

— Александр Павлович, мы с тобой окончательно стали вегетарианцами, как Лев Толстой! — шутил Тухачевский.

И раньше они рыли на полях картофель, рвали морковь и брюкву. Но брали понемногу, а теперь приходилось запасаться овощами и фруктами впрок. Тухачевский нес полный рюкзак яблок, у Филиппова рюкзак был набит разными овощами. Варить бульон было уже не из чего. Иногда варили грибы и в золе костра пекли картошку — так было проще. С каждым днем все больше сказывалось недоедание, силы иссякали. Поэтому шли медленнее, чем прежде.

На пятнадцатый день увидели у Бремена вторую большую реку — Везер. Они целую ночь терпеливо прошарили по берегу — нигде ни лодки, ни плота...

— Неужели придется переплывать и эту проклятую реку? — ужаснулся Михаил Николаевич, когда они, обессиленные тщетными поисками, сели у дышащей холодом реки.

— Тогда нам помогал плот, а теперь и плота нет,— сумрачно прибавил Филиппов.— Пожалуй, нам не переплыть!

— Будь что будет: пойдем через мост! Ведь ты же отлично говоришь по-немецки! — сказал Тухачевский.— Да и освещение на мосту не такое уж яркое...

Контуры горбатого железнодорожного моста чернели невдалеке. Тухачевский и Филиппов подошли к нему. Сели, прислушались. Да, мост, конечно, охраняется солдатами. Слышно, как они окликают рабочих, идущих на ночную смену в город.

Железнодорожная колея занимала весь мост. Только по краю шла пешеходная дорожка. От железнодорожного полотна ее отделяла высокая решетка. Часовой ходил взад и вперед по мосту.

Филиппов предложил такой вариант. Он будет громко рассказывать Михаилу Николаевичу смешную историю о том, как Бруно неожиданно явился с фронта на побывку домой, приехал ночью и застал в постели жены булочника Михеля — своего соседа...

— А ты только погромче смейся и повторяй: «Da haben wir's» [1] — учил он Тухачевского. — Если солдат что-либо спросит у нас, отвечать буду я.

Так и поступили.

На мост взошли непринужденно, шумно. Александр Павлович громко рассказывал о вымышленном Бруно и его любвеобильной фрау Лотте, Михаил Николаевич хохотал во все горло, повторяя:

— Da haben wir's!

Часовой, шедший им навстречу, чуть повернул голову в их сторону и, стуча подкованными каблуками добротных сапог, промаршировал мимо. Филиппов продолжал рассказывать еще что-то, а Михаил Николаевич уже смеялся по-настоящему радостно: пронесло!

Этот случай подбодрил их. За три недели благополучных ночных скитаний понемногу начало притупляться чувство настороженности. Они стали держаться более уверенно, а порой даже беспечно.

И сама жизнь как бы подбивала их на это.

Теперь они, щадя время, рисковали выходить в путь еще в сумерки.

— Мы с тобой не так уж похожи на русских, — шутил Михаил Николаевич. — Мы ведь не курносые. Если и встретим кого-либо, немец не подумает, что мы беглые!

Однажды вечером еще было достаточно светло, когда Тухачевский и Филиппов вошли в парк маленького городка. На повороте аллеи они столкнулись с парочкой: лейтенант шел, тесно прижавшись к девушке. Свернуть с дороги беглецы не успели. Но лейтенант даже не посмотрел на них.

Через день благополучно прошла вторая встреча.

---

[1] Вот те на! *(Нем.)*

Утром они только высматривали себе в лесу местечко для отдыха, как на них залаяли, выбежав из-за кустов, охотничьи собаки. За собаками вышла компания охотников с ружьями за плечами.

— Вот это собаки! — как бы в восхищении громко сказал по-немецки Филиппов.

А Тухачевский спокойно приветствовал охотников с добрым утром:

— Мóэн!

И опять их никто не тронул.

Эти встречи придали беглецам еще больше уверенности, и они сделались менее осмотрительными, чем прежде. Раз, пройдя целую ночь, они вышли к шоссе, обсаженному деревьями. К счастью, это были не рябины, а яблони. Рюкзак у Михаила Николаевича был пуст, а здесь оказалось столько яблок. И, несмотря на возражения Александра Павловича, что уже достаточно светло, Тухачевский влез на яблоню и стал трясти ее. На шоссе в небольшом отдалении друг от друга стояло несколько аккуратных домиков. И вдруг из ближайшей усадьбы послышался встревоженный женский крик:

— Франц, Франц, иди сюда!..

Тухачевский кубарем скатился с яблони и побежал вслед за Филипповым к лесу...

Питаясь фруктами и овощами, они совсем отощали и еле волочили ноги. Раньше они, не задумываясь, давали большой крюк, чтобы обойти какую-нибудь деревню или городишко, а теперь делали это с большой неохотой. И раза два рискнули пройти прямо через поселок.

Под Оснабрюком еще вечером им встретилась маленькая деревня.

— Пройдем через деревню, нас никто не остановит, — предложил Михаил Николаевич.

— Пойдем! — согласился Филиппов.

Они благополучно прошли всю деревню и уже у последних домов встретили двух подростков. И хотя Александр Павлович, увидя их, громко заговорил с Михаилом Николаевичем по-немецки, но один из мальчишек грубо окликнул:

— Эй, куда вы идете?

— В Оснабрюк, — ответил Тухачевский.

— А покажите ваши документы, — сказал второй.

Филиппов и Тухачевский сделали вид, что не слыхали вопроса, продолжали путь, но ускорили шаг.

— Вальтер, побежим за полицаем! — крикнул первый подросток, и мальчишки помчались по улице назад.

Тухачевский и Филиппов не заставили себя ждать — они сбежали огородами к болотцу, подступающему к деревне, перескочили канаву и успели укрыться в зарослях. Они сидели, не спуская глаз с шоссе. Вскоре по дороге замелькали электрические фонарики велосипедистов: это уже по шоссе шныряли полицейские, вызванные мальчишками.

Случай с подростками несколько охладил их пыл.

А до голландской границы уже оставалось километров семьдесят — это они вымерили по карте.

Свобода была так недалека. Оставалось пройти Оснабрюк, а там еще одна река, Эмс, и — граница.

Перед последним этапом друзья решили подольше отдохнуть и набраться сил. Оснабрюк они прошли стороной и только на западной его окраине вышли на пригородные улицы. Выйдя за город, они устроились в густом кустарнике и хорошо выспались. Проснувшись утром, доели оставшуюся вареную картошку и яблоки. Лежали, строили планы на будущее. Михаил Николаевич мечтал о самом близком и насущном: как они в Голландии наедятся хлеба!

— Подумай только, Александр Павлович: когда мы по-настоящему ели хлеб!

И вдруг Филиппов вспомнил: вчера, проходя по одной из улиц окраины, он увидел в окне лавчонки объявление о том, что продается «медовый хлеб» по три с половиной марки кило.

— Почему же ты вчера не купил его? — удивился Тухачевский.

— Хотелось поскорее выйти из города.

— А ты сходи за ним сегодня. Я обожду здесь. Вот поедим! У нас ведь есть еще шестьдесят две марки! — напомнил Тухачевский.

Филиппов послушался, оставил Михаилу Николаевичу на всякий случай карту и компас и пошел за «медовым хлебом».

Он вернулся к вечеру с вожделенной покупкой — двумя большими ковригами, весом около восьми кило.

Вот когда друзья подкрепились основательно!

7

В бодром, приподнятом настроении подходили они к реке Эмс. Населенных пунктов становилось все меньше, и Тухачевский и Филиппов спокойно шли лесом вдоль железнодорожной линии. Здесь они не встречали никого, тем более что у границы ночью запрещалось ходить вообще: по дороге проезжали на велосипедах только полицейские. Медовая коврижка выручала хорошо. В лесу они собирали грибы, варили суп, а овощи всегда были у них в запасе.

И вот наконец беглецы увидали давно ожидаемую реку Эмс. И на реке железный мост, похожий на мост через Везер.

Тухачевский сразу заявил:

— Пройдем его ночью, так, как переходили через Везер.

Здесь, на правом нагорном берегу, часовых не было. Они, видимо, стояли на противоположном, луговом.

Тухачевский и Филиппов хорошо отдохнули в прибрежных кустах дотемна, а потом двинулись на мост. Они шли так же, как и по мосту через Везер, не таясь. Александр Павлович рассказывал ту же смешную историю о рогоносце Бруно.

Не успели они дойти до середины моста, как вдруг с противоположного конца раздался угрожающий окрик: «Halt!» Тухачевский и Филиппов повернулись и бросились наутек. Как условились еще в Бад-Штуере, бежали в разные стороны. Вслед им неслись выстрелы и топот ног.

Михаил Николаевич прыгнул в кусты, росшие у самого моста, но зацепился за какую-то невидимую в темноте проволоку и упал. Проволока оказалась сигнальной — тотчас же залился звонок.

Когда Тухачевский поднялся с земли, чтобы бежать дальше, его ослепил яркий свет электрического фонаря, а в грудь уперся немецкий штык-нож.

— Hände hoch! — скомандовал немец.

«В третий раз!» — с досадой подумал Михаил Николаевич.

А Филиппова не поймали: Александр Павлович бежал удачнее — не был бы он центрфорвардом питерской коломяжской футбольной команды!

ГЛАВА ПЯТАЯ

ХОД НЕ ПО ТЕОРИИ

1

На этот раз упрямого русского беглеца отправили в самый строгий штрафной лагерь Ингольштадт в Баварии.

Хмурым осенним вечером последних дней октября Тухачевский шел с конвоиром с вокзала в лагерь военнопленных офицеров. Истомленный месячным полуголодным сиденьем в одиночке Оснабрюкской тюрьмы, измотанный долгой поездкой по железной дороге из Ганновера в Баварию, Михаил Николаевич шел, как пьяный.

И все-таки по вкоренившейся в плену привычке он старался запомнить повороты средневековых улочек, подворья монастырей, площади и современные магазины древнего города, резиденции баварских герцогов.

Как и следовало ожидать, этот баварский лагерь для непокорных военнопленных офицеров, один из самых худших во всей Германии, располагался в обомшелых каменных фортах крепости XVI века, щедро опутанных рядами современной колючей проволоки.

Конвоир сдал подпоручика Тухачевского в комендатуру лагеря, и ландштурмист охраны повел беглеца в форт № 9.

Михаил Николаевич увидел приземистое одноэтажное каменное здание с массивной железной дверью. Ландштурмист привычно шагнул в ее черную пасть, как в могилу, и они очутились под сводами длинного коридора. Коридор слабо освещался керосиновыми фонарями, висевшими кое-где на стенах.

«Да это какая-то пещера Лейхтвейса», — подумал Михаил Николаевич.

Слева в коридор выходили двери. Ландштурмист подошел к одной из них. На двери было написано мелом крупное «D». Ландштурмист отворил дверь и сказал Тухачевскому:

— Hier! [1]

Михаил Николаевич вошел в комнату. В ней стояли

[1] Здесь! *(Нем.)*

две обычные лагерные кровати. Узкое окно — бывшая бойница — обнаруживало полуметровую толщу каменной стены. С одной кровати поднялся навстречу Тухачевскому человек. И Михаил Николаевич с большой радостью узнал в нем поручика Скоковского.

— Августин Доменикович, это — вы?

— Я, Михаил Николаевич!

— Как вы очутились здесь?

— Как и все, — просто ответил Скоковский, дружески сжимая его руку.

— Все-таки не выдержали, бежали?

— И не раз, — улыбнулся Скоковский.

Давние товарищи по несчастью сели. Скоковский быстро изложил Тухачевскому всю ингольштадтскую обстановку.

В Ингольштадтской крепости, которая построена в 1539 году, заняты пленными несколько фортов. Всего в ней содержится около двухсот офицеров. Из них сорок французов и бельгийцев, остальные — русские. Французы живут как раз по соседству, в этом же коридоре форта № 9. Помещение сырое и темное. В фортах предполагали разместить запасный немецкий батальон, но комиссия признала форты непригодными для жилья германских солдат.

— А для нас, видите, пригодно... — горько улыбнулся Скоковский. — Говорят, до войны здесь ютились одни летучие мыши...

— Комендант свирепый?

— Как обычно. Напыщенный и не очень умный прусский обер-лейтенант. Принц Генант да Гольден Лерен.

— Принц? Ска-ажите! — поднял брови Тухачевский. — Гольден Лерен? «Золотые гусли»? О чем же поют эти «золотые гусли»? — усмехнулся Михаил Николаевич.

— Все о том же: «Deutschland über alles».

— Ну, песенка давно известна! Как говорится:

Так всякий погибает
От песни Лорелей...

— А прогулки есть?

— Никаких. Ни шагу за форт!

— А библиотека?

— Какая там библиотека? — махнул рукой Скоковский. — Только немецкие газеты...

Минуту сидели молча.

— А все-таки мне, Августин Доменикович, везет, — сказал Тухачевский. — В который раз я попадаю в небольшую комнату. И рад, что встретил вас!

— Я тоже очень рад! Повезло бы нам в главном, — ответил Скоковский.

— Будем надеяться!

2

Зима 1916 года проходила в Ингольштадте тяжело. В его полутемных казематах было холодно и сыро. Пленные, томившиеся в этих каменных мешках не первый год, окончательно утратили всякую бодрость.

— Пережить еще одну зиму мы не сможем. Если война не окончится к осени, мы отсюда живыми не выйдем! — безнадежно заявляли некоторые.

Самое главное заключалось, конечно, не в этих невыносимых условиях жизни, а в том, что у пленных не было никаких надежд на побег.

В Ингольштадте содержались люди, наторевшие в устройстве побегов. Они ухитрялись бежать из самых разнообразных штрафных лагерей, известных своим суровым режимом. Офицеры бежали из лагерей Бадена и Франкфурта, которые считались хуже солдатских, из мрачного Вюльцбурга и Цорндорфа, из каторжного Филингена и расположенного на остроконечной горе Хохенасперга.

Но ни одному пленному еще не удавалось бежать из ингольштадтских подземелий.

Подкоп здесь невозможен — пол покрывали не доски, а толстенные средневековые каменные плиты. Массивные чугунные двери в фортах запирались после вечернего «аппеля» на замок. И у дверей стояла стража. А днем немцы не выпускали никого за пределы фортов.

Пленные прозвали Ингольштадт «мышеловкой».

И все пришли к выводу, что из «мышеловки» можно выйти только легально, то есть с разрешения коменданта, а там уж пытаться бежать кто как сумеет.

Энергичный, неугомонный Михаил Николаевич Тухачевский не терял надежды. Все, за что ни принимался

Тухачевский, он всегда делал с увлечением. И потому не оставлял пленительной и дерзкой мысли о побеге.

По сравнению с тюремной одиночкой в Оснабрюке, где Тухачевский просидел месяц, жизнь в Ингольштадте выглядела чуточку живее. Здесь можно было выйти на площадку форта, увидеть небо и солнце, можно побеседовать с товарищами по несчастью.

Затем у Михаила Николаевича снова наладилась прерванная побегом почтовая связь с родными. Михаил Николаевич слал домой открытки, в которых кратко сообщал о себе: «Жив-здоров, все благополучно», хотя какое уж тут «благополучие» — сколько раз ни пытался бежать, его ловили. Подробнее о своей жизни в плену Тухачевский писать не хотел, чтобы не волновать беспокоившуюся о нем мать. Иногда Михаил Николаевич только упоминал о какой-либо мелочи, вроде того, что «сегодня нам выдали мед, похожий по вкусу на ваксу». Новости из дома были невеселые: от туберкулеза легких умер самый его любимый младший брат Игорь, прекрасный музыкант, лучший друг Михаила Николаевича.

Кое-когда Тухачевский получал от своих посылки с сухарями и салом. Сдавала их, терпеливо простаивая в очередях на почтамте, Мавра Петровна.

Тевтонская жестокость проявлялась даже здесь: комендатура лагеря нарочно задерживала выдачу их на две недели. Русские офицеры протестовали против такого откровенного издевательства, но комендант принц Генант да Гольден Лерен нагло обрывал их:

— Ваши посылки приходят из России за две недели, а наши идут в Сибирь целый месяц. Мы только уравниваем положение пленных!

Время в Ингольштадте проходило у Михаила Николаевича так. Днем он старался побольше пробыть на воздухе, бродил по форту, думая о своей жизни, о родных, о том, как бы все-таки убежать из Ингольштадта. А вечерами, когда большинство офицеров дулось в карты, он, лежа на кровати, беседовал с милым Скоковским или уходил с ним же к соседям французам.

В форту № 9 русские жили в его восточном крыле, а французы — в западном. Тухачевский как-то познакомился с обитателями комнаты «L», в которой размещалось трое французских офицеров. Они были приятно

удивлены тем, что Михаил Николаевич хорошо говорит по-французски. Свою комнату «L», такую же сырую и мрачную, как все остальные в фортах, французы остроумно прозвали «Hotel de Lux».

В «Hotel de Lux» жили: артиллерийский капитан, толстяк Гуа, большой гурман, любивший говорить о соусах и паштетах больше, нежели о дистанционных трубках и митральезах; жилистый саперный лейтенант Реми Рур, ярый анархо-синдикалист и спорщик; небольшой, похожий лицом на известного киноактера Макса Линдера, ловкий гусарский ротмистр Гарро, парижанин и вивер. Гарро, разумеется, предпочитал говорить лишь о женщинах.

Частенько в «Hotel de Lux» заглядывал из своего углового одиночного каземата «S» длинноногий лейтенант тридцать третьего пехотного линейного полка Шарль де Голль. Хотя лейтенанту было всего лишь двадцать шесть лет, но его волновало одно: служебная карьера. Об этом де Голль мог говорить без конца. Правда, когда в декабре 1916 года до Ингольштадта докатились слухи о том, что в Петрограде убили Распутина и все обитатели комнаты «L» бросились расспрашивать у Тухачевского о пикантных похождениях старца, Шарль де Голль тоже заинтересовался этим мужиком, пролезшим во дворец.

Фамилия Тухачевского показалась французам бесконечно длинной и трудно произносимой, и остроумный ротмистр Гарро тотчас же сократил ее: французы стали звать Михаила Николаевича просто «Тука».

Вечерами в «Hotel de Lux» можно было слышать разные разговоры. Де Голль рассказывал Реми Руру о том, как главнокомандующий генерал Жоффр, этот сын бондаря из Ривезальта, на втором месяце войны удалил из армии шестьдесят бездарных генералов, назначив им до конца войны безвыездно жить в городе Лиможе.

В другом углу комнаты пылкий Гарро возмущенно демонстрировал Туке номер немецкой газеты, где пресловутое агентство Вольфа с наглой ложью заявляло:

«Во Франции скоро совсем не будет детей. Эти идиоты французы идут в бой, отворачивая полы своих шинелей и давая возможность нам отлично прицеливаться в обнажающийся таким образом треугольник их красных штанов».

— Подлые и жалкие вруны! — возмущенно кричал Гарро. — Если у меня не хватит француженок, я за один бисквит, слышите, Тука, за один бисквит, куплю их любую сдобную фрейлейн!

А у двери, где стояла спиртовка, толстяк Гуа жарил в прованском масле любимую французами морковь и объяснял поручику Скоковскому, как ее нужно готовить.

В начале марта 1917 года Ингольштадтский лагерь потрясла неожиданная весть: в России свершилась революция.

Обитатели всех казематов говорили только о ней. Даже завзятые картежники оторвались от своего бесконечного преферанса. Они предались безудержным предсказаниям и прогнозам на будущее. Составляли по своему разумению и вкусу правительство, одним махом разрубали все гордиевы узлы внутренней и внешней политики революционной России. В первом порыве все были за революцию. И только небольшая группа явных черносотенцев приняла падение дома Романовых и арест Николая Второго как страшное бедствие.

Михаил Николаевич Тухачевский встретил революцию с радостью — в семье Тухачевских никогда не были в чести «верноподданнические» чувства. Отцу, Николаю Николаевичу Тухачевскому, многое не нравилось в губернской общественной жизни. Недаром он, несмотря на свое дворянское происхождение, не хотел баллотироваться в выборные должности по дворянству. Николай Николаевич был не как все дворяне-помещики. Он не пил сам и не переносил пьяных. Николай Николаевич любил животных — особенно лошадей, но не любил охоты. И в довершение всего женился на простой крестьянке — Мавре Петровне Милоховой. Только в одном Николай Николаевич Тухачевский вел себя как истинный дворянин-помещик: он всю жизнь не умел вести хозяйство и незадолго до войны вынужден был продать за долги небольшое пензенское имение Тухачевских — Вражское.

Братья Тухачевские — Николай, Михаил, Александр и Игорь — относились к бездарному царю Николаю Второму с явной иронией.

Однажды в субботу юнкер Михаил Тухачевский пришел из Александровского военного училища домой. Он

увидел, что его младший брат Александр старательно чистит мелом пуговицы на гимназическом мундире. В военном училище чистка пуговиц была обычной, обязательной и в достаточной степени надоедливой процедурой. Чистить пуговицы юнкера не любили, но делать нечего: военный человек должен быть чист и аккуратен. Другое дело — гражданский. Гимназисты не очень следили за блеском своих ботинок, не любили новеньких фуражек и непременно выламывали из фуражки гимназический герб, оставляя от него только одни веточки. Потому Миша, увидев, что брат чистит пуговицы, искренне удивился:

— Куда это ты собираешься, Шура?

— Завтра идем встречать этого болвана...

— Кого?

— Да Николашку...

— Действительно! — возмутился юнкер Тухачевский. — Мало того что теряй время на встречу этого идиота, так еще из-за него начищай пуговицы!..

Михаил Николаевич понимал, что с революцией в жизни России открывается новая страница. Ему сразу же вспомнились рассказы Коли Кулябко о Ленине и Крупской, о большевиках дяде и тете Кулябко, вспомнилось все, что он читал недавно в «Социал-демократе».

Скоковский тоже радовался. Как поляк по национальности он мечтал о «Речи Посполитой».

В «Hotel de Lux» весть о русской революции приняли оживленно. Тухачевского забросали вопросами. Гуа стал было выражать соболезнование Туке, что революция, конечно, конфискует у него все его поместья. Тухачевскому не хотелось рассказывать о том, что их Вражское продано за долги. Он с улыбкой ответил Гуа, что никаких поместий у него вообще нет и ему нечего терять.

— Omnia mea mecum porto! [1] — сказал он и прибавил: — А если бы и было, то землей должен владеть тот, кто на ней работает!

Реми Рур, услыхав их разговор, сейчас же бросился в атаку на Туку. Анархо-синдикалист ехидно спросил:

— Уж не коммунар ли вы, мосье Тука?

— До сих пор я был только военным. Я еще так

[1] Все свое ношу с собою! *(Лат.)*

мало разбираюсь в политике... А дальше посмотрим, — уклончиво ответил Тука.

Реми Рур уговаривал Тухачевского пойти по стопам своего знаменитого соотечественника Бакунина.

Де Голль сразу же заинтересовался Керенским и все расспрашивал Туку о русских видных генералах — Брусилове, Рузском, Алексееве, но Михаил Николаевич не мог сказать о них больше того, что знал сам де Голль.

И только по-южному экспансивный, живой Гарро заговорил о самом важном:

— Вам, Тука, надо быть теперь дома! Надо лететь туда!

Этого же хотел и сам Тухачевский.

В такие дни с особой остротой чувствовалась оторванность от родины. Там вершились грандиозные дела, а он стоит в стороне... Надо бежать! Бежать во что бы то ни стало!

Но кто мог посоветовать, как вырваться из форта № 9?

А каждый день приносил из России все новые вести.

В апреле на родину вернулся из эмиграции Ленин.

Вероятно, никто из французских офицеров комнаты «L» не обратил бы на это известие внимание — вряд ли Гарро, Гуа и даже образованный сен-сирец де Голль слыхали о Ленине. Но всех переполошил анархо-синдикалист Реми Рур. Ленин приехал в Россию из Швейцарии не через Францию и Англию, а через Германию и Швецию. И Реми Рур возмущался. Он говорил, что это — происки «бошей», что так как коммунисты против войны, то этот факт окажется на руку врагам Антанты.

Когда вечером Михаил Николаевич по обыкновению заглянул в комнату «L», французы обступили его.

— Вот вы — молодой революционер. Вы ведь оправдываете свержение царя? — запальчиво бросился к нему Реми Рур.

— Да, я так же, как и вы, за революцию, — чуть поклонившись, спокойно ответил Тухачевский. — Век монархий давно отжил.

— Как же вы расцениваете тот факт, что Ленин возвратился в Россию через воюющую с нами Германию? — колол Туку своими черными глазами Реми Рур.

— «Petit Parisien» сообщает: министр иностранных

дел Временного правительства Милюков заявил, что отдаст под суд всякого, кто осмелится возвратиться в Россию через Германию, — вставил де Голль.

— Я не понимаю, господа, чего же вы хотите? Ведь Антанта не разрешала Ленину проехать через свои владения, не так ли? — говорил французам Тухачевский.

— Да, правительства Франции и Англии не разрешили, — подтвердил толстяк Гуа.

— А что же в таком случае прикажете делать Ленину? Ведь он хочет быть со своим народом! Хочет жить и работать в России!

— Но ведь Ленин будет агитировать против войны с немцами! — кипятился Реми Рур.

— Вы правы: коммунары за мир, а не за войну! — сказал Тухачевский.

У Реми Рура заходили желваки. Он отошел в сторону и закурил.

— Я вижу, Тука, вы сами коммунар! Вы только не хотите признаваться! — смеясь, хлопнул Михаила Николаевича по плечу не любивший политики Гарро. — Вы, мой друг, санкюлот!

Тухачевский улыбнулся одними глазами, перевел разговор:

— Вот вы, мосье Поль, сказали «санкюлот». А вы слыхали, господа, о последней выходке нашего кретина коменданта?

— Нет. А что? — заинтересовались французы.

— В комнате «Р» живет лейтенант Карту.

— Да, да, я его знаю: он прекрасно играет в покер, — сказал Гуа.

— Так вот, у него окончательно порвались рейтузы. Он попросил у коменданта разрешения купить брюки. Комендант не разрешил. Тогда Карту и говорит: «Что же я буду делать без брюк?» А немец отвечает: «Будете санкюлотом!» — И Тухачевский улыбнулся.

— Нет, нет, здесь невозможно оставаться ни одного дня! — закипятился Гарро. — Из этой «мышеловки» я готов убежать через какую угодно страну!

И опять обитатели комнаты «L» задумались над этим всегдашним животрепещущим вопросом. У каждого из них были свои мотивы и основания для побега.

Самолюбивый лейтенант де Голль жалел о каждом

потерянном дне. Его товарищи по тридцать третьему линейному полку, лейтенанты, уже командуют батальонами, полковой командир полковник Петен стал дивизионным генералом, а он, Шарль де Голль, прозябает в этой «мышеловке».

Реми Рур жаждал активной политической деятельности.

Гуа мечтал о ресторанах на рю Пигаль.

А Гарро — о женщинах. В Ингольштадте женщин не было вовсе. Единственной девушкой была рыженькая кошечка, живущая при столовой. Кошечку звали Pippe.

— Давайте попытаемся поговорить с этим бошем. Может, как-либо удастся склонить его, чтобы он разрешил нам прогулки в город? — предложил Тука.

— Давайте пойдем! — таково было решение всей французской компании.

3

Разговор с комендантом состоялся в ближайшее воскресенье. Офицеры пришли к нему в комендатуру, в небольшой домик, построенный уже после наполеоновских войн и потому не такой приземистый и мрачный, как все остальные здания.

Принц Генант да Гольден Лерен — типичный прусский обер-лейтенант, как их рисуют в сатирическом журнале «Simplicissimus»: затянутый в мундир, с усиками стрелкой и нелепым моноклем в глазу. Левую руку он держал на перевязи после ранения под Намюром.

Пленные офицеры составили такой план — просить у коменданта разрешения на устройство крокетной площадки. Они заранее знали, что немец не позволит никаких чужеземных игр, будь то английский лаун-теннис или русские городки. А когда он откажет в этом, настаивать на прогулках в город.

С этого они и повели разговор с напыщенным комендантом.

Комендант не хотел устраивать никаких площадок для игр.

— Nein, nein, nein! — замотал своей кувшинообразной головой принц Генант да Гольден Лерен.

— Но мы погибаем от скуки! Разрешите нам хотя

бы прогулки по городу! — сказал старший из всех по чину артиллерийский капитан Гуа.

— В других лагерях разрешают, — поддержал его лейтенант Реми Рур.

— Я был в Штральзунде и Фюрстенберге, там пускают на прогулку, — подтвердил поручик Скоковский.

— И в Бад-Штуере тоже, — прибавил Тухачевский.

Комендант глянул на всех злыми глазами.

— Вы забываете, где находитесь! Вы же не туристы, а пленные! А во-вторых, что́ вы собираетесь смотреть в Ингольштадте? — Поправив монокль, он посмотрел на офицеров.

— Мне помнится, в «Бедекере» сказано, что Ингольштадт славится готической церковью Богородицы пятнадцатого века и старинными монастырями, — ответил Гуа.

— И францисканским женским монастырем, — живо добавил, заиграв глазами, Гарро.

Комендант круто повернулся к нему:

— Что, вы хотите смотреть церкви и монастыри? Вы же — солдаты! Пфуй! Вас более всего должна интересовать эта крепость, где вы находитесь! Ее безуспешно осаждал сам Густав Адольф! А в угловом каземате «S», где живете вы, — указал комендант на де Голля, — умирал знаменитый фельдмаршал Тилли!

— Лучше жить там, где родился знаменитый полководец, нежели там, где он умирал! — улыбаясь заметил Тухачевский.

— А может, кто-либо из живущих в каземате «S» когда-нибудь станет вторым Мольтке! — патетически воскликнул комендант.

— Вы, вероятно, хотите сказать: станет вторым Наполеоном? — поправил немца де Голль.

Комендант пропустил мимо ушей поправку де Голля. Он заявил офицерам, что не разрешит никаких прогулок.

И все осталось по-прежнему.

4

И снова потянулись по-лагерному томительные, однообразные, нудные дни.

Незаметно подошло лето.

Сквозь всю ложь немецких газет из России доходили волнующие вести. Разбушевавшееся революционное море не могло войти в берега. Временное правительство с каждым днем все яснее показывало свое буржуазное лицо. На забастовки и демонстрации рабочих и солдат оно отвечало пулями и арестами. Ленин вынужден был скрываться от преследования Керенского, как скрывался от царского правительства.

Тухачевский теперь часто вспоминал своего приятеля Колю Кулябко: где-то он и что делает? Ведь Кулябко — большевик.

Когда он думал о России, еще постылее становилась жизнь в этой немецкой дыре. Тухачевский не оставлял мысли о побеге. Он упорно искал: чем бы взять этого самоуверенного и не слишком умного коменданта? Тухачевский пристально наблюдал за ним, стараясь подметить в немце уязвимое место.

И случай помог ему в этом.

Однажды, проходя мимо домика коменданта, он увидел в раскрытом окне яйцеобразную голову обер-лейтенанта Генанта да Гольден Лерен. К большому удивлению Тухачевского, немец сидел за шахматной доской один, — видимо, решал шахматную задачу или переигрывал понравившуюся партию. У Тухачевского мелькнула неожиданная мысль: «А что, если попробовать?»

Михаил Николаевич играл в шахматы с детства, но в семье Тухачевских лучшим игроком считался младший брат Александр.

В лагере в шахматы играли мало. И французы и русские предпочитали карты и домино.

Тухачевский подошел к окну.

— Герр комендант любит шахматы? — спросил он.

— О, да, да! А вы разве играете? — изобразил на своем лице удивление комендант и, вскинув монокль, с любопытством посмотрел на русского офицера.

— Играю немного...

— Русские вообще играют слабо. Как и воюют!

— А Чигорин? — спокойно спросил Тухачевский.

— Тшигорин! Тшигорин все-таки не был чемпионом! Все чемпионы — немцы! — с апломбом сказал комендант. — Стейниц, Ласкер...

— Стейниц, кажется, уроженец Праги, а Ласкер — еврей, — со сдержанной улыбкой поправил Тухачевский.

— Выдумка! Я сам играл в Берлине с Ласкером в сеансе перед войной. Настоящие шахматисты — только немцы!

— А вот в последние годы стал знаменит кубинец Капабланка.

— Пфуй, что такое Куба? Какой-то маленький, неизвестный островок. Разве Куба может сравниться с великой Германией? А кроме Ласкера у нас есть замечательный Тарраш! — хвастался обер-лейтенант.

— Наш русский молодой шахматист Алехин в петербургском международном турнире выиграл у Тарраша две с половиной партии из трех, — заметил Тухачевский.

Михаилу Николаевичу вспомнилось, как не только у них дома, в Филипповском переулке, но и в Александровском военном училище юнкера-александровцы внимательно следили за петербургским турниром 1914 года, за молодым правоведом Александром Алехиным.

Немец презрительно сощурился.

— Альехин? — переспросил он. — Не слышал такого. Так вы играете?

— Играю.

— Входите. Я посмотрю, как вы играете, — милостиво разрешил принц Генант да Гольден Лерен.

Тухачевский вошел к коменданту.

— На равных нам нечего играть, — важно заявил немец, одной рукой расставляя фигуры. — Я вам дам фору: башню!

«Может, лучше взять коня или слона, чем ладью? — подумал Михаил Николаевич. — Ладью пока введешь в дело. . .»

— А не слишком ли, герр комендант? — спросил он, садясь за стол.

— Хорошо, — смилостивился немец. — Я вам дам леуфера!

— А что будет, если я выиграю? — спросил улыбаясь Тухачевский.

— Вы не выиграете!

— Если вы так уверены, давайте играть à discretion[1].

— Нет, à discretion я не могу. А вдруг я зевну

[1] Проигравший выполняет желание выигравшего *(франц.)*.

даму и вы в самом деле обыграете меня? Что же, тогда я должен буду дать вам все, что бы вы ни спросили? Например, чтобы я выпустил вас из плена? — скривился комендант.

— Я этого не попрошу.

— А чего же вы хотите?

— У меня в одном зубе выпала пломба. Я бы не желал, чтобы в нем ковырялся наш лагерный русский зубной врач. Я хотел бы пойти в город к хорошему дантисту-немцу.

— Это можно. Я порекомендую вам своего приятеля, доктора Цанге. Он поставит вам такую пломбу, что вы доживете с ней до генерала!

— Буду весьма вам признателен, герр комендант! — ответил Тухачевский. Он радовался: как будто бы что-то начинало получаться.

Стали играть.

Принц Генант да Гольден Лерен взял белые и снял с доски своего ферзевого слона.

Тухачевский играл очень внимательно и осторожно. Он не нападал, а только защищался, парируя угрозы противника и стараясь разменивать фигуры. Немец, видимо, не ожидал, что Михаил Николаевич пойдет на размен ферзей, и обозлился, когда Тухачевский сделал это.

— Ваш ход — не по теории! — недовольно буркнул он, швыряя с доски ферзя черных.

— Да, я теории не знаю, — согласился Тухачевский, не признаваясь в том, что в библиотеке у брата Шуры был самоучитель шахматной игры Дюфреня и что они в периоды увлечений по целым дням разыгрывали только одно какое-либо начало. Особенно любили братья Тухачевские гамбит Эванса.

Комендант играл неплохо, но очень небрежно, — перелистывал немецкий шахматный журнал, смотрел в окно, насвистывая опереточные песенки. Немец явно не уважал своего противника. И Михаилу Николаевичу удалось выиграть у него сначала одну, а потом и вторую пешку. Выигрыш уже был в руках. Но не рассердился бы самонадеянный принц Генант да Гольден Лерен? Ведь с ним придется сыграть еще хотя бы одну партию: с первого выхода в город еще невозможно бежать.

Тухачевский слабо ориентировался в Ингольштадте. Он знал только, что Ингольштадт расположен на левом берегу Дуная и что выгоднее идти по левому берегу, чтобы в пути не пришлось бы переходить притоки Дуная. Михаил Николаевич хорошо помнил печальный опыт своего прошлого побега.

Тухачевский заранее обдумал маршрут побега. Он решил пробираться к швейцарской границе не через шовинистическую, оголтелую Баварию, а через Вюртемберг и Баден, где больше рабочего люда.

«Э, будь что будет!» — рискнул Тухачевский и постарался дожать своего заносчивого противника.

Когда одна из пешек Тухачевского прошла в ферзи, комендант только тогда опомнился. Немец сидел весь красный и сконфуженно моргал голубыми глазами. Он то сбрасывал монокль, то снова вскидывал его, не веря своим глазам.

— О, вы настоящий скиф: вы меня перехитрили! — огорченно сказал он, сметая фигуры с доски. — Но ничего, в следующий раз я устрою вам шахматные Канны!

— Я к вашим услугам, герр комендант! — встав из-за стола, поклонился Тухачевский. — А как насчет доктора Цанге? Я боюсь, что у меня разболится зуб и мы не сможем играть.

— Завтра вы пойдете к нему на Вильгельмштрассе, тридцать один. Я скажу, чтобы вас провожали, — ответил не очень ласково комендант.

Тухачевский ушел окрыленный.

5

Вернувшись к себе в комнату «D», Михаил Николаевич рассказал Скоковскому о своих неожиданных успехах. Чтобы не сорвать так удачно начатое предприятие, Тухачевский решил пока не говорить ничего своим французским товарищам.

На следующий день после обеда комендант вызвал Тухачевского к себе, и Михаил Николаевич в сопровождении солдата-конвоира вышел за ворота мрачной крепости.

Они спустились в город и сели в трамвай. Хотя вагон был полупустой — в нем сидело несколько женщин и пожилой ландштурмист, — Тухачевский предпочел

остаться на площадке, в вагоне было душно. Конвойный солдат последовал его примеру.

На одной остановке в трамвай вошел толстый, с густыми седыми бровями бюргер. Пыхтя и отдуваясь, он плюхнулся на скамейку рядом с ландштурмистом.

Бюргер снял шляпу и, обмахиваясь ею, поглядывал на соседа. Ландштурмист сидел, уронив руки между колен.

— Куда едете? — обратился к нему толстяк.

— Проститься с дядей и тетей...

— Как проститься?

— Завтра меня отправляют на фронт...

— Теперь не время прощаться! — сердито выпалил толстяк.

Ландштурмист с удивлением взглянул на него.

— У меня двое сыновей на фронте — один под Верденом, второй в Галиции. Вчера ушел третий, самый младший.

Бюргер полез в карман и достал из бумажника фотографию.

— Вот этот, — протянул он карточку ландштурмисту.

Ландштурмист только из приличия мельком взглянул на фотографию.

— Он пришел ко мне. «Чего ты пришел, Фриц?» — спросил я. «Проститься с тобою, отец». — «Вон отсюда! — крикнул я. — Ты теперь должен помнить не об отце, а о матери, великой Германии! За нее ты должен умереть!» — в самом деле кричал на весь вагон бюргер, выкатывая глаза. — Разве теперь может быть речь о каком-то прощанье? Стыдитесь!

Ландштурмист молчал, понуро опустив голову.

«Ну и гусь!» — подумал Михаил Николаевич, слышавший весь диалог.

На одном перекрестке конвоир Тухачевского сказал, что надо пересесть в трамвай № 8.

Вместе с ними вышел из трамвая и ландштурмист. Толстый бюргер поехал дальше.

Зубной врач Цанге оказался рыжевато-седым немцем. Его старческие выцветшие голубые глаза были подпухшими, как у Бисмарка или Гинденбурга.

«Что это у всех немцев мешки под глазами? Вероятно, оттого, что много пьют пива», — усмехнулся про себя Тухачевский.

Михаил Николаевич был приятно поражен: в чистенькой приемной зубного врача среди фарфоровых безделушек, стоявших на фарфоровых полочках, висела карта военных действий. Тухачевский шагнул к ней. Старик дантист охотно последовал за ним и стал хвастаться успехами немецких армий на русском фронте. Конвоир тоже присоединился к ним.

Но Тухачевского привлекал иной фронт — он хотел хоть мельком увидеть на карте будущий маршрут своего побега. Михаил Николаевич умело перевел разговор. И пока дантист разглагольствовал о Реймсе и Вердене и предрекал близкий разгром Франции, Тухачевский быстро схватывал другое:

«Вот Дунай. Вот Ингольштадт, Нердлинген, южнее его Ульм. А там голубое продолговатое пятнышко Боденского озера, там — свобода. . .»

Но зубной врач уже приглашал в кабинет, откуда выглядывал металлический клюв бормашины.

И тут Михаилу Николаевичу снова повезло: дантист предложил конвоиру-ландштурмисту посидеть на кухне, выпить чашечку кофе. Рыхлая фрау — кухарка в кружевной наколке и белом переднике — увела солдата из приемной.

Старик дантист возился с зубом Михаила Николаевича, а Тухачевский прикидывал в уме план побега. Конечно, во время следующего визита конвоир снова будет пить кофе. Михаил Николаевич выйдет под каким-либо предлогом из кабинета и — все в порядке! Он сядет в трамвай № 8, идущий на северную окраину Ингольштадта (пока ехали к дантисту, Тухачевский легко узнал об этом), и — ищи ветра в поле!

Следующий прием дантист назначил на послезавтра.

«Ну, теперь можно и проиграть коменданту: он и так должен будет отпустить меня к Цанге, чтобы я смог закончить лечение», — думал Тухачевский.

6

В оставшийся день Михаил Николаевич занялся приготовлением к побегу. Еще весной он купил у французского денщика свитер и простое кепи. Он решил надеть их вместо поношенного офицерского кителя и офицерской фуражки.

— В свитере и кепи вы, Михаил Николаевич, очень похожи на иностранца-шофера, — смеялся Скоковский, глядя на переодетого Тухачевского.

— Да, партикулярное платье сильно меняет, — согласился Михаил Николаевич.

В дорогу Тухачевский купил шесть плиток французского шоколада (в карманы больше не поместить) и взял несколько русских ржаных сухарей — «подарок императрицы».

Франция запретила частные посылки пленным. Вместо них каждый пленный француз регулярно получал посылки от государства. О русских же пленных заботились только родственники. Правда, каждый пленный изредка получал через Красный Крест по нескольку штук больших, как ладонь, сильно высушенных черных ржаных сухарей — их присылала императрица Александра Федоровна. Эти неприглядные с виду русские сухари были очень хороши, жаль только, что их присылали так редко и понемногу. Французы никогда не видали таких «галет», которые надо сутки мочить в воде, чтобы их можно было есть. Они потешались над «подарком императрицы» и покупали у русских диковинные галеты на память.

О своих планах побега Тухачевский рассказал в последний вечер французам из «Hotel de Lux». Все искренне желали ему полного успеха и давали дружеские советы.

Наконец настал долгожданный день. Накануне Михаил Николаевич сознательно проиграл коменданту партию в шахматы. Немец ликовал. Он наставительно твердил Тухачевскому:

— Я же вам говорю, вы делаете ходы не по теории!

Тухачевский ушел в город в сопровождении того же конвоира. Все складывалось так, как и рассчитывал Михаил Николаевич. Зубной врач снова отправил конвоира на кухню выпить чашечку кофе. В приемной не осталось никого.

Когда Тухачевский вошел с дантистом в кабинет, он состроил сконфуженное лицо и сказал старику:

— Простите... Я принужден выйти на минуточку... Знаете, наш лагерный суп...

Дантист, ставивший на электрическую плитку кипятить инструменты, понимающе закивал головой:

— О, да, да. Понимаю! По коридору первая дверь налево. Пожалуйста!

Тухачевский прошел через пустую приемную (из кухни доносились оживленные голоса кухарки и ландштурмиста), быстро снял и повесил на вешалку китель (под кителем был свитер), оставил висеть свою замызганную фуражку, а вместо нее надел кепи и вышел из квартиры.

Остановка трамвая № 8 была метрах в ста. Тухачевский подходил к ней, когда трамвай уже трогался с места. Он прыгнул на площадку трамвая и невольно глянул на дом тридцать один, мимо которого проезжал.

Дантист Цанге в белом халате стоял на балконе своего второго этажа и преспокойно курил, ожидая пациента.

«Вы делаете ходы не по теории!» — вспомнились Тухачевскому слова коменданта.

Да, этот его четвертый побег с помощью шахмат не был предусмотрен никакой теорией!

7

Тухачевский спокойно ехал на площадке трамвая по Ингольштадту. Рядом с ним стоял мастеровой в комбинезоне, со всех сторон утыканном карманами и кармашками, двое школьников в круглых маленьких шапочках с малиновым верхом и молоденькая фрейлейн, видимо горничная, в дешевой шляпке и нитяных перчатках. Потом школьники выскочили из вагона, а их место занял вошедший на остановке пожилой человек в тирольской шапочке и полосатых гетрах. Пассажиры входили и выходили, но никто не обращал внимания на Михаила Николаевича, — значит, его вид не внушал подозрений.

Трамвай, задорно звеня, петлял по ингольштадтским улочкам. Где-то справа, совсем близко, бежала железнодорожная линия. Она то мелькала между домами, то опять исчезала за поворотом.

Конечно, ингольштадтский лагерь — это не лагерь в Штральзунде: здесь следы военнопленного подпоручика Тухачевского затерялись давным-давно. Но все-таки ему хотелось поскорее выбраться за городскую черту — кругом слишком много чужих, враждебно-пристальных глаз! Вот на остановке у витрины бакалейного магази-

на торчит знакомая фигура полицейского. Не успели проехать еще с десяток домов, показалось здание вокзала. И там, на ступеньках крыльца, снова маячит та же противная синяя фуражка с двумя круглыми кокардочками.

Совсем как в немецком присловье:

«Айн-цвай — полицай!»

Михаилу Николаевичу так и чудился грозный окрик: «Halt!»

Увидев вокзал, Тухачевский подумал: «А что, если уехать по железной дороге?» Сразу вспомнилось путешествие с Филипповым. Как Михаил Николаевич хотел воспользоваться железной дорогой, а Александр Павлович возражал: неизвестно, куда увезут.

Куда бы ни повезли, все неплохо! Лишь бы не повезли сразу на юг, на Мюнхен, — оттуда дальше идти к границам Вюртемберга: пробираться к Швейцарии через всю Баварию Тухачевскому не советовали французские друзья, которые тщательно обсудили маршрут побега.

Но выходить у самого вокзала Михаил Николаевич не хотел: зачем лишний раз попадаться на глаза шуцману? К тому же он не собирался уезжать пассажирским поездом, а хотел как-либо пристроиться к товарному.

Тухачевский проехал еще одну остановку. Она оказалась метрах в пятидесяти от железнодорожного переезда.

Еще когда Тухачевского везли в Ингольштадт, он запомнил, что слева, над самой линией, тянутся холмы. На них располагались дома, окруженные дворами и палисадниками.

Тухачевский вышел из трамвая и, пройдя железнодорожное полотно, свернул на эту тихую улочку на горе. С нее весь ингольштадский узел был как на ладони. По склону холма росли кусты шиповника и акации. Михаил Николаевич юркнул в кусты и сел. Укрытый кустами, он смотрел на железнодорожный узел: нет ли там какого-либо товарного состава? И в кажущейся неразберихе и путанице станционного хозяйства скоро приметил один состав. В нем среди двух десятков товарных вагонов затесалось пять-шесть платформ с лесом и досками. Вагоны могут оказаться закрытыми,

а на платформах, пожалуй, можно будет кое-как устроиться.

Маневровый паровозик долго таскал вагоны и платформы по разным путям и наконец остановился на одном. Очевидно, товарный поезд был уже составлен. Паровозик, деловито пофыркивая, побежал еще куда-то устраивать свои другие дела.

Тухачевский спустился по откосу вниз и затерялся среди вагонов. Он осмотрелся: возле товарного состава пока не было видно ни одного человека. Михаил Николаевич подошел к платформам и выбрал одну из них, груженную лесом. На платформе лежали сосновые бревна. Они были разной длины. В середину почему-то уложили бревна покороче, и с одного конца получалось между бревнами нечто вроде углубления. Он залез в это углубление и кое-как устроился. Ему опять невольно вспомнился Бад-Штуер и ящик для белья. И здесь лежать было не ахти как удобно, но зато бревна укрывали его как будто неплохо.

Уже стало вечереть, когда возле состава послышались голоса. Тухачевскому показалось, что кто-то сказал: «Nach Frankfurt». Через полчаса лязгнули буфера — прицепили паровоз. Еще несколько последних минут... Раздался свисток паровоза, вагоны дрогнули и побежали на север...

Тухачевский облегченно вздохнул. Принц Генант да Гольден Лерен, конечно, уже давно выходит из себя, что его так ловко провел русский «шахматист»! Тухачевского ищут по всем шоссейным дорогам, а он спокойно уезжает в товарном поезде.

8

Тухачевский, не потревоженный никем, проехал в товарном составе целый вечер и часть ночи. Во время хода поезда он вылезал из своего тесного убежища, чтобы размяться, и сидел на платформе. А когда чувствовалась близость остановки, опять укрывался в щели между бревнами. Хотелось спать, но Михаил Николаевич крепился.

Удаляться далеко на север было незачем. Он решил еще затемно сойти с поезда на какой-нибудь станции и благополучно проделал это, не доезжая Ансбаха.

Тухачевский двинулся на запад.

Сперва он шел по опушке какого-то леса, потом миновал небольшой населенный пункт и, выйдя на шоссе, пошел вдоль него. Вскоре Михаил Николаевич услыхал в стороне свисток паровоза. Он сообразил: это линия Крейльсгейм — Нердлинген — Ульм, идущая параллельно линии Ингольштадт — Вюрцбург. То, что и надо!

Тухачевский повернул на юг и пошел, стараясь все время держаться железной дороги.

К рассвету поднялся сильный туман, идти стало хуже. Чтобы в тумане не наткнуться на кого-либо из жителей или на полевую жандармерию, Михаил Николаевич решил остановиться на отдых — поспать и переждать до вечера. Тем более что в одном свитере всетаки было холодновато. Он прикидывал, где бы устроиться, и, к своей радости, различил в тумане большой стог сена. Тухачевский принялся зарываться в него. Он постарался поглубже залезть в стог. В стогу было тепло и уютно. Михаил Николаевич быстро согрелся и уснул.

Его разбудили человеческие голоса. Два немца разговаривали возле стога. Не успел Тухачевский прислушаться, о чем они говорят, как раздался крик:

— Смотри, смотри, здесь кто-то есть! А ну, вылезай! — орал немец и уже колол вилами в подметки истоптанных башмаков Тухачевского.

Делать было нечего, приходилось вылезать... Михаил Николаевич сунул карту в сено и вылез. Перед ним стоял высокий немолодой немец с железными вилами в руках и паренек лет пятнадцати. Паренек тоже наставил на беглеца вилы.

Туман давно рассеялся, и Михаил Николаевич увидел: стог сена стоял не где-либо на лесной полянке, а метрах в двухстах от усадьбы.

«Ах, какая досада, недоглядел!» — огорченно подумал он.

И Тухачевскому вспомнилась книжка Льва Дейча «Четыре побега», где Дейч рассказывает, как Вера Засулич говорила ему:

— Ты всегда очень глупо попадаешься, но убегаешь молодцом!

Эти слова Веры Засулич вполне подходили к Тухачевскому: убегал он всегда молодецки, но попадался до невероятности глупо!

ГЛАВА ШЕСТАЯ
КОМПОЗИТОР ГЕНДЕЛЬ

1

Тухачевский все-таки продолжал следовать на запад. Деревенский полицай препроводил его в ближайший городок Крейсльгейм к военному коменданту.

Михаил Николаевич решил прикинуться солдатом. Он слыхал, что из солдатских лагерей отправляют на сельскохозяйственные работы. В деревнях осталось мало мужчин — всех здоровых услали на фронт. А убежать из деревни легче, нежели из какого-нибудь офицерского лагеря военнопленных.

Тухачевский назвался солдатом сто шестьдесят девятого Ново-Трокского пехотного полка и сказал, что бежал из солдатского лагеря в Вормсе. Все это — на случай поимки в пути — он придумал еще в Ингольштадте с поручиком Скоковским. О том, что в Вормсе существует солдатский лагерь, знали все. Версия Тухачевского походила на правду: одет он был плохо — в одном свитере, даже без кителя и пиджака, и поймали его значительно южнее Вормса.

Комендант Крейсльгейма не хотел возиться с беглым солдатом и сажать его в тюрьму — это же не офицер, а тотчас отправил по этапу в Вормс. Он твердо знал: на месте с беглецом разделаются не хуже!

И Тухачевский оказался в гессен-дармштадтском Вормсе.

Офицерские лагеря военнопленных размещались в самых разнообразных помещениях — от крепостных фортов до скаковой конюшни включительно, а солдатские в большинстве случаев устраивались в поле, в наскоро сколоченных бараках.

И в Вормсе за городом вырос такой барачный городок, густо обросший ржавой колючей проволокой и утыканный длинноногими сторожевыми вышками, на которых скучали у пулеметов мышино-серые ландштурмисты.

Когда Тухачевский в сопровождении конвойного солдата прибыл в Вормский лагерь, его глазам представилась невеселая картина. На голом поле раскинулся барачный городок, обнесенный рядами колючей проволоки.

Пока конвоир ждал у ворот унтер-офицера, ведавшего впуском на территорию лагеря, Тухачевский с интересом разглядывал его обитателей. За проволокой слонялись оборванные и грязные, в разнообразной, военной и гражданской, одежде, худые, изможденные люди. Мелькали шинели, гимнастерки, пиджаки, рубашки, но все это выцветшее, поношенное, заплатанное. Пленные были скорее похожи на ярмарочных нищих, чем на солдат.

Тухачевский с некоторой тревогой подумал, что его шерстяной свитер да еще без этой обязательной для пленных желтой нарукавной полосы может показаться здесь даже щеголеватым.

Наконец калитка в воротах открылась и конвоир толкнул Тухачевского в нее.

В центре лагерного плаца виднелся опрятный домик с крылечком и желтым пятном свежего песочка перед входом. Не требовалось никаких объяснений: это — комендатура. Конвойный и повел Тухачевского туда.

Михаил Николаевич шел и живо представлял себе лагерное начальство, перед которым он сейчас должен будет предстать, — коменданта, главного врача и переводчика.

Комендант, конечно, какой-либо выживший из ума от старости, опереточного вида генерал, который только наезжает в лагерь. Его власть обычно осуществляли напыщенно-важный оберст «aust der Dienst» — полковник из запаса, штаб-арцт — главный врач — из недоучившихся фармацевтов и заведующий канцелярией, он же переводчик, — жестокая, беспардонная бестия, от которой, в сущности, зависит в лагере все.

Кроме них в лагере находится несколько писарей и десятка два унтер-офицеров, но это уже власть не законодательная, а исполнительная, хотя и у нее есть свои законы. Все они — и офицеры, и солдаты — преисполнены тевтонской гордости и уверены в своем неоспоримом превосходстве над «русскими свиньями».

В кабинете коменданта, куда конвойный привел беглеца, они застали одного худощавого, средних лет немца, который говорил по телефону. Разговор был оживленный, видимо не служебный. Немец весело улыбался и поддакивал: «Ja, ja, ja!»

Увидев вошедших, немец, не отрываясь от телефонной трубки, кивнул конвоиру головой (мол: давай

сюда!) и протянул руку. Конвоир подал сопроводительную бумажку. Немец, прижимая ее локтем к столу и продолжая говорить по телефону, расписался в получении беглеца и махнул конвойному рукой: готово, можешь идти!

Конвоир, щелкнув каблуками, ушел.

Тухачевский остался с глазу на глаз с немцем. Он старался угадать — кто это: штаб-арцт или переводчик? На оберста немец, разумеется, непохож.

Немец продолжал слушать, что говорят ему по телефону, потом вдруг перебил собеседника:

— Гендель? Ты спрашиваешь, где родился композитор Гендель? Я тебе сейчас скажу. Погоди, я вспомню! .. — И он задумался, барабаня по столу тонкими, длинными пальцами.

— Гендель родился в Галле, — невольно подсказал по-немецки Тухачевский. — А умер — в Лондоне...

Немец удивленно вскинул на него глаза и живо заговорил в трубку:

— Я вспомнил, вспомнил: Гендель родился в Галле! А умер в Лондоне.

— В Галле ему поставлен памятник! — вполголоса прибавил Тухачевский.

— В Галле ему поставлен памятник, — повторил немец. — Помнишь, мы его видели? Так я жду тебя завтра. Ауфвидерзейен! — окончил немец телефонный разговор и обернулся к Тухачевскому: — Откуда ты... Откуда вы знаете о Генделе? — спросил он, пристально глядя на Тухачевского.

— Я люблю музыку...

— Где научились немецкому языку?

— Дома.

— So-o! — понимающе сказал немец и взглянул на сопроводительную бумажку.

— Тухачевский, — правильно прочел он вслух.

«Значит, это — переводчик»! — понял Михаил Николаевич. Обычно для немцев начало фамилии Тухачевского не представляло затруднений — слог «тух» был знаком. Но все запинались на середине фамилии, где стояло непривычное для немцев «ч».

— Тухачевский, — повторил немец-переводчик, пристально разглядывая Михаила Николаевича. — Конечно, вы не простой солдат. Вы — вольноопределяющий-

ся, — произнес он уже на чистом русском языке. — Я это вижу. Я живал в России — был представителем фирмы «Беккер». Значит, вы бежали из плена?

— Да.

— А вы знаете, какое наказание ждет вас за побег? — спросил немец, глядя в упор на Михаила Николаевича.

Тухачевский молчал.

— Вас подвергнут тяжелейшему наказанию — подвесят к столбу. Самый крепкий человек не выдерживает этого более получаса...

Тухачевский молчал.

— В статье восьмой Гаагской конвенции тысяча девятьсот седьмого года, которую подписала и Россия, сказано: «...лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем покинут территорию, занятую армией, взявшей их в плен, подлежат дисциплинарным взысканиям». Для начала вас подвесят несколько раз к столбу, а потом посадят на месяц в штрафной барак, где нет окон, но есть клопы и крысы!..

— Что же я могу сделать? — как бы извиняясь, пожал плечами Тухачевский.

Переводчик минуту молчал, глядя в раздумье на беглеца.

— Значит, вы любите музыку?

— А разве ее можно не любить?

— Вы сами играете?

— Играю.

— На чем?

— На скрипке.

Немец-переводчик еще раз окинул Тухачевского с ног до головы, затем сунул сопроводительную бумажку в верхний кармашек мундира и быстро и решительно сказал:

— Ступайте в свой барак! Скорее, пока вас не застал здесь герр комендант! И благодарите господа бога и Генделя! На этот раз вас спасла музыка! Марш!

— Спасибо! — Тухачевский с благодарностью взглянул на странного переводчика и вышел из комендатуры. Ему хотелось поскорее замешаться в толпе пленных солдат.

На середине плаца Михаил Николаевич увидел те ужасные столбы, о которых только что говорил перевод-

чик. На трех столбах висели, не касаясь ногами земли, наказанные пленные. Тела безжизненно обвисли на веревках, опутавших их от шеи до самых ног. В тех местах, где веревка врезывалась в тело, уже вздулись желваки. У двух подвешенных изо рта шла кровь — они висели почти в обморочном состоянии. А у крайнего столба на земле лежал без чувств пленный. Два ландштурмиста отливали его водой, чтобы, когда русский очнется, подвесить его снова.

У Михаила Николаевича захолонуло сердце, подумалось: «Если бы не тот необычный переводчик-меломан, и я бы висел вот так!»

И он постарался поскорее пройти мимо этого страшного лобного места.

2

Тухачевский шел по лагерю и с тревогой думал: в какой же барак направиться, к кому обратиться, как и где устроиться? Он прошел всю лагерную улицу, мимо всех двенадцати бараков, стоявших по обеим ее сторонам. Тринадцатым бараком была кухня. Из кухни несло знакомым тошнотворным запахом гнилой картошки и протухшей рыбы. Чуть в стороне располагался четырнадцатый — больница. Тухачевский понял это по тому, что у двери курил санитар из пленных в куцем сером халате.

К баракам примыкали дощатые уборные — самое оживленное место в лагере. Здесь шел бойкий торг. В уборных пленные и солдаты охраны продавали и меняли все — от горсти высушенной картофельной шелухи и драных бумажных чулок до часов и колец. Расчетной единицей являлся лагерный паек — пятьдесят граммов «кригсброта».

Михаил Николаевич издалека увидел и печально-знаменитый штрафной барак. Он был как государство в государстве: находился в черте лагеря, но за особым высоким забором из колючей проволоки. Из барака доносились стоны и проклятия штрафников.

Дойдя до конца улицы, Тухачевский повернул назад. Он решил долго не думать, а попытать счастья на четной стороне, в десятом бараке.

Но у двенадцатого барака к нему вдруг подошел высокий, явно правофланговый, солдат в заношенной

гимнастерке и оплюхшей, видавшей виды фуражке. Приветливо улыбаясь, солдат вполголоса сказал:

— Здравствуйте, ваше высокоблагородие. Я смотрю и глазам не верю: вы ли это? Как вы очутились в этом пекле?

«Предатель. Подослали выведать... Это все мой свитер и кепка...» — пронеслось в голове.

— Ты, землячок, ошибаешься, принимаешь меня за кого-то другого, — не выдавая волнения, спокойно ответил Тухачевский. — Я такой же рядовой, как и ты. Только ты, видать, из гвардии, а я — простая армейщина...

Солдат, не переставая дружески улыбаться, продолжал:

— Господин подпоручик, не бойтесь, я свой. Я вас знаю. Вы — подпоручик седьмой роты лейб-гвардии Семеновского полка господин Тухачевский. Я сам из шестой роты. Помните, как в Люблине, когда вы только что изволили прибыть, я повстречался с вами на железнодорожных путях?

Михаил Николаевич пристально посмотрел на солдата и только теперь заметил небольшое родимое пятнышко у левого виска. И сразу узнал солдата.

— Да, теперь и я узнаю вас, — обрадовался Тухачевский.

— Я вместе с вами бежал по горящему мосту у Кржешова. И в плен попал, вероятно, в ту же самую злосчастную ночь девятнадцатого февраля под Кольно. Нашего ротного, капитана Веселаго, убили!

— Как, неужели Феодосий Александрович убит? — вырвалось у Тухачевского с сожалением.

— Да. Немцы подняли его на штыки. Стало быть, господин подпоручик, вы бежали из офицерского лагеря и вас поймали?

— Да.

— И вы сказались солдатом?

— Да.

— Так делают. У нас хоть и тяжело, но если попасть на работу в деревню, то легче бежать.

— Вот и я рассчитываю на это...

— Убежим, ваше благородие,— живо и уверенно сказал солдат.— А когда же вы прибыли?

— Час тому назад.

— И как же вас не препроводили в штрафной барак? — удивился семеновец.

— А вот отойдем куда-нибудь в сторонку, я все расскажу,— ответил Михаил Николаевич.

Они зашли за двенадцатый барак и, прислонившись к нему, сели на осеннем солнышке. Тухачевский кратко рассказал однополчанину свою историю. Он не упоминал о Генделе, а просто сказал: немец-переводчик услышал, что Тухачевский говорит по-немецки, и отнесся к нему сочувственно.

— Они свой язык уважают. Потому вам такое снисхождение и сделал. Это вам здóрово повезло, ваше высокоблагородие! Только у всех нас есть номер, а у вас номера ведь нет?

— Нет. А как же мне быть? — забеспокоился Тухачевский.

— Сообразим! — ответил семеновец и задумался. — Нашел, есть выход,— сказал, немного подумав, он.— Вы будете жить со мной, вот в этом двенадцатом бараке. У нас в бараке не хватает людей. И наш немецкий унтер-офицер Гриль не самый плохой из всех. А номер для вас есть — четыре тысячи семьсот одиннадцать. Это номер моего дружка. Он уехал отсюда в июле на работу и, слыхать, бежал. Народу здесь много — никто не дознается и не проверит. Скажете: напутали чего-либо в канцелярии, я никуда не уезжал. Это и у немцев случается. Так запомните: четыре тысячи семьсот одиннадцать. А фамилия ему была самая русская — Иванов.

— Запомню. Запомнить легко и фамилию и номер: Иванов, номер четыре тысячи семьсот одиннадцать. Мыло такое продается — «четыре тысячи семьсот одиннадцать», — улыбнулся Михаил Николаевич.

— Вот хорошо. А мой номер — три тысячи девятьсот семьдесят семь. Я вам устрою местечко возле себя. Всего у нас в бараке три группы. Мы будем во второй. Рядом с нами ребята свойские, покладистые: один из Вологды, другой из Харькова. Они не станут расспрашивать, чего, что... Скажу — мой однополчанин, и все! Простите, господин подпоручик, но мне придется звать вас просто по имени. Тут все знакомые так обращаются. Вас как величать-то?

— Михаил Николаевич.

— Так на людях я буду звать вас Мишей. И я вынужден буду говорить с вами на «ты»...

— Пожалуйста! А вас как зовут?

— Меня — Александр Васильевич Зайцев. Стало быть — Саша, ваше высокоблагородие. Саша...

— Хорошо, Саша. И прошу вас, Саша, вообще никогда не обращайтесь ко мне с этим старорежимным «ваше высокоблагородие». Какое я «благородие»? С «благородием» покончено навсегда! Теперь мы — товарищи, и товарищи вдвойне... — сказал Тухачевский.

— Ваше высокоблагородие... Михаил Николаевич, я не знал, как вы посмотрите. Я же не знал: вы за революцию или как? Здесь среди нашего брата-солдата и то разные бывают... Разные купчики-голубчики.

— Я за революцию, Саша. За народ. А как же иначе? Я ведь не какой-нибудь буржуй: у меня ни поместий, ни фабрик...

— Вот и замечательно! — потирая ладони, радовался Зайцев. — Я всегда так и считал, что вы, простите, Володя, а не Костя!

— То есть как это: «Володя, а не Костя»? — не понял Тухачевский.

— А так. Мы, солдаты, всегда делили офицеров на две группы. Одних, которые не гнушаются нашего брата, относятся к нам по-человечески, мы звали «Володя», а других, кто шпынял нас и готов был руку приложить,— «Костей». У нас так и говорили. Вот стоим с девушками где-либо на Загородном у ворот, видим — идет офицер. «Эй, подтянись, говорим: Костя идет! Или: не бойся, ребята, это наш Володя»...

— Ах вон оно что!.. А ваши соседи по нарам за кого? — спросил Тухачевский.

— Они тоже за революцию. Вологодец из батраков, а харьковец — с завода. Был у нас в группе один ефрейторишка из состоятельных, из артельщиков. Он все пел: мол, хорошо, что царя прогнали, народом, говорит, справедливее управлять, да только, говорит, еще неизвестно, что из всего этого получится... Вот скотина! Так мы его протурили... Ну да об этом после, а теперь за дело!

Зайцев внимательно оглядел Тухачевского сверху донизу, покачал головой:

— Вас, Михаил Николаевич, надо малость переодеть. Вы немножко выделяетесь среди нашей-то рва-

ни... Эту вязанку мы сейчас поменяем на что-либо более подходящее, незаметное... И ботиночки тоже...

— Что, разве в ботинках нельзя ходить? Обязательно надо в деревянных колодках? — удивился Тухачевский.

— Нет, можно во всякой обуви. Глядите, вот я в чем щеголяю. — Зайцев поднял ногу, обутую в какой-то опорок. — В деревянных больно неудобно. Да видите ли, Михаил Николаевич, немчура отнимает у пленных сапоги и ботинки. У них у самих давно с кожаной обувью туговато. А вместо сапог выдают деревянные. А вам башмаки еще пригодятся!

— Что же делать? Продать?

— Зачем? Что-нибудь придумаем, найдем. А ваши ботиночки спрячем до лучших времен. Я все живо обстряпаю! — поднялся Зайцев.— Вы здесь обождите, а я — живо! А потом будем думать, как бежать домой,— дома, в Расее, делов много! Нечего нам тут валандаться!

3

Через некоторое время Тухачевский неузнаваемо преобразился: вместо французского свитера на нем уже был серый поношенный немецкий пиджак. Правда, пиджак не сходился на груди, но у многих пленных одежда была не по мерке. Кроме того, Саша Зайцев пришил к рукаву пиджака легонько, чтобы только держалась, обязательную для всех военнопленных желтую коленкоровую полоску-повязку.

Вместо ботинок на ногах у Михаила Николаевича очутились старые войлочные туфли, вроде арестантских котов. Ботинки Тухачевского Саша куда-то надежно запрятал.

В новой экипировке Тухачевский стал обычным обитателем лагеря, ничем по виду не выделяясь из толпы.

В результате удачно проведенного обмена Тухачевский получил еще пятьдесят граммов (суточный паек) «кригсброта» и латаный мешок. Энергичный Саша Зайцев тотчас же раздобыл где-то соломы, набил ею мешок.

— Вот и постель готова! — удовлетворенно сказал Зайцев.

И они отправились в барак устраивать Михаила Николаевича на жительство.

Зайцев и его ближайшие соседи по нарам — белокурый вологодец Дербинов и коренастый харьковец Помогайбо — занимали места в дальнем углу барака. Постель Зайцева лежала у самой стены, рядом с ним располагался Помогайбо, а за украинцем — Дербинов.

Зайцев объяснил товарищам, что Тухачевский — его однополчанин Иванов, что он находился во втором бараке, а сегодня семеновцы случайно встретились и что Иванов упросил писаря перевести его из второго барака к ним, в двенадцатый.

— Видите ли, Миша,— кивнул он на Тухачевского,— немного маракует по-немецки. Писарь и пошел ему навстречу.

— Да, немчуре нравится, когда умеют говорить поихнему,— согласился вологодец.

— А он что же, из немцев? — взглядывая на Тухачевского, спросил у Зайцева скептический Помогайбо.

— Нет, я русский,— затаив улыбку, ответил Михаил Николаевич.

— А откудова же ты знаешь немецкий язык?

— Я работал у немца на хуторе, в Поволжье.

— А сам з видкеля?

— Из Пензы.

— Так лягай, братику, будем вместе горевать! — радушно сказал Помогайбо и потеснился, чтобы дать Тухачевскому место на нарах.

Михаил Николаевич бросил свой мешок между тощим тюфяком Зайцева, лежавшим в самом углу, и сенником Помогайбо.

— У нас тут всяко хорошо. Уголок — что божье ушко! — улыбался Дербинов.

Действительно, уголок выдался уютный.

Первые впечатления от скептического харьковца и неспешного вологодца были у Михаила Николаевича благоприятные. Он с интересом присматривался к своим новым товарищам.

Украинцы служили в Семеновском полку, и Тухачевский уже был несколько знаком с их языком, а с вологодцем приходилось встречаться впервые, и своеобразная речь Дербинова заинтересовала Михаила Николаевича. Вологодец употреблял какие-то старорусские слова: «сей год», «сёлеть», «лони́сь». Тухачевскому по-

казались очень странными и северные удвоения, вроде «попоехал» (вместо «поехал»), «попошел» и другие.

На вечерней перекличке унтер-офицер Гриль, командовавший двенадцатым бараком пленных, даже не удивился, что у него сегодня стало одним человеком больше, чем считалось вчера. Состав пленных в бараке был текучим: один заболел, и его отправили в больничный барак, другого посадили в карцер, третий умер. А этот «лишний» пленный стоял тут же, в шеренге, и называл свой номер «четыре тысячи семьсот одиннадцать». Гриль не знал в лицо всех своих подопечных, но твердо помнил, что № 4711 принадлежит к его бараку.

Так Тухачевский окончательно закрепился в двенадцатом бараке. И стал обживаться на новом месте.

Как ни тягостна и постыла была жизнь в офицерском лагере, но она не могла идти ни в какое сравнение с ужасами солдатского. Недаром немцы всегда так старались обособить офицеров от солдат.

Первым отличием солдатского лагеря от офицерского было полное бесправие пленного солдата. Тевтонских издевательств хватало и в офицерском лагере. Все немцы старались с беспримерным усердием сделать жизнь русского пленного невыносимой. В офицерском лагере за какую-либо провинность (недостаточно почтительное отношение русского капитана к немецкому унтер-офицеру) могли посадить в карцер, лишить прогулок, если они практиковались в этом лагере вообще, но и только.

А в солдатском существовал целый комплекс наказаний.

Унтер-офицер мог побить пленного плеткой так — за здорово живешь, мог спустить на него сторожевую овчарку, мог положить пленного на бочку вверх животом и бить по животу палкой, мог, наконец, подвергнуть самому жестокому и мучительному наказанию — подвесить к столбу.

Тухачевский и до солдатского лагеря знал, что дисциплина у немцев всегда и везде — и в школе, и в армии — вырабатывалась путем наказаний. Грубые окрики, оскорбление, битье были испокон веков обычными воспитательными приемами немецких учителей, учили ли они школьников, солдат или лошадей.

«Züchtung» — воспитание животных, отсюда пошел

знаменитый «цук» и «цуканье» в разных военных школах. Отсюда прославленный принцип прусской муштры, принятой в немецкой армии еще с Фридриха Второго: «Двух забей, третьего выучи!»

Отсюда и колодник по-немецки — «Züchtling»!

К счастью Тухачевского, унтер-офицер двенадцатого барака Гриль был более или менее сносным человеком.

А вот на противоположном конце улицы, в седьмом бараке, командовал садист фельдфебель Шпинне, типичный откормленный немец с злобно-раскатистым смехом. До армии он служил тюремным надзирателем, и подчиненных ему солдат и русских пленных Шпинне держал в повиновении и страхе. Он ходил с плеткой, вечно кричал и ругался и не называл русских пленных иначе как «Schweineband»[1]. В седьмом бараке все делалось по свистку. Как только раздавался свисток унтерофицера, все пленные должны были выбегать из барака. Если Шпинне находил в бараке какие-либо беспорядки (а при его придирчивости найти их было нетрудно!), весь барак выгонялся на улицу и в течение получаса раздавалась злобная команда фельдфебеля:

— Ложись, вставай! Ложись, вставай!

По Шпинне можно было определить, каковы дела на фронте. Если Шпинне с утра весело регочет, значит, на фронте у немцев — удача. А если стегает плеткой направо и налево, свирепо выкатив коричневые глаза, значит, у немцев дело — швах...

Собираясь назваться рядовым, Тухачевский знал, что в солдатском лагере придется еще больше голодать, нежели в офицерском. Но так хотелось домой, в Россию,— ведь там занимается заря новой жизни! — что он решил вытерпеть все.

В лагере была большая смертность: не все пленные могли выдержать такую каторжную жизнь. И рядом с лагерем, в полукилометре, раскинулось большое кладбище. Аккуратно-педантичные немцы содержали кладбище в образцовом порядке. Обслуживать кладбище они выделили специальную команду из русских пленных. Пленные рыли могилы, смотрели за могильными холмиками, березовыми крестами и каждый день чисто мели дорожки.

---

[1] Стадо свиней *(нем.)*.

— Если бы немцы так уважительно обращались с нами живыми, как обходятся с покойниками, то сидеть в лагере еще можно было бы! — горько шутили пленные.

4

Постепенно, день за днем Тухачевский все больше погружался в безрадостную, нелегкую жизнь пленного солдата. Здесь, в Вормсе, разумеется, было во сто крат тяжелее, нежели в Штральзунде, Бад-Штуере или Ингольштадте. Тухачевский вместе со всеми пленными из двенадцатого барака делал все, что полагалось: убирал барак, подметал лагерную улицу, ходил под конвоем на городской склад за продуктами. Там пленные нагружали фуру картофелем и брюквой, клали рогожный куль с какой-то вонючей соленой рыбой, а потом впрягались в фуру и под насмешливо-злорадными взглядами немцев тянули ее в лагерь. У лагерных ворот их окружали вооруженные ландштурмисты. Они сопровождали фуру до кухонного барака, потому что голодные пленные готовы были наброситься на сырую картошку.

Тухачевский старался ничем не выделяться среди пленных солдат, не показывал, что он образованнее их, и не стремился верховодить в своей второй группе. Вообще Тухачевский, как всегда, предпочитал слушать, а не говорить. А когда требовалось выполнять какую-либо работу, делал ее не ленясь. Если нужно было тащить фуру, первым брался за оглобли.

— Ну, теперь будет дело — Миша из второй группы идет! — говорили пленные двенадцатого барака, готовясь отправляться за продуктами для кухни.

Солдаты-пленные быстро оценили не только физическую силу Тухачевского, но и его всегдашнее спокойствие, рассудительность и выдержку.

И в этом каждодневном тесном общении с пленными Михаил Николаевич все больше узнавал русского солдата.

По вечерам, когда в бараке тушились огни и унтерофицер Гриль запирал двери на замок, Михаил Николаевич лежал и слушал, о чем переговариваются на соседних нарах.

Иногда кто-нибудь вспоминал недавнее прошлое —

говорил о боях, которые ни у кого не выходили из памяти.

— Перед боем завсегда надо переодеться,— поучал хриплый пожилой голос.

— К смерти обчиститься? — спрашивал молодой.

— Не поэтому. Ты слухай! И всего белля менять не надобно!

— Да ну-у?

— Вот тебе и ну! Надо, чтобы одная какая-нибудь часть от старой смены оставши была.

— Зачем?

— Она те за землю удоржит. Жив останешься. Хоть и подранят, а все жить будешь. Вот как я...

— Рубаху, что ль, оставить?

— Зачем рубаху? Рубаху беспременно надо сменить. И портки тоже. Потому, ежели в живот угодит, так чтоб скрозь чисто было. А вот портянки, например, можно оставить, как я. Меня в бою австрияк ударил штыком, а я отбил. Евонный штык, понимаешь, только разодрал мне бок. А смени я портянки — не отбил бы! Он прямо мне под вздох угодил бы!

— Нечто австрияк глядит, куда тычет? Австрияк пьяный идет в бой! — прибавил чей-то рассудительный голос.

С другой стороны шел разговор в ином тоне:

— А страшно ходить в разведку? Должно быть, как яблоки воровать в барский сад?

— Нет, голубь, в разведку иттить — это не к Палашке через плетень!

Где-то в углу напротив какие-то совершенно отсталые ополченцы судили-рядили:

— Чем царь Николашка теперь жить-то станет?

— Не печалься— у него денег много! Уедет в Америку, дом купит...

Но такие рассказы слышались редко. Теперь думали и говорили о другом.

«Рябой бумаги», как некоторые малограмотные солдаты называли газеты, русские пленные не видели. В бараках распространялись немцами одни лживые, клеветнические берлинские «Русские известия». Главным источником информации являлись слухи, которые шли из лагерного «клуба», дощатых уборных. Оттуда

узнали, что Керенский готовит наступление, что он восстановил на фронте смертную казнь.

Ночью в бараке большею частью разгорались споры о политике. Двенадцатый барак населяли по преимуществу крестьяне и рабочие. Рабочие и крестьянская беднота шли за большевиками. Но среди пленных солдат попадались и сыновья зажиточных хозяев и мелких торговцев. Они были за Керенского. Уже никто, ни один тайный черносотенец открыто не защищал старый режим. Все они стали хитрее: ратовали за правительство Керенского.

Большинство пленных ждало мира, а Керенский провозглашал: «Война до победного конца!»

Слушая споры о войне и мире, Михаил Николаевич невольно вспоминал вторую конференцию в Циммервальде, обращение которой он читал в «Социал-демократе», еще будучи в Бад-Штуере. Там точно говорилось, кто проповедует войну до победы.

Но он не вмешивался в спор. В бараке находились солдаты, которые и сами верно отвечали на этот животрепещущий вопрос. И прежде всего — Саша Зайцев.

— Война выгодна тому, кто на ней наживается. Крестьянам и рабочим она не нужна! — убежденно говорил он.

— Как не нужна? — захлебываясь, запальчиво возражал Зайцеву из темноты тенорок.— Что ж, по-твоему, оставить все немцу? И Польшу, и Ригу? Он гляди сколько у нас оттяпал! Нет, Керенский не оставит!

— Твоему Херенскому, сидя в Петрограде в царских покоях, хорошо говорить! — вмешивался чей-то бас.— А погнать бы его самого на фронт, чтобы, как мы, померз в окопах да покормил бы вшей, тогда бы твой пустобрех Херенский иное запел бы!

Спорили, шумели до тех пор, пока ландштурмист охраны не стучал прикладом в дверь, крича:

— Ruhig! Still! [1]

В эти ночные часы Михаил Николаевич подробно обсудил с Сашей Зайцевым план побега.

Обычно на сельскохозяйственные работы отправляли из солдатских лагерей весной. Осенью же могли направить в шахты — каменноугольную или соляную, на

[1] Спокойно! Тише! *(Нем.)*

какую-либо фабрику или к французскому фронту. На французском фронте пленные строили укрепления или работали на погрузке снарядов.

— Куда бы ни повезли — убежим,— убежденно шептал Михаилу Николаевичу Зайцев.— Убежим с дороги, из вагона. Я припрятал ножовку — стащил у немецких рабочих-электриков, когда они увеличивали освещение на вышках. Выпилим доску в полу вагона, и поминай как звали!

— Что ж, это подходящее дело, — согласился Тухачевский.

— А с вами, Михаил Николаевич, бежать будет хорошо: человек вы образованный, бывалый. С вами не пропадешь! И по-немецки вы говорите...

— По-французски я лучше говорю,— вырвалось у Тухачевского.

— Вот видите, как хорошо! — радовался Зайцев.

— А будут ли еще слать на работы? — беспокоился Тухачевский.— Ведь уже осень...

— Будут. У них везде не хватает рук. В прошлом годе слали.

— А может, из других бараков пошлют? Ведь мы последние.

— Вот это как раз и хорошо. В июне послали одну группу из одиннадцатого и первую из нашего барака. Теперь черед за нашей второй,— обнадеживал Зайцев.

Оставалось ждать отправки.

Предусмотрительный Саша запасся еще одним нужным в побеге инструментом — долотом. На этот раз Зайцев купил его у немца-плотника, укреплявшего большие лагерные ворота.

5

Непереносимо долго тянулись однообразные, голодные, пустые по впечатлениям дни. Тухачевский и Зайцев ждали: когда же, когда станут посылать пленных на работы?

Уже и август кончался...

И вот долгожданный день пришел-таки.

Однажды на утреннюю перекличку явился сам заведующий канцелярией, тот худощавый переводчик-меломан. Он объявил, что после завтрака (чашка бурды из желудей) вторая и третья группы двенадцатого барака

вместе с такими же группами одиннадцатого будут отправлены на работы. Куда поедут, заведующий канцелярией не упомянул — немцы всегда держали это в строжайшем секрете.

Тухачевский со своими новыми друзьями попал в число уезжавших. Получив хлебный паек на сутки, пленные стали собираться в путь.

— Ну, товарищи, давайте слаживаться в дорогу,— сказал харьковец Помогайбо.

— Да, сегодня мы уже попоедем! — потирал от удовольствия руки вологодец Дербинов.

Саша Зайцев принес откуда-то ботинки Михаила Николаевича и сказал, что их можно надеть, но только один ботинок следует обернуть каким-либо тряпьем и обвязать веревкой, чтобы он потерял всякое подобие ботинка. Немцы с одной ноги даже целый ботинок отнимать не станут.

И сам сделал так же.

Михаил Николаевич раздобыл у кухонного барака кусок рогожи и сделал так, как советовал Зайцев. Правая нога, обернутая рогожей, получилась у Тухачевского страшно уродливой. Но зато она не представляла никакого соблазна для немцев.

Ножовку Зайцев ловко опустил в штанину, привязав ее к поясу. Долото передал Тухачевскому. Кроме этих инструментов запасливый Саша захватил с собой две веревки. Он выменял их у пленных, работавших на кладбище. Одной веревкой опоясался Дербинов, второй — Помогайбо.

Зайцев давно посвятил их в план своего побега,— без помощи товарищей не обойтись!

Дербинов и Помогайбо бежать не собирались.

— Зачем бежать? Сей год война беспременно окончится! — убежденно заявлял Дербинов.

— Вот побачите, хлопцы, днями наши замирятся с немцами,— поддерживал товарища Помогайбо.

И вот колонна пленных — свыше трехсот человек — вышла из лагеря и направилась к вокзалу.

На вокзале в Вормсе было людно и шумно. На первом пути стоял пассажирский состав, в который сажали молодых, недавнего призыва, солдат. Их отправляли на фронт.

Раньше, увидев русских пленных, все — и военные

и гражданские — подняли бы злобный вой, затянули бы свою обычную воинственную «Wacht am Rein», фрау в шляпках и нитяных перчатках плевали бы русским пленным в лицо, а какой-нибудь толстомордый бюргер в шовинистическом раже тыкал бы тростью пленным в спины и грудь. И даже откуда-то нашлись бы тухлые яйца, гнилые яблоки и заплесневелые соленые огурцы, чтобы забрасывать ими ненавистных русских.

Теперь же никто из жителей Вормса не обратил внимания на колонну пленных. Отцы уже не вспоминали о Вильгельме Втором и фатерлянде, а утирали глаза фуляровыми платками и шумно сморкались, а мамаши плакали открыто.

Молодые солдаты, разукрашенные цветами, хотя и старались держать себя бодро и непринужденно и даже пытались напевать что-то воинственное, но в их песнях дрожали предательские слезы.

Все они, и старые и молодые, были сыты войной по горло!

И уже никто не бросал в пленных ничем съедобным — на третьем году войны в Германии было не густо с продуктами.

Оркестр играл задорные, веселые марши, но и оркестранты были уже не прежние — либо хромые, либо слепые.

Война хорошо похозяйничала в Германии!

Тухачевскому снова вспомнились те строки из Циммервальдского обращения, которые он прочел в прошлом году:

«Два года мировой войны! Два года опустошения! Два года кровавых жертв и бешенства реакции!»

Но уже прошло не два, а все три!

Когда-то в Штральзунде он видел на станции бравого солдата в каске с аккуратным чехлом, на котором горела красная цифра полка. А теперь на станции Вормс стоял с длинной с проседью бородой, в мятой фуражке пожилой, мало воинственный ландштурмист.

Да, времена переменились!

Эшелон с мобилизованными ушел. Провожавшие понуро потянулись домой. К перрону подали замызганный товарный состав. На вагонах виднелась надпись «Elsass Lothringen».

«Вагоны из Эльзаса... Не на французский ли фронт

нас повезут? — обрадовался Тухачевский.— Вот хорошо было бы!»

Немецкая охрана стала занимать свои места. Над тормозной площадкой некоторых товарных вагонов возвышалась будка. Часовые влезали туда. Кроме того, охрана садилась в первый и последний вагоны.

— Михаил Николаевич, послушайте, что говорят немецкие солдаты, — шепнул Зайцев.

Тухачевский уже давно прислушивался к их разговорам.

— Вон тот толсторожий солдат жалуется товарищу: его Марта будет скучать столько дней!

— Стало быть, едем далеко? — спросил вполголоса Зайцев.

— Да. А вот его сосед отвечает: в оба конца поедем дней пять-шесть... Действительно, нам повезло — нас везут к французской границе,— обрадовался Тухачевский.

Охрана уже сидела на своих вышках. Начали рассаживать пленных по вагонам. В каждый вагон впихнули по тридцать — сорок человек. Ни нар, ни соломы или чего-либо иного в вагонах не было. Пленных погнали в вагоны, как скот. Вагоны закрыли на замок. Свет в них проникал только через небольшое верхнее оконце.

Из обрывков немецких разговоров Тухачевский понял, что их везут в Фрейбург в Шварцвальде.

И он живо представил себе этот маршрут по карте.

Сколько дней во время побега с Филипповым Михаил Николаевич, отлеживаясь в каких-нибудь кустах, рассматривал, изучал маршруты, идущие на юг, к Швейцарии. Было это ровно год тому назад. И теперь перед его глазами встал этот маршрут: Мангейм — Карлсруэ — Страсбург.

«Оттуда до Швейцарии рукой подать!»

И вот эшелон тронулся. Без музыки и слез.

— Ну, ребята, мы, кажется, уже попоехали! — весело сказал вологодец.

Их четверка заняла место в углу, противоположном от тормозной площадки: все же не так слышно часовому.

— Ну, надо вырезывать доску,— тихо сказал друзьям Зайцев.

— Сейчас я определю. Мы, слесаря, много кой-чего

понимаем,— охотно отозвался Помогайбо и стал легонько выстукивать кулаком пол.

— Э, что ты, слесарь, понимаешь? — возразил Зайцев.— Ты, брат, с металлом, а я весь век с деревом — я сто́ляр. Я лучше тебя в этом деле понимаю...

— Сто́ляр, сто́ляр,— буркнул Помогайбо.— Я и не сто́ляр, а не хуже тебя определю. Я, как дятел, найду, где слабже... Вот пили эту! — хлопнул он ладонью по доске.

Зайцев взял у Тухачевского долото, достал из-за пазухи камень (он ухитрился по дороге на станцию найти и камень) и стал пробивать долотом отверстие для ножовки. Но пробивал он не спеша, с остановками, чтобы ритмичные удары не привлекли бы внимания часового, сидящего в будке над тормозной площадкой.

— Вы чего это задумали? — подошли к ним несколько любопытных пленных.

— Дыру хотим сделать... Сколько ехать придется, а ведь немчура двери тебе не откроет!

— Что и говорить — верно!

И больше уже никто не досаждал им вопросами. К вечеру дыра была готова.

Михаил Николаевич хотел убедиться в своих предположениях, что их везут на Мангейм. Когда поезд загудел и почувствовалось, что он подходит к какой-то станции, Тухачевский подпрыгнул и ловко ухватился за раму открытого окошка. Как ни был он истощен, но сказалась многолетняя гимнастическая тренировка. Он подтянулся на руках и глянул из вагона.

— Видать, окончил учебную команду — ишь как ловко скакнул! — похвалил Помогайбо.

Зайцев поддерживал Тухачевского снизу:

— Смотри, Мишенька, смотри, что там!

— Мангейм,— с удовлетворением прочел Михаил Николаевич и соскочил на пол.

— Ну что там, куда едем? — спросил Зайцев.

— Туда. Можно ложиться спать.

— А не проспим?

— Нет. Ехать не меньше суток,— успокоил Тухачевский.

И они улеглись на голом полу. Из других углов вагона давно уже несся храп.

Утром эшелон остановился в Карлсруэ. Выдали хлеб и по кружке всегдашнего «кофе».

Теперь из окна справа в легкой дымке виднелся Рейн.

За день легко и свободно Зайцев прорезал в полу дыру, достаточную для того, чтобы в нее пролез человек.

— Я длиннее тебя, Миша, мне придется чуточку скорчиться,— смеялся Саша.

Но Зайцев не допилил доски до конца, оставил немного, чтобы они еще могли держаться.

Соседи по вагону уже догадались, в чем дело. Пленные обступили Зайцева и его компанию.

— А с вами мне можно? — спросил один.

— Чем больше человек убежит, тем скорее поймают, — ответил Зайцев.

— Мы уйдем, дыра останется. Вылезайте, кто хочет,— сказал Тухачевский.

— Да оставь ты, Гришка! Вишь у них все налажено. Тот вон,— кивнул солдат на Михаила Николаевича,— по-немецки маракует... А ты, скобарь, куда сунешься?

— Шею сломаешь!..

— Я бы ни за что! Бросаться под колеса? Слышь, какой ход, как шпарит?

Поговорили, посудачили и оставили Зайцева и Тухачевского в покое.

День тянулся невероятно долго. Поезд шел без остановок. Вагон не открывали и никакой еды пленным не приносили. У немцев это было в порядке вещей.

Люди лежали — так легче переносить голод.

Уже вечерело, когда Михаил Николаевич еще раз выглянул в окошко. Вокруг бежали мягкие, поросшие лесом горы. Внизу блестели озера, проносились городки с высокими черепичными крышами. На крышах одно над другим выступали мансардные окна. Виднелись острые готические шпили кирок. Между мягкими горами лежали прямоугольники полей и огородов — там были спасительницы: брюква и картошка.

Поезд грохотал по виадукам. А потом пошел, натужно пыхтя,— подъем!

Еще подъем и — спуск. Поезд петлял по горам.

В вагоне уже стояла густая темнота.

Михаил Николаевич спрыгнул на пол и сказал Зайцеву:

— Ну, Саша, допиливай!

Он светил спичками, а Зайцев допилил доски, но не позволил им выпасть на путь — заранее подсунул под них конец веревки. Боялся, чтобы охрана, стоявшая на последнем вагоне, не заметила бы их приготовлений.

Проехали Оффенберг.

Все смотрели вниз, в прорезь пола, как мелькают, бегут назад шпалы. Снизу дуло свежим ветерком.

Темнота и за вагоном сгущалась.

Давно решили: первым выбрасывается Тухачевский.

Вот поезд снова изменил ритм: сбавил ход — очередной подъем! Но как будет длинен он — неизвестно...

— Пошли! — твердо сказал Тухачевский.

Дербинов и Помогайбо положили поперек зиявшего отверстия веревку, и каждый со своей стороны крепко держал ее за конец. Зайцев изредка светил спичкой.

Михаил Николаевич лег на веревку спиной, а ногами уперся в поперечные доски выреза. Держась руками за веревку, он повис над отверстием.

— Отпускай! — скомандовал Тухачевский.

Дербинов и Помогайбо стали медленно опускать его вниз, под пол. Поезд продолжал ползти куда-то вверх на гору, вагоны катились замедленно.

Михаил Николаевич опустил ноги. Рогожу с левого ботинка он давно сбросил. Ноги Тухачевского забарабанили по шпалам. Во рту у него стало сухо и горько. Медлить было нечего. Он дернул за оба конца веревок — условный знак: бросай!

Еще полсекунды, и Дербинов и Помогайбо одновременно выпустили из рук оба конца веревки.

Михаил Николаевич шлепнулся плечами на шпалы. Он постарался нагнуть вперед голову, чтобы не удариться затылком о шпалы. И инстинктивно закрыл глаза.

Кажется, все было в порядке — все обошлось. Правда, плечи и поясница все-таки ныли от ушиба, но он лежал невредимый на шпалах и над его головой, мерно лязгая, мелькали вагоны.

Тухачевский ждал, когда пройдет весь состав. Одна мысль тревожила его: успеет ли Саша выпасть из вагона

до тех пор, пока поезд не пошел под уклон? Но вагоны тарахтели все в том же неспешном ритме подъема.

И вдруг — одним рывком кто-то сорвал над его головой темноту. Эшелон прошел. Вверху сияло ночное звездное небо...

Тухачевский выждал некоторое время — лежал не шевелясь: может, часовой заметит его или Зайцева на шпалах и станет стрелять?

Лежал и напряженно прислушивался. Шум поезда все отдалялся, становился все глуше.

И вот по горам разнесся предупредительный гудок паровоза: это — спуск.

Успели!

Тухачевский поднялся на ноги и, как было условлено, свистнул. Из темноты отозвался ответный свист. Михаил Николаевич пошел по шпалам навстречу Саше.

— Ушиблись, Михаил Николаевич? — участливо спросил Зайцев, крепко сжимая его руку.

— Ничего, до свадьбы заживет! — весело ответил Тухачевский.

Они спрыгнули с железнодорожного полотна в кусты. Внизу, в лощине, яркими огнями сиял какой-то городок.

«А все-таки, все-таки впереди — огни!» — вспомнилось короленковское.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...»

1

Тухачевский стоял у окна вагона, смотрел и не верил своим глазам: родина!

Вот она! Вот эти леса и реки, поля и огороды, эти дачные поселки.

Здесь все свое, русское!

Здесь не надо прислушиваться, оглядываться и прятаться. Здесь не услышишь над собой омерзительное «Halt».

Как хорошо быть дома!

...На этот, пятый раз побег удался.

Тухачевский с Сашей Зайцевым две недели карабкались по горам. Хорошо, что случайно захватили с собою веревки — они помогали спускаться с круч Шварцвальда. Наголодались, натерпелись как следует, но все-таки благополучно попали в Швейцарию, а оттуда во Францию.

В Париже Михаил Николаевич явился к русскому военному агенту графу Игнатьеву и получил от него деньги на переезд. А Александр Васильевич Зайцев выправил «Проходное свидетельство на возвращение в Россию» у генерального консула, где и ему выдали деньги на дорогу. Тухачевский и Зайцев выехали через Лондон и Финляндию домой.

После того как они очутились за пределами Германии, Зайцев хотел как-то уйти в тень, стал держать себя как подчиненный Тухачевского, но Михаил Николаевич воспротивился. Он вообще ни с кем не допускал панибратства, но вместе с тем никогда не забывал друзей.

— Мы были товарищами, давайте останемся ими и впредь! — сказал он Зайцеву.

Одеты они были одинаково скромно — сбросили лагерные лохмотья и кое-как приоделись. Оба худущие, черные, с ввалившимися, усталыми глазами, но бодрые духом.

И вот теперь они подъезжали к Петрограду, где свершилась революция.

В Петрограде Михаил Николаевич был только раз, проездом, в тот памятный август 1914 года; Петроград он знал лишь понаслышке. Он помнил «На берегу пустынных волн», гоголевское — «Нет ничего лучше Невского проспекта» и надпись на плите в Александро-Невской лавре: «Здесь лежит Суворов». Петербург — Петроград всегда связывался у Михаила Николаевича с белыми ночами и этой шутливой студенческой песенкой:

А Исакий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

С самим городом Тухачевский вовсе не был знаком. Осенью 1914 года он ехал с Николаевского вокзала в Семеновский полк на извозчике. Извозчик вез его

через Невский. Михаил Николаевич запомнил на вокзальной площади массивную глыбу памятника Александру Третьему и оживленный Невский проспект. Питерские улицы оказались шире и наряднее московских. Они были совершенно иные, чем в Москве, где рядом с пятиэтажным домом новой архитектуры лепился одноэтажный деревянный домишко с покосившейся калиткой и геранью на окошках.

А Саша Зайцев знал здесь все назубок: он ведь отбывал в невской столице действительную службу.

У Финляндского вокзала они сели в трамвай № 9 и заплатили по пять копеек до казарм Семеновского полка на Загородном.

— Ишь, солдатам теперь скидка. Раньше до нас от Финляндского стоило десять копеек,— заметил Зайцев.

Раньше плохо одетая публика не проходила внутрь вагона. Какой-либо полотер с измазанным мастикой красным ведерком и щетками под мышкой не рисковал сесть рядом с форменной шинелью чиновника или котиковым манто барыни, а жался на площадке. А «нижним чинам» проезд в вагоне был и вовсе запрещен — солдаты имели право ездить только на площадке. А теперь в вагон протискивались все.

Тухачевский и Зайцев остались на площадке — хотелось лучше рассмотреть город.

Саша все объяснял:

— Это Литейный. Вон Дом Армии и Флота. А это — Преображенский собор всей гвардии. У него в ограду вделаны пушки... А вот и Невский! — с гордостью сказал Зайцев, хотя Тухачевский узнал главный проспект и сам.

Проехали еще немного.

— А это — Пять углов...

И уже казармы Семеновского полка.

Оказалось, что запасным полком, который после революции стал называться «гвардейский Семеновский резервный полк», командует бывший начальник пулеметной команды полковник Бржозовский.

Тухачевский явился к Бржозовскому.

В тот же день он получил двухмесячный оклад подпоручичьего жалованья с квартирными — двести тридцать два рубля десять копеек.

Осенью 1914 года это были немалые деньги, а теперь

две эти сотенные «катеньки» и три радужные десятки обесценились так, что если бы командир полка не вошел в положение и не велел выдать Тухачевскому солдатское обмундирование, то Михаилу Николаевичу пришлось бы ехать в полк в том же дешевом костюме, который он купил в Париже.

Тухачевский поместился в офицерском флигеле Семеновского полка на Загородном, пятьдесят два.

В первый же выход на улицу Михаил Николаевич сразу подошел к тумбе с афишами. Говорили, что по ночам на улицах Петрограда стучат винтовочные выстрелы, но в театрах и кино шла своя жизнь. Он с интересом читал афишу:

КОНЦЕРТ

СЕРГЕЯ КУСЕВИЦКОГО

В программе **Рахманинов**

Симфоническая поэма «Остров Смерти»

С каким удовольствием пошел бы он на концерт, но не до того... Резервный Семеновский полк нес караулы по городу — держал посты у Государственного банка, Экспедиции заготовления государственных бумаг на Фонтанке, в Петропавловской крепости.

Тухачевский не хотел задерживаться в Петрограде. Он решил немедленно ехать в полк, тем более что в нем служили оба его брата — старший, Николай, и младший, Александр. А из полка собирался отправиться в пензенские края, где уже второй год жила Мавра Петровна с девочками.

Пробыв в Петрограде только два дня, Тухачевский выправил командировку, получил литер и выехал в Киев, — Семеновский полк стоял в Подволочиске.

Офицерский флигель запасного полка находился рядом с Царскосельским вокзалом. Зайцев провожал Михаила Николаевича — сам он оставался в резервном полку в Петрограде.

Царскосельский вокзал был набит пассажирами до отказа. Всюду: в коридорах, залах ожидания, на скамейках, подоконниках и просто на заплеванном, усеянном шелухой семячек и разным мусором полу — сидели и лежали люди. Спали, ели, целовались...

Перрон тоже был полон. Поезда брались с бою.

Тухачевский пошел было разыскивать военного коменданта, чтобы комендант обозначил ему место в вагоне, но Саша Зайцев только рассмеялся.

— Михаил Николаевич, да плюньте вы на коменданта! Он ничего не сможет сделать: видите, сколько народа и что творится! Пойдем, мы сами найдем местечко получше!

И, держа вещевой мешок Тухачевского, Зайцев шел куда-то по перрону, чуть ли не к выходному семафору.

Михаил Николаевич попытался возражать:

— Саша, неудобно...

— Ежели станете церемониться, то всю дорогу до Киева простоите в тамбуре. Вот это будет действительно неудобно,— убежденно и повелительно сказал Зайцев.

Волей-неволей пришлось послушаться практичного товарища.

Когда стали подавать киевский состав, Зайцев, бесцеремонно расталкивая пассажиров, собиравшихся по его примеру садиться на ходу поезда, прыгнул на площадку вагона.

Он оглянулся и крикнул:

— Михаил Николаевич, давай!

Тухачевский прыгнул на заднюю площадку того же вагона, растворил дверь и побежал по пустому вагону навстречу Зайцеву.

— Сюда, сюда! — кричал Зайцев, кинув на среднюю полку тощий вещевой мешок Тухачевского.

— Ложитесь скорей! Час добрый! Я побегу, а то загородят, не выйдешь! — крикнул он, выбегая из вагона.

Тухачевский вскочил на полку и растянулся на ней, положив под голову вещевой мешок.

На поезд словно обрушился страшный ураган.

Все потонуло в грохоте, топоте бегущих ног, криках, плаче детей и матерщине взрослых. В вагон вбегали обезумевшие, вспотевшие и ничего не видевшие люди, грохоча ящиками, сундуками, чемоданами, звеня ведрами, чайниками, кастрюлями, бренча шашками и шпорами, стуча винтовками. Лезли в двери и в раскрытые, а частью и выбитые окна...

Тухачевский на мгновение увидел Сашино лицо — оно мелькнуло в окне в свете станционного фонаря и исчезло. Его заслонили бегущие с узлами на плечах, орущие люди.

В вагон набивалось все больше и больше народа, внутрь нельзя было протиснуться. Снаружи умоляли, плакали, заклинали на всех языках. Грозились и бранились по преимуществу на одном русском.

Но действительно в вагоне негде было упасть не то что яблоку, а даже горошине... Вагон был полон людьми, вещами и запахами.

И вот, не внимая никаким мольбам и угрозам остающихся на перроне, поезд медленно тронулся.

Тухачевский кое-как промучился до Киева. Эта поездка была похожа на какой-то очередной побег из плена — так тяжела она была.

Защитные офицерские погоны он успел нацепить лишь на гимнастерку. На шинели погон не было.

От Киева до Подволочиска оставалось более четырехсот верст. В Киеве сесть в поезд на Жмеринку было тоже нелегко. Тухачевскому пришлось всю дорогу сидеть, не имея возможности лечь.

Из Подволочиска он добрался до деревни Тарноруды, где располагался Семеновский полк, на попутной полковой фуре.

Михаил Николаевич с интересом смотрел вокруг. Картины были знакомые, все те же, какие он видел осенью 1914 года. Та же непролазно грязная дорога, те же в сетке мелкого дождя холмы, на перекрестках те же поникшие распятия...

Вот и деревня Тарноруды. Здесь стоял полковой обоз второго разряда. Солдаты с красными, уже потемневшими бантиками на шинелях, походные кухни, фуры и санитарные линейки. И удивительно — по деревенской улице, высоко подняв рясу, плелся полковой «батя» — отец Алексей.

«Уцелел», — подумалось Тухачевскому.

Штаб полка помещался в полутора верстах от деревни, в имении Зайончик. Издалека был виден высокий дом, окруженный голыми липами.

До имения пришлось шлепать по грязи пешком.

Подходя к имению, Тухачевский увидел в конце

аллеи, у маленького домика, где, очевидно, жили служащие, высокого военного. Он говорил с каким-то солдатом.

«Ба, да ведь это Дмитрий Виссарионович Комаров!» — узнал Тухачевский своего бывшего сослуживца по седьмой роте.

Военный тоже очень пристально смотрел на подходившего Михаила Николаевича.

— Михаил Николаевич, вы ли это? — с живостью окликнул он Тухачевского.

— Точно так, я, Дмитрий Виссарионович!

Они обнялись.

— Какими судьбами?

— Наконец вырвался из плена.

— А мы о вас все время говорим с Николаем Николаевичем. Он у меня, в седьмой роте, а Александр Николаевич — в десятой! Вот-то будут рады!

2

Через час-другой все стало на свои места.

Тухачевский явился к новому, выборному командиру полка. Им оказался полковник Попов, в 1914 году в чине капитана командовавший ротой его величества. Тухачевский мало знал Попова. В те времена он как офицер второго батальона не имел к Попову, служившему в первом, никакого касательства.

Попов встретил Тухачевского с гвардейской учтивостью.

— А мы долгое время полагали вас погибшим. Помнится, в приказе по полку так и было отдано: «Пропал без вести», — говорил, салонно улыбаясь, Попов.

Командир полка поздравил Михаила Николаевича с наградами. Оказалось, Тухачевский за свое кратковременное пребывание в действующей армии получил шесть боевых орденов и должен был «для уравнения со сверстниками» получить чин капитана. (Комаров и Иванов-Дивов, его сослуживцы по роте, были уже капитанами). Впрочем, что теперь значили все эти царские чины и всякие «Анны», «Станиславы» и «Владимиры»!

Попов хотел рекомендовать полковому комитету Михаила Николаевича Тухачевского в ротные командиры, но Тухачевский попросил командира полка предо-

ставить ему месячный отпуск, чтобы съездить проведать мать и сестер.

Попов согласился, и Михаил Николаевич решил пожить несколько дней в полку, а потом ехать в Пензу. Хотелось побыть с братьями и немного отдохнуть после утомительной дороги, тем более что и путь в Пензу не представлялся легким.

Приятно было очутиться в своей семье. Приятно было не чувствовать себя каким-то бесправным рабом, над которым может безнаказанно измываться любой грязный тевтонский фельдфебель.

Михаил Николаевич поместился вместе с братьями в седьмой роте. Офицеры седьмой роты жили в небольшом уютном домике управляющего имением.

После сытного обеда, когда денщики ушли на кухню, можно было поговорить по душам. Кроме братьев Тухачевских и Комарова пришел к обеду старый сослуживец Михаила Николаевича капитан Иванов-Дивов, командовавший девятой ротой.

Сначала расспрашивали Михаила Николаевича о плене. Рассказы Тухачевского были кратки: он никогда не любил говорить о себе и о своих неприятностях.

Михаил Николаевич не мог только не рассказать с возмущением о бессмысленных и бесчеловечных жестокостях немцев, об их отношениях к пленным вообще и раненым в особенности. В Штральзунде он слышал рассказы офицеров, которые попали в плен ранеными и содержались в военном госпитале.

В офицерской палате работала старуха немка. Эта «сестра милосердия», перевязывая раненых, старалась причинить русским боль: то запускала палец в рану или, будто нечаянно, колола ножницами, то поворачивала поврежденную руку или ногу так, что у раненого от боли темнело в глазах. Когда раненые офицеры стали возмущаться ее садистскими уловками, старуха немка прямо заявила:

— Русский должен страдать за нашу бедную Восточную Пруссию!

Михаилу Николаевичу хотелось не столько рассказывать, сколько слушать. Ему интересно было узнать, как гвардия приняла приказ № 1, каковы теперь взаимоотношения у офицера с солдатом.

— Солдаты наблюдали за нами, как мы отнесемся

к приказу номер один,— ответил брату Николай Тухачевский.— Иду это я в первый же день, а навстречу мне из моего же взвода — Федорчук. Вижу, руки опустил. И хочется ему по привычке козырнуть, да сдерживается. А я первый поднес руку к козырьку, так он заулыбался и так лихо, в охотку, откозырял!

— Некоторые у нас, как, например, Энгельгардт, говорили: «Отменят отдание чести — армии конец!» — вставил Александр Тухачевский.

— Какая ерунда! — вырвалось у Михаила Николаевича.— Разве только на этом держится армия?

— Энгельгардт вообще сторонник девиза императора Николая Первого: «Пусть погибнет Россия, лишь бы осталась нетронутой неограниченная власть!» — сказал Николай Тухачевский.

— Мой денщик Гараська,— кивнул на дверь Комаров,— подходит ко мне и протягивает газету: «Ваше высокоблагородие, почитайте документ». Я прочел. Мне-то что? Вы же знаете, Михаил Николаевич, я и раньше не называл солдата на «ты». А это «ваше благородие» ни к чему. Ведь в иностранных армиях, французской и немецкой, так и обращаются: «господин капитан», «господин обер-лейтенант».

— А знаешь, Миша, Энгельгардт до сих пор обращается к солдату на «ты», — улыбнулся Александр Тухачевский.

— Ну, не только он один. Еще попадаются такие! — поддержал Николай. — Вон в соседнем пехотном корпусе генерала дивизии арестовали за то, что он велел снять красные банты, «как не установленные формой одежды»...

— Не перевелись еще у нас «законники», что вскрой его черепную коробку, так в мозгу у него одни приказы, — усмехнулся Комаров.

— Все-таки трудное настало время для нас, офицеров,— раздумчиво заметил малоразговорчивый Иванов-Дивов. — Солдат точно подменили. Не те солдаты...

— Что, дисциплина сильно упала? — спросил Михаил Николаевич.

— Нет. Они как-то нахохлились. Смотрят исподлобья. Не понимаю, в чем дело?..

— То же и у нас в седьмой,— поддержал Комаров.—

Бывало, поговорю с ними, они — рады-радешеньки. Пошучу — гогочут. А теперь не очень хотят и слушать...

— У меня такое впечатление, что солдаты держатся как-то настороженно, словно думают, будто мы хотим их в чем-то обмануть,— вставил Александр Тухачевский.— Конечно, они не верят интеллигенту.

— Видишь ли, Шура. У многих интеллигентов было неправильное отношение к солдату. Этакое снисходительно-покровительственное. Его называли сладенько-жалостливо: «солдатик», «землячок». Вроде «арестантик»... Интеллигент жалел ограниченного в правах солдата-мужика. Интеллигент не думал, что этот «солдатик» такой же равноправный человек, как и он сам. А теперь, как говорил один солдат, «народ прояснился». Прошло время считать солдата ребенком. Это уже не наивные деревенские парни мирного времени, вышколенные в военной муштре! Годы войны сделали свое дело. Я месяц прожил в солдатском лагере бок о бок с ними и знаю. Солдат прекрасно все понимает. Солдат чувствует, что революция внесет в его отношения с офицерами облегчение. А офицер должен знать, что ему от многого придется отказаться. Придется перестраивать свои взгляды на эти отношения,— сказал Михаил Николаевич.

На этом беседа окончилась,— вошел денщик Комарова и сказал, что капитана просят в ротный комитет на заседание.

Через день после приезда Тухачевского в полк из Питера дошли неожиданные, сногсшибательные новости: Временное правительство низложено, болтун Керенский позорно бежал, переодевшись сестрой милосердия, Зимний дворец взят большевиками. Свершилась пролетарская революция.

— Вы, Тухачевский, привезли с собою большевизм! — встретившись с ним, сказал Энгельгардт.

Михаил Николаевич удивленно поднял брови: что можно было ответить на это?

— Надо ехать в Петроград! Нечего сидеть в этой дыре! Вот докатились до чего: немецкие шпионы, приехавшие в запломбированном вагоне, правят Россией!

— Не понимаю, Энгельгардт, как вы верите бабьим сплетням? — не мог не возразить Тухачевский.— И во-

обще, разве можно обвинять в измене родине целую партию?

Энгельгардт даже задохнулся от гнева.

— Ну, знаете, Тухачевский, вы... вы большевик! — крикнул он и побежал прочь.

Михаил Николаевич в тот же день уехал в Пензу.

Он снова пустился в трудное плавание по российскому бездорожью. Было такое впечатление, словно вся Россия пустилась в какой-то еще неведомый, но желанный путь.

3

Однажды в ясный ноябрьский денек семья Тухачевских — мать Мавра Петровна и девочки — сестры Софья, Ольга, Елизавета и Мария — садилась обедать. И вдруг в сенях сначала залился лаем пойнтер Спикер, а потом лай мгновенно перешел в визг — в нем слышались радостные собачьи слезы... Кого-то узнал, свой идет!

Кто бы это?

В сенях кто-то затопал ногами — сбивал с сапог снег.

Дверь распахнулась, и на пороге стал в шинели и фуражке худущий человек. В нем все казалось чужим, но человек улыбался, а улыбка была своя, родная...

Первой, конечно, опомнилась, первой узнала мать. Мавра Петровна, грузная, отяжелевшая, легко побежала навстречу гостю, смеясь и плача от радости:

— Миша! Мишенька!

Девочки стрекочущей гурьбой, как воробьи с куста, кинулись к брату, облепили со всех сторон.

Растроганному, взволнованному Михаилу Николаевичу так сразу же и вспомнилась любимая сцена из «Войны и мира», когда Николай Ростов приезжает из армии в отпуск домой. Как обнимали его родные, а Ростов не знал, где кто.

В эти секунды Михаил Николаевич тоже не знал, где Соня, где Оля, где Лиля, где Маня. Все девочки за эти четыре года выросли. Самую младшую, Марию, он оставил, когда ей было семь лет, а теперь она вон какая длинная! А Сонечка стала еще красивее и совсем барышня!

Радости и удивлению не было конца. Миша сбросил

шинель, девочки повели его умываться с дороги. У аккуратного Миши с детства была привычка: руки должны быть всегда чистыми!

— Помнишь, Миша, как ты придешь, бывало, из училища и говоришь: «А ну-ка пойдем руки мыть! Смотри, у тебя все пальцы в чернилах!» — смеялась четырнадцатилетняя Оля.

И вот Миша, живой и невредимый, только невероятно худой и черный, сидит за столом, окруженный своими. И на столе не лагерная вонючая похлебка, а настоящие ароматные щи, домашние щи, и картошка, и молоко, которое он так любит, и — главное! — хлеб! Хлеба — сколько хочешь!

— Как в плену я вспоминал нашу окрошку, маменька! — сказал он.

Мавра Петровна и сестры не сводили с Миши влюбленных глаз. И сокрушались — до чего худущий!

— Я уже за эти две недели в полку немного отъелся и отоспался. А вот посмотрите, какой я был, когда перешел через швейцарскую границу!

Миша достал из кармана две фотографические карточки. На одной — изможденный, точно вставший после тифа, в потертой, измятой одежде, заросший щетиной человек. На лице остались только большие Мишины глаза. Девочки смотрели то на фотографию, то на брата. Сравнивали, вздыхали...

А мать качала головой.

— Вот видите,— показал Михаил Николаевич вторую.— Уже приоделся и несколько дней пожил на свободе. Это я в Париже, после того как был у нашего военного агента графа Игнатьева. Получил деньги на проезд в Лондон и сбросил лагерное тряпье.

— Здесь ты уже больше похож на себя,— заметила старшая сестра Софья.

...В дом Тухачевских пришла нечаянная большая радость.

Сестры не отходили от брата. Расспросам, разговорам не было конца. Проговорили весь день, весь вечер и даже часть ночи. Уже улеглись, но все переговаривались с Мишей из комнаты в комнату, так что Мавра Петровна останавливала девочек:

— Хватит вам, сороки! Дайте Мише отдохнуть. Завтра день будет.

А назавтра начиналось с утра то же самое.

— Мишенька, скажи, англичанки красивые? — спрашивали девочки.

— Есть красивые, но все — сухощавые, как жердь.

— А француженки?

— Не помню... В Париже я думал еще только о хлебе. Меня интересовал только хлеб...

Миша был все такой же веселый, как и прежде. Смеялся по-детски, «со слезой».

О плене рассказывать не очень хотел. Больше говорил о прошлом, расспрашивал:

— Кто же вам сказал, что я — убит?

— Прочли в «Русском слове».

— Кто?

— Манюся.

— Какая Манюся?

— Забыл? Да Манюся Пелка. Помнишь?

— Это «пшепрашам», полька,— подсказала Оля.

— А-а, рыженькая! У нас в полку в приказе тоже напечатали, но сказали: «пропал без вести»...

И так они вспоминали все бог знает с каких времен.

Как Миша в детстве увлекался астрономией, разыскивал на небе по звездному атласу созвездия. И «доастрономился», что астрономия начала ему сниться.

— Однажды слышу ночью какой-то шум в спальне у мальчиков,— рассказывала Мавра Петровна.— Вхожу и вижу: Миша ползает под кроватью. «Что ты делаешь?» — спрашиваю. «Ищу астрономию: мне приснилось, что я потерял книгу...»— «Да вот же она, говорю, лежит на подоконнике». А помнишь,— продолжала вспоминать она,— как ты в Пензе на Московской улице бухнулся на колени перед бородатым генералом. Это был какой-то отставной интендантский. Генерал удивленно спрашивает: «Что это ты, мальчик, делаешь?» А ты крестишься и говоришь: «Саваоф! Саваоф!» Озорной был мальчишка...

— Мама, а как Миша катался верхом на Татарке и вместо седла положил подушку и в дороге потерял ее! — вспомнила Соня.

— А Паша из Голодяевки нашла подушку и принесла к нам,— прибавила Мавра Петровна.

— А как я в корпусе намазывал клейстером воло-

сы — хотел сделать вместо ежика пробор, как у нашего ротного...

Миша вспоминал все — и детство и юность, Вражское, Пензу и Москву. Вспомнил, как отец, пока еще кое-как сводили концы с концами, пригласил для девочек француженку, мадемуазель Жигу, и как француженке надоело, что каждый день идет снег, и она заявила, что если снег пойдет и завтра, то она уедет во Францию... Но стояла зима, снег валил каждый день, и мадемуазели Жигу пришлось покориться...

Михаил Николаевич вспомнил и своих деревенских друзей детских лет:

— А как Васька Галкин?

— Ничего, плотничает.

— Женат?

— Женат.

— На войне был?

— Как же, недавно вернулся.

На второй день после приезда Михаил Николаевич посмотрел, чем надо помочь матери в хозяйстве.

Семья Тухачевских — мать и четыре дочери (старшей семнадцать лет, младшей одиннадцать) — теперь безвыездно жила во Вражском, хотя само имение еще при жизни Николая Николаевича было продано за долги. Овдовев, Мавра Петровна приехала по старой привычке на лето из Москвы в родные края да так и осталась здесь, в Пензенской. Сыновья служили в армии, а с девочками легче прокормиться в деревне, нежели в Москве.

После Февральской революции, когда делили землю Вражского, крестьянский сход выделил Тухачевским немного земли, дал коня и две коровы. Окрестные крестьяне не забыли, как Тухачевские дружно жили с ними — всегда помогали крестьянам, чем могли. Сгорела изба — шли за лесом к Мавре Петровне, нет ржи «на семену́» — опять же обращались к ней. Деревенские бабы запросто ходили к Мавре Петровне во Вражское, как к своему человеку. Знали, что она сама крестьянская дочь и сразу поймет их нужды.

И после революции старая хлеб-соль Тухачевских не забылась.

Мавра Петровна вспомнила свою далекую деревенскую юность и стала вести с дочерьми небольшое хо-

зяйство. Кое-как управлялись с огородом, со скотом. Хуже было с топливом — нужны дрова, а заготовить их некому. Мавре Петровне самой уже не под силу, а девочкам не сладить с лошадью, с запряжкой. Крестьяне научили их запрягать лошадь, но все равно дело не ладилось. Зажмут кое-как дугу в оглобли, но стянуть клещи хомута по-настоящему нет силенок. Проедут с полкилометра, дуга свалится, и конь распряжется.

И вот, к их счастью, явился Миша. Ему привезти из лесу дров — пустяки.

Михаил Николаевич навозил дров, перепилил их со старшими сестрами, сам переколол — береза зимой колется, как сахар. Обеспечил своих дровами на зиму, а то и на две. Отдохнул, отоспался на чистой постели, походил по знакомым полям на лыжах и засобирался в полк, в Питер.

Мавра Петровна не хотела отпускать сына. В Питере — голод, а здесь все-таки хоть и не разносолы, но свое: картошка, огурцы, капуста, молоко. И хлеба все-таки побольше, чем в Петрограде...

Миша всегда любил простую, деревенскую пищу.

— Все вон бегут с фронта, а ты один спешишь туда,— говорила мать.— Ну отдохнул бы хоть до Нового-то года!..

Но Михаил Николаевич не досидел даже до зимнего Николы. Взял свой вещевой мешок с выстиранным бельем, с вкусными домашними лепешками, с куском сала и полсотней яиц и на попутной подводе отправился в Пензу.

В Пензе попасть в поезд было нелегко. И здесь действовал общероссийский неписаный транспортный закон: «Садись на буфер, держись за блин!»

Пассажиры были всюду — в проходах, в уборной, в тамбуре, на подножках, буферах и, несмотря на зимнюю стужу, даже на крыше.

Тухачевскому как-то посчастливилось втиснуться на площадку, и он уехал.

4

Приехав в Петроград, Тухачевский, как и в предыдущий раз, поместился в офицерском флигеле Семеновского полка. И тут же, в коридоре, встретил оживленно-

го, заметно поправившегося после плена Сашу Зайцева. Зайцев шел с какими-то двумя солдатами, о чем-то деловито разговаривая. В руках он нес папку с бумагами.

— А-а, Михаил Николаевич,— обрадованно приветствовал он Тухачевского.— Прибыли из полка?

— Да. Из полка я заезжал к своим, в Пензенскую.

— Проведали, значит? Добро! А я никак не собрался — дела не пускают,— улыбнулся Зайцев.— Вот познакомьтесь — это наши комитетчики. А это — товарищ Тухачевский, о котором я рассказывал. Наш товарищ!

Тухачевский пожал руку комитетчикам.

— Михаил Николаевич, вы устроились все в той же угловой?

— Да.

— Я на полчасика загляну в комитет, а потом зайду к вам, ладно?

— Пожалуйста!

И они разошлись.

Тухачевский понял, что Зайцев избран в члены полкового комитета. Он приводил себя в порядок после дороги, когда пришел Зайцев. Саша сел и начал рассказывать свои и полковые новости. Он рассказал, как участвовал во взятии Зимнего дворца, как его избрали заместителем председателя полкового комитета. Зайцев восхищался новым, свободным и — главное — полноправным положением солдата. Его умиляло то, что теперь простое товарищеское слово действовало лучше бездушного приказа.

— Вот знаете, Михаил Николаевич, например, у нас идет собрание. Ни одного офицера, только солдаты. Ну, начинают переговариваться друг с другом, мешают ораторам. Скажешь одно: «Товарищи, прошу не шуметь!»— и готово. Тишина! Муха не пролетит. Лучше действует, чем, бывало, команда «смирно».

Зайцев рассказал, что Семеновский полк несет караульную службу по охране города.

— Охраняем телеграф, Смольный. Не то что, бывало, ходили военные патрули — ловили без увольнительных. Недаром их и называли «семишники», потому что они получали по две копейки за одного задержанного... Но хорошо, что семеновцев не поставили охранять винные погреба Зимнего. Вот тут была потеха!

Сперва подвалы Зимнего охраняли надежные павловцы. И что бы вы думали? Спились в одни сутки! Павловцев заменили преображенцами, полсуток — и лыка уже не вязали! Тогда поставили смешанный караул — к вечеру все «в дрезину»... Вместо гвардии послали броневики. Часа два дивизион крепился, а потом повеселел. Кричат: «Уничтожим романовские остатки!»

— Лозунг веселый! — заметил Тухачевский.

— Да, видят, дело с караулом плохо. Попробовали послать пожарную часть залить водой подвалы. Заливали только час, а потом и «стволовые» и «топорники» запели:

Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?..

Ну, пожарных — домой. Решили замуровать входы. Каменщики слезами заливались, но замуровали. А народ стал ломать решетки в подвальных окнах. Начала наша солдатня, и гвардейская и армейская, лезть в окна и погибать там — выйти и хотел бы, да нет хода: новые лезут... Сколько залилось там в подвалах этих— ужас! И только гельсингфорсские морячки выстояли. Сами «питухи» не из последних, но обезвредили царские погреба! Связали себя свирепым товарищеским словом: «Кто не выполнит зарока, тому — смерть!» Сколько ценных вин истребили — страсть! Такие названия, что и не выговоришь. Солдаты вин этих сладких не потребляют, им давай водку или коньяк. Возьмет бутылку, отобьет горлышко, потянет — если сладкое, бутылку в угол! Давай пробовать другую. По колено в винах бродили...

— Из-за ерунды погибали, глупцы,— заметил Тухачевский.

— А вы, Михаил Николаевич, разве не потребляете?

— Пью, но мало.

— Не приучились, стало быть?

— У нас в семье никто не пил. В доме рюмок даже не держали...

— Надо же! — удивился Зайцев.— А вот, рассказывают, Керенский в день по бутылке мадеры высасывал...

Поговорив, Зайцев ушел.

На следующий день комитет избрал Тухачевского

ротным командиром. Михаил Николаевич понял, что без рекомендации Саши Зайцева тут не обошлось.

— Нам свои командиры нужны! — сказал Зайцев, извещая Тухачевского об избрании.

А через несколько дней в жизни Тухачевского произошло событие, которое определило всю его дальнейшую судьбу.

Однажды ранним утром — Михаил Николаевич только что встал и умылся — к нему прибежал оживленный Зайцев:

— Михаил Николаевич, у меня к вам важный разговор.

— Слушаю вас, Саша, — ответил Тухачевский, вытирая полотенцем руки.

— Вчера я был по делам в Смольном у товарищей Свердлова и Подвойского и рассказал о вас...

— Обо мне? — удивился Тухачевский.— Верно, о том, как мы бежали из плена?

— Да, говорили и о побеге. Но дело не в нем. Я рассказал о вас как об офицере, который сочувствует советской власти.

— Не я первый, не я последний...

Но Зайцев пропустил мимо ушей замечание Тухачевского.

— С вами хотят познакомиться товарищи Свердлов и Подвойский. Старая армия, видите, распускается. Советской республике нужна новая, пролетарская...

— Конечно!

— Владимир Ильич Ленин говорит, что для ее строительства необходимы опытные, сведущие военспецы. А у советской власти их пока нет. Мне поручили переговорить с вами, и если вы согласны работать, то представить вас Якову Михайловичу Свердлову и руководителю военного отдела ВЦИКа товарищу Енукидзе.

— Благодарю, Сашенька. Но какой же я военспец?

— Позвольте, Михаил Николаевич, вы же окончили Александровское военное училище?

— Окончил.

— Вы были на фронте, прошли боевую выучку. Вон как вы отличились на Сане!..

— Допустим,— нехотя согласился Тухачевский.

— Вы знаете больше, чем какой-либо гражданский человек или наш брат, солдат-революционер!

— Старый солдат больше моего знает,— улыбнулся Тухачевский, вешая полотенце.

— Нет, нет, Михаил Николаевич, — протестующе замотал головой Зайцев.— В этом вы никого не убедите!

Друзья минуту помолчали. Каждый думал о своем. Зайцев о том, что не мог же он ошибиться в Михаиле Николаевиче. А Тухачевский о серьезности этого заманчивого предложения: там будет живое дело, а здесь, в полку,— одни караулы... И то до поры до времени...

Он ходил из угла в угол по комнате. И, раздумывая, сказал вслух:

— Да-а, старая армия доживает свой век!

— Так что ж, по рукам? — встрепенулся Зайцев. — Поехали в Смольный? — схватил он друга за рукав гимнастерки.

Тухачевский остановился. Взглянул на выжидательно смотревшего Сашу Зайцева.

— Поедем! — решительно ответил он.

И в этот же день Михаил Николаевич Тухачевский был оформлен инструктором военного отдела ВЦИКа.

5

Тухачевский принялся с жаром работать в военном отделе ВЦИКа. Военный отдел являлся связующим звеном между центральной советской властью и создаваемой ею новой, пролетарской армией. Он осуществлял общее руководство всей военной деятельностью Советов.

Начальником Тухачевского оказался старый большевик Авель Софронович Енукидзе. У Михаила Николаевича сразу установились с ним добрые отношения.

Тухачевский внимательно прислушивался к тому, что говорил этот поседевший на партийной работе, видавший и тюрьмы и ссылку общительный человек. Образование Енукидзе получил среднее техническое. Он работал на железной дороге помощником машиниста. Военного дела Енукидзе не знал. В конце 1916 года его из туруханской ссылки призвали в армию, послали в Красноярск в четырнадцатый Сибирский стрелковый полк. В начале 1917 года Енукидзе отправили с маршевым батальоном на фронт. Но маршевый батальон утром 27 февраля прибыл в Петроград и попал в самый разгар революционных событий.

— На такой фронт я приехал с удовольствием! — смеясь, рассказывал Авель Софронович.

В военном отделе бывало много замечательных людей. Тухачевский с интересом присматривался к старой революционной гвардии. Он познакомился с худощавым, сдержанно-вежливым Дзержинским, с мягким, приветливым Свердловым, ходившим в порыжевшей кожанке и сапогах. У Свердлова из-за стекол пенсне светились по-гаршински красивые глаза, а голос, необычайный для его тонкой фигуры, был силен и звучен. Свердловский бас потрясал и одновременно был мягок и приятен. Недаром Демьян Бедный шутил:

У нашего Якова
Хватит на всякого:
И волос,
И голос,
И в кармане готовая резолюция —
Да здравствует всемирная революция!

В отдел часто заходили высокий, худой Подвойский и не менее худой Кедров. Енукидзе рассказал Михаилу Николаевичу, что Кедров по профессии врач и прекрасный музыкант, что в эмиграции Кедров часто играл Владимиру Ильичу его любимого Бетховена. И Тухачевский, как страстный поклонник музыки, еще больше расположился к Кедрову.

Бывали Механошин, ихтиолог по специальности, служивший рядовым в лейб-гвардии гренадерском полку, и чернобородый здоровяк, по-матросски шумный и задиристый Дыбенко.

Тухачевский добросовестно (иначе он не умел!) работал в военном отделе, принимал деятельное участие в организации добровольческих отрядов Красной гвардии, но иногда его все-таки брало сомнение: на его глазах рушилась, разваливалась создававшаяся веками царская армия. До Октября большевики резонно стояли за ее распад, за ее уничтожение, но теперь, когда они взяли власть в свои руки и когда Советская Россия сама нуждается в сильной армии, зачем продолжать дальнейшее разрушение старой военной машины?

Михаил Николаевич понимал отвращение революционно настроенных солдат ко всему тому, что напоминало им ненавистную царскую армию с бесправием «нижнего чина» и мордобоем. Ему были понятны заключитель-

ные слова в воззвании штаба Красной гвардии, где говорилось:

«Долой вы, ненавистные тираны, вместе с вашей бесконечной и гнусной бойней народа!

Долой казарму, долой порабощающую и унижающую человеческое достоинство солдатчину!

Да здравствует рабочая Красная гвардия!

Да здравствует вооруженный свободный народ!

Да здравствует светлое царство труда — социализм!»

Он даже понимал внешнее своеобразие новых организационных форм Красной гвардии: что у нее основной боевой единицей стал десяток (тринадцать человек), что четыре десятка составляли взвод (другого, нового слова пока что не нашли), а три взвода — дружину. И что вместо полков стали отряды. Непривычными казались только такие звания командиров, как «десятский» вместо взводного. Так и вспоминался деревенский десятский, вовсе не похожий на командира. И все же Тухачевский не совсем понимал, зачем надо сперва развалить роты, батальоны, полки, чтобы вслед за этим, сейчас же, с неизбежными трудностями создавать, строить все это заново, хотя и под другими названиями. Михаил Николаевич поделился своими недоумениями с Енукидзе. Авель Софронович просто объяснил Тухачевскому, почему надо было уничтожить старую армию, опору буржуазии, стоявшую, в сущности, над народом. И как важно поскорее создать именно свою, социалистическую армию, которая явится подлинной опорой народа.

— Нельзя лить новое вино в старые мехи! — сказал он.

До Тухачевского наконец дошло.

— Очевидно, мне мешало разобраться во всем этом мое бывшее «ваше благородие», — как бы оправдывался он.

— Важно, Михаил Николаевич, что вы душой за нашу, социалистическую армию! Что вы, как писал Ильич в обращении к пленным, вернулись с тысячами товарищей из плена «как армия революции, как армия народа, а не армия царя»!

С первых дней работы в военном отделе ВЦИКа Тухачевский старался пополнить свои политические

знания, — ведь они у него были так скудны. До Петрограда он читал только одно произведение Ленина — «Социализм и война». Теперь Тухачевский с каждым днем узнавал больше — он следил за всем, что выходило из-под пера Ильича. Тухачевский не пропускал ни одного слова Ленина. Теперь он беспрепятственно мог не только читать все, что писал Ленин, но даже мог видеть и слышать его самого на митингах и собраниях.

В Смольном знали, где будет выступать Владимир Ильич, и Тухачевский, если ему позволяла работа, обязательно присутствовал на этих собраниях.

Впервые Тухачевский увидел Ленина в Михайловском манеже 1 января 1918 года.

В конце 1917 года Пленум Петроградского Совета одобрил строительство новой армии. В «Известиях Петроградского Совета» был напечатан призыв Совета, в котором говорилось:

«Петроградские рабочие должны показать пример рабочим всей России. Записывайтесь в социалистическую армию, вербуйте воинов в ряды славных социалистических полков... Пусть же десятки и десятки тысяч петроградских рабочих откликнутся немедленно. Пусть закипит работа по вербовке добровольцев в социалистические полки. Время не ждет».

Военный отдел ВЦИКа принял большое участие в этом важном деле. Тухачевского прикрепили к Выборгскому району, в котором сильнее, чем в других, жили замечательные традиции красногвардейских отрядов 1905 года. Выборжцы участвовали во взятии Зимнего и в боях с Красновым у Гатчины. Выборгский район не имел богатых особняков или дворцов, и потому районный штаб помещался на Сампсониевском проспекте в небольшом помещении бывшего трактира с идиллическим названием «Тихая долина». Сюда шли красногвардейцы с Арсенала и разных заводов — Лесснера, Барановского, Нобеля, Рено, Айваза, Эриксона, Розенкранца, Парвиайнена, Русско-Балтийского, Металлического, Оптического и других. Инструкторами, учившими красногвардейцев, были соседи — унтер-офицеры лейб-гвардии Московского полка.

Старые, опытные солдаты встретились со своеобразными трудностями. Не имея новых уставов, они руководствовались прежними. Но подававшиеся испокон ве-

ков команды «смирно!» и «на-караул!» теперь вызывали возмущение красногвардейцев: они напоминали ненавистный царский строй.

— К чему нам «смирно»? Довольно, насмирялись!

— Что такое «на караул»? Кого это караулить?

— Это — старый режим!

Некоторые не хотели в строю идти в ногу: мол, не все ли равно? И много труда стоило инструкторам втолковать красногвардейцам, что «смирно» не несет в себе никакой контрреволюции, а идти в ногу удобнее.

Но этим дело не кончалось. Красногвардейцы отказывались учиться стрелять лежа. Стрельбу с колена они еще кое-как принимали. А при перебежках не соглашались нагибаться.

— Зачем же зря подставлять себя под пули? — убеждали инструкторы.— К чему такое молодечество?

— Нет, гнуться и укрываться — это позор для революционера!

— Это трусость!

— Пусть гнется буржуй! — не соглашались красногвардейцы.

Вообще многие правила воинского поведения были им непонятны. Например, часовой. Почему часовой обязательно должен стоять, а не может сидеть? Когда красногвардейца ставили на пост у крыльца, он садился на ступеньки или раздобывал себе табурет. Винтовку часовой помещал между колен и сидел, пощелкивая семечки и переговариваясь с прохожими. А если инструктор говорил, что на посту так вести себя не полагается, красногвардеец горячо отстаивал свое:

— Я же караулю! Не все ли равно как: стоя или сидя? Сидеть ведь удобнее.

Рабочим-добровольцам, никогда не служившим в армии, были чужды даже обычные воинские наименования.

— Какой это еще «начальник караула»? — недоумевали они.— Ну, «председатель» — это я еще понимаю. А то «начальник»! У нас начальников быть не должно, мы все равны!

Инструкторам-гвардейцам приходилось приучать революционных добровольцев ко многому.

Как бы то ни было, рабочие отряды росли.

И первый сводный отряд социалистической армии

отправлялся на Западный фронт 1 (14) января 1918 года.

К трем часам дня отряды из питерских рабочих районов должны были собраться в Михайловском манеже и после митинга отправляться на Царскосельский вокзал для посадки в вагоны.

Тухачевский приехал на Сампсониевский заблаговременно.

Красногвардейцы уже получили шинели, ремни и подсумки. Шинели были новые, подсумки тоже добротные — не холщовые, а кожаные. Вооружение и снаряжение выборжцы получили от лейб-гвардии Московского полка. Обувь же была разная — у кого сапоги, у кого ботинки с обмотками.

Красногвардейцы одевались, поправляя друг на друге еще непривычные, топорщившиеся на плечах шинели.

Кто постарше возрастом — степенно разговаривали с товарищами или провожающими их женами, сестрами, матерями. Командиры, покуривая, беспокоились о будущем:

— Главная беда — не знаю, как командовать. Прикажут: «Бей во фланг!» А как скомандовать и как ударить, чтоб именно во фланг?

Молодежь шутила, скрывая этим свое волнение. Как всегда, нашлись заводилы, отрядные весельчаки, без которых скучна походная, бивачная и боевая жизнь. И в одной «десятке» такой шутник уже задорно пел:

Эх, яблочко, куда котится?
Эх, мамочка, замуж хочется!
Да не за штатского, не за военного,
А за Распутина обнаковенного! . . —

и лихо притопывал.

Притопывать было кстати — мороз жал, не жалел.

К двум часам отряд был готов — обмундирован, вооружен и построен. Над колонной красногвардейцев поднялись кумачовые полотнища плакатов: «Война войне!», «Да здравствует социалистическая армия!», «Смерть буржуям!».

Оркестр гвардейского Московского полка грянул марш. Выборжцы двинулись к Михайловскому манежу.

Шли хотя и под музыку, но плоховато, не по-военному: мало старались держать равнение, шагали не в ногу, вроде так, как воинская часть идет по мосту.

Тухачевский, превосходный строевик, не мог не видеть этого.

Только возглавлявший отряд старый большевик и старый солдат Малаховский да инструкторы-москвовцы шли в ритме марша. Колонну со всех сторон облепили провожающие — родственники красногвардейцев и их товарищи.

Тухачевский шел сбоку, по тротуару.

Пока проходили по своему рабочему району, косых, враждебных взглядов почти не встречалось. Разве какой-нибудь лабазник или домовладелец, услыхав музыку, выглядывал на улицу, но, увидев красногвардейские плакаты, в бессильной злобе спешил убраться.

Прохожие сочувственно встречали отряд:

— Глянь, ни одного толсторожего или в очках. Все наша рабочая брашка!

— Свои ребята!

— Идут, вроде и настоящие солдаты!..

Когда вышли на Литейный проспект, встречная публика стала иной. День был праздничный — по старому стилю первый день нового, 1918 года. На Литейном проспекте прохожие были одеты получше: каракулевые и котиковые манто, шубы с бобрами, чиновничьи шинели с блестящими пуговицами, офицерские бекеши, хотя и без погон. Здесь на красногвардейский строй многие смотрели с усмешкой и злобой. Особенно сильно задевал «чистую» публику плакат «Смерть буржуям!».

С Литейного отряд выборжцев вышел к цирку, а там свернул к Михайловскому манежу.

О Михайловском манеже Тухачевский слыхал еще в Москве. О нем с вожделением говорили юнкера Александровского военного училища, мечтавшие попасть в гвардию. В этом Михайловском манеже всегда проводилась разбивка по полкам солдат-новобранцев, назначенных в гвардию.

Церемония эта происходила так.

Командующий гвардией великий князь Николай Николаевич шел вдоль строя будущих гвардейцев и, только глядя на лица новобранцев, сразу определял, куда годится солдат. Блондины, русые шли в Петровскую

бригаду, с бородками — в Преображенский, без бороды — в Семеновский, рыжие — в егеря, брюнеты — в Московский, курносые — в Павловский полк. Великий князь ронял одно слово: «Преображенский», «Павловский». А адъютант, шедший сзади за ним, писал мелом на груди новобранца одну цифру. За адъютантом следовал громадного роста преображенец — фельдфебель роты его величества. Великан фельдфебель хватал новобранца за плечи и изо всех своих могучих сил толкал новоиспеченного гвардейца в ту сторону, где уже стояли представители его будущего полка.

И вот теперь Тухачевский увидел манеж своими глазами.

У манежа стыла на хорошем январском морозе большая толпа. Тут были красногвардейцы других отрядов и их провожающие, солдаты броневого дивизиона, размещавшегося в манеже, и просто самая разношерстная питерская публика, пришедшая поглазеть на проводы первого сводного отряда социалистической армии.

Подойдя к манежу, выборжцы, к удивлению Михаила Николаевича, сразу же сломали строй и смешались с толпой, хотя никакой команды «разойдись» не было. Одни остались на площади покурить и поговорить со знакомыми, другие двинулись в манеж, откуда слышались голоса и песни. Все пять дверей манежа были раскрыты настежь. Люди входили в манеж и выходили из него.

Михаил Николаевич протиснулся в здание. Не громоздкое, оно оказалось действительно необъятным внутри. Манеж скудно освещался небольшими электрическими лампами, висевшими где-то под высоким потолком. И броневики дивизиона, и весь народ — красногвардейцы из всех рабочих районов Петрограда и их провожающие, толпившиеся в манеже,— терялись в нем. И все тонуло в полумраке. Правда, в центре манежа у одного из броневиков стояли несколько человек с факелами. В колеблющемся пламени факелов Тухачевский увидел высокую, худую фигуру Подвойского, чем-то напоминавшую Михаилу Николаевичу Дон-Кихота. Тухачевский догадался, что Владимиру Ильичу и сегодня придется говорить с броневика. Он не хотел протискиваться сквозь толпу поближе к этому броневику и остался стоять в стороне.

Чуть впереди него разговаривала группа девушек с повязками Красного Креста на рукавах и с санитарными сумками через плечо. Это были отрядные санитарки.

Одна из них, живая, с большими, навыкате глазами, рассказывала подругам:

— А мы вчерась видали Владимира Ильича и Надежду Константиновну.

— Где, где? — интересовались подружки.

— Вчерась в Михайловском артиллерийском училище наши рабочие Выборгской стороны устроили новогодний вечер. И пригласили товарищей Ленина и Крупскую.

— Правда? — восхищенно переспросила какая-то маленькая девушка-санитарка.

— Ей-богу! Не веришь, спроси вот у нее,— указала она на свою подругу в полушубке, стоявшую рядом.

— И что, неужели Ленин к вам приехал?

— А то как же! Конечно! Вот послушайте, девочки, я расскажу все по порядку. Собрались мы в райкоме, стали составлять план. Конечно дело, пусть с хлебом и туго, но потанцевать же хочется! Да никто не знает: а можно ли танцевать при Ленине? Как он на это посмотрит? Большинство говорит: нельзя! Владимир Ильич, мол, вас за это не похвалит. Скажет: такое время, а вы плясать вздумали? Баловство! А я, девочки, и говорю: а что ж в танцах такого? Мы же не монашки какие.

Слушавшие подружки рассмеялись. Не смеялась только одна, в полушубке, серьезная.

— Что же нам делать? А Ванька с «Нобеля» и говорит: спросим у нашего председателя райкома товарища Чугурина. Иван Дмитриевич, говорит, старый большевик, у Ленина в эмиграции был. Он все знает! Пошли, спросили. Иван Дмитриевич сразу сказал: конечно, можно! А почему, говорит, в такой вечер не потанцевать? Пусть буржуазия плачет, а мы будем веселиться! Товарищ Ленин, говорит, человек веселый. Что ж, он не поймет? Ну, с танцами решили. Осталась елка. Хотелось бы елку устроить. Но уж елку провалили сами, и к Чугурину не ходили. Все ясно: буржуйский предрассудок! А елку-то, признаться, я предложила, — хихикнула рассказчица.— Меня, девочки, засмеяли: «Ты, может, еще в Троицын день березок захочешь в

цех натащить?» Ну, обговорили все. Артиллерийское училище предоставило нам оркестр. Настал вечер. Мы приоделись, приготовились, ждем. Вот уже половина двенадцатого. Ленина нет. Вот без двадцати. Ленина нет... Вот без пятнадцати. Ленина нет! У нас уже и сердце упало: не приедет! .. Без десяти! Нет! ..

— Ахти, тошнехонько! — вырвалось у кого-то из санитарок.

— Ну, что делать? Время подходит. Пора начинать. Вышел старый, тысяча девятьсот семнадцатый год — Яшка с Русско-Балтийского. В зипуне, с бородой, в руках суковатая палка. Чистый смех! И вышел молодой, тысяча девятьсот восемнадцатый — балериной одетая дочка мастера с «Айваза». Оркестр заиграл вальс. И знаете, девочки, такой симпатичный вальс играли — «Березка»... Пошли мы «шерочка с машерочкой» танцевать. Часы бьют двенадцать, и вдруг входят запорошенные снегом, но веселые Владимир Ильич и Надежда Константиновна! Что тут было! Гордиенко с «Нового Лесснера» кричит: «Товарищи! К нам приехали Владимир Ильич и Надежда Константиновна!» Музыка «Березку» оборвала и заиграла гимн. Этот... все забываю, как он называется...

— «Интернационал»! — уверенно и спокойно подсказала девушка в полушубке.

— Да, да, «Интернационал»! Товарищ Ленин так хорошо нас поздравил. И тут Валя Чуракова, знаете, с Ниточной, подбегает к Ленину и говорит: «Владимир Ильич, пойдемте танцевать!» Ленин расхохотался от души. Взял Валю за обе руки и вроде извиняется, говорит: «С удовольствием, говорит, потанцевал бы, да не умею!» А Надежда Константиновна тоже смеется и уверяет: «В самом деле не умеет танцевать! Вот, возьмите товарища» — и указывают на нашего наладчика Лешу. Пришлось Вале танцевать с ним. А Владимир Ильич и Надежда Константиновна стоят и смотрят, как танцуют. И Ленин говорит: «Ну, вот как хорошо танцуют!»

— А какая Надежда Константиновна из себя? — спросила маленькая.

— До чего приятная, не рассказать. Одета так просто: светлая блузочка в полоску с белым отложным во-

ротничком и черная юбка в сборку. Видишь ее в первый раз и вроде знаешь сколько времени.

— А Ленин?

— Ну, про него и говорить нечего — наш Ильич! Вот сейчас увидите!

Тухачевский дослушал рассказ и хотел понемногу продвигаться к броневику, но в это время с улицы послышались гудки автомобиля, народ зашумел, толпа устремилась к широким дверям, а через секунду отхлынула назад в манеж: видимо, приехал Владимир Ильич и направлялся сюда.

Тухачевский, вытягивая шею, смотрел через головы толпы. В мигающем свете факелов он увидел знакомое по портретам лицо Ильича.

— Ленин! Ленин! — заговорили кругом.

И по всему манежу прокатились дружные аплодисменты и какие-то радостные, приветственные возгласы.

Хотя Тухачевскому хотелось бы поближе рассмотреть Владимира Ильича, но он не привык так работать локтями, как это делали все мужчины и женщины, протискивавшиеся к броневику, и невольно очутился в последних рядах.

Ленин поднялся на броневик:

— Товарищи, я приветствую в вашем лице решимость русского пролетариата бороться за торжество русской революции, за торжество великих ее лозунгов не только в нашей земле, но и среди народов всего мира. Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевания революции, нашу народную власть, Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинно демократический строй от всех врагов народа, которые ныне употребляют все средства, чтобы погубить революцию. Эти враги — капиталисты всего мира, организующие в настоящее время поход против русской революции, которая несет избавление всем трудящимся. Нам надо показать, что мы — сила, способная победить все преграды на пути мировой революции. Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших. Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв на-

шей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других стран.

Ленин окончил под шумные аплодисменты и одобрительные возгласы всего манежа. Когда Владимир Ильич сошел с броневика, товарищ Подвойский сказал:

— Сейчас перед вами выступит американский товарищ!

Тухачевский вспомнил: в Петроград приехали два американских писателя.

На броневик поднялся молодой миловидный человек в пенсне. Он снял с головы меховую ушанку и начал говорить. Говорил он по-русски, с трудом пробираясь сквозь дебри чужого языка. В его речи чувствовалась глубокая симпатия к Советской России, но не хватало слов. Американский писатель запинался, в смущении поглядывая на Ленина, стоявшего тут же. А Владимир Ильич весело и живо подсказывал ему недостающие русские слова. Аудитория тепло принимала американского гостя.

И вот митинг окончен. Своды манежа потрясали аплодисменты и крики «ура». Красногвардейцы восторженно провожали Ленина.

Тухачевский не стал дожидаться отправки сводного отряда на Царскосельский вокзал для посадки в вагоны, а пошел домой. Он шел, и в его ушах стояли заключительные ленинские слова: «Нам надо показать, что мы — сила, способная победить все преграды на пути мировой революции!»

6

В начале марта 1918 года Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. На этом настояли военные специалисты, старые генералы во главе с Бонч-Бруевичем, которых Ленин привлек руководить обороной молодой республики.

Бонч-Бруевич доложил Ильичу, что невская столица совершенно беззащитна с севера, со стороны Финского залива. Он написал рапорт:

«Ввиду положения на германском фронте, считаю необходимым переезд Правительства из Петрограда в Москву».

Ленин согласился с этими доводами, и 11—12 марта переезд состоялся.

Тухачевский снова очутился в родной Москве. Он поселился все на том же Арбате, на Большом Власьевском переулке, в доме № 14, в близкой семье Влезковых, с которыми Тухачевские дружили издавна.

За зиму, проведенную в Петрограде, Михаил Николаевич полюбил город на Неве, но все-таки Москва была ему привычнее и роднее.

Тухачевский не узнал Москвы. Москва стала иной. Всюду, видимо после октябрьских боев, зияли разбитые витрины магазинов, у булочных тянулись бесконечные, круглосуточные очереди, из подъездов особняков вместо широкой бороды швейцара выглядывал красногвардейский штык часового, на улицах суетилась бедно одетая толпа. Сами улицы замусорены и грязны, хотя то и дело встречалась с метлами в руках мобилизованная на трудповинность буржуазия: вон саботирующий чиновник в форменной шинели, вон тучный охотнорядский купчик, которому жирный живот не позволяет сгибаться как следует.

В Москве Михаил Николаевич встретился с другом юности большевиком Николаем Кулябко,— Кулябко был избран в члены ВЦИКа. К удовольствию обоих приятелей, оказалось, что Коля направлен на работу в тот же военный отдел, который разместился в Кремле, в здании судебных установлений.

В новой столице Тухачевский продолжал заниматься тем, чем занимались инструкторы военного отдела: принимал участие в разработке планов дальнейшего строительства Красной Армии, выезжал в другие губернии обследовать работу военных организаций, инструктировал формировавшиеся в Москве и Подмосковье отряды. В военный отдел ВЦИКа непрерывным потоком шли делегаты воинских частей. Делегаты приезжали за политической и военно-технической литературой и за разрешением своих злободневных, насущных вопросов: об организации на местах советской власти и о борьбе с контрреволюцией.

Поход Антанты и белогвардейских генералов против Советской России заставил подумать о создании регулярной армии. Добровольческие отряды красногвардейцев, которые справились с Керенским и Красновым у

Петрограда и Дутовым на Урале, были уже давно недостаточными для того, чтобы отразить натиск внешних и внутренних врагов.

В мае 1918 года по предложению военных специалистов во главе с Бонч-Бруевичем были созданы Высший Военный Совет для руководства всеми операциями, полевой штаб для ведения боевых действий, учреждены должности главнокомандующего всеми военными силами и командующих фронтами и армиями.

Высший Военный Совет работал по указанию ЦК партии, возглавляемой Лениным.

Владимир Ильич, бывший сугубо гражданским, мирным человеком, отлично разбирался в военных вопросах. Еще в сентябре 1916 года он писал:

«Нашим лозунгом должно быть вооружение пролетариата для того, чтобы победить, экспроприировать и обезоружить буржуазию».

По примеру Энгельса он всегда тщательно изучал военную теорию, штудировал работы Клаузевица, читал Наполеона, Фридриха Второго и «Стратегию» видного русского военного писателя Леера. В библиотеке Ленина в Кремле всегда было много книг по военным вопросам. Владимир Ильич превосходно знал обстановку на всех фронтах, досконально изучал военные карты и четко помнил дислокацию частей. От докладчиков по военным вопросам Ленин требовал подробнейших, конкретных сообщений.

Кулябко, бывавший у Ленина, рассказывал Тухачевскому, что у Владимира Ильича много разных карт — один нижний ящик в его книжном шкафу был заполнен только картами.

Горячее, живое ленинское отношение к военным вопросам не могло не сказываться и на работе всех, кому приходилось заниматься обороной Советской республики.

Ленинский стиль работы оказывал большое влияние и на деятельность военного отдела ВЦИКа.

Постоянно общаясь с партийцами военного отдела, с рабочими в отрядах, с приезжавшими с мест делегатами воинских отрядов, беседуя с Кулябко и Енукидзе, Тухачевский все шире познавал жизнь, все больше проникался идеями большевизма. Михаил Николаевич не чувствовал себя чужим, посторонним. Он искренне, дея-

тельно участвовал в строительстве новой, социалистической армии. И потому к нему в военном отделе относились без всякой предвзятости, без тени недоверия, относились как к своему. Рядовые сотрудники военного отдела вообще были уверены в том, что Тухачевский — член партии. И часто кто-либо из сослуживцев окликал Михаила Николаевича:

— Товарищ Тухачевский, на партсобрание!

Михаилу Николаевичу становилось не по себе, что он — беспартийный, хотя, выражаясь обычной, часто повторяемой в анкетах фразой, он давно «стоял на платформе советской власти».

Иногда Тухачевский не успевал ответить товарищу, а иногда в смущении ронял:

— Я — не член партии...

И сослуживец удивленно смотрел на него, потому что отзывы о нем и его работе говорили за то, что Тухачевский — большевик.

Однажды Кулябко сказал своему старому приятелю:

— Миша, тебе пора вступать в партию! Ты уже давно большевик! Я знаю: ты и ваша семья всегда были с народом. В Семеновском полку это хорошо оценили солдаты, выбрав тебя ротным. Мавру Петровну во Вражском народ уважает, помогает ей. И работаешь ты у нас не за страх, а за совесть!

Михаилу Николаевичу было приятно слышать, что говорит Кулябко, но он немного смутился:

— Все это, Коленька, верно. Я сам хотел поговорить с тобой... Но ведь нужны две рекомендации...

— Одну дам я, а вторую Авель Софронович. Вот я с ним и поговорю!

И Кулябко пошел к Енукидзе.

— Что? Рекомендовать в партию товарища Тухачевского? — с восточной живостью и акцентом переспросил Енукидзе.— Пожалуйста! Хоть сейчас! Пишите заявление, товарищ Тухачевский! Пишите — давно пора! — горячо и весело сказал Енукидзе, подходя к Михаилу Николаевичу.

Тухачевский получил рекомендации двух членов ВЦИКа — Енукидзе и Кулябко, и 5 апреля 1918 года его приняли в партию.

Восьмого апреля декретом были образованы военные

округа и созданы волостные, уездные, губернские и окружные военные комиссариаты, а 22 апреля введено всеобщее военное обучение.

Тухачевского командировали в Рязань, Тамбов и Воронеж для инструктажа, а затем выдвинули на должность военного комиссара штаба Московского района.

В первую свою весну 1918 года молодая Советская республика оказалась в чрезвычайно тяжелом положении: со всех сторон ее окружали враги.

В военном отделе на стене висела большая карта России. На ней разноцветными флажками обозначались границы советской территории. Было странно и страшно видеть, какой маленькой стала Советская Россия без Архангельска, Пскова и Минска, без Киева, Полтавы и Харькова, без Одессы, Ростова и Тифлиса. Не было ни Крыма, ни Кавказа, ни Урала, ни Сибири. Самое узкое место оказалось на Волге у Вольска и Саратова.

Враг напирал отовсюду. В Мурманске высадились английские войска, во Владивостоке — американские и японские, на Дону действовали банды Краснова, на Северном Кавказе — белая армия Деникина, на Украине хозяйничали немцы и гетман Скоропадский.

Но наибольшая опасность надвигалась с востока.

Еще до революции из пленных австро-венгерской армии был создан чехословацкий корпус. Предполагалось, что он будет использован в войне против Германии и Австрии. Но после Октябрьской революции Антанта и белогвардейцы решили направить чехословацкий корпус, расположенный на Волге и в Сибири, против молодой Советской России.

Контрреволюция стремилась захватить хлебные и сырьевые районы Поволжья и Урала. Угрожала отрезать Сибирь. Замыслы контрреволюции были ясны: окружить Советскую Россию, зажать в огненном кольце, залить антантовским свинцом, задушить костлявой рукой голода.

Чехословаки заняли Самару и Сызрань.

Советская республика собирала силы, чтобы дать отпор врагу.

В июне ЦК партии отправил из Москвы около двухсот коммунистов на Восточный фронт. В числе их оказался и военный комиссар Михаил Тухачевский.

Утром 18 июня Енукидзе позвонил Тухачевскому:

— Михаил Николаевич, приезжайте в Кремль, товарищ Ленин хочет поговорить с вами.

В первый момент Тухачевский подумал, что ослышался: неужели сам Владимир Ильич будет говорить с ним? Но спросил у Енукидзе внешне спокойно:

— Когда прикажете явиться?

— Сейчас! — ответил Енукидзе, вешая трубку.

7

Авель Софронович Енукидзе повел Тухачевского к Ленину. Председатель военного отдела ВЦИКа хотел сам познакомить Владимира Ильича с этим молодым коммунистом из бывших офицеров гвардии, энергичным и деятельным военным комиссаром.

Енукидзе оставил Тухачевского в узком коридоре третьего этажа и пошел к Владимиру Ильичу сказать, что военком Тухачевский, которого вызывал товарищ Ленин, ожидает приема.

Тухачевский в волнении посматривал на дверь: о чем хочет поговорить с ним Владимир Ильич? Он видел Ленина на митингах и собраниях в Петрограде и здесь в Москве раз двадцать, но всегда видел только издали, окруженного народом. Михаил Николаевич уже на расстоянии узнавал этот большой лоб мудреца, этот проникновенный голос прирожденного оратора, эти на редкость живые, жестикулирующие руки. Руки у Владимира Ильича не оставались в покое: держали ли они кепку, газету или блокнот.

И вот сегодня, 18 июня 1918 года, сейчас, через несколько секунд, Тухачевский не только увидит Ленина вблизи, но даже будет говорить с Лениным!

И не мог не волноваться.

Дверь кабинета чуть приотворилась, из нее выглянул ободряюще улыбчивый Авель Софронович и позвал:

— Товарищ Тухачевский, входите!

Сорокалетний Енукидзе чуть подмигнул Михаилу Николаевичу: мол, не робейте, молодой человек!

Тухачевский в одно мгновение привычно оправил гимнастерку, согнал спереди назад несуществующие, давно согнанные, складки и вошел в кабинет.

Посреди комнаты, в двух шагах от Тухачевского, стоял в своем всегдашнем скромном костюме Ленин.

Тухачевский сразу заметил: у Владимира Ильича очень усталый вид. Под глазами легли тени. В Кремле все знали, как, не щадя себя, много работает, не спит по ночам Владимир Ильич.

К жестоким фронтовым врагам советской власти прибавился еще один: голод. Летние месяцы 1918 года оказались чрезвычайно тяжелыми для молодой республики. Ленин так и предупреждал питерских рабочих: «За непомерно тяжелым маем придут еще более тяжелые июнь и июль, а может быть, еще и часть августа».

Четко приставив каблук и приложив руку к фуражке, Тухачевский рапортовал:

— Военком Тухачевский по вашему приказанию явился!

— Здравствуйте, Михаил Николаевич! — приветливо улыбаясь, сказал Ленин, протягивая Тухачевскому руку.

Он здоровался с Тухачевским просто, без официальности, как с давно знакомым человеком. Живые, быстрые глаза Ильича пытливо смотрели на бывшего гвардейского подпоручика.

— Присаживайтесь! — предложил Ленин, указывая на кожаные кресла, а сам вернулся к письменному столу.

Тухачевский поклонился и, сняв фуражку, сел в кресло. Енукидзе занял второе, напротив. Авель Софронович уселся глубоко, покойно. А Михаил Николаевич сел на краешек кресла, вполуоборот к письменному столу. Он увидел: письменный стол покрывала карта европейской России.

Владимир Ильич облокотился на стол и, слегка подавшись вперед, смотрел на Тухачевского.

— Товарищ Кулябко говорил мне, что вы бежали из германского плена? — полувопросительно сказал Владимир Ильич.

— Да. Четыре раза неудачно, а на пятый раз — все-таки убежал...

— Каким образом?

— Мы вырезали в полу товарного вагона дыру.

— И как же вы ушли? Во время стоянки поезда?

— Нет. Выбросились на ходу, на шпалы...

Владимир Ильич откинулся на спинку плетеного кресла и смотрел то на Тухачевского, то на Енукидзе.

— Слышите, товарищ Енукидзе: «Выбросились на ходу поезда»! Неплохо! — весело щурил глаза Ленин. — И как же вы уцелели?

Тухачевский чуть улыбнулся одними глазами.

— Поезд шел на подъем. Это было в горах, в Шварцвальде... Мы, Владимир Ильич, выбросились довольно благополучно...

— Вы бежали не один?

— Я бежал с товарищем, с солдатом.

— А как же солдат очутился с вами?

— Я сидел в солдатском лагере.

— Почему?

— Четыре раза я попадал в офицерские лагеря, а когда меня поймали в последний раз, я назвался солдатом... Из штрафного офицерского лагеря бежать труднее...

— Да-а? Вот как? — сказал Ленин.

Он секунду помолчал, думая о чем-то, а потом снова облокотился на стол и начал:

— Вы знаете, что все существование нашей революции свелось к одному вопросу — военному. Наша страна попала опять в войну. Исход революции зависит от того, кто победит! За последние месяцы и даже недели подняла голову контрреволюция. Она ухватилась за чехословаков, которые, надо сказать, вовсе не идут против советской власти. Против советской власти идут не чехословаки, а их контрреволюционный офицерский состав. Чехословаки взяли Самару и Сызрань. Угрожают Симбирску. Этот фронт нам архиважен. Нельзя позволить нашим врагам сомкнуть Восточный и Южный фронты. Белые хотят отрезать нас от источников снабжения хлебом и топливом.

Ленин откинулся и посмотрел на карту, лежавшую перед ним на столе.

— Некоторые старые военные специалисты привыкли воевать только ради войны, так сказать, из любви к искусству. Мы будем воевать — только ради победы! Впрочем, — Ленин улыбнулся, — вы, Михаил Николаевич, человек молодой. Надеюсь, еще не приучились думать так, как думают некоторые старые военачальники?

— Нет, Владимир Ильич, товарищ Тухачевский не такой! — горячо поддержал своего военного комиссара Енукидзе.

— Я пробыл в старой армии всего лишь около полугода,— ответил Тухачевский.

— Да, да, я знаю, товарищ Кулябко мне говорил. И вот Авель Софронович рекомендует вас... Вы в военном отделе показали себя хорошим организатором. Мы ценим вашу работу и доверяем вам, товарищ Тухачевский!

— Я оправдаю это высокое доверие, — стараясь не выдать волнения, ответил Тухачевский.

— Так вот. Мы отправляем вас на Восточный фронт. Нужно организовать регулярную Красную Армию. Довольно кустарщины! Войну надо вести по-настоящему или ее совсем не вести! Командует Восточным фронтом бывший подполковник, левый эсер Муравьев. За Муравьева поручился ряд наших товарищей — Антонов-Овсеенко, Муралов. Все они говорят: ведь подполковник Муравьев под Гатчиной разбил казаков Краснова! А я так думаю,— снова прищурился Ленин,— Краснова разбил не Муравьев, а питерские рабочие, которые двинулись к Гатчине!

— Конечно! — подхватил Енукидзе.

— Вам, товарищ Тухачевский, придется ехать к этому Муравьеву в Казань.

— Слушаю-сь,— ответил Тухачевский.

— Скажите, Михаил Николаевич, вот мы призываем на военную службу рабочих тысяча восемьсот девяносто шестого — девяносто седьмого годов. Сегодня вы видели, в «Известиях» напечатан декрет. Как вы думаете, какие могут быть результаты, если мы призовем...— сделал секундную паузу Ильич,— офицеров? Без военных специалистов регулярной армии ведь не создашь?— Он испытующе смотрел на Тухачевского.

— Я уверен, Владимир Ильич, что результаты будут самые положительные! — убежденно ответил Тухачевский. — Сейчас офицерство растеряно, деморализовано. А обращение к ним подымет их! Ведь не все же они...

— Конечно, не все они против народа! — сказал Ленин.— А что, если вы, товарищ Тухачевский, попробуете провести мобилизацию офицеров в наших краях?

Мы ведь с вами земляки: вы — пензенский, а я — симбирский! — улыбнулся Ленин.

— Постараюсь немедленно провести мобилизацию офицеров, товарищ Ленин, если буду иметь на это право! Без опытных командиров регулярной армии не создать!

— Ну вот, очень хорошо! — поднимаясь из-за стола, сказал Ленин.— Поезжайте, товарищ Тухачевский.

Тухачевский и Енукидзе встали. Енукидзе пошел к двери, а Тухачевский стоял по стойке «смирно».

Ленин вышел из-за стола и протянул руку Тухачевскому:

— Желаю удачи!

— Спасибо, товарищ Ленин! Честь имею кланяться! — и, повернувшись налево кругом, Тухачевский вышел из кабинета вслед за Енукидзе.

Он шел и думал: «Как прост и обаятелен этот великий человек!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД...»

1

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год...

Песня

На следующий день Тухачевский получил в Комиссариате по военным делам направление и выехал в Казань.

Енукидзе и Кулябко рассказали Михаилу Николаевичу все, что знали о Муравьеве. Муравьев будто бы происходил из бедных крестьян. («Теперь все — «крестьяне» и все — «бедные», а раньше, бывало, только и слышишь о крестьянине: «мужик», «хам»!») Он окончил учительскую семинарию и Казанское юнкерское училище. Участвовал в русско-японской войне. Офицер из той породы, которых солдаты метко зовут «шкурой». Болтун типа Керенского. После Октября толкался в Смольном, лез со всякими предложениями. Деликатный

Свердлов, сконфуженно пощипывая бородку, не знал, что и ответить назойливому подполковнику.

— Вот офицер из эсеров предлагает нам свои услуги. Не знаю, можно ли ему доверять? — говорил он.

В конце концов бывший подполковник Муравьев добился того, что его назначили (в тот момент не оказалось никого под руками) командовать Гатчинским фронтом против казаков генерала Краснова. Но приставили к нему старого партийца Константина Еремеева. Потом Муравьев не без успеха руководил операциями против белых банд на юге, а теперь командует Восточным фронтом.

Двадцать пятого июня Тухачевский дотащился до Казани.

На вокзале Михаил Николаевич узнал, что штаб фронта помещается в кремле, в бывшем юнкерском училище.

Тухачевский прошел через какие-то Мокрые улицы и вышел к кремлю. Перед кремлем стоял обычный безвкусный памятник Александру Второму. В кремле было все как положено: древние башни, дворцы, храмы, многоглавые монастыри и наводящие тоску «присутственные места» и казармы. У казарм слонялись какие-то растерханные солдаты с нерусскими лицами и сгрудились английские броневики «остин» и «ланчестер» с вполне русскими механиками.

А дальше угадывалось здание юнкерского училища. Возле него маячили в красных черкесках конники, очевидно из личного конвоя главкома...

Мимо приструненных и довольно сносно обмундированных часовых Тухачевский поднялся на второй этаж. В приемной главкома сидели двое адъютантов: в красной черкеске самодовольно красивый с бараньими глазами грузин Чудошвили и в защитном английском френче смуглый серб Мудрак. Они не хотели докладывать главкому о Тухачевском и рекомендовали ему сначала явиться к какому-то «дежурному офицеру штаба», но Михаил Николаевич сказал тоном, не терпящим возражений, что он прислан из Москвы лично к Муравьеву, и Чудошвили пришлось идти докладывать главкому.

Муравьев соизволил принять Тухачевского.

Михаил Николаевич вошел в кабинет главкома.

— Комиссар Тухачевский. Прибыл в ваше распоряжение,— рапортовал он.

Из-за массивного дубового письменного стола поднялся высокий худощавый человек с коротко остриженными седеющими волосами и лихорадочно горящими глазами.

— Здравия желаю. Откуда изволили пожаловать в наши Палестины? — спросил Муравьев, только чуть наклонив голову, но не подавая Тухачевскому руки.

— Из Москвы. От Народного комиссариата по военным делам,— ответил Тухачевский, вручая Муравьеву пакет.

Муравьев вскрыл конверт, вынул бумажку и быстро пробежал ее глазами.

— Понятно! Вы к нам, так сказать, в помощь? — с ехидной усмешкой заметил главком.— А вас неплохо аттестуют, товарищ Тухачевский. Здесь написано,— прочел Муравьев,— что вы являетесь «одним из немногих военных специалистов коммунистической партии». Вы — коммунист?

— Да, я член партии.

— Та-ак,— говорил главком, постукивая бумажкой по столу.— А какое, позвольте полюбопытствовать, у вас военное образование? Вы что — прапорщик?

— Никак нет, я — подпоручик.

— Ах, подпору-учик! — иронически протянул главком.— Что изволили окончить?

— Александровское военное училище.

— Ускоренный выпуск?

— Нет. Окончил полный курс в июле тысяча девятьсот четырнадцатого года.

— Где служили?

— В лейб-гвардии Семеновском полку.

— Вот ка-ак! — удивленно процедил Муравьев, разглядывая Тухачевского.— Что же мы стоим? Садитесь, подпоручик,— как бы невзначай обмолвился Муравьев, называя Тухачевского по-старому.— Значит, вы — «александровец»?

— Так точно.

— А я в свое время окончил здешнее Казанское... Вот это моя alma mater, — улыбнулся главком. — Выпущен был в первый Невский. Воевал с япошками. Дослужился до полковника. Потом командовал Петро-

градским военным округом... Выходит, мы с вами товарищи: оба — пехотинцы... Как когда-то, помните, смеялись, кто где служит:

Умный в артиллерии,
Богатый в кавалерии,
Пьяница во флоте,
А дурак — в пехоте...

Ну и пусть! Наполеон, правда, был артиллерист, зато Суворов — матушка-пехота...— говорил Муравьев, думая о чем-то своем.— Так какую же вам предложить должность? — спохватился он. — Вот тут написано, — он снова взял в руки сопроводительную бумажку: — «На товарища Тухачевского необходимо возложить наиболее важную и ответственную работу по борьбе с чехословаками...» — Главком вопросительно смотрел на Тухачевского.

— Я полагаю, надо поговорить с Реввоенсоветом фронта, — ответил Михаил Николаевич.

— Ну что ж, пойдемте,— согласился Муравьев.

Реввоенсовет назначил Тухачевского командующим Первой армией.

2

Тухачевский пробыл в Казани один день. Он совещался с членами Реввоенсовета фронта Кобозевым и Благонравовым, которые ввели его в курс всех дел.

Георгия Ивановича Благонравова он встречал в Петрограде. Прапорщик-большевик Благонравов был назначен комиссаром Петропавловской крепости. А Кобозева Тухачевский видел впервые. Петр Алексеевич Кобозев, инженер по образованию, состоял в партии почти столько же лет, сколько Тухачевский жил на свете. Кобозев резко выделялся среди штабных защитных френчей и гимнастерок черным штатским костюмом с воротничком и галстуком. И своей опрятной «интеллигентской» бородкой напоминал земского врача.

Оба члена Реввоенсовета относились к главкому Муравьеву настороженно — они не очень доверяли ему. По их словам, Муравьев был безграмотен политически и не обладал никакими полководческими талантами.

— Плохой политик мешает ему быть хорошим военным,— характеризовал Муравьева Кобозев.

— Он не очень умен, но сильно честолюбив. Вообще притязания Муравьева гораздо шире его возможностей,— сказал Благонравов.— Имейте в виду, что Муравьев любит вмешиваться во все, даже в командование отдельным отрядом!

— Да, он подает плохой пример другим командирам. Это типичная левоэсэровская партизанщина,— прибавил Кобозев.— Он всюду насовал своих — и здесь, и в Симбирске. Учтите, товарищ Тухачевский: губернский военный комиссар в Симбирске — левый эсер Клим Иванов. В Симбирске вам надо опираться на старого, испытанного большевика, председателя губисполкома товарища Варейкиса,— посоветовал Кобозев.

Кобозев и Благонравов предупредили также Тухачевского о том, с чем ему придется столкнуться в Инзе при организации регулярной армии.

Впрочем, Михаил Николаевич и сам хорошо познакомился со всеми особенностями красногвардейских соединений во время своей инспекционной поездки от ВЦИКа в Рязань, Тамбов, Воронеж и на Дон.

Первая армия формально считалась организованной уже десять дней тому назад, но на самом деле ни армии, ни ее штаба еще не существовало. По бумагам в Первой армии числились шесть полков, семь отрядов, две батареи и один бронепоезд. Но настоящей численности этих полков и отрядов никто не знал. В отряде могло быть вообще от двадцати до четырехсот человек. Каждый отряд действовал самостоятельно, сообразуя свои операции с соседями только в пределах местной заинтересованности. Это объяснялось их территориальным происхождением: многие отряды составлялись из заводских и сельских групп.

Во всех отрядах царил партизанский, «самостийный» дух. Командовали все кому не лень. Командовали, не имея понятия ни о тактике, ни о стратегии. Каждый «главком» не хотел подчиняться другому. Штабы в отрядах встречались крайне редко. Их заменяла канцелярия — один-два писаря — и ближайшее окружение (родственники и приятели) командира. Приказы писались на клочках бумаги. Полевые книжки были редкостью.

Благонравов, смеясь, рассказывал Тухачевскому, что в одном из отрядов первый боевой приказ был состав-

лен старым капитаном, который искренне примкнул к большевикам. Капитан закончил приказ привычным старорежимным выражением: «На начинающего—бог!» (ведь чехословаки начали войну!).

Оперативные планы вырабатывались всей командирской компанией. Карту имел только командир отряда, и то вырванную из школьного атласа или — в лучшем случае — изданную уездным земством данного района. Главным недостатком всех этих отрядов были организационные слабости, нехватка командного состава и отсутствие настоящей дисциплины. Политработа не велась — не было комиссаров. И оттого политическая обстановка зачастую оценивалась неправильно.

— Чехи хотят поскорее добраться домой? Надо пропустить их в Сибирь. Они уедут, и все успокоится! — наивно рассуждали некоторые.

В отрядах не хватало командного состава — взводных, ротных. Приходилось учитывать и то, что в отряды просачивались отдельные авантюристы и шкурники. Приходилось считаться с настроением и психологией солдат, четыре года гнивших в окопах.

Тухачевский видел, с каким радостным чувством возвращались с фронтов солдаты. А тут нате вам — снова на фронт!

Отряды привыкли вести только эшелонную войну: наступали только по железной дороге, не слишком удаляясь в сторону, чтобы в случае необходимости снова сесть в вагоны и — крути, Гаврила! — благополучно откатиться назад...

«Ежели враг не убежит, мы сами убежим!» — гласил неписаный, но весьма популярный отрядный лозунг.

Оно и понятно, фронт не шел сплошняком, а проходил как гроза: тут гремит, а за версту — солнышко светит. Угар безумной паники мог смениться порывом сокрушительной атаки...

На станции Инза Тухачевский застал ту же картину: вагоны, вагоны, вагоны. Между вагонами — костры с подвешенными солдатскими котелками, веревки, на которых сушится застиранное бельишко. А красноармейцы разбрелись по путям, по станции, по пристанционному поселку. Вид у них был обычный, такой, к которому никак не мог привыкнуть строевик Тухачевский: фуражка на затылке, шинель расстегнута, винтовка на

ремне, как у охотника. В этой вольности чувствовался какой-то свой, современный колорит. Эта внешняя расхлябанность не была распущенностью старой, деморализованной армии, а вольностью нового, еще не сложившегося воинского строя.

Штаб Первой армии легко умещался в одном зеленом вагоне третьего класса, потому что состоял всего лишь из пяти человек. В штабе полка было только начальство: начальник штаба, начальник оперативного отдела, начальник снабжения, казначей и штабной комиссар. Рабочего аппарата, в сущности, еще не было. Приходилось строить все на ровном месте. Думать не о штабе полка или дивизии, а начинать с самого штаба будущей армии.

«Да, вид у штаба пасмурный. . .» — подумал про себя Михаил Николаевич.

Тухачевский познакомился со штабными товарищами и поехал в Симбирск. Ему нужно было стать на партийный учет и хотелось посоветоваться с руководителем симбирских большевиков Варейкисом, который, как уже понял Тухачевский, пользуется большим авторитетом. Михаил Николаевич хотел поговорить относительно мобилизации офицеров: без военных специалистов не создашь никакого штаба и никакой армии. Добровольно поступило в Первую армию всего лишь четыре офицера.

Переход от добровольческих отрядов к мобилизации даже солдат и то казался многим революционерам чем-то кощунственным, каким-то возвратом к прошлому. Но все же мобилизация солдат в социалистическую армию — это было для большинства понятно: кто же защитит рабочих и крестьян, если не они сами? А мобилизация офицеров? Ведь в глазах народа офицер всегда был «барином». И после революции каждый из них невольно представлялся «контрой».

Михаил Николаевич поделился своими планами с комиссаром армии, бывшим рижским рабочим Оскаром Калнинем. Спокойный и неторопливый, как все северяне, Калнинь встретил приезд Тухачевского сдержанно. Он показался Михаилу Николаевичу человеком неглупым, но осторожным,— этому его научила жизнь революционера. Услыхав о мобилизации офицеров, Оскар Юрьевич чуть улыбнулся и сказал:

— Конечно, как говорится, «гус свине не товарыш»,

но если Ленин сказал, то концы концами (так Калнинь произносил «в конце концов») попроповат можно!

Комиссар армии хоть и с видимой неохотой, но дал согласие. Оставалось потолковать с Варейкисом.

Бывший токарь Иосиф Михайлович Варейкис оказался немного моложе двадцатипятилетнего Тухачевского. В Симбирске все руководство было безусое, молодежное: секретарем губернского комитета партии работал двадцатилетний техник Каучуковский, редактором газеты — двадцатилетний студент Швер. Чуть постарше их был председатель исполкома рабочий-металлист Гимов.

Простой, с открытым лицом, Варейкис произвел на Михаила Николаевича хорошее впечатление. Одет он был в синюю рабочую блузу и старый пиджак. Из всех карманов у Варейкиса выглядывали газеты. Не надо быть большим психологом, чтобы угадать в нем умного, делового, энергичного человека.

К удовлетворению Тухачевского, Варейкис отнесся весьма положительно к мобилизации офицеров в полосе фронта.

— Объявим мобилизацию! — не колеблясь, живо поддержал Варейкис.— В Симбирске несколько тысяч офицеров. Довольно им болтаться без работы!

И, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, они тут же составили приказ и первым днем явки назначили 4 июля 1918 года.

Тухачевский заглянул в губвоенкомат. Варейкис предупредил Михаила Николаевича, что губвоенком Недашковский — левый эсер: главком Муравьев насажал всюду своих единомышленников и покровительствует им.

В военкомате Тухачевский встретил командующего Симбирской группой войск бывшего прапорщика Клима Иванова. Клим Иванов тоже принадлежал к эсерам — в Симбирске было их засилье. Когда Тухачевский сказал, что будет проводить мобилизацию офицеров, Недашковский не успел собраться с ответом, как за него запальчиво ответил Клим Иванов.

— Мой штаб, гарнизон и губвоенкомат давно укомплектованы военными специалистами! — категорически и не без заносчивости отрезал он.

Клим Иванов, как все левые эсеры, был против регулярной армии (ведь они считали себя лучшими знатоками военного дела) и поэтому всячески оттягивал мобилизацию, которая являлась первым шагом к созданию постоянной армии. Эсеры демагогически утверждали, что армия революции может и должна строиться только на добровольных началах.

Тухачевский не стал митинговать с ними, но постарался поговорить с заместителем губвоенкома коммунистом Першиным. Першин сказал, что, конечно, будет присутствовать при явке офицеров.

Тухачевский поспешил назад в Инзу. Дорог был каждый час. Приходилось пока с пятью работниками штаба начинать сводить отряды, разбросанные от Инзы до Бугуруслана, в полки.

Новый командарм-1 понравился симбирским партийным товарищам. Командующий Восточным фронтом Муравьев, приехав в Симбирск, не соизволил встречаться с коммунистами губкома и исполкома, а предпочел вести разговоры только со своими левыми эсерами.

Варейкис знал, что Муравьев — демагог, что он старается угодить обеим сторонам: заискивает перед солдатами, глядя сквозь пальцы на некоторые вольности, и покровительствует офицерам. Когда Муравьев являлся в их собрание, он не возражал против того, что подавалась старая команда:

— Господа офицеры!

А Тухачевский с первых своих шагов на посту командарма хочет решать все по-большевистски, при поддержке губкома хочет поднять на борьбу с белыми широкие массы.

3

Утром 4 июля Тухачевский приехал в Симбирск. Еще на вокзале он купил «Известия Симбирского Совета».

Всю верхнюю половину первой страницы занимало обращение:

«Товарищи! Революция в опасности.

Гидра контрреволюции собирается раздавить нашу свободу! Все, кому дорога Советская Республика, земля и воля, мир, жизнь и свобода трудящихся, все, кому не хочется голодать,— немедленно вставайте в ряды советской армии.

Все под красные знамена социализма».

Внизу шли малозначащие приказы Симбирского губвоенкомата. Приказа же Первой армии о мобилизации офицеров Тухачевский не увидел. Михаил Николаевич развернул газету. На развороте шли разные сообщения: «По России», «За границей», «В Симбирске» и прочее. Тухачевский мельком глянул на то, что стояло под рубрикой «На Украине»:

«Под властью немцев. Восстание на Украине. Со стороны Фастова в Киев движутся 75 тысяч хорошо вооруженных революционных войск под командой опытных офицеров-инструкторов».

Вот и там — «опытные офицеры»...

Он посмотрел последнюю страницу.

Все есть. И кино, где Мозжухин, и длинный список практикующих в Симбирске врачей, и даже эти, такие нелепые сегодня, объявления, как будто из другого мира:

«КЕФИР ЛЕЧЕБНЫЙ. ЖАНДАРМСКАЯ, 2»;
«ПАРИЖАНКА С ДИПЛОМОМ. УЛИЦА 2-ГО КУРМЫША».

Неужели не напечатали? Может, эсеры что-либо напортили?

Тухачевский вновь перевернул газету и стал еще раз просматривать первую страницу.

Ах, вот оно где!

Справа, внизу, в уголке, незаметно приютился приказ. Вернее, только его начало. Конец приказа перешел на вторую страницу. Его напечатали слева вверху с неуважительным переносом, как будто что-то не стоящее пристального внимания...

«Приказ по 1-й Восточной армии

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика переживает тяжелые дни, окруженная со всех сторон врагами, ищущими поживиться за счет русских граждан. Ими было подготовлено и поддержано разными продажными элементами контрреволюционное восстание чехословаков. Долг каждого русского гражданина — взяться за оружие и отстоять государство от врагов, влекущих его к развалу.

Для создания боеспособной армии необходимы опытные руководители, а потому приказываю всем бывшим

офицерам, проживающим в Симбирской губернии, немедленно встать под красные знамена вверенной мне армии.

Сегодня, 4 сего июля, офицерам, проживающим в городе Симбирске, прибыть к 12 часам в здание кадетского корпуса ко мне. Неявившиеся будут предаваться военно-полевому суду.

Командующий 1-й Восточной армией *Тухатовский.*
Товарищ председателя Симбирского губернского Исполнительного комитета *Иосиф Варейкис.*

4 июля 1918 года. Симбирск».

Это было первое упоминание Тухачевского как командарма. Вместо «Тухачевский» было ошибочно напечатано — «Тухатовский».

Ну да не в этом дело!.. Важно, что приказ есть!

4

Каждый военный специалист, который честно и добросовестно работает над развитием и упорядочением военной мощи Советской Республики, имеет право на уважение Рабочей и Крестьянской Армии и на поддержку Советской власти.

Из постановлений Пятого съезда Советов

Эсеры предсказывали, что мобилизация офицеров провалится. Но они просчитались. Уже в начале двенадцатого к громадному трехэтажному зданию старого кадетского корпуса потянулись бывшие «ваши благородия». Шли в одиночку и группами. Некоторых провожали родные.

Вчера, еще до появления в «Известиях», приказ о мобилизации был расклеен на домах и заборах Симбирска. «Шептуны» всех мастей уже каркали, предрекая офицерам:

— Собирают, чтобы арестовать всех сразу!

— Попадетесь как кур во щи!

— Недаром вон на пристани мальчишки поют: «Офицерик молодой, лицом беленький, ты катись колбасой, пока целенький!»

И многие шли в кадетский корпус с опаской. Неизвестность не могла не волновать их.

Приказ о мобилизации офицеров был так необычен. Ведь после Октября на офицеров смотрели косо. И офицеры старались стушеваться, слиться с окружающей средой. Они подолгу не брились, не чистили сапог, щеголяли в замызганных и латаных гимнастерках, дымили пролетарские козьи ножки, сплевывая по-солдатски сквозь зубы, и старались ходить по-деревенски, вразвалку.

Но вот сегодня к ним, к офицерам, обращаются. Они стали нужны. Их зовут! Их ждут!

И офицеры пошли на зов.

Они толпились на площадке лестницы и в коридоре перед комнатой, где должна происходить явка, переговаривались вполголоса, курили и смотрели: не идет ли командарм?

Никто не знал этого неизвестного «Тухатовского». Он был явно не симбирский, а приезжий. Всех интересовало: кто он, в каком чине служил в старой армии (ясно, что он не гражданский!), откуда прислан?

И вот наконец увидели командарма-1.

Все ждали, что командармом окажется какой-либо почтенный, пятидесятилетний генерал, а по коридору шли трое молодых. Никому из них нельзя было дать даже тридцати лет.

Одного большинство симбирцев знало — это был помощник губвоенкома солдат-большевик Першин. Второго, в черной кожанке, не знали, но он не походил на кадрового военного. Оставался третий, коренастый, синеглазый, с интеллигентным лицом. Безупречная выправка обличала в нем военного человека. Туго перехваченная ремнем защитного цвета гимнастерка со следами погон, синие выношенные брюки и простые ботинки с неавантажными обмотками — все это сидело на нем по-особому ладно.

Вот он какой!

И как бы в душе ни относились офицеры к Красной Армии, но звание «командующий армией» действовало на них безотказно. Руки сами невольно опускались «по швам», а каблук тянулся к каблуку.

Командарм с членами комиссии прошел в комнату, и офицеры зашушукались:

— Представительный!
— Видно, бывший полковник...
— Эк куда хватили: полковник! Для полковника слишком молод!
— Самое большее — штабс-капитан!
— Выправка — не придерешься!
— И лицо не пролетарское.
— Мне говорили: бывший гвардеец!
— Все может статься...

Офицеры начали осматривать себя, оправлять гимнастерки.

— Пожалуйста, товарищи! — раздался из комнаты звучный баритон.

Комиссия уже сидела за большим столом, покрытым красным сукном. Синеглазый командарм посередине, двое других — по бокам.

Прием начался.

Сквозь настежь раскрытую дверь было все видно и слышно, что происходит в комнате.

В последние полгода офицеры ходили по улицам нарочито расхлябанной походкой, переваливаясь с боку на бок. А здесь, под пристальным взглядом этих чуть навыкате синих пытливых глаз, офицеры подтянулись. Военная выправка взяла свое. Мобилизованные шли к столу хорошим строевым шагом, четко приставляя ногу, и четко докладывали:

— Поручик такой-то...
— Подполковник...
— Штабс-капитан...

И в ответ слышали доброжелательно-спокойное:

— Хотите служить в Красной Армии?

Большинство отвечало просто, без рассуждений:

— Приказ есть приказ...
— Раз приказывают, надо служить!

Тухачевский больше присматривался к тем, которые делились своими резонными опасениями и раздумьями:

— Товарищ командующий, я всю жизнь — военный. Вне армии мне, прямо скажу, тяжело... И я люблю свою родину! Но ведь нам, офицерам, не доверяют?..

— Доверие само возникнуть не может. Его надо заслужить честной работой, знанием дела и, прежде всего,

должным отношением к солдату. Надо уважать в солдате человеческое достоинство!

— Ваше превосходительство! ..— вырвалось по старинке горячее, протестующее. — Да разве я не уважаю? Мой отец был военный. Я с детства с денщиками, с солдатами. Первое удовольствие было — пообедать из солдатского котла в казарме...

— Значит, все в порядке! Где хотите служить?

И только немногие, большею частью из пожилых, явно пытались уйти в сторонку под благовидным предлогом:

— Я три раза ранен...

— У меня язва желудка...

И мало попадалось таких, которые на вопрос Тухачевского: «Где хотели бы служить?» — интересовались прежде всего окладом и пайком.

Весь облик молодого командарма, его корректность в обращении действовали на офицеров успокаивающе. Оказывается, ничего страшного, о чем каркали вчера паникеры, не происходило. Было ясно, что никакой расправы большевики над ними учинять не собираются. И десятки офицеров один за другим охотно становились в ряды Красной Армии.

Командарм внимательно расспрашивал их о прежней службе и тут же зачислял в армию. Но не по прежним чинам и прежнему положению в старой армии, а сообразуясь со способностями и склонностями каждого. Он не стеснялся назначать на ответственное место молодежь, если чувствовал, что человек может справиться с поручаемым ему делом. Не обращал внимания на то, что в отдельных случаях седой полковник окажется в непосредственном подчинении у безусого поручика. Когда же такой поручик, который никогда не командовал даже ротой, назначался командиром полка и начинал сам сомневаться в том, справится ли он с такой задачей, командарм Тухачевский отвечал ему с улыбкой:

— И я не родился командармом! И, представьте, тоже никогда не командовал полком...

А немногословный комиссар латыш Калнинь, плохо говоривший по-русски, серьезно прибавлял:

— Не пог горшок лепиль! Справишься!

В коридоре мобилизованные офицеры делились впечатлениями о молодом командарме.

— Манеры у него хорошо воспитанного человека!

— Да, он не высокомерен и держится просто, без рисовки, но с большим достоинством! — удовлетворенно говорили они.

5

Мобилизация в Симбирске и Пензе нескольких сотен офицеров дала возможность не только укомплектовать штаб Первой армии так, что он перестал иметь «пасмурный» вид, но и штабы и штаты дивизий.

В начале июля удалось свести многочисленные разрозненные отряды в три стрелковые дивизии — Симбирскую, Инзенскую и Пензенскую. Командиры в полках были уже не выборными, а назначенными. Кое-где в отрядах еще встречалась анархистски настроенная вольница. Она пьянствовала, не очень хотела подчиняться ни выборным, ни назначенным командирам, а при случае готова была и пограбить. Потому Тухачевский организовал армейский и дивизионные ревтрибуналы.

День ото дня Первая армия становилась организованнее и сильнее. Теперь можно было всерьез готовиться к наступлению на Самару.

Верный своей привычке вмешиваться в распоряжения младших начальников, главком Муравьев дал Тухачевскому подробный план Самарской операции.

С военной точки зрения план не выдерживал никакой критики; он оказался совершенно безграмотным. Муравьев предлагал окружить белую Самару полукольцом в триста верст. Всю армию — восемь тысяч штыков и сабель — делил на семь малочисленных колонн. Из них шесть должны были производить демонстрацию, а седьмая, в восемьсот человек, наносить главный удар в направлении Мелекес — Мусорка — Ставрополь — Самара.

Михаил Николаевич читал весь этот бред и пожимал плечами:

«И чему его учили в Казанском юнкерском? Корчит из себя великого полководца, а не знает азов...»

В плане Муравьева колонны должны были двигаться по разным направлениям, не связанные друг с другом. Ударная группа — явно недостаточна, слаба, чтобы разбить противника в Самаре. Главный удар намечался через песчаную лесостепь Заволжья, где не было

железной дороги и хороших грунтовых путей. Чехословакам представлялась полная возможность бить красные войска по частям.

План Муравьева вел к явному поражению.

Тухачевский переделал все по-своему. Путем для главного удара он выбрал Волгу. Так как обозов не было, то Тухачевский хотел создать на Волге флотилию, чтобы с ее помощью быстро перебросить войска до Усолья. А по обоим берегам пустить конницу и броневики.

Тухачевский энергично готовился к наступлению. Симбирские большевики во главе с Варейкисом помогали ему: подготовили четыре парохода и несколько барж и навербовали матросов.

Все приготовления предполагалось закончить к 15 июля.

Тухачевский рассчитывал взять Самару в несколько дней.

Но Муравьев продолжал делать свое. Через голову командарма-1 он бросил в наступление отдельные группы, не считаясь ни с чем. А 8 июля на станцию Симбирск-1 прибыл из Казани Курский бронедивизион — восемь машин с отрядом пехоты в двести человек. Броневиками командовал левый эсер поручик Беретти. Тухачевский приметил этого щеголеватого генеральского сынка еще в Казани. Надушенный и фатоватый, Беретти ходил со стеком в руке, словно он командовал не броневиками, а эскадроном гусар.

Тухачевский приказал Беретти выгрузить машины с платформ и немедленно следовать на Усолье—Ставрополь. Приготовления были более или менее закончены, и Тухачевский думал переходить в наступление. 9 июля он предполагал начать демонстрацию против Сызрани. Беретти категорически отказался выполнить приказ командарма-1.

— Мы вам не подчинены,— вызывающе ответил он, небрежно постукивая стеком по ладони.— Мы находимся в личном ведении главкома. Нам приказано оставаться в Симбирске и ждать его дальнейших указаний. Вот, пожалуйста! — протянул он Тухачевскому предписание Муравьева.

Это было неслыханное безобразие, но что оставалось делать: на Тухачевского с железнодорожных платформ

глядели семидесятимиллиметровые орудия и пулеметы «максим». Тухачевский все-таки произвел 9 июля демонстрацию у Сызрани. Белые бежали. Бронедивизион, стоявший без дела в Симбирске, был бы так кстати, и Тухачевский ранним утром 10 июля отправил резкий протест Муравьеву:

«Главкому Муравьеву. 1918 года 10 июля,
место отправления — г. Симбирск.

Еду на Пензу—Сызрань. Сызрань оставлена. Хотел еще вчера начать наступление всеми силами, но броневому дивизиону было Вами запрещено двигаться, а потому наше наступление на Усолье и Ставрополь велось лишь жидкими пехотными частями. Совершенно невозможно так стеснять мою самостоятельность, как это делаете Вы. Мне лучше видно на месте, как надо дело делать. Давайте мне задачи, и они будут исполнены, но не давайте рецептов — это невыполнимо. Неужели всемирная военная история еще недостаточно это доказала? Не сочтите этого заявления недисциплинированностью. Ведь армия, согласно устава тактики и стратегии, получает только задачи и директивы самого общего характера. Даже приказания армиям избегают давать. Вы же командуете за меня и даже за моих начальников дивизий. Может быть, это было вызвано нераспорядительностью прежних начальников, но мне кажется, что до сих пор я не мог бы вызывать в этом отношении Вашего недовольства.

Командарм-1 *Тухачевский*».

А через два часа Тухачевский узнал еще более неприятную новость: Муравьев собирается приехать в Симбирск, чтобы лично руководить всем наступлением на Самару.

Когда главком приедет, никто не знал. Но после обеда латышские стрелки стали на дворе бывшего кадетского корпуса репетировать под оркестр будущую встречу главкома.

6

Тухачевский был очень удивлен, когда под вечер того же 10 июля ему позвонили с пароходной пристани. Какой-то голос с грузинским акцентом сказал, что глав-

ком прибыл в Симбирск и вызывает командарма Тухачевского к себе на яхту «Межень», которая стоит у пристани бывшего общества «Самолет».

Михаил Николаевич понял, что это говорит один из многочисленных адъютантов Муравьева.

Внезапный приезд Муравьева очень расстроил Тухачевского.

«Значит, мой рапорт он не получил. Придется излагать претензии устно. Это хуже... Затем Муравьев увидит сам, что операция идет не по его бездарному плану, вломится в амбицию и тотчас же начнет менять все на свой лад. И напутает бог весть как!» — думал Михаил Николаевич.

Он взял ординарца и верхом поскакал к пристани. Подъезжая к пристани бывшего пароходного общества «Самолет», Тухачевский увидел у дебаркадера изящную императорскую яхту «Межень». Она стояла легкая, как белый лебедь, среди грубых, тяжелых барж и прочей невзрачной речной посуды. Рядом с «Меженью» пришвартовался простой пароход.

Михаил Николаевич обратил внимание на то, что палубы обоих судов были закрыты тюками хлопка. Из-за тюков сторожко выглядывали пулеметы.

У приземистых пристанских амбаров по-всегдашнему шумела, растекалась по берегу «обжорка» — толкучий рынок. Здесь сновали торговцы, спекулянты, мешочники, нищие и цыгане. Накрыв грязным тряпьем горшки, бабы продавали щи с требухой, рубец, печеную картошку, лепешки, молоко, рыбу, яйца и ягоды. Деньги брали неохотно. Предпочитали менять на какую угодно обувь и солдатскую — хоть и поношенную — одежонку: штаны, гимнастерки и даже обмотки. Еще охотнее вели торг на соль, мыло, спички и сахар. Тороватые бородачи-мужички могли удружить из-под полы самогончиком, если у кого водились часы, кольца или какая-либо трофейная, еще с германского фронта, серебряная ложка. Конечно, не переводилась и забористая махорка:

Махорки корешки
Прочищают кишки,
Вострят зрение,
Дают ободрение,
Кровь развивают,
На любовь позывают...

Давай
Налетай,
Не задерживайся! —

кричали торговцы.

Сегодня здесь было особенно много военного люда — солдат и матросов. Матросы, как обычно, перевитые вдоль и поперек пулеметными лентами. А солдаты с нерусскими лицами — не то башкиры, не то чуваши. И китайцы.

«Это Муравьев привез в подкрепление,— сообразил Тухачевский. — Неплохо!»

Он соскочил с коня и, передав поводья ординарцу, пошел к «Межени». На сходнях его встретил уже знакомый старший адъютант Муравьева черноусый и гибкий Чудошвили. Чудошвили и не подумал приветствовать командарма, а только сказал, растягивая гласные:

— А-апа-аздываете! Гла-авком да-авно ждет!

И высморкался двумя пальцами в воду, хотя на руках у него были надеты черные лайковые перчатки.

На верхней палубе «Межени» в окружении пестрой свиты и личной охраны из черкесов и сербов возвышался худощавый, с лихорадочно горевшими глазами, возбужденный Муравьев. Сзади за ним виднелся стол, уставленный бутылками и тарелками с закуской. У стола разговаривали вертлявый Клим Иванов и щеголеватый Беретти. Все это поразило Михаила Николаевича. Но еще более показалось странным, что он не видел ни одного члена Реввоенсовета фронта — ни Кобозева, ни Благонравова.

— Долго изволите собираться, господин командарм! — раздувая ноздри, сказал главком.

Он только козырнул на приветствие Тухачевского, но руки не подал.

— Вы не предупредили о приезде, товарищ главком,— спокойно ответил Тухачевский.— Утром я отправил вам пространный рапорт...

— Да, да, знаю! — перебил его главком. — Не столь пространный, сколь странный! Но ваши старания напрасны! Вы все фокусничаете, господин подпоручик! Выслуживаетесь перед «товарищами»!

— Я вас не понимаю!

— Сейчас все поймете! Я не стану драться с наши-

ми братьями чехами. Я вместе с ними пойду на Германию!

Тухачевский посмотрел на Муравьева: уж не рехнулся ли он? Клим Иванов и Беретти подошли к главкому и смотрели на происходящее: Беретти с интересом, Клим Иванов со скрытой усмешкой превосходства.

— Я, как Гарибальди, хочу спасти свою родину от врага! — патетически восклицал Муравьев. — Говорите Тухачевский: вы с нами или против нас? — Горячий, взволнованный голос Муравьева звучал приподнято. — Если пойдете с нами, я обеспечу вам любой высокий пост в нашей союзной армии! А если нет — расстреляю!

— Я предавать родину не намерен! — твердо ответил Тухачевский.

— Взять его! Обезоружить! — заорал Муравьев.

Не успел Тухачевский оглянуться, как двое сербов из личной охраны главкома схватили его за руки, а адъютант-грузин отстегнул от ремня маузер Михаила Николаевича.

— В трюм этого комиссара! — приказал Муравьев. — Впрочем, пусть едет с нами! — передумал он. — Расстрелять всегда успеем!

И пошел с яхты.

Сербы, не отпуская Тухачевского, повели его под руки вслед за Муравьевым и свитой на берег. Михаил Николаевич шел и чувствовал: если бы он захотел, сербы отлетели бы от него, как пробки, — так все в нем кипело от возмущения! Но что было бы дальше? Конец?

«Обождем!» — подумал он.

Он уже все понял: эсер Муравьев продолжает делать то, что в эти дни делали левые эсеры в Москве, Ярославле, Рыбинске, Муроме,— поднял мятеж.

Сойдя на берег, Муравьев зычно крикнул на всю «обжорку»:

— Братцы! Гражданская война окончена! Объявляю свободную торговлю: продавай-покупай что хочешь!

Толпа не очень реагировала на это — каждый был занят своим делом. Да толкучка и без того продавала и покупала все, что хотела. А солдаты-инородцы плохо разбирались в русском языке, и до них обращение «русского Гарибальди» не дошло. Только один основа-

тельно подгулявший «братишка» пустился по пристанской пыли в пляс, припевая:

Эх, яблочко
На тарелочке!
Надоела жена —
Пойду к девочке!..

Беретти махнул рукой. К ним подкатил открытый «кадиллак» бронедивизиона. Муравьев сел с шофером. Беретти, Клим Иванов, какой-то «дежурный генерал» из свиты главкома, двое сербов охраны и Тухачевский поместились в кабине. Тухачевского посадили спиной к шоферу, на откидные кресла. Сербы продолжали крепко держать его с обеих сторон. За «кадиллаком» следовал грузовик с пулеметной командой дивизиона.

Когда выехали на шоссе, Муравьев, полуобернувшись назад, возбужденно-весело сказал:

— Чудошвили с «уфимцами» и пулеметчиками сейчас все организует! Вайлидзе захватит почту и телеграф, а Мудрак окружит ихний Совдеп, этот «Симбирский Смольный», и — конец!

Предательский план измены Муравьева вырисовывался перед Тухачевским во всей красе. Теперь Михаилу Николаевичу стало ясно, зачем Муравьев снимал с фронта и направлял в Симбирск, как будто бы на отдых, некоторые, наиболее подходящие для его замысла, части, вроде анархиствующих черноморских морячков; почему прислал из Казани бронедивизион Беретти, приказав ему не двигаться из города. И совсем в ином свете предстал теперь перед Тухачевским весь этот бездарный план муравьевского наступления на Самару.

Но что делать Михаилу Николаевичу? Чем помочь своим товарищам, если его не расстреляют сейчас же?

Тухачевский сидел опустив голову: он не мог без омерзения смотреть ни на Клима Иванова, ни на Беретти.

«Кадиллак» мчал их на станцию Симбирск-1.

7

Автомобиль остановился. Муравьев со свитой направился к путям, где располагался бронедивизион и отряд пехоты в нескольких теплушках. Броневики еще стояли на платформах.

Солдаты дивизиона мигом построились на междупутье.

Муравьев стоял перед строем в гордой позе, заложив по-наполеоновски руку за борт кителя.

Тухачевского под караулом сербов держали поодаль, сбоку.

Муравьев начал речь:

— Товарищи! Я — друг советской власти, но я не согласен с Совнаркомом! Я против похабного мира с Германией. Коммунисты открыли семафор тевтонским легионам. Немцы уже топчут украинские нивы. Они протягивают хищные когти к нашей волжской житнице. Спасти завоевание революции можем только мы, левые революционеры. Долой преступную войну с братьями чехословаками! Вместе с ними мы подымем грозный меч на швабов! И горе тем, кто встанет на нашем пути! Симбирский Совдеп и командарм Тухачевский,— Муравьев обернулся в сторону Тухачевского и указал на него пальцем,— против нас. Позавчера Тухачевский хотел расстрелять вашего любимого командира Беретти. Но карающий меч Немезиды обрушился на их головы. Сегодня мы разгоним Совдеп, а завтра расстреляем Тухачевского!

«Сейчас, очевидно, невыгодно!» — с облегчением подумал Михаил Николаевич.

— Дети революции! За верную службу родине ваши имена будут золотыми литерами начертаны на скрижалях истории. А каждого из вас я награждаю десятью тысячами рублей. Итак, вперед на осаду Совдепа!

Строй слушал, не очень разбираясь, в чем дело. Только упоминание о награде было понятно, но необычно.

— Выводи машины! — скомандовал Муравьев.

Прислуга броневиков кинулась к платформам. А Муравьев сделал шаг к Тухачевскому и, не глядя ему в глаза, глухо спросил:

— Говорите в последний раз: вы с нами?

— Я уже сказал: предавать родину и революцию не намерен! — ответил Тухачевский.

— Ах так! Ну пеняйте ж на себя: на рассвете вы будете расстреляны! Посадить его в теплушку и караулить! — обернулся Муравьев к Беретти.

Тухачевского вмиг окружили пехотинцы дивизиона.

Глядя на него больше с любопытством, чем со злобой, оии повели Михаила Николаевича к вагоиам.

— Куда посадим? — спрашивали красноармейцы у пожилого, рыжеусого, по всей видимости — старшого.

— Валяй в крайиюю, где пулеметиая команда, — теплушка пустая.

Тухачевского втолкнули в теплушку и прикрыли дверь, оставив иебольшую щель.

— Сиди тута,— ие очеиь ласково сказал Тухачевскому старшой. — Павлов, стой и гляди в оба! — приказал ои молодому весиушчатому парию.— Пущай сидит вои иа ящику. И не двигается с места. Чуть двииется — стреляй!

Михаил Николаевич сел на опрокииутый ящик и, опершись руками о колени, задумался.

«Вот и иаступление иа Самару! А иачало такое удачное — Сызраиь и Бугурuслаи освобождены... Неужели этому иегодяю удастся открыть фроит белогвардейцам?»

Броиевики живо сошли с платформ. Две машииы остались возле эшелона, а шесть двииулись в город осаждать Симбирский Совет. Вслед за броиевиками уехала иа грузовиках пехота и «кадиллак» с Муравьевым и его сообщниками. Кроме двух броиевиков и их прислуги у эшелоиа осталось десятка полтора пехотинцев караула.

Тухачевский сидел и думал: знают ли в губкоме и в губисполкоме о предательстве Муравьева? Зиает ли обо всем безобразии умиый, энергичный Варейкис? Или Муравьев успел захватить и их врасплох?

Незаметио наступил теплый и тихий вечер.

До Михаила Николаевича доиосились отдельиые обрывки разговора оставшихся красиоармейцев дивизиоиа. Оии обсуждали происходящее.

— А иа каких условиях Муравьев хочет мириться с чехословаками — ои ие сказал.

— Ну, по десять-то тысяч иа человека Муравьев не даст. Обещать все можио!

— Тухачевский не грозился расстрелять Беретти!

— А ежели он коитра, так чего с иим вожжаться? Отправить в штаб Духоиина, ие дожидаясь завтрашиего дня!

И Тухачевский услышал — толпа шла к теплушке.

В висках у него стучало. Он постарался взять себя в руки и смело поднял глаза. Завизжала, широко открываясь, вагонная дверь. И весь проем заполнили головы солдат.

— За что же тебя, мил человек, хотят расстрелять? — спросил у Тухачевского мужчина в пиджаке и кепке, по виду типичный рабочий.

— За то, что я — большевик, коммунист,— ответил Михаил Николаевич.

Толпа замерла от изумления.

— За то, что комму-унист? — удивленно протянул человек в кепке. — Так ведь и я же коммунист!

— Мы все большевики, раз добровольно пошли защищать советскую власть!

— У нас все за большевиков! — зашумела толпа.

— Нет, не все! — возразил Тухачевский. — Слыхали: Муравьев против Совнаркома, против большевиков.

— Как против? Он же — главком Восточного фронта.

— Был главком, да весь вышел! Ведь он сказал, что будет мириться с чехословаками и белогвардейцами! Говорил так?

— Говорил!

— Как же это получается, товарищи? — оглянулся на всех человек в кепке. — Выходит он — левый эсер?

— Да. Ведь эсеры подняли мятеж по всей стране — в Москве, Ярославле, Рыбинске, Муроме... — сказал Тухачевский, вставая — хотелось размяться. — Муравьев готовится открыть белогвардейцам фронт. И хвалится, что пойдет с чехословаками на Германию!

— Вся Россия не могла справиться с немцами, а он один хочет. Пустая болтовня! — с возмущением заметил человек в кепке.

— Вот он повел ваши броневики против кого? — продолжал Тухачевский.— Против Совдепа. Разобьет Совет, перестреляет коммунистов...

— Так это же — контра. Что, он хочет вернуть старый режим?

— Да, хочет!

— Хочет обвести нас, дураков, вокруг пальца! — уточнил человек в кепке.

— Что же нам делать? — заволновались красноармейцы.

— Предупредить броневики, что это — измена, про-

вокация! — горячо сказал Тухачевский. — Пошлите кого-либо в город, авось еще не поздно.

— Верно! Надо послать!

— Давайте я схожу. Я менее заметен, — предложил человек в кепке.

— Сходи, Петр Игнатьич!

— Пусть еще кто-либо помоложе пойдет со мной, кто пошибче моего ходит.

— Вот пусть Сенька!

— Ладно! Я побежу... А как с винтовкой-то?

— Зачем тебе винтовка? Без нее легше.

Сенька не заставил себя ждать — побежал к станции. За ним быстро пошел человек в кепке. Толпа разошлась. У раскрытой двери теплушки остался один прежний Павлов.

— Кто этот, в пиджаке? — спросил у Павлова Михаил Николаевич.

— Наш старший слесарь по автоделу Иванов, питерский рабочий.

Немного отлегло от сердца: авось предупредят, не дадут свершиться такой подлости!

Мысли приняли иное направление. Тухачевский шагал по темной теплушке и вспоминал, как они с Сашей Зайцевым убегали из немецкого вагона.

— Товарищ командир, не желаете ли покурить? — спросил Павлов, просовывая голову в теплушку.

— Нет, спасибо, дорогой, я не курю!

— Тогда, может, кипяточку?

— Это с удовольствием — в горле пересохло...

— Я думаю, пересохнет от такого... Гуськов! — крикнул Павлов. — Принеси кипятку и кружку!

Через несколько минут перед Тухачевским стоял солдатский котелок с кипятком, алюминиевая кружка и лежал голубоватый кусок сахара.

— Вот спасибо! — благодарил Тухачевский.

Ему вспомнилось, как он, приходя домой из Александровского училища, еще с порога, шутя, кричал:

— Мамаша, ча-аю!

За кипятком было легче коротать время...

А со стороны города не слышалось никаких выстрелов, никакого переполоха. Прислуга на броневиках улеглась спать. Остались только часовые. Павлов дре-

мал, сидя в обнимку с винтовкой против раскрытой двери теплушки.

...Уже было за полночь, когда Тухачевский услыхал, как кто-то бежит по путям к эшелону.

Это был Сенька. Он еле переводил дыхание от быстрого бега. И в полный голос стал рассказывать разбуженным товарищам:

— Энтот командир верно сказал: Муравьев — гад, предатель и изменщик! Хотел старый режим воротить! Мы еще на станции от телеграфиста узнали: Муравьев против советской власти пошел. Из Казани сюда отбили телеграмму — Муравьев удрал из Казани на пароходе, велено его поймать и расстрелять!

— Наших-то успели предупредить?

— Успели! Там еще до нас московские пулеметчики дознались. И латышские стрелки. Растолковали, что к чему. Наши ребята сказали: ежели Муравьев прикажет стрелять по Совету, мы его самого!..

— И где же теперь Муравьев?

— Убитый!

— Кто же его убил?

— Московские ребята, пулеметчики.

— Стало быть, зря мы этого товарища командира держим? — подошел к говорящим Павлов.

— Конечно!

— Пусть идет подобру-поздорову!

Тухачевский выпрыгнул из теплушки.

— Хорошо, что энта сволочь сразу вас не расстреляла, — улыбался Павлов, закидывая винтовку за плечо.

— Да, на этот раз пронесло смерть! — весело ответил Тухачевский и быстро зашагал к Симбирску.

8

С мятежом Муравьева удалось покончить в одну ночь. В этом была заслуга симбирских большевиков и энергичного Иосифа Варейкиса, который умно и тактично сумел организовать отпор зарвавшемуся авантюристу.

На следующий день Варейкис и Тухачевский выпустили воззвание. В нем кратко излагалось, как в Симбирске ликвидировали левоэсеровский мятеж:

«Возмущенная провокацией Красная Армия решила

арестовать изменника Муравьева, но тот, не желая даться живым в руки наших солдат, начал отстреливаться, ранил нескольких наших товарищей, но ответным выстрелом был убит.

Таким образом, не стало негодяя-провокатора, решившего отдать русский трудовой народ на растерзание империалистам, не стало Бонапарта, афериста, который предполагал предать Советскую Россию.

Революция одержала победу.

Революция торжествует».

Муравьевский мятеж, который не оставил никаких следов в Симбирске, очень тяжело отразился в частях Первой армии, особенно на бугульминском участке. Он внес разброд в умы не весьма разбирающихся в политических ситуациях красноармейцев. В частях сперва стала известна телеграмма Муравьева, где он заявлял, что заключил мир с чехословаками и объявил войну Германии. А вслед за ней пришла телеграмма Реввоенсовета фронта. В телеграмме Муравьев объявлялся предателем. И красноармейцы стали подозрительно смотреть на всех командиров вообще.

В правительственной телеграмме за подписью Ленина стояло черным по белому: «Объявить вне закона, расстрелять!»

С Муравьевым, стало быть, покончили, а может, надо разделаться и со всеми этими «военспецами»?

Кто тут разберет?

Вот в полк прислали новых, назначенных, командиров. По внешности теперь не больно угадаешь — кто? Барин или свой брат — пролетариат? Теперь старый полковник ходит обросший щетиной, как хряк, а бывший унтер выбрит и в лайковых перчатках.

Поди пойми!

Красноармейская масса и без того не очень доверяла бывшим офицерам, а тут разные «шептуны» умело подзуживают:

— Умные люди давно говорят: ежели офицер, значит, фактически «контрик»! А на них еще мобилизацию провели. Вроде чтоб в помощь Красной Армии. Как же, держи карман шире, золотопогонник тебе поможет!

И у красноармейцев пошли одни разговоры — о предателях и изменниках: кто и за сколько миллионов продал Расею.

Не доверяли не только отдельным лицам, но полк стал не доверять своему соседу полку.

И сразу же резко упала дисциплина. Части начали «волынить», митинговать. Под любым предлогом оставляли позиции.

— Патронов нет. Чего же тут зря подставлять голову?

— Жалованья второй месяц в глаза не видим...

— Война войной, а одежа — одежей! Где обмундирование?

Подняли голову шкурники, тороватые мужички из тех, кто не столько пошел в отряд, чтобы «кровь проливать», сколько одеться, обуться да кой-чего нажить...

Демагоги и провокаторы требовали: на боевом участке чтоб обязательно было высшее командование!

Войска ни в одну атаку не шли с уверенностью, стали легко поддаваться панике. Чуть что — так и слышалось: «обошли», «отрезали», «предали»! — и ну отступать.

Красные оставили Бугульму, а 11 сентября чехословаки снова заняли Сызрань и Бугуруслан.

Недоверчивое отношение испытывал на себе даже Тухачевский. Комиссар Калнинь, осторожный человек, как-то косо посматривал на Михаила Николаевича и, вероятно, думал: «А почему тебя сразу не расстрелял Муравьев? Почему отсрочил?» И готов был арестовать Тухачевского.

Уверенность в себе и своих командирах могла восстановить лишь хорошая разъяснительная работа. И Реввоенсовет республики поступил правильно, назначив 13 июля политкомиссаром Первой Восточной армии руководителя самарских большевиков, старого партийца Валериана Владимировича Куйбышева.

Тухачевский слышал о Куйбышеве от Кулябко. Коля Кулябко любил цитировать стихотворение Куйбышева «Море жизни», написанное Валерианом Владимировичем в ссылке, в Нарыме. По ритму «Море жизни» походило на «Нелюдимо наше море» Языкова.

Гей, друзья. Вновь жизнь вскипает,
Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам.
. . . .

Будем жить, страдать, смеяться,
Будем мыслить, петь, любить.
Буря вторит, ветры злятся,
Славно, братья, в бурю жить!

Приехав в Симбирск, Тухачевский познакомился с Валерианом Владимировичем Куйбышевым. Но до назначения Куйбышева комиссаром Первой армии Михаил Николаевич виделся с ним редко. А теперь привелось работать вместе с этим известным большевиком.

Высокий, широкоплечий, юношески жизнерадостный, веселый, Валериан Владимирович Куйбышев располагал к себе.

Тухачевский и Куйбышев сразу нашли общий язык. Они оба получили военное образование (Куйбышев окончил кадетский корпус в Омске). Оба были энергичными, волевыми людьми, оба физически крепкие. И даже глаза — серые у Куйбышева и синие у Тухачевского — у обоих были чуть навыкате. Только Куйбышев был ростом повыше, зато Тухачевский держался ровнее, как отличный строевик, а Куйбышев — сутулился. Куйбышев ходил твердым шагом, тяжело ставя ногу, словно испытывал прочность того, на что ступал.

У Куйбышева и Тухачевского с первых дней установились легкие, дружеские отношения. Они основывались на доверии и взаимном уважении.

Тухачевскому нравилась и храбрость Куйбышева. Валериан Владимирович, смеясь, рассказал Михаилу Николаевичу, как он с несколькими товарищами уходил последним из Самары. Клуб коммунистов, где их застали белые, был окружен. Пришлось пробираться по крышам домов, чтобы выйти к пристани.

Куйбышев ходил в синей выцветшей косоворотке, пиджаке и коротком пальто. В первое же посещение Куйбышевым одной воинской части эта скромная одежда комиссара вызвала подозрительное отношение со стороны красноармейцев, видевших во всем подвох.

— Почему это комиссар в пальте, а не в шинели? — нахально спросил у Куйбышева какой-то, видимо хорошо распропагандированный эсерами, боец.— Прячешься, комиссар?

— Важно, чтобы у красноармейца была шинель,— ответил Куйбышев.

— Та-ак! Значить, шинель отдашь мне, красноар-

мейцу? Я в шинели пойду кровь проливать, а ты в пальте полезешь к бабе на печь?

Куйбышев только посмотрел на этого наглеца и спокойно ответил:

— А вот в первой атаке увидим, кто из нас где будет!

— Ти-ише! — тянули за рукав занозистого бойца его товарищи.— Это ж Куйбышев! Его, брат, ни на мат, ни на бас не возьмешь!

— Он пойдет в такой огонь, куда ты и носу не ткнешь!

— Это ж наш Валериан!

— А я почем знаю, кто это? — чесался занозистый.

— Узнаешь!

9

Муравьевская авантюра сыграла на руку белым. Так хорошо наступавшие красные части стали в панике отходить. Им всюду мерещились предательство и измена.

Восемнадцатого июля чехословаки заняли Мелекес, а через четыре дня войска генерала Каппеля, не встречая сильного сопротивления, вошли в Симбирск.

Клим Иванов не зря заявлял Тухачевскому, что штаб его Симбирской группы укомплектован офицерами. Он только не уточнил: его штаб состоял из офицеров, но левых эсеров, и весь перешел на сторону белых.

Симбирский губком и советские учреждения эвакуировались в Алатырь.

Первая армия очутилась в критическом положении. Отряды, действовавшие в Заволжье, в Бугульминском направлении, были разбиты и, видимо, отошли на север. Связь с Самаро-Сенгилеевской группой прекратилась. Все считали, что группа разбита чехословаками. Резервов у Первой армии не существовало.

Реальную силу составляли Пензенская группа в районе Кузнецка и Инзенская в районе станции Базарная общей численностью три с половиной тысячи человек.

В сторону Симбирска фронт оказался обнаженным. Его прикрывала штабная рота охраны в двести человек с несколькими пулеметами. Если бы белые двинули на Инзу хотя бы один батальон, они прорвались бы

в тыл армии к Рузаевке. Но белые задались иной целью — они хотели образовать на Средней Волге широкий плацдарм, чтобы соединиться с англо-американскими интервентами на севере. И потому шли на Казань, не продвигаясь к Инзе дальше станции Майна.

Однако, несмотря на временные неудачи, двадцатипятилетний командарм был полон надежд и планов.

— Пусть белые думают, что мы разбиты и деморализованы. А мы соберем кулак, возьмем Симбирск и отбросим их за Волгу. И там на левом берегу создадим плацдарм для наступления на Самару и Уфу,— заявлял он своим штабным товарищам.

— Михаил Николаевич, ведь у белых тридцать тысяч солдат. Они прекрасно вооружены,— осторожно возразил начальник штаба Захаров.

— Партия и Ленин решили создать сильную Красную Армию, и она будет создана! — убежденно говорил Тухачевский.— А пока, товарищи, надо собирать то, что есть под руками!

«Под руками» было так немного: двадцать красноармейцев-коммунистов из уездного города Корсуна да отряды из Ардатова и Алатыря. Но через двое суток в Инзе уже стало около четырехсот человек. Сорок добровольцев-железнодорожников из инзенского депо задумали соорудить бронеплощадку. Они взяли три четырехосные пульмановские платформы с высокими железными бортами, обложили шпалами и мешками с песком, сделав среди них амбразуры для пулеметов.

Строить бронеплощадку помогали все, даже командарм и комиссар Куйбышев. Валериан Владимирович сбросил кожанку и, засучив рукава вылинявшей сатиновой рубашки, таскал мешки с песком на платформы. От него не отставал коренастый командарм Тухачевский.

— Я — крепок,— говорил Куйбышев, сдвигая с потного лба кепку на затылок.— Когда в тысяча девятьсот шестнадцатом году работал на Самарском трубочном — а до этого на заводах никогда не работал,— я не мог соразмерить свою силу с деталями: при затяжке гаек на болтах частенько срывалась резьба...

К пульмановским платформам прицепили две легкие — с запасом рельсов, шпал, костылей и инструментами для ремонта пути. И бронеплощадка была готова.

Все силы, которые удалось сколотить, Тухачевский вверил своему гимназическому товарищу и тезке Михаилу Николаевичу Толстому, бывшему поручику лейбгвардии саперного батальона, служившему в одном гвардейском корпусе вместе с Тухачевским.

В эти же дни Тухачевский получил из штаба фронта телеграмму:

«Председатель Совнаркома Ленин приказал донести, почему войска Первой армии до сих пор живут в вагонах и не переходят к полевой войне. Примите меры к выдворению войск из поездов. Пусть войска формируют обозы».

Владимир Ильич — в Москве, но видит все, что делается на фронте.

Вагоны нужны были для перевозок, и надо было научить войска маневрировать.

Двадцать четвертого июля отряд Толстого, около тысячи человек при пяти орудиях и тридцати пулеметах, выгрузился на станции Чуфарово. Это был первый случай, когда красные войска оставляли вагоны. Вагоны ушли в Инзу, отряд расположился у станции, выставив кругом сторожевое охранение. К рассвету выслали вперед дозоры. В двадцати верстах находилась станция Майна. В Майну наведывалась разведка белых.

Тухачевского интересовало, как красноармейцы почувствуют себя в поле,— до сих пор красные части предпочитали воевать у откоса железнодорожного полотна, возле своих вагонов. Однако все оказалось хорошо, в полевых условиях они не терялись.

Немного обеспечив Инзу со стороны Симбирска, Тухачевский снова обратился к организационным вопросам. Но, занятый военными делами, он не остался безучастным к тому, что его окружало.

В небольшом пристанционном поселке кроме старой кирпичной казармы было двадцать дощатых утепленных бараков. Их построили в начале германской войны. В бараках располагался питательный пункт для проходящих воинских эшелонов.

Весь штаб Первой армии помещался в вагонах, а некоторые вновь организованные отделы даже в палатках, хотя можно было с успехом разместиться в бараках. Но Михаил Николаевич видел, в какой тесноте

жили рабочие разросшегося инзенского узла, и передал большинство бараков им.

Инзенский исполком оценил по достоинству заботу командарма-1 о рабочих и постановил:

«Поручить делегатам — председателю Инзенского районного комитета Андрееву, секретарю Николяй и врачу 20 участка Заглуминскому выразить глубокую благодарность командующему 1-й Революционной армии тов. Тухачевскому и начальнику штаба тов. Захарову от лица всех рабочих, служащих и мастеровых Инзенского района за предоставление одиннадцати бараков под квартиры».

А в это время в Чуфарове назревали события.

Двадцать пятого июля Толстой сообщил Тухачевскому неприятное известие: разведка со слов окрестных крестьян, сочувствующих большевикам, донесла, что к станции Майна движется какой-то громадный отряд, якобы насчитывавший около десяти тысяч человек. Тухачевский и Куйбышев полагали, что цифра, конечно, преувеличена («у страха глаза велики!»), но если отряд был бы даже вдвое меньше сказанного, то и он представлял бы грозную опасность.

В Инзе начали лихорадочно готовиться к встрече, старались откуда только можно притянуть силы.

И вдруг 27 июля со станции Майна, которая оставалась еще нейтральной, Тухачевского и Куйбышева позвали к прямому проводу. Командарм и комиссар недоумевали: кто бы это мог быть? Они заторопились на телеграф.

Быстрый Куйбышев спросил своей всегдашней скороговоркой у телеграфиста:

— Кто вызывает? Что передают?

— У аппарата начальник отряда Гай,— невозмутимо прочел на ленте телеграфист.

Куйбышев и Тухачевский удивленно переглянулись.

— Гай? Откуда?

Они уже давно свыклись с мыслью, что Гай, бывший со своими десятью отрядами в районе Сенгилея, уничтожен каппелевцами.

А телеграфная лента продолжала струиться, и на

ней отпечатывались новые точки и тире. Телеграфист не спускал глаз с бегущей струйки ленты.

— Майна спрашивает: кто у аппарата? — поднял голову телеграфист.

— Отвечайте: Тухачевский и Куйбышев,— сказал Валериан Владимирович.

Из Майны тотчас же пришло очередное:

— Дорогие товарищи, я скоро буду с вами!

Куйбышев почему-то шепотом, как будто бы в Майне могли его услышать, сказал Тухачевскому:

— Может, это провокация?

— Возможно. Пусть докажет чем-либо, что он в самом деле Гай, — шепнул Тухачевский.

— Да, конечно...

Куйбышев велел телеграфисту отстукать:

— Помнит ли товарищ Гай, как он был водолазом?

Телеграфист быстро отстукал вопрос и не спускал глаз с ленты. Тухачевский и Куйбышев наклонились над аппаратом, как будто бы могли что-либо разобрать на ленте.

Телеграфист, улыбаясь, сказал:

— Товарищ Гай смеется. Отвечает на вопрос: помню, помню! Это когда я нырял за рулем... Не бойтесь, Валериан Владимирович: действительно я сам своей персоной. Я прорвался через фронт. Приезжайте с товарищем Тухачевским. Через пять-шесть часов будете в Майне...

— Едем! — потирая от радости руки, диктовал телеграфисту Куйбышев.

И они побежали к бронепоезду.

— Это какое-то чудо: Гай жив! — возбужденно говорил Куйбышев, пожимая широкими сутуловатыми плечами.

— Валериан Владимирович, а когда же Гай был водолазом? — спросил Тухачевский.

— А вот сейчас расскажу,— ответил Куйбышев, прыгая на ступеньки бронированного вагона.

10

— Так вы, Михаил Николаевич, еще не знаете Гая?

— Нет, как-то не пришлось встречаться. Только слышал о нем,— ответил Тухачевский.

— Интересный человек. Ему тридцать лет, а он уже пятнадцать лет в партии. Сидел в тюрьмах Баку и Тифлиса. Высылался из Закавказья. Он армянин, сын учителя. Его фамилия — Бжишкян, Гая Дмитриевич. Но все командиры и красноармейцы зовут его «Гай». Так удобнее: скорее и проще. Гай и сам не любит, чтобы его называли по фамилии. «Русскому, смеется он, легче выговорить «Бежешкян», чем по-правильному «Бжишкян», а «бежешкян» по-армянски значит — серый осел!» И знаете, Михаил Николаевич, это короткое, ударное «Гай» очень подходит к нему: Гай весь как пружина! В начале войны его призвали в армию. Он служил в пластунском батальоне. Храбр до безрассудства. За храбрость получил три «Георгия» и произведен в офицеры. Гай — романтик, любит все яркое, необычное. И, нечего греха таить, любит покрасоваться. Ездит он на небольшом красном автомобиле — где-то же достал такой! Красноармейцы зовут автомобиль «самоварчиком», потому что из радиатора у него всегда идет пар... На «самоварчике» легкий пулемет «льюис». Гай всегда лезет в самую гущу боя и только кричит: «Храбцы мои!» Это — «храбрецы мои!». Гая любят все — и солдаты, и крестьяне. И, конечно, любят женщины: Гай веселый, красивый...

— А как же он оказался водолазом? — допытывался Тухачевский.

— А вот слушайте дальше! Когда чехословаки заняли Самару, Волга оказалась перерезанной надвое. Но пароходы продолжали ходить вверх и вниз. И на них — тысячи мешочников, беженцы, солдаты, не то возвращающиеся с германской войны, не то дезертиры, одним словом, обычная людская окрошка. Ни мы, ни чехи не хотели возиться с пассажирами. Высадить людей с парохода на берег легко, а что дальше с ними делать? Пусть себе едут! Тем более что от них мы хоть узнавали, что делается на Волге и на Дону. Но и мы и чехи останавливали все пароходы, чтобы под видом пассажирских не прозевать вооруженные суда противника. В отряде Гая была единственная трехорудийная батарея. Она занимала высоту у пристани Новодевичьей, не допускала вооруженные пароходы белых вверх по Волге. Недели три тому назад я привез из Симбирска Гаю немного денег и махорки — самарцы раздобыли.

Сидим с ним на холме, говорим. Вдруг докладывают: снизу, от пристани Ставрополь, движутся буксир и две баржи. «Вероятно, хотят высадить десант»,— говорю я. «Мы им высадим!» — вскочил Гай и помчался к пристани. Внизу у нас стоял наготове вооруженный двумя пушками буксир «Дело Советов». Мы сели в буксир, Гай приказывает капитану: «Ну, дядя, полный вперед!» А капитан на «Деле Советов» седой, неразговорчивый, мрачный. Он, видимо, очень тяготился, что командовал боевым судном.

— Не жаждал воинской славы? — улыбнулся Тухачевский.

— Куда там! Вероятно, проклинал большевиков, что заставили служить! Только отвалили мы от Новодевичьей, как с нашим буксиром стало твориться что-то неладное: виляет из стороны в сторону, как пьяный. Влево — вправо, влево — вправо... «Что, отец, перетрусил? — спрашивает Гай. — Почему не держишь прямо?» Капитан насупился, молчит, знай крутит руль. И вдруг буксир повернул носом к берегу... Гай человек южный, кипяченый: заругался по-армянски и к капитану. Я вижу — убьет старика. Уже за маузер хватается. Я за ним. Начштаба Вилумсон — за ним. Вилумсон — бывший офицер латышского полка, выдержанный, хладнокровный человек. Он у взрывного Гая как предохранительный клапан. «Почему буксир не идет как следует?» — побагровел Гай. А капитан дрожит, заикается: «Оч-чевидно, р-руль сломался...» — «Немедленно вперед, или застрелю!» — кричит Гай. Капитан так и этак вертит руль — никакого результата. Тогда Гай схватил капитана за руку и ну тащить его к корме. Капитан побелел, взмолился: «Ваше благородие... господин офицер... товарищ комиссар... я не виноват... жена, дети...» А Гай тащит его и что-то кричит. По-русски он говорит прекрасно, вот сами услышите, но, когда разволнуется, русских слов у него не хватает. Мы разобрали только одно: «Стой здесь, на корме. Если руль в целости, то — убью!» А сам маузер сунул Вилумсону в руки, ремни, гимнастерку с себя долой, сапоги долой и с буксира — в Волгу! Матросы бросили ему конец. Через секунду смотрим — Гай вынырнул. Смеется, отплевывается, кричит: «Счастлив

твой бог, дедушка: руль свернуло!» С тех пор и стал называть себя «водолазом».

— А как же с буксиром белых? — спросил Тухачевский.

— Оказался невооруженный. Вез на баржах много пассажиров.

11

Небольшая станция Майна походила на шумную ярмарку. Возле невзрачного станционного домика расплескалось море повозок, телег, орудий, походных кухонь и лошадей. Вооруженные люди затопили и маленький пристанционный поселок.

Майна встретила бронепоезд нестройными восторженными криками приветствий. К бронепоезду устремились сотни людей. Впереди всех спешил в лихо заломленной белой папахе и защитном френче красивый, восточного вида человек.

Михаил Николаевич догадался — это Гай.

Через секунду Тухачевский попал в его дружеские объятия.

— Как я рад! — говорил Гай, не выпуская руки Михаила Николаевича.— Товарищ командарм, простите! — спохватился он. — Немножко не по уставу. Немножко зарапортовался — не рапортовал, как положено! Но это от радости. От всей души! — искрился улыбкой Гай.

— Что вы, какой рапорт! Ведь и строя-то нет! — снисходительно отвечал Тухачевский, указывая на облепившую бронепоезд толпу. Приложив руку к шлему, он с радостной улыбкой кивал головой, отвечал на приветствия «сенгилеевцев».

Козыряя, к нему протиснулся молодой человек — сразу видно, бывший военный.

— Позвольте представить — это мой начштаба, товарищ Вилумсон,— сказал Тухачевскому Гай.

— Очень рад, товарищ Вилумсон! — поздоровался с начальником штаба Тухачевский.

Куйбышев потащил Гая, Вилумсона и нескольких командиров в бронепоезд поговорить.

— Вот так удача! Молодцы! — хлопнул Гая по плечу веселый Валериан Владимирович.— Ну, рассказывайте, как удалось вырваться из каппелевских когтей?

— Долго нечего рассказывать,— словоохотливо от-

ветил Гай.— Он обошел меня — что генералу Каппелю какой-то Гай? Мол, возьмем Симбирск, тогда и разделаемся с этим Гаем! А мы созвали собрание отрядов, решили объединиться, выбрали командиров...

— В последний раз выбирали,— перебил, смеясь, Куйбышев.

— И решили уклониться от боя. Плетью обуха не перешибешь! Решили пробиваться через Сызрано-Симбирский тракт на линию Московско-Казанской железной дороги к станции Инза. И пробились! Вот и все!

В сводном отряде Гая оказалось около трех тысяч человек, двенадцать орудий, свыше ста пулеметов и обоз в пятьсот подвод.

— Не было ни гроша, да вдруг алтын! — радовался Куйбышев, подмигивая Тухачевскому.

В колонну Гая добровольно влились деревенская беднота и рабочие цементного завода, суконной фабрики, водники, лесорубы и все партийные и советские товарищи из занятых белыми населенных пунктов.

— Теперь идем на Симбирск! Приказывайте, товарищи! — блестя глазами, обратился к Тухачевскому и Куйбышеву Гай.

— Не горячитесь, Гай! Успеете! — ответил Валериан Владимирович.

— Нужно подготовиться как следует. Отдыхайте. Приводите себя в порядок, — добавил Тухачевский.

— Вот те и майна,— говорил остроумный Куйбышев.— «Майна» по-волжски значит «вниз»,— объяснял он Тухачевскому, как будто Михаил Николаевич не знал этих терминов.

— Да тут не майна, а вира: мы идем вверх! — улыбался Тухачевский.

12

Неожиданный выход из вражеского окружения отрядов Гая оказал неоценимую помощь подорванной муравьевским мятежом Первой армии. Среди деморализованных, потерявших веру в себя и в своих командиров красных частей появился большой отряд, сильный не только численностью, но боевой спайкой. Сплоченные воедино самой фронтовой жизнью, войска Гая уже не нуждались в дальнейшем организационном устройстве.

Это была уже не партизанская группа, а воинская часть настоящей регулярной армии.

Реввоенсовет фронта присвоил ей наименование — Первая Симбирская Железная дивизия.

По Железной могли и должны были равняться другие, вновь организуемые. Железная являлась ярким примером для подражания.

Взяв Симбирск, чехословаки пошли на Казань. 7 августа Казань пала. Но ни Куйбышева, ни Тухачевского не обескуражили временные успехи белых. Они не покладая рук продолжали работать над организацией армии.

Четвертого августа Тухачевский объявил мобилизацию солдат пяти возрастов.

До сих пор в красноармейские отряды записывались добровольно, а мобилизация проводилась лишь по партийной и профсоюзной линии. Кое-кто из старых солдат шел с неохотой — в симбирских деревнях многие жили не бедно.

— Без году неделя, как с фронта. Не успел портянки посушить да с бабой поиграться, опять зовут: иди, солдат!

— За три года надоела винтовка — в руки брать не хочется! — говорили фронтовики.

Но деревенская беднота, волжская речная брашка и рабочий люд шли в охотку. И в первые дни в Инзу явилось свыше пятисот человек.

Тухачевский создавал снабженческий аппарат, создавал обоз.

Тухачевский с Куйбышевым продолжали сколачивать из прежних отрядов полки. Куйбышев, прекрасный оратор, просто и логично убеждал отрядные массы в необходимости слияния.

— Вот в вашем отряде «Волчья стая»,— говорил он,— восемьдесят штыков, сорок сабель, две трехдюймовки и десять пулеметов. Ничего не скажешь — хорошая «Волчья стая». А у соседей, в отряде «Беспощадный», шестьсот штыков и ни одного пулемета. «Беспощадный»-то он «беспощадный», да беляки будут его без пощады и трепать, потому что у него одни винтовки. А соедините́сь в один полк — вам всего хватит! И назовем мы вас, скажем себе...

— «Железный»,— подсказал кто-то из красноармейцев.

— Сперва покажи себя, может, будешь не только «железный», а «стальной».

— А может, «деревянный»,— засмеялись.

— Всяко бывает. Лучше назвать «Рабоче-Крестьянский». Чем плохо?

— Неплохо.

— Ну, то-то!

Вместо Муравьева главкомом Восточного фронта назначили Вацетиса. О нем было известно лишь то, что Вацетис ликвидировал в Москве левоэсеровский мятеж.

— Кто это и откуда? — спрашивал у штабных Куйбышев.— Вы, Оскар, знаете? — обернулся он к своему товарищу, второму комиссару армии Калниню.— Он — латыш?

— Та, латыш. Это немножко снаю... Полковник...— ответил Калнинь.

У Калниня слово «полковник» звучало как оскорбление.

— Вацетис был командиром пятого Земгальского полка. Он полковник генерального штаба,— сказал начальник Инзенской дивизии Ян Лацис.

В устах Лациса слово «полковник» звучало как похвала. Сам Лацис окончил только приходское училище. Он помнил, как Владимир Ильич назначал его командиром полка и, узнав, какое у Лациса образование, сказал: «Образования маловато! Надо учиться!»

— Я видел однажды Вацетиса,— вспомнил Тухачевский.—Он небольшого роста, толстый, бритый, как актер...

— Та, притый,— подтвердил Калнинь.— Но нельза сказат, что такой ошень умный...

Вацетис с места в карьер приказал наступать на Симбирск. И в первый раз Восточный фронт прислал Первой армии подкрепление — Курскую пехотную бригаду в составе трех полков под командой ветеринарного врача Азарха. Невысокий, худощавый, еще совсем мальчик, с цыплячьим пухом на щеках, Азарх старался держать себя по-военному прямо и, вероятно помня о том, что он комбриг, сурово сдвигал узкие брови.

Тухачевский с интересом смотрел на него.

Доложив командарму в старательно заученной фразе о прибытии, Азарх, порозовев от волнения, вдруг прибавил:

— Прошу дать моим трем полкам самостоятельный боевой участок!

Должно быть, решил: или победить врага и прославиться, или умереть.

Куйбышев удивленно и весело переглянулся с Тухачевским. Михаил Николаевич понял: Куйбышев подумал — «запоздалый рецидив самостийности».

Командарм спокойно ответил Азарху:

— Позвольте, товарищ комбриг, решать этот вопрос Реввоенсовету армии.

Полки пылкого ветеринарного врача выгрузились. Обмундированы они были с иголочки и вооружены отлично. Не то что красноармейцы Инзенской, Симбирской и Пензенской дивизий. У тех винтовки разных систем и стран — русские, немецкие, австрийские, французские, японские. Шинели всех цветов и сроков. Обувь — до лаптей включительно. А пряжки на ремнях с закрашенными или сбитыми двуглавыми орлами или с немецкой надписью, как заклятие: «Gott mit uns»[1].

Солдаты Курской бригады выглядели лучше, чем штабные Первой армии, включая и самого командарма. Ни одного не было в драных ботинках, все в необношенных, новеньких сапогах. Винтовки и пулеметы еще с заводской смазкой.

Командиры в скрипучих ремнях с планшетками и револьверами держались независимо гордо. Видно захвалили на месте, избаловались. А у Азарха, как стало модным, висела через плечо черкесская шашка без дужки.

Тухачевский заметил это давно: не только кавалерийские командиры, но все сухопутные, даже командиры бронепоездов, обязательно носили не какую-нибудь там пехотную офицерскую «селедку», а непременно черкесскую шашку. Словно командир броневика собирался рубать врагов с паровоза, как с коня.

Из Москвы предупреждали:

— Курскую бригаду встречать торжественно.

Тухачевский и Куйбышев сделали все, что могли.

[1] С нами бог! *(Нем.)*

Полки бригады построились. Командиры подавали команду непоставленными, неокрепшими голосами, как молодые петушки, в первый раз поющие «кукареку». У двадцатидвухлетнего Азарха, конечно, не оказалось музыкального генеральского фальцета. Но прошла бригада хорошо — любо посмотреть. Рабочие пареньки из инзенских смотрели и удивлялись:

— Ишь, как их нарепертили!

После парада и митинга Тухачевский пригласил командиров «откушать нашего хлеба-соли» и повел в барак. В нем питались из одного котла все штабные Первой армии от командарма до вестового. Тухачевский строго преследовал всякие излишества.

— Владимир Ильич в Кремле питается в одной столовой со всеми,— говорил он.

Простые, но чисто выскобленные песочком столы и скамейки. Столы, как смеялся Куйбышев, вспоминая Гоголя, были длиной «от Конотопа до Батурина».

Деликатный Михаил Николаевич, кажется, и не смотрел, а все замечал, все видел: как товарищи командиры из Курской бригады, войдя в барак, удивленно подняли брови, как рассаживались в своем новеньком обмундировании, оглядывая скамейки и столы — не запачкаться бы! И как без энтузиазма ели гороховку и просяную кашу. И даже услышал, как один из командиров бригады нетактично спросил у начальника штаба Первой армии Захарова:

— Разве нет отдельной командирской столовой?

Захаров резонно ответил:

— А зачем?

Тухачевский предпочел пропустить этот вопрос мимо ушей и только после обеда рассказал Куйбышеву.

Валериан Владимирович возмущался:

— Вот Александр Васильевич Суворов всыпал бы таким франтам! — Куйбышев очень уважал Суворова.

Утром самовлюбленного комбрига Азарха ждал удар: главком Вацетис приказал отправить один его полк в Казань. Азарх закипятился, но Тухачевский твердо отрезал:

— Вы что же, хотите обсуждать приказ?

И Азарх вынужден был подчиниться.

Но напрасно он носился так со своей бригадой — на деле она не оправдала надежд.

По настоянию Реввоенсовета фронта Первая армия начала наступление на Симбирск, хотя Тухачевский видел, что она еще не организовалась как следует.

Полки Азарха были на левом фланге. В первой же стычке «куряне» не выдержали огня белых и побежали. Видимо, Азарх старался научить их только маршировке.

Сам он погиб в этом же бою.

Левый фланг отошел, а за ним, выравнивая фронт, отошел и правый, хотя у правого дела были лучше.

Наступление сорвалось...

Эта неудача привела в совершенную ярость члена Реввоенсовета фронта Кобозева, который приехал в Инзу, и комиссара армии Калниня. Оба они винили во всем Тухачевского. Кобозев выходил из себя, грозил Тухачевскому ревтрибуналом, готов был тут же арестовать неповинного командарма, писал телеграммы в Реввоенсовет республики о замене командарма Тухачевского и тут же рвал их.

Куйбышев поддерживал Тухачевского целиком. Он восхищался выдержкой Михаила Николаевича. Тухачевский держался внешне спокойно, как воспитанный человек, и корректно, не повышая голоса, возражал разгневанному члену Военного совета фронта:

— Простите, я не просто военспец, а еще и коммунист, комиссар!

Тухачевский объяснил причину неудачного наступления слабостью выучки и дисциплины и отсутствием авторитета у младшего и среднего командного состава. У многих бойцов еще слишком жива была отрядная закваска. «Зачем, мол, мной командуют, когда я сам с усам? Сам все знаю. Я сам кровь проливал!» Не мог не указать Тухачевский взбешенному Кобозеву и на то недоверие, которое существовало в армии к командному составу: накануне операции в полках ставили на голосование вопрос — можно ли давать оружие командирам из бывших офицеров или нет?

Куйбышев увидел: Тухачевский совершенно не умеет защищать себя. Куйбышеву казалось, что Михаилу Николаевичу как-то неловко за бестактность Кобозева...

Валериан Владимирович не мог не вмешаться. Дело

дошло до Москвы. Ленин отлично разобрался в обстановке. Он поддержал Тухачевского и велел отложить наступление на Симбирск до тех пор, пока армия не будет окончательно организована.

13

Чехословаки, занятые Казанью, не вели активных действий против Тухачевского, и к концу августа Первая армия набрала силы. Наладилась штабная работа и работа снабжения. Продовольствие и обмундирование доставлялись аккуратно. Не хватало только винтовок. Упорядочилась артиллерия и инженерная часть. Реввоенсовет фронта прислал несколько полков в подкрепление.

— Ого! Вот какая сила к нам валит! — радовались «инзенцы», глядя, как разгружаются присланные части.

— Это нам Москва шлет!

— Это — Ленин!

Можно было наступать на Симбирск.

В ночь с 30 на 31 августа из Москвы пришла тяжелая весть: эсерка Каплан ранила Ленина.

Возмущению всех не было предела. Куйбышев возбужденно шагал по салон-вагону командарма и, ероша свои густые волосы, проклинал эсеров. Помрачневший Тухачевский вспоминал с горечью:

— Я же видел сам — у двери кабинета Владимира Ильича не было даже часового.

Утром во всех полках возникли митинги.

— Отомстим врагу за раны Ленина! Вышибем белую свору из родного города Ильича! Даешь Симбирск! — единодушно говорили красноармейцы.

Восточный фронт разрешил начать наступление.

Тухачевский тщательно продумал со штабом план операции и собственноручно написал его. В основу плана Тухачевский ставил концентрическое наступление, то есть постепенное сужение фронта к Симбирску. Когда в салон-вагоне Тухачевский говорил с командирами об операции, один из командиров полка, бывший унтерофицер, спросил:

— Товарищ командарм, в уставе такого слова нет...

— Какого?

— Кацетрически... Что это значит?

Командиры из бывших офицеров заулыбались. Куйбышев насупил брови. А Михаил Николаевич спокойно и просто объяснил малосведущему в науках, но хорошему вояке значение этого мудреного, нерусского слова.

— Это что,— говорил Тухачевскому после совещания Валериан Владимирович.— Тут ничего не скажешь: концентрический, стало быть, концентрический. А вот есть военный термин «тет-де-пон». Вместо того чтобы сказать по-русски «предмостное укрепление», мы говорим «тет-де-пон». В Самаре у нас командир отряда говорил «дед Гапон» да «дед Гапон». Я слушаю, что он такое придумал, и не понимаю. Пока не дошло, что он так произносит непонятное дле него «тет-де-пон».

По плану Тухачевского Симбирск должен быть взят в три дня. Главный удар наносила Железная дивизия Гая — около четырех тысяч человек при ста четырнадцати пулеметах и двенадцати орудиях. Остальные дивизии только демонстрировали. Тухачевский строил расчет на охвате флангов противника, внезапности и быстроте. Михаил Николаевич задумал перебросить пятый Курский полк на машинах к селу Нагаткину, чтобы ударить по Симбирску с той стороны, откуда белые совершенно не ожидали, — с севера.

Но задумать маневр было проще, чем выполнить. Для пятисот человек Курского полка смогли с помощью Варейкиса, Куйбышева, Гимова, Каучуковского и других товарищей найти двадцать пять грузовиков, и то с превеликим трудом: издерганные, с поломанными бортами, с заплатанными шинами. С трудом нашли — реквизировали, где было можно,— горючее: бензин, керосин, спирт. В грузовик помещалось десять — пятнадцать человек. Пришлось прибавить еще пятьдесят подвод.

Когда к грузовикам подошли подводы, то командир автоколонны, лихой волжский речник, скептически глянул на крестьянских лошадок:

— И они туда же?

— А еще поглядим, кто скорее на месте будет! — отпарировал какой-то лукавый дед, помахивая кнутом.

— Не плюй в колодезь! — смеялись подводчики.

И они оказались правы. Лошади не только не отстали от машин, но не один раз выручали грузовики из беды, вытаскивая их из осенней грязи. Тухачевский и

Калнинь поехали вместе с Гаем. Куйбышев остался в Чуфарове.

Девятого сентября наступление началось. Командиры и политотдельцы шли в цепи вместе с солдатами.

К вечеру первого дня боя фронт сократился до шестидесяти верст. Неожиданный удар ошеломил белых, они бежали.

На следующий день, 10 сентября, белые стали сопротивляться упорнее. Но остановить стремительное наступление красных не смогли.

Одиннадцатого сентября темп наступления еще возрос. Симбирск был близок, росла уверенность в успехе.

Последний штурм Тухачевский назначил на утро 12 сентября. В двенадцать часов 12 сентября Симбирск был освобожден.

В тот же день Первая армия послала телеграмму Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич!

Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!»

В Симбирске Гай захватил большие трофеи и пленных, только что мобилизованных татар и чувашей. Некоторые из них, побросав оружие в садах предгорья, убегали по правому берегу, вверх по течению Волги. Их не преследовали.

Тухачевский телеграфировал в Ардатов:

«Председателю Симбирского Совдепа Варейкису.

Двенадцатого сентября Симбирск взят. Прошу Совдеп возвратиться в кадетский корпус и принять управление городом.

Командарм *Тухачевский*,
политком *Калнинь*».

Взятие Симбирска явилось только началом. За Симбирском последовали Сызрань, Мелекес, Самара, Бугуруслан.

Железная дивизия Гая получила знамя ВЦИКа. Золотыми часами были награждены Тухачевский, Гай, Толстой, Лацис.

На часах Михаила Николаевича было выгравировано:

«Храброму и честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИКа».

Но лучшей наградой всем была ответная телеграмма, которую получила Первая армия от Владимира Ильича Ленина:

«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОТ ВОЛГИ ДО ИРТЫША

Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады.
Товарищи! Мы в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода,
Насильники стоят в родном краю.
Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою.

Демьян Бедный

1

В ноябре 1918 года Тухачевского вызвали в Москву. Он передал Первую армию энергичному, пылкому Гаю, с которым успел подружиться, и уехал.

В Москве Тухачевский второй раз говорил с Лениным. Беседа была продолжительнее первой и снова поучительна и интересна. Происходила она в кабинете Ильича в Кремле. Теперь у двери кабинета уже стояли два курсанта с винтовками.

Ленин встретил Тухачевского как давнего знакомого, усадил в кресло и сам не пошел за письменный стол, как при первой встрече, а сел во второе кресло, стоящее у стола.

Владимир Ильич был доволен.

— Мы одержали на Волге крупную победу — дали отпор белогвардейцам! А Муравьев все-таки оказался архиавантюристом,— щурился Ленин.

— Да, в авантюрах он талантлив, но в военном деле Муравьев полная бездарность, — подтвердил Тухачевский.

Ленин хвалил Тухачевского за хорошо проведенную мобилизацию офицеров.

— Вот теперь у нас в Красной Армии работают десятки тысяч старых офицеров. Если бы мы не заставили их служить нам, мы не могли бы создать регулярной армии.

Владимир Ильич подробно расспрашивал об организации Первой армии, о том, как после муравьевского восстания пришлось сдать Симбирск.

— Подобные примеры бывали и в Великой французской революции. И правильно, что после сдачи Симбирска вы не пали духом. А у нас тут кое-кто уже предавался безнадежности! — иронически заметил Ленин.

Как всегда, он был осведомлен о том, что делается на фронте, лучше чем Реввоенсовет республики. И понятно: Владимир Ильич руководил всем — построением, вооружением и снабжением Красной Армии.

Владимир Ильич расспрашивал и о жизни на Волге, в Самаре, в Симбирске и других местах. Тухачевский поразился, как умел внимательно слушать собеседника Ленин.

После разговоров о военных делах Ленин неожиданно заговорил о музыке (вероятно, Коля Кулябко рассказал Владимиру Ильичу о том, что Тухачевский любит музыку). Он интересовался, какую музыку предпочитает Михаил Николаевич, кто из композиторов ему по душе, и сам с увлечением говорил о Бетховене.

Тухачевский шел из Кремля и все думал о Ленине. Как Владимир Ильич при всей его занятости помнит об искусстве, о музыке!

Тухачевский еще слышал заразительно веселый ленинский смех и видел этот типично ленинский жест — крепко сжатый кулак, падающий сверху вниз.

На следующий день, рассказывая Коле Кулябко о своей беседе с Владимиром Ильичем, Тухачевский восхищенно сказал:

— Владимир Ильич обладает таким богатством мыслей, что каждый раз является для меня в новом, необычном свете! Какой великий ум! Какая широта и разносторонность знаний! И как тонко он разбирается во всем, что касается армии!

— Учти, что вопрос о строении Красной Армии совершенно нов. Он никогда не ставился даже теоретически. Об этом нет ни у Маркса, ни у Энгельса, — сказал Кулябко.

Двадцать шестого ноября 1918 года состоялся Пленум ЦК партии по военным вопросам. Враги не давали молодой Советской республике передышки. Чуть Первая армия отбила натиск чехословаков, как на юге объявился Краснов. Тот генерал Краснов, который, будучи взят в плен под Гатчиной, дал слово не воевать больше против Советской России.

Главным фронтом гражданской войны ЦК признал Южный. Снова была объявлена партийная мобилизация.

ЦК назначил Тухачевского помощником Гитиса, командовавшего Южным фронтом. Назначение Тухачевского на такой ответственный пост вызвало кое у кого из старых генералов ироническое отношение: подумаешь, подпоручик — командарм! Они уже забыли о том, что не так давно прапорщик Крыленко был «главковерхом». Необычайное «прапорщик — главковерх» звучало тогда оскорбительно. Все помнили поговорку: «Курица — не птица, прапорщик — не офицер». И вот такой «не офицер» вдруг стал выше всех и всяких офицеров! Но то было когда-то. Теперь же армия строилась заново. Старые генштабисты замелькали то в одной, то в другой высоких инстанциях. К ним уже как-то привыкли, и даже Тухачевскому Наркомвоен писал в удостоверениях «Генштаба Тухачевскому», хотя Михаил Николаевич не учился в Академии Генерального штаба.

Казалось бы, теперь имелась полная возможность выбрать командарма из настоящих генштабистов, так нет — выбрали бывшего гвардейского подпоручика!

Старым генералам не хотелось верить, что этот гвардейский подпоручик — талантливый полководец.

Собираясь на юг, Тухачевский послал письмо своему замечательному другу Иосифу Варейкису:

«Приказом Революционного военного совета Республики я назначен помощником командующего Южным фронтом. Уезжая и покидая Симбирскую губернию, с таким напряжением обороняемую и наконец возвращенную Советам, в вашем лице, товарищ Варейкис, искренне и горячо благодарю Симбирский комитет нашей партии. Я открыто говорю, что дело создания 1-й армии и изгнания контрреволюции никогда не могло осуществиться, если бы Симбирский комитет партии и исполком не пришли на помощь. Но в том единомыслии, какое у нас с вами было, мне легко было работать. То, на что мы решились в начале июля, то есть использование бывших офицеров и общая мобилизация, то же самое было проведено Центром лишь в ноябре.

Еще раз горячий привет всем дорогим товарищам-коммунистам, с которыми пришлось так много трудиться и работать рука об руку в борьбе с контрреволюцией за идеи коммунизма.

Крепко жму вашу руку, с товарищеским приветом
Командующий 1-й армией *Тухачевский*».

2

На Южном фронте Тухачевскому дали Восьмую армию. Восьмая армия в два месяца разгромила белых, рвавшихся к Воронежу. Из восьмидесяти пяти тысяч солдат Краснова только пятнадцати тысячам удалось уйти за Северный Донец. Сам генерал Краснов бежал за границу.

На Дону Тухачевский имел дело с другим населением, чем на Волге. На Волге, в общем, население все-таки тяготело к большевикам, чего не было на Дону. Тухачевский увидел, что кроме «жизненных центров» бывают и «мертвящие центры». И понял, какое важное значение имеют в гражданской войне территория и население.

После ликвидации белогвардейцев Краснова Тухачевский получил кратковременный отпуск с 14 марта по 5 апреля 1919 года. Но фактически пробыл в нем всего девять дней. Он приехал в Москву, когда происходил Восьмой съезд партии. На съезде стоял животрепещущий военный вопрос. Самым главным пунктом в нем было привлечение в Красную Армию офицеров. Вы-

явились две линии — одна за привлечение военных специалистов, другая — против. Находились видные члены партии, которые были против использования старых офицеров, людей, как они говорили, с мелкобуржуазной психологией. Все эти «спецееды» были людьми, пропитанными невероятным высокомерием и честолюбием.

— Мы все можем. Мы сбросили помещиков и капиталистов, почему же мы должны учиться у тех, кого прогнали? — вопрошали они.

Зиновьев сравнивал военспецов с денщиками, а Лашевич говорил, что военспецов можно использовать, а потом выбросить, как выжатый лимон... «Оппозиция» считала, что революционные войны должны вестись без армии. Она не видела вреда в партизанщине и недооценивала значение военных специалистов.

Съезд дал решительный отпор «военной оппозиции», которая защищала пережитки партизанщины в армии и боролась против создания регулярной Красной Армии, против установления железной дисциплины, без которой не бывает настоящей армии. В решениях съезда по военному вопросу было сказано:

«Противопоставление идеи партизанских отрядов планомерно организованной и централизованной армии (проповедь «левых» с-р и им подобных) представляет собою карикатурный продукт политической мысли или недомыслия мелкобуржуазной интеллигенции.

...Проповедовать партизанство как военную программу то же самое, что рекомендовать возвращение от крупной промышленности к кустарному ремеслу».

И в разделе «практические меры» записано:

«Продолжая привлечение военных специалистов на командные и административные должности и подбирая надежные элементы, установить над ними неослабный, осуществляемый через комиссаров, централизованный партийно-политический контроль, устраняя тех, кто окажется политически и технически непригодным».

А на востоке снова сгущались тучи. На этот раз в Сибири появился ставленник империалистов Европы и

Америки адмирал Колчак — он объявил себя «Верховным Правителем» России. Колчак представлял страшную угрозу молодой республике.

Шестого марта 1919 года колчаковский генерал Ханжин разбил Пятую красную армию, прорвав центр Восточного фронта. Ханжин взял Уфу, Белебей, Бугуруслан, Бугульму. Воинской доблести в этих победах заключалось мало: только что родившаяся в огне войны под Казанью Пятая армия с августа 1918 года не выходила из боев вот уже в течение девяти месяцев. Бойцы были до крайности утомлены беспрерывными боями с превосходящим, прекрасно снаряженным и вооруженным противником.

Положение Советской России оказалось угрожающим. Атаман Дутов занял Орск, Актюбинск и подошел к Оренбургу. Ханжин стоял у самой Волги: до Самары оставалось восемьдесят пять километров, до Симбирска — сто. На Каспийско-Кавказском фронте росла белая армия генерала Деникина. Назревала опасность, что Колчак может соединиться с Деникиным на Волге.

И Ленин и ЦК партии вновь позвали народ: «Все на восток!»

ЦК назначил Михаила Николаевича Тухачевского на самый ответственный участок Восточного фронта — командующим Пятой армией, несмотря на то что главнокомандующий Вацетис был не очень доволен этим назначением.

Когда Кулябко поздравлял Михаила Николаевича с тем, что ЦК оказывает ему высокое доверие, Тухачевский скромно ответил:

— Просто я знаю обстановку и местность. И меня знают партийные организации Средней Волги.

— А ну-ка, поручик, тряхни генералами! — весело напутствовал друга Николай Кулябко.

Четырнадцатого апреля Тухачевский принял потрепанную Пятую армию. В нее входили четыре стрелковые дивизии — тридцать три полка. Особенно надежным считались в Пятой армии двадцать шестая и двадцать седьмая дивизии. В их полках оказалось много рабочих из Питера, Новгорода, Старой Руссы, Орши, Невеля, Брянска. Тухачевский был очень доволен этим. Он по опыту знал: пусть большинство рабочих никогда раньше

не служили в армии и плохо выполняли «на плечо» и «ряды вздвой», но они были лучшими солдатами, чем «нижние чины» из крестьян. Красноармейцы из революционных рабочих не только более стойко держались в бою, но иначе относились к своему оружию, чем «ратники ополчения» — крестьяне. У рабочих большую роль играли производственно-технические навыки. Они берегли винтовку, как свой инструмент на заводе: чистили, смазывали ее. И явно тяготели к пулемету — пулеметчики в большинстве случаев были из рабочих. Раненый пулеметчик обязательно просил «второй номер» не оставлять врагу «их» пулемет!

Тухачевский постарался, насколько возможно, укрепить комсостав, измотанный после стольких месяцев неудач. Он начал выдвигать на командные должности партийцев даже из рядовых.

Питер и Москва слали на восток сотни коммунаров. Из Петрограда приехали почти в полном составе исполкомы Выборгского и Ново-Деревенского районов. Среди прибывших в Пятую армию питерских коммунаров оказался, к удовольствию Михаила Николаевича, Саша Зайцев. Тухачевский встретил его по-приятельски.

— Ну, куда вы хотите, Саша? — спросил он своего друга.

— Да куда-нибудь. Политруком.

— Э, нет. Я вас назначу командиром батальона «карельцев».

Двести двадцать восьмой Карельский полк по праву считался лучшим полком в двадцать шестой дивизии. Командиром двести двадцать восьмого полка Тухачевский поставил бывшего политкома дивизии Витовта Путну. Скромный, внешне сдержанный, но энергичный, Витовт Казимирович Путна показался Тухачевскому очень подходящим командиром для «карельцев».

Основу двести двадцать восьмого Карельского составляли питерские рабочие завода «Вулкан». Полк дрался в Карелии с белофиннами генерала Маннергейма, оттого и получил наименование «Карельского». «Карельцев» отличали хладнокровие и стойкость. В самые трудные минуты боя они действовали спокойно, как на учебном плацу. В штыки бросались молча, без всегдашнего, обязательного и привычного для всех «ура» и не считались с количеством неприятеля.

Колчак прослышал о них и за каждого пленного «карельца» сулил Георгиевский крест, но «карельцы» в плен не сдавались.

Из разговоров с Путной Михаил Николаевич установил, что Витовт Казимирович — бывший его однополчанин. Витовт Путна происходил из бедной литовской семьи. Он рано включился в революционное движение, был арестован и сидел в тюрьме. В начале войны Путну отправили на фронт. Он попал в лейб-гвардии Семеновский полк, окончил полковую учебную команду, и его направили в школу прапорщиков. В феврале 1917 года Витовта Путну произвели в офицеры. Несмотря на молодость — ему было двадцать три года,— Путна уже три года состоял в партии. Под Казанью Путна был военкомом Первой Смоленской дивизии. Он знал все полки двадцать шестой дивизии — она возникла и росла на его глазах.

И опытный, рассудительный Путна весьма пригодился командарму-5. Он рассказал Тухачевскому о полках и их командирах так, как не могли бы сделать это никакие аттестации и характеристики.

Путна рассказал Михаилу Николаевичу об отряде маловишерских большевиков, которые были под началом Путны.

В Казань в 1918 году прибыли сто пятьдесят коммунистов из Малой Вишеры. Тогда каждый город, каждая организация слали «свои» боевые единицы. Армия еще строилась на принципе «отрядности».

Спустя несколько месяцев, когда партия стала переходить от добровольчества к регулярной армии, Маловишерский отряд не хотел вливаться в какой-либо полк. (Тухачевский невольно вспомнил печальную историю отряда Азарха.)

Маловишерский отряд доблестно дрался с белыми. Редели ряды коммунаров, их осталось меньше половины. Комиссаром у маловишерцев был пожилой рабочий Погодин. В январе 1919 года Погодин написал домой, в уком, что отряд очень устал в беспрерывных боях и просит прислать замену. Уком, видимо не бывший в курсе новых веяний в военном деле, согласился прислать замену.

Путна, узнав об этом, вызвал Погодина и сказал:

— Что же это вы, маловишерцы, надумали? При-

стойно ли уходить коммунарам с фронта? Или вы только до какого-то срока намерены защищать завоевания революции?

Погодин задумался. Уехал в отряд, ничего не ответив.

Подошли февральские бои. Маловишерцы попали в районе завода Архангельского на бойкий участок. И после одного жаркого дня Путна получил такое донесение:

«В сегодняшнем бою коммунары-маловишерцы все погибли. Сменять больше некого. Сам ранен.

Погодин».

3

Двадцать восьмого апреля Пятая армия начала наступление и опрокинула белых. 4 мая был освобожден Бугуруслан, 13-го — Бугульма.

Успех окрылил войска.

Но тут, к сожалению, выяснилось, что главком Вацетис не поладил с комфронта Сергеем Сергеевичем Каменевым, как в свое время не ладил с Тухачевским. Но ведь Каменев не Тухачевский: Тухачевский не учился в Академии Генерального штаба, а Каменев окончил ее так же, как и Вацетис, и тоже дослужился в старой армии до полковника. Михаил Николаевич по своему печальному опыту знал, что с упрямым Вацетисом не так-то просто ладить.

Вместо Каменева Москва прислала бывшего генерала Самойло. О Самойло Тухачевский слыхал впервые.

Самойло заставил Пятую армию топтаться на месте. С 10 по 14 мая Самойло несколько раз менял ей боевую задачу. Своими сбивчивыми приказами Самойло вносил разброд. Тухачевский был возмущен до глубины души. Он не побоялся дать такую телеграмму командующему Восточным фронтом:

«Начиная с 10 сего мая, вероятно, в виду многих неизвестных мне обстоятельств вами были отданы пять задач для Пятой армии, каждый раз отменяющие одна другую. Сначала была дана задача наступать на север

в тыл противника, действующего по реке Вятке, потом направление наступления было отклонено на 130 градусов на Белебей, следующей директивой приказывалось уже наступать частью на север, частью на восток, затем был указан пункт переправы через реку Каму близ устья реки Вятки, затем мне было самому предложено избрать пункт переправы и, наконец, приказано переправляться не через реку Каму, а через реку Белую. Эти отмены приказов совершенно измотали дивизии, и части совершенно перепутались, связь нарушилась».

Тухачевский резонно указал командующему фронтом, что он должен соблюдать девятнадцатую статью полевого устава:

«Приказ, как общее правило, не подлежит ни отмене, ни замене. Отмена или перемена боевых распоряжений всегда вредно отражается на исполнении, подрывая доверие к начальникам и порождая неуверенность в войсках; поэтому боевые распоряжения должны быть хорошо обдуманы, прежде чем отданы к исполнению».

Но все равно дело уже было сделано: неумелые распоряжения Самойло позволили белым упорядочить отход и уйти от разгрома.

4

Положение в стране оставалось серьезным. Чтобы помочь Колчаку, белые 13 мая начали наступление на Петроград. На юге действовала стотысячная армия Деникина.

Враг наступал со всех сторон.

Главнокомандующий Вацетис не разобрался в сложной политической обстановке и рьяно возражал против того, чтобы Восточный фронт продолжал наступление на Колчака. Он решил остановиться и создать на реках Белой и Каме оборонительный рубеж, а все силы бросить на юг против Деникина.

Но Ленин был прозорливее главнокомандующего. Владимир Ильич правильно считал, что основной фигурой всей внутренней контрреволюции является Колчак. И еще 29 мая послал телеграмму Реввоенсовету Восточного фронта:

«Если до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы».

А 15 июня 1919 года состоялся Пленум ЦК. Он постановил продолжать наступление на Колчака.

Нужно было овладеть Уралом, где столько естественных богатств: золото, платина, серебро, медь, хром, цинк, никель и, что, пожалуй, в данный момент было дороже всего,— железо и уголь. Донбасс еще продолжал оставаться у белых.

К середине июня Красная Армия достигла той линии, с которой Колчак начал свое мартовское наступление, — подошла к предгорьям Урала.

Наступление должны были вести три армии — Вторая, Третья и Пятая. Левый фланг занимала Третья армия — она шла на Пермь. Южнее Третьей действовала Вторая — на Кунгур. И рядом с ней Пятая — на Златоуст.

Главный удар отводился Пятой.

Перед Тухачевским стояла сложная и ответственная задача — разгромить «Верховного Правителя» адмирала Колчака на Златоустовском направлении, овладеть Южным Уралом и выходами на необъятные равнины Сибири.

Немногочисленные горные проходы через Уральский хребет были обязательны как для белых, так и для красных. Они-то и определяли направление операций.

Ясно было, что решать операцию придется на Уфимском плоскогорье — на пространстве между рекой Уфой и Уральским хребтом; остальная местность представляла преимущество обороняющемуся.

Главным пунктом в предстоящем наступлении являлся уездный город и железнодорожная станция Златоуст Уфимской губернии. Кто владел Златоустом, тот владел всем Уралом. Златоуст оказывался важным во всех отношениях. Он славился стопятидесятилетней давности чугуноплавильным, литейным и железоделательным заводами. Далеко шла слава знаменитых златоустовских стальных клинков. Здесь же лили пушки, а на Кусинском заводе делали снаряды.

Прямое направление с запада на восток к Златоусту идет вдоль железной дороги Уфа — Златоуст. Но он, начиная от Аша-Балашовского, пересекается рядом горных вершин хребта Каратау. Наступающему придется брать эти хребты в лоб, а они весьма удобны для обороны.

Невольно возникал вопрос: а нельзя ли как-нибудь обойти эти высокие и трудные для преодоления хребты и выйти в тыл белым, оборонявшим железную дорогу Уфа — Златоуст? Ударить с неожиданного направления?

«А что, если попытаться пройти вдоль этих притоков реки Уфы, вдоль горных рек Ай и Юрезани? — подумал Тухачевский.— Горы покрыты сплошным лесом. Это и плохо и хорошо. Они затрудняют обзор, зато помогают продвигаться скрытно».

Пройти между этими громадами внизу! Господствующие высоты, занятые белыми, потеряют свое тактическое преимущество.

Удобно было и то, что реки Ай и Юрезань своим течением благоприятствовали наступающим: они выводили к горным проходам Уральского хребта.

Но есть ли какие-либо тропы вдоль Юрезани, по которым прошла бы пехота и трехдюймовки?

Михаилу Николаевичу вспомнился знаменитый суворовский переход через Альпы: «Где пройдет олень, там пройдет и русский солдат!»

Тухачевский пересмотрел карты разных масштабов, но не нашел на них никаких троп. Тогда он расспросил местных бойцов из отряда рабочих Миньярского железоделательного завода. Миньярцы жили среди кряжей и ущелий при впадении Миньярки в реку Сим.

Миньярцы сказали, что Юрезань — горная река. Грунт у нее твердый, каменистый, с берега она неглубока, а посередине доходит до двух сажен. Вдоль течения реки Юрезань вьется пешеходная тропка. Ее можно использовать для волока плотов. Населенных пунктов мало: деревушки в пять — десять дворов. В них живут лесные рабочие.

— Да, надо отнять у беляков наш Златоуст,— говорили миньярцы.— У нас все есть: и железо, и уголь.

— У нас и пушки, и снаряды.

— И спирт!

— Где спирт? — спросил кто-то из штабных.

— А в двадцати верстах от Кусиновского завода, в деревне Петрушине,— винокуренный завод. . .

Тухачевского спирт мало интересовал. Важно было, что какие-то тропы вдоль реки есть, и, значит, все в порядке. Он понимал: его замысел — свеж, необычен и

романтичен. И — главное — не только красив стратегически, а целесообразен!

Но, бесспорно, в его замысле заключен риск.

— Идти вдоль Юрезани — это прыгнуть в неизвестность. Ни одна группа не сможет прийти на помощь другой! — говорили штабные скептики.

— Без риска не бывает больших предприятий! — спокойно отвечал командарм-5.

Он знал, что выбор места для главного удара является трудиейшим делом, но верил в то, что его выбор правилен.

У Тухачевского была всегдашняя ставка на моральные качества советского бойца, знающего, за что он борется, на его неустрашимость и выносливость.

5

Наметив план операции, Тухачевский разделил свои войска на три группы. На правом фланге армии он поставил вторую стрелковую дивизию. Она должна была пробиваться по труднодоступным проходам, по горным дорогам на Верхне-Уральск — Троицк. В центре, вдоль железной дороги Уфа — Златоуст, Тухачевский выставил группу Гаврилова — одну кавалерийскую и одну стрелковую бригады. В нее входили кавбригада Каширина и третья бригада двадцать шестой стрелковой дивизии. Эти войска предназначались для сковывания белых, оборонявших самый короткий путь на Златоуст.

Главную ударную группу составляли пятнадцать лучших стрелковых полков армии: две бригады двадцать шестой и все три бригады двадцать седьмой дивизий. Ударная группа должна была следовать так: двадцать седьмая дивизия по Бирскому тракту, а бригады двадцать шестой вдоль реки Юрезань.

К сожалению, Бирский тракт мог служить операционной линией лишь для одной дивизии, и то всем ее девяти полкам приходилось следовать в одной колонне. И плохо было то, что из-за горных кряжей между дивизиями не могло быть никакой связи.

Самая трудная задача выпадала на долю двух бригад двадцать шестой дивизии.

Шесть полков двадцать шестой дивизии уже больше недели ожидали на западном берегу реки Уфы в

районе Бирского тракта. Полки отдохнули, отоспались, осмотрелись и теперь изнывали от безделья.

Комбриг-2 говорил Тухачевскому, что бойцы уже начинают ворчать:

— Чего мы стоим? Чего цацкаемся с беляками?

И уже опять откуда-то просочилась, проникла еще с германской войны не умирающая бацилла — недоверие к командному составу. Пошли слухи про «измену»...

Михаил Николаевич уже понял психологию бойца в гражданской войне. Остановка, затишье на фронте всегда размагничивают, настораживают бойцов. Во время вынужденной остановки старые фронтовики, разбирающиеся в военной кухне, лучше ощущают дырявость фронта, оголенность флангов, бедность технических средств связи. Во время затишья провиант убывает, а притока нет. И все невольно ждут боя.

Как говорилось в старину: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах!»

В бою найдешь и оружие, и боеприпасы, и провиант.

Даже отдаленный грохот орудий бодрит, горячит кровь. А тишь да гладь действуют отрицательно. И хотя в двадцать шестой дивизии дух был бодр, но слышались голоса:

— Застоялись!

— Крышу бы новую над головой!

Тем более что из-за Уфы нет-нет да и прибегут из колчаковщины перебежчики, рабочие уральских заводов. Они жаловались на невыносимую жизнь при «Правителе».

— Лютей старого режима!

Перебежчики рассказывали о восстаниях у Колчака. Рассказывали, что сами видели, как там-то и там-то партизаны взорвали у белых мост. И столько нарассказывали, что и мостов невзорванных, кажется, не могло уже остаться.

Дух в полках был наступательный.

Тухачевский и политработники на собраниях и митингах использовали это, указывали, что впереди их ждут рабочие Урала, впереди — всяческая помощь!

Цели Красной Армии были всем ясны и понятны. Каждый красноармеец хорошо понимал «свой маневр», не то что у белых, которых Колчак прельщал «единой

и неделимой Россией». Туманная, ничего не говорящая простому крестьянину и рабочему, пышная фраза.

«Темна вода во облацех...»

У красных был лозунг: «Все для фронта». Фронт имел первостепенное значение. А у белых тыл господствовал над фронтом. Белые оглядывались на свой тыл. Стратегические преимущества не совпадали с политическими.

Тухачевский учел это психологическое состояние войск и поставил перед двадцать шестой дивизией тяжелую задачу, подзадорил:

«Надо всем помнить, что операция предстоит опасная и в таких случаях осторожность требует смелости и риска. Объяснить всем стрелкам предстоящую задачу и потребовать крайнего напряжения!»

Операция, хоть и трудная, но необычная, не могла не подхлестнуть, наэлектризовать, возбудить бойцов.

— Фронтовики не подкачают! — говорили старые бойцы.

Двадцать пятого июня в пять часов утра Пятая армия пошла в наступление.

Единственным серьезным рубежом перед Уральскими горами оставалась река Уфа. Недаром белые так упорно цеплялись за нее.

Несмотря на то что восточный берег Уфы был хорошо укреплен, опутан проволокой, ударная группа сбила колчаковцев и форсировала реку.

Тухачевский послал в горы местных уральцев, чтобы они в горных проходах были маяками, чтобы указывали обходные тропинки в тыл врага.

Начинался труднейший переход. Начинал осуществляться широкий и смелый маневр молодого командарма-5.

6

> Бывают случаи, в которых верх дерзости обращается в верх мудрости.
>
> *Клаузевиц*

Двадцать шестая дивизия двинулась в свой немыслимый переход вдоль бурливой Юрезани. Юрезань оказалась, как все горные реки, стремительно-быстрой

(«эризан» по-башкирски — быстрая река). Петляя, она торопливо бежала по камням, прозрачно-холодная.

— Ух, и студеная! Холоднее Уфы.

— Да, это не наша Шелонь...

— И не Волхов, и не Великая!

— В ней, поди, и рыба не живет?

— Как не живет? Тут у нас рыбы — сколько хошь,— отвечали местные бойцы.

— Тут водится хариус, нельма.

— Не слыхивали таких рыб. Мы знаем щуку, окуня, плотву,— отвечали новгородцы и питерцы.

— Нельма как белорыбица. А хариус имеет такой запах, ровно корюшка. Спина у хариуса сероватая, с черными пятнышками, бока светло-серые. Нельму ловят «на дорожку».

Красноармейцы шли, подымая головы, смотрели, любовались:

— До чего красиво, но дико!

— Красива Юрезань, да нрав у Юрезани крутенек...

— Ничего не скажешь — своенравна!

Юрезань то текла у подножия высочайших каменных стен, то прокладывала себе путь меж закругленных гор.

А внизу вилась тропинка...

Сначала как будто бы можно было еще идти по узкой тропке вдвоем. И кое-как, скособочившись, прижимаясь к скалам, обдирая о кусты лошадиные бока, тащили трехдюймовки. Река за лето высохла — одни камни. Орудие подпрыгивало на камнях, мотало завернутым тряпками стволом. Того и гляди растрясется.

В ушах гром. С каждой верстой горы все теснее сжимали реку. Юрезань текла по узкому коридору меж горами. По бокам тянулись хребты, поросшие снизу доверху лесом. Лес доходил до самых шиханов[1]. Был он смешанный.

— Березняк с нами из Расеи пришел,— рассказывали бойцы из уральских рабочих.— До нас на Урале ни одной березки не росло. Все ель, сосна, пихта да лиственница, и еще рябина.

— В Сибири белого дерева до сих пор не найтить!

[1] Шиханы — вершины.

Уральцы рассказывали о своем житье-бытье среди лесов:

— Весной мы выпускаем в лес свиней. Дома надо кормить, а в лесу свинья сама прокормится.

— А волк не съест?

— Волков у нас мало. Да волк к свинье и не лезь, коли она с поросятами: загрызет!

И вот горы стали пониже. Облака проплывали над ними. Солдаты шли цепочкой, гремели под ногами камни. Идти было плохо — напрягались, уставали ноги.

Комдив торопил: скорее! А как тут пойдешь быстро? Вот шли, и вдруг тропку пересекла скала, покрытая серыми лишаями. Она упиралась в Юрезань, словно скатилась сверху напиться...

Бесконечная людская цепочка сразу оборвалась. Солдаты, поддерживая друг друга, полезли на скалу.

А что делать с орудиями? Приходилось выпрягать лошадей и тащить орудие на веревках на скалу, а потом так же осторожно опускать на тропку. Орудие тащили все — бойцы и командиры. Ногам в студеной воде холодно, а пояснице — жарко. Пот заливал глаза, дрожали неуверенно стоявшие на острых, скользких камнях ноги, в кровь раздирались от веревок руки. Вытаскивали орудие на тропочку, впрягали вплавь огибавших скалу лошадей, но отдыхать некогда — сзади подпирали товарищи:

— Давай! Давай!

И с каждым шагом, с каждым изгибом реки нарастал гул: это Юрезань, закусив удила, грохотала по камням. Разговаривая, приходилось натужно кричать, чтоб тебя услышал сосед.

Потные, усталые, голодные, шли в полутьме — надо поспешать, надо пройти вдоль реки все сорок верст. Не до привала тут.

О ночлеге нечего и думать. Во-первых, негде расположиться: во-вторых, не хватает времени. Ведь если бы Колчак догадался поместить на горах между шиханов хоть один батальон с пулеметами, то всем шести полкам двадцать шестой дивизии был бы конец.

Когда совсем стемнело, комдив передал по цепи: привал! Не ночлег, а привал. На часок-другой, чтобы вскипятить чайку. А там чуть посветлело, опять в путь. Костров не жгли — устали. Где приткнулись, там и лег-

ли. Ночь, как обычно на Урале, свежая. От реки тянет сыростью, и из леса тоже не теплом, а прелью, болотом.

В Юрезань с гор катятся десятки ручьев. Кое-где падают вниз водопады. Ночью шум реки усиливается. Он заполняет все.

Но нигде не слышалось выстрелов или каких-нибудь тревожных звуков.

Вот настал серый рассвет. Подножие гор все в тумане. Берега реки дымятся. Реки, собственно, нет, и тропинки нет. А идти вперед надо.

Усталые, невыспавшиеся, полки двадцать шестой дивизии двинулись дальше. И так, без сна и настоящего отдыха, шли трое мучительных суток и благополучно вышли на Уфимское плоскогорье.

Риск Тухачевского оправдался. Но риск — одно, а геройство рабочих полков двадцать шестой и двадцать седьмой дивизий — само по себе.

Когда Красная Армия вышла на Уфимское плоскогорье, Колчак всеми силами старался не позволить пройти через Уральский хребет к просторам Сибири. Он пытался использовать сильные естественные препятствия и остановить продвижение Пятой армии.

Десятидневные упорные бои все-таки окончились в пользу красных. 13 июля с севера двадцать седьмая и с запада и юга двадцать шестая дивизии одновременно заняли Златоуст — ворота в Сибирь. Тысячи рабочих южноуральских заводов пополнили поредевшие в боях ряды Пятой армии.

Реввоенсовет фронта донес в Москву:

«Доблестные войска Пятой армии под искусным водительством командарма Тухачевского после упорнейших боев, разбив живую силу врага, перешли через Урал».

7

Колчак отступал.

Величественно-неприступный, но живописный Уральский хребет остался позади. Позади остались узкие горные тропы, трудные перевалы, мрачные ущелья. И позади осталась Европа. На границе двух губерний — Уфимской и Оренбургской, у маленькой станции Уржумка, полки «пятоармейцев» увидали обомшелую ка-

менную пирамиду. На одной ее стороне написано «Европа», а на другой — «Азия». Здесь высшая точка перевала через Уральские горы по всей линии Сибирской железной дороги. И отсюда спуск по восточному склону Урала в сибирские просторы.

Штаб Восточного фронта дал Пятой армии директиву:

«...продолжать неослабное преследование противника и овладеть районами Троицка и Челябинска».

Советской стране был нужен сибирский хлеб.

От хмурых, суровых вершин Таганая, сторожащих Златоуст, Урал мягкими складками и террасами спускался в Западно-Сибирскую равнину. Здесь высились последние горные кряжи. Они, как крепостные стены, ограждали от сибирских ветров. Горные хребты — последняя ступень Урала.

На равнинах Колчак занимал превосходные для обороны естественные рубежи.

Первый этап выдался для Красной Армии тяжелым. Степная часть Челябинского и Троицкого уездов между реками Уем, Тоболом и Миассом насчитывает более тысячи пресных, соленых, горьких озер. Иногда два озера с разной по вкусу водой лежат рядышком и соединяются протоком.

Перед фронтом Пятой армии тянулась живописная цепь озер Ирисят-Увильды, Аргази, Ишкуль, Миясово, Едово, Чебаркуль.

Тухачевский знал, что армия Колчака разлагается. У Колчака громадные тыловые учреждения, а фронт — слаб. В освобожденных деревнях советские войска находили письма вроде следующего:

«Товарищи красноармейцы!

Если вы не расстреливаете, тогда догоните, выручайте нас из барских ручек. Оно хотя нас очень много, да организации нету и нельзя ничего сделать. Не все так понимают. Товарищи, довольно нам проливать крестьянскую кровь.

Писал стрелок».

Командарм Тухачевский приказал: перебежчиков встречать дружелюбно, делить с ними хлеб-соль, сдавшихся в плен ни в коем случае не расстреливать!

Против двадцать шестой дивизии находилась Волжская группа белых генералов Каппеля. Она занимала сильный оборонительный рубеж по восточному берегу реки Миасс. Путь от Златоуста до Миасса очень живописен, только некогда им любоваться: весь горный кряж от Миасса на север за железной дорогой и к югу подготовлен белыми к длительной обороне.

К Миассу, знаменитым золотым приискам, «карельцы» подошли на рассвете.

— Бывало, копают грядки на огороде и находят золотые самородки,— рассказывали красноармейцы из местных жителей.

Двадцать шестая атаковала с ходу — не вышло: белые удержались севернее поселка, на горах. Станция Миасс лежит в котловине, окруженная невысокими, ниже, чем у Златоуста, горами.

«Карельцы» засели на холмах к западу от поселка, который остался в нейтральной зоне. С холмов Миасс точно пестрый ковер, брошенный у Изьменского озера. Солнечным утром он был виден даже без бинокля.

— Вон мечеть, а вон — Александро-Невская церковь,— объяснял кто-то из миассцев.

— Озеро-то большое!

— Три версты в длину, верста в ширину. Я его переплывал...

— Глядите, товарищи, а вон никак базар! — радостно крикнул кто-то.— Ей-бо, базар!

— У нас каждое утро он.

— Война войной, а на базаре народу полно!

— Тут все есть — хлеб и мясо!

— Да неужто?

Красноармейцу полагалось в день хлеба полтора фунта, мяса полфунта, сахару восемь золотников, табаку четыре золотника. А на самом деле — какие там золотники! Ну, курить необязательно табачок, можно курить что-либо иное: мох, например, листочки сушеные. А хлебушко, ежели его нет, ничем не заменишь!

— А что, если пойти разведать, как там и что и заодно купить поесть? — предложил Зайцев командиру полка.

— Что ж, попробуйте,— разрешил Путна.

Зайцев взял из своего батальона двадцать человек и пошел пробираться к поселку — где по-пластунски, где перебежками, прячась за кустами.

Вот и поселок. И базар. Под навесами сидят бабы. Разложили продукты — глаза разбегаются: белые булки, мясо вареное, мясо жареное, овощь всякая. Как будто и войны никакой нет.

Но среди базара шатаются белые. Их сразу различишь издали — новенькие зеленые английские френчи, на плечах старорежимные погоны. Недаром поется:

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель Омский...

— Что будем делать, товарищ командир? — спрашивали бойцы у комбата Зайцева.

— А вот что: давайте сначала попугаем — стрельнем вверх, чтобы торговок не сшибить. Белые дадут тягу. Они вон уже поднабрались, им драться не для чего.

Дали залп. Белые действительно бросились врассыпную.

«Карельцы» устремились к базару. На базаре поднялся переполох.

— Не бойтесь, бабы! Мы худого не сделаем! — зычно закричал Зайцев.

И у всех прилавков снова начался оживленный торг.

«Карельцы» устремились к базару. На базаре подчто-то жуя, совали в вещевые мешки хлеб, сало, рыбу, яйца, сыпали в карманы махорку — товарищи передали деньги на покупки.

А Зайцев между тем расспрашивал: далеко ли белые, сколько их и как живется под Колчаком? Ему отвечали охотно.

Один бородатый дед, окончивший продавать свежую рыбу, вполголоса сказал комбату:

— Товарищ, я уйду с вами. Моя деревня Кузьмино недалече. Но верите, надоел Колчак до смерти!

— Идем, дед! Мы белых враз прогоним и освободим и твое Кузьмино, — ответил Зайцев.

Покупать долго не пришлось: к базару направлялась новая партия белых — они стреляли на ходу.

— Ребята, кончай! Уходи! — крикнул Зайцев, и красноармейцы стали отходить к своим.

С ними вместе бежал и бородатый рыбак, тревожно оглядываясь и прикрывая голову пустым мешком, как будто бы мешок мог спасти его от шальной пули белых.

Когда «карельцы» благополучно вернулись с припасами к полку, их окружили товарищи. Красноармейцы делились хлебом и табачком с друзьями.

— Какие деньги берут на базаре? Только колчаковские, эти, что с «думой»?

— Всякие.

— Какие дашь!

— Самое главное, что у тебя в руках винтовка, — пошутил кто-то.

— Ну ты, брат, не тово! — сразу возразило несколько голосов. — Бабы все за нас, за красных!

— Они, как большинство здешнего населения, за советскую власть!

Это подтвердил и дед-рыбак, пришедший к «карельцам» вместе с Зайцевым.

— У нас, — говорил он, — по всем деревням ходит такое присловье:

Во всю глотку кричу —
Колчака не хочу!

С дедом-рыбаком долго беседовали комполка Путна, Зайцев и комиссар. Дед живо рассказывал про трудную жизнь при «Правителе».

— Стоим мы однажды вечером с Микитой у его дома — он живет на самом краю деревни, — толкуем. Вдруг в деревню влетают верховые. Впереди на жеребце брюхатый человек. Я подумал: сиделец аль урядник. Наш брат такого брюха отрастить еще не успел бы. Но шинелька у него без погон, хотя сапоги и вся амуниция справная, казенная. Это не наш партизан! Брюхатый спрашивает: «Кто у вас в деревне находится?» А Микита — простачок, его трехлетний ребенок вокруг пальца обведет, — ему в ответ: «А вам кого же надобно?» — «Пошевели мозгой, кто мы, тогда поймешь, кто нам востребовается!» Я молчу, чешу затылок, а сам приглядываюсь. Микита говорит: «По одежке вы вроде наши оказываетесь...» Он, простофиля, не видит, а я давно приметил: у брюхатого на шинельных пуговицах

львы — морды оскаливши. Шинелька, стало быть, аглицкая. «А ты, борода, сам кто: советский?» — допытывается брюхатый. Чтоб Микита не признался, что мы за Советы, я поскореича отвечаю: «Мы, говорю, сударик, кузьминские. Этая деревня, ваше благородие, Кузьмино называется!» Брюхатый скривился — понял, что я его раскусил. И снова к Миките: «Стало быть, ты у красных на поводу ходишь?» — «Я не корова, чтобы на поводу ходить», — обиделся Микита. «Комитеты бедноты выбирал?» — «Бедный комитет? — переспрашивает Микита. — Что ж, говорит, раз такой закон с городу был даденый. . .» Тут брюхатый ему нагайкой через лоб, а заодно и мне по плечам. И пошло! Полдеревни перепороли, партизан искали. Скотину забрали, девок нарушили. Лютей всякого царского прижиму! Будь он проклят, этот Колчак! Не зря у нас в деревнях частушку сложили:

Эх, яблочко,
Оловянное!
Колчаковская власть
Окаянная!

8

«Карельцы» продолжали отбрасывать Волжскую группу белых, продвигаясь к Челябинску.

Июльское солнце пекло немилосердно. Дорога то пряталась в ложбину, то взбиралась на холм. Дали подернулись легкой дымкой июльского зноя. Вверху медленно плыли облака. Под ветром лениво перекатывались от края до края волны хлебов.

На заставу «карельцев» выскочил беляк-верховой. Его спешили и направили в штаб полка.

Когда вели пленного, красноармеец первой роты Тимка Сазонов заметил, как белогвардеец уронил смятую бумажку. Тимка поднял ее и, ничего не говоря пленному, передал бумажку командиру полка.

Путна развернул находку. Зайцев через плечо Витовта Казимировича прочел:

«Командиру Уральской артиллерийской бригады. Сообщаю, что артиллерийские и ружейно-пулеметные склады прибыли в деревню Уржумовка, прошу выслать приемщиков.

Начсклада штабс-капитан *Борода*».

Путна достал карту.

— До Уржумовки от фронта верст двадцать, — прикинул он.

— Хорошо бы нам, Витовт Казимирович, патрончиков! И снарядов не мешало бы, — сказал Зайцев.

— Уржумовка — один из узлов питания белых. Неизвестно, какие части там, много ли.

— А вот сейчас спросим у этого молодца.

Беляк охотно сказал: рота пехоты.

Путна решил с главными силами полка идти вперед, а две роты под командой Зайцева послать в тыл к белым за снарядами.

— Товарищ комполка, разрешите и мне пойти... Я ведь нашел эту бумажку, — попросил у Путны веселый, разбитной Тимка Сазонов.

— Что ж, иди!

— Я буду за приемщика! — цвел он от предстоящего удовольствия.

— Да верно, мы явимся к штабс-капитану Бороде чин чином, с приемщиком! — согласился Зайцев.

— Снимай свою гимнастерку с погонами, — приказал Тимка белому. — Да не бойся, не куксись: живой буду — верну! Молись, чтобы твои друзья не ухлопали бы меня!

Под вечер Зайцев повел свой отряд в обход белых. Шли охотно — красноармейцы знали, куда и зачем идут.

— Снарядами брезговать не станем! Предписано выслать приемщиков, что ж — вышлем! — смеялись они.

Тимка Сазонов, переодетый белым, ехал на его же лошади. На пути встретились две заставы беляков. «Карельцы» сняли их без особого шума.

Идти было интересно. Редкие орудийные выстрелы слышались уже где-то сзади.

С ближайших холмов в вечернем сумраке увидели минарет и домишки Уржумовки. На околице расположился целый табор — телеги с ящиками, боеприпасы.

«Карельцам» не терпелось — скорее бы вперед! Но Зайцев сказал Сазонову:

— Будем принимать боеприпасы по закону. Ты под видом белого ординарца поедешь в село, найдешь завскладом штабс-капитана Бороду и волоки его к мечети. Если во время переполоха эта Борода вздумает улизнуть, возьмешь его за шкирку!

Тимка рысью помчался к Уржумовке. Зайцев смотрел в бинокль, рассказывая своим, что видит:

— Вот въехал в улицу. Спрашивает у какого-то солдата. Тот показывает рукой. Вот Тимка уже слез с коня и вошел в дом. Давай, ребята! Ждать некогда! Ты, Петров, сразу на мост, — обратился он к командиру роты. — Захвати, чтобы ни одна мышь из Уржумовки не убежала.

Отряд, окруживший Уржумовку, ворвался в село. Вспыхнула беспорядочная стрельба, дробно и резко застучал пулемет.

Расположившиеся на отдых, не ожидавшие нападения белые были смяты. Подводчики, как в большинстве случаев, были за красных.

Все затихло.

Зайцев ждал у мечети с маузером в руке. И вот на улице показался Тимка Сазонов со штабс-капитаном. Завскладом Борода — небольшой, как бочонок на ножках. С него градом катился пот. Утираться Борода не мог — в руках у него были книги.

— Что, их благородие не слушались? — спросил у Сазонова комбат, различив, что один глаз у штабс-капитана запух.

— Я говорю: бери книги, пойдем склад сдавать, а он заупрямился, за леворвером полез... Пришлось привести маленько в чувство! — ответил Тимка.

Склад оказался большой — более тысячи снарядов, полмиллиона патронов, пулеметы, винтовки, карабины, шашки.

Около ста подвод.

— Неплохой улов! Ну что ж, собирайтесь, поедем! — приказал Зайцев.

Подводчики быстро запрягли лошадей, и отряд двинулся в обратный путь. И склад, и пленных Зайцев доставил в полк в целости.

Двадцать шестая дивизия основательно подкрепилась боеприпасами.

9

Наступление протекало не так быстро, как предполагал Тухачевский, находившийся со штабом в глубоком тылу. Телеграфная связь с дивизиями была трудна, и приказы командарма иногда запаздывали.

Путна озабоченно качал головой:

— Эх, поближе бы находился командарм!

— Стало быть, не может, — оправдывал своего старого товарища комбат Зайцев.

И все-таки 24 июля Челябинск был взят: нехватку людей восполнили поднявшиеся челябинские рабочие. Их влилось в красные полки восемь тысяч человек. Появление людей в рабочих рубахах с винтовками в руках вызвало энтузиазм в красноармейских рядах.

— Вишь: весь народ с нами!

— Теперь нам никакой черт-беляк не страшен!

В Челябинске красных ожидал коварный маневр врага. Колчак хотел заманить красных в эту воронкообразную котловину у Челябинска, похожую на ведро («челяба» по-башкирски — ведро), и, окружив с севера и юга, взять в мешок. Для этого он приготовил группу генерала Войцеховского в шестнадцать тысяч человек и группу генерала Каппеля в десять тысяч.

Четыре дня длился у «Челябы» жестокий бой. Но опять показали себя героями рабочие питерские полки. Белые имели почти вдвое пехоты и в четыре раза больше кавалерии. Но доблесть победила силу. «Котел», который так тщательно готовили белые Красной Армии на челябинской земле, за этими холмами и пригорками, спускающимися к городу, не удался.

Двадцать девятого июля Колчак вынужден был начать отступление. Только пленными Колчак потерял в боях пятнадцать тысяч человек.

— Погоним вас на Ишим подштанники стирать! — кричали красноармейцы отходившим белым.

— Даешь Тобол!

Ленинское задание освободить Урал до зимы было выполнено досрочно. Красноармейцы Восточного фронта писали Владимиру Ильичу в газете «Красный стрелок»:

«Дорогой товарищ и испытанный, верный наш вождь! Ты приказал взять Урал к зиме. Мы исполнили твой боевой приказ. Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь. Больше Урал не перейдет в руки врагов Советской республики. Мы заявляем это во всеуслышание. Урал с крестьянскими хлебородными местами и с заводами, на которых работают рабочие, должен быть рабоче-крестьянским».

10

После взятия Челябинска Пятая армия продолжала наступление. Она форсировала реку Тобол и в конце августа стояла уже в трех переходах от реки Ишим. Но здесь сказалось то, что «пятоармейцы» с самой весны держали фронт. Они прошли с боями семьсот километров. Полки сильно поредели. Тылы невероятно отстали. Недостаток чувствовался во всем: в патронах, белье, обуви. Для прибывающих пополнений не было даже лаптей. И командарм Тухачевский предусмотрительно отвел Пятую армию назад, за реку Тобол, чтобы подтянуть тылы, отдохнуть и окрепнуть.

Измотанный в боях противник тоже перешел к обороне, не пытаясь форсировать быстроходный Тобол.

У Тобола фронт простоял два месяца.

Урал все время слал подкрепления. Из ближайших деревень потянулось к армии пополнение. С пудовыми мешками за плечами (со своим харчем!) шла вразброд сельская молодежь, для которой солдатская жизнь была еще не изведанной. И организованно, во вздвоенных рядах, со скатками через плечо, с солдатскими котелками на боку, шагали обстрелянные фронтовики. Они несли красные флаги и плакаты «Смерть Колчаку!».

А за ними двигалась «деревянная кавалерия» на подушках вместо седел и с веревочными стременами — еще неопытные конники.

Одна Оренбургская губерния дала двадцать четыре тысячи бойцов. Из Москвы армия получала винтовки, белье, обувь. Армия оживала.

Врагов разделял быстрый, местами глубокий приток Иртыша — река Тобол. Красные занимали гористый левый берег, господствовавший над правым, луговым, где засели колчаковцы.

Враги стояли друг против друга. Наблюдали. Изредка на реке возникала перестрелка.

— Перестаньте стрелять! — кричали с левого берега красные.

— А вы зачем стреляете? — доносилось с правого.

— Так вы же первые начали!.. — И перестрелка затихала.

Чаще на реке происходил такой диалог:

— Эй, малец, поскорее бери воду да катись подобру-поздорову, пока я не взял тебя на мушку! — беззлобно кричал с левого берега красноармеец беляку, который черпал воду из реки котелком.

— Пого-одь! Успеешь! Аль не видишь — замутили воду. Какой же из ильной воды чай-то будет? — так же невоинственно отвечал белый.

— Тебе русским языком сказано — катись! Что я, тебя ждать буду?

— Никак белые снова за водой лезут? — спрашивал услышавший крики взводный.

— Шляются...

— А ты чего же смотришь: палил бы в колчаковского прихвостня!

— Пущай возьмут водицы. Вить билизованные. Запуганы! Как бараны. Еще не разобравши, что идут против своего же брата крестьянина и рабочего. Наши будут! — говорил боец.

II

Николай Порфирьевич Жарких, бывший преподаватель каллиграфии и рисования Первой омской женской гимназии, а ныне главный швейцар во дворце «Верховного Правителя» Колчака, шел домой.

С установлением власти Колчака занятия в учебных заведениях Омска прекратились сами собой. Захолустный Омск наводнили бесчисленные штабы и управления колчаковской армии, министерства и департаменты его «правительства» и военные миссии и консульства Америки, Японии и Западной Европы. Помещений не хватало — даже половина городского театра была занята военными. И потому школы получили иное применение: большинство их превратилось в казармы, а некоторые были отведены для других важных целей, так, например, женское епархиальное училище отдали «пансионату» веселых девиц. И учителя остались без дела.

Николая Порфирьевича увидал на Любинской улице генерал Попов, исполнявший при «Верховном Правителе» роль гофмейстера. Жарких понравился генералу Попову за свой могучий рост, важную осанку и широкую, черную бороду. Он предложил Жарких должность глав-

ного швейцара, и Николай Порфирьевич сменил скромную преподавательскую тужурку на блестящую ливрею. Жарких имел отдельную комнату во дворце, а в некоторых случаях, с разрешения генерала Попова, ночевал у себя. Собственный домик Жарких находился недалеко, на Новой улице.

Такой случай представился Николаю Порфирьевичу сегодня.

Уже наступил вечер, и во дворце уже готовились к ужину, когда «Верховный Правитель» вдруг послал «шевроле» за одним своим самым дорогим гостем.

Генерал Попов предупреждал Жарких, чтобы он в таких случаях был особенно внимателен. И Николай Порфирьевич не спускал глаз с подъезда. Не успевала машина остановиться у особняка, как Жарких широко распахивал массивные дубовые двери. Мимо него, обдавая тонкими запахами парижских духов «Коти», быстро проходила в покои высокая дама в черной вуали. Николай Порфирьевич знал, что сейчас же к нему в вестибюль прибежит, звеня серебряными шпорами, личный адъютант «Правителя» ротмистр Андрюшка Князев, кутила и остряк. Ротмистр обдаст Николая Порфирьевича густым перегаром коньяка, подмигнет и, смешно вытаращив черные глаза, скажет заговорщицким шепотком:

— Бррысь!

Это означало, что надо повернуть в замке массивной дубовой двери ключ и можно идти к себе в комнату переодеваться, а затем потихоньку шествовать домой на Новую улицу и оставаться там до пяти часов утра: «Правитель» вставал в шесть.

В такой вечер «Правитель» не принимал никого — хотя бы к нему явился весь Совет Министров или главнокомандующие армий. Об этом знали все, не только караульный начальник.

И сегодня эта гостья пожаловала во дворец в одиннадцатом часу вечера.

Детей у супругов Жарких не было, они жили одни. Дом Николая Порфирьевича был освобожден от военного постоя. Но три дня тому назад какими-то путями добрался в Омск с юга от Деникина брат жены, бывший интендантский чиновник и старый холостяк, Василий

Викторович. В послефронтовых скитаниях по России шурин стосковался по знаменитым омским колбасам Терехова и пиву Мариупольского и приехал на родину, на «дикий брег» родного «Вертыша», как образно звал народ своенравный Иртыш.

Шурин еще не успел поступить в Омске на службу — отдыхал от утомительного пути и присматривался, где бы устроиться, чтобы посытнее и полегче работалось.

И теперь Николай Порфирьевич спешил домой — хотелось поговорить по душам с дорогим гостем.

Жарких прошел мост через Омь. Мимо него по Любинской улице, которую для пущей важности именовали по-столичному «проспектом», проносились в ту и другую сторону тройки и пары с пьяными офицерами и хохочущими девицами. Во весь карьер, но без видимой необходимости, скакали какие-то всадники. Это развлекались в «столице» сподвижники многочисленных сибирских «атаманов». На этот раз в неверном свете редких керосиновых фонарей Николай Порфирьевич различил ярко-красные башлыки «анненковцев».

Раньше подгулявшие купчики-датчане, агенты фирмы «Рандруп и К°» по скупке сибирского масла, или гарнизонные офицеры, на последние гроши справлявшие полковой праздник, обычно ездили из Омска догуливать в пригородную деревню Захламино, славившуюся разудалыми кабаками. А теперь в самом Омске открылось достаточное количество разных кафешантанов и ресторанов с более звучными, хотя и менее понятными названиями — «Буффало», «Эльдорадо», «Люкс».

Жарких вспомнил, какой тихой и безлюдной была раньше в поздние вечера Любинская. Только на Базарной площади, у «Московских торговых рядов», маячили фигуры сторожей, да изредка по субботам можно было встретить компанию чиновников консистории или казенной палаты, возвращавшихся по домам после предпраздничного преферанса.

И это только на Любинской и Дворцовой, а если пойти по Атаманской к железнодорожной ветке, где пустыри — кривые балки да болотца в тощем кустарнике, — там было совершенно пустынно и мертво.

Омск — город отставных чиновников и военных, купцов и мещан, промышлявших извозом и мелкой торговлишкой (недаром Глеб Успенский обмолвился: «Омск —

это город, где чернила продаются ведрами»), — в такие осенние вечера рано укладывался спать.

А теперь от «Ветки», небольшого железнодорожного вокзала с пыльным, дрянным буфетом, и до самой Базарной площади, где собор, присутственные места и лучшие магазины, на всем этом главном в Омске Любинском «проспекте» целую ночь не прекращалась полнокровная жизнь. Слышались пьяные крики, ругань на всех европейских языках, песни вроде такой: «Пароход идет близко к пристани, будем рыбку кормить коммунистами!», а зачастую и выстрелы.

Колчаковский необъятный тыл наслаждался разгульной, бесшабашной жизнью.

В маленьком домике Жарких еще не спали.

— Что, сегодня опять? — удивилась жена, Анастасия Викторовна, увидев входившего мужа. — Ведь она же была позавчера!

— Однако мадам изволили пожаловать к нам и сегодня. И я — опять свободен!

— Кто такая? — спросил шурин, Василий Викторович, входя в переднюю.

— У «Правителя» есть мадам Нетти Тимирова, или, как мы, мелкая сошка, зовем ее по-своему, «мадам Ти-ти».

— Разве Колчак неженат?

— Женат. Жена с сыном в Париже, — ответил, раздеваясь, Николай Порфирьевич.

— Старый ловелас! — язвительно заметила Анастасия Викторовна, собирая на стол.

— Однако нашла старика! Колчаку сорок шесть, он родился в тысяча восемьсот семьдесят третьем, это все знают. На четыре года моложе меня.

— Какая же из себя эта Нетти? Ты ее видел? — поинтересовался шурин.

— Мимо меня, брат, даже мышь не проскочит! Мадам Нетти Тимирова худая, как смертный грех. Дворянский вкус. Барыня, строганы ляжки... Видно, из балерин.

— Как Кшесинская?

— Да, вероятно. Колчак во многом похож на Николая Второго — такой же слабохарактерный, как покойный государь. Безвольный, бессистемный, доверчивый.

Николай Порфирьевич и шурин сели за стол.

— Ну, какие же у вас новости? — спросила из кухни жена.

— Да все то же. Утром камердинер Быстров (он служил когда-то камердинером у министра путей сообщения) говорит мне: «Сегодня Александр Васильевич весел — поет!»

— А что, обычно Колчак невесел? — спросил шурин.

— Большей частью угрюм, смотрит исподлобья, замкнутый, нелюдимый. Характер у адмирала не из легких.

— И что же он поет, когда в хорошем настроении?

— У Колчака любимый романс вот этот, — улыбаясь, ответила за мужа Анастасия Викторовна: — «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда!»

— Это верно: «звезда» у него одна, — согласился Василий Викторович. — Как все это кончится, неизвестно, но, конечно, другой «звезды» не будет. А чем же он занимается с утра? Делами?

— Приведет себя в порядок, наденет мундир и белые перчатки и пошел по особняку смотреть: чисты ли дверные ручки, нет ли пыли на бронзе: на каминных часах, подсвечниках, чернильном приборе... — рассказывал Николай Порфирьевич.

— Сказывается морская привычка: на корабле день начинается с проверки, как надраены медяшки, — улыбнулся шурин.

— Да, он типичный моряк. Жаль вот только, что у нас нет моря, одни реки.

— А ведь морское министерство же есть? — спросил шурин.

— Есть. И еще какой в нем штат!

— Как же не будут чисты все дверные ручки, если у Колчака в особняке двенадцать ливрейных лакеев, не считая камердинера и прочей гражданской прислуги, — сказала Анастасия Викторовна, ставя на стол самовар.

— А к чему такой штат? — удивился брат.

— Он сам, может, и не хотел бы, да всё эти гофмейстеры настаивают, чтобы у Колчака было так, как в Зимнем дворце в Петрограде. Тянут «Правителя» к пышной жизни, а он не привык. Колчак привык к ад-

миральской каюте. Он любит уединение, а людей не любит и не знает, как не знает самой жизни. Ведь управлял эскадрой он из рубки, по искровому телеграфу, — говорил Жарких.

— Кто же сегодня у вас был? — спросила Анастасия Викторовна, подавая мужу и брату стаканы с чаем.

— Однако сперва явился, как всегда, с докладом начальник штаба генерал Андогский. Умный, вежливый господин, недаром был начальником Академии Генерального штаба. За ним пожаловал военный министр генерал Степанов, самоуверенный и наглый. Рассказывали, он на войне не пробыл ни одного дня, все околачивался при штабах, а изображает из себя Скобелева! Наш Андрюша Князев говорит о Степанове: «У него все замешано на пустом соусе военной безграмотности». За Степановым приехал командир отрядов английских стрелков полковник сэр Джон Уорд, которого наши лакеи зовут «Урод». Он и вправду не блещет красотой. При Уорде всегда вертятся супруги Франк, перебежчики из Совдепии, не то спекулянты, не то шпионы. Жена Франка дружит с Нетти Тимировой. И еще сегодня зачем-то прикатил атаман Дутов. Ловкач, актер! У него охрана в киргизских меховых шапках и малиновых мундирах — ты бы видел. А знаешь, Вася, как Дутов выезжает? Впереди полсотни казаков, за казаками его автомобиль, а сзади еще полсотни этих киргизов. Вот, брат! А в поезде, в салон-вагоне, у него одни шикарные дамы. Знают атаманы, как жить!

— «Правитель» сегодня не выходил из себя? — спросила жена.

— Однако не кричал, не стучал ногами и ничего не ломал.

— А разве он так несдержан? — удивился шурин.

— Пока не разозлят, человек как человек. Но вспыхивает мгновенно, от любого пустяка. Ротмистр Андрюшка Князев смеется: его превосходительство вскипает от пустяков вермишельного характера! А чуть «заштормовал», тогда не сносить головы: ругается по-морски, ломает на столе карандаши, режет перочинным ножом кресло. Позавчера за обедом три стакана разбил! Холерический темперамент!

— Да-а, действительно! Я бы сказал не холерический, а чумовой! — рассмеялся шурин.

— И в конце концов сегодня заявился еще этот черноусый полицейский генерал Иванов-Рынов.

— Ну, знаете — «генерал»! — возмутился шурин. — Как погляжу я, у Деникина больше настоящих генералов: Марков, Врангель, Лукомский, Май-Маевский. А тут одни «атаманы» да выскочки-молокососы. Ваш генерал Гайда — всего-навсего бывший австрийский фельдшер, а генерал Пепеляев — бывший поручик. Его отец командовал нашей Сибирской бригадой, а сынок, Анатолий Пепеляев, служил в разведчиках, а потом уже под Барановичами, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, отец выхлопотал ему батальон.

— Генерал Каппель тоже из младших офицеров, — прибавил Жарких.

— А кто же был сегодня у вас на обеде? — спросила Анастасия Викторовна.

— Главнокомандующий генерал Дидерихс, генерал Войцеховский, любимец Колчака, и министр иностранных дел Иван Иванович Сукин.

— Подходящая фамилия — Сукин! — рассмеялся шурин.

— Напрасно смеешься, Вася: Сукины — старая дворянская фамилия, — сказал Николай Порфирьевич. — Сукин не глуп, хотя и молод. Тридцати лет еще нет, а держится важно. Говорят, он кого-то копирует из видных старых дипломатов — не то Сазонова, не то еще кого-то. Колчак всех министров, всех этих гражданских превосходительств, не уважает. Он считается только с одними военными...

— А что подавали на обед? — продолжала интересоваться дворцовым бытом хозяйка.

— Обед у Колчака, разумеется, морской — борщ флотский? — пошутил шурин.

— Нет, не борщ, а консоме. Адмирал предпочитает французскую кухню.

— А после обеда что он делает?

— Читает.

— Бумаги, что ли?

— Какие там бумаги! Колчак не любит, чтобы ему приносили на дом бумаги. Все смотрит и подписывает у себя в ставке, в бывшем управлении Омской железной дороги. Читал «Исторический вестник».

— Откуда у него «Исторический вестник»?

— Однако я как-то принес из дому полистать вечерком и забыл на подоконнике, а Колчак увидал утром и заинтересовался.

— В «Историческом вестнике» действительно хорошие романы. Я читала, — одобрила Анастасия Викторовна.

— А после обеда «Правитель» разве не укладывается спать?

— Колчак никогда не спит после обеда.

— А вот наш Антон Иванович Деникин всегда заваливается, — сказал шурин. — Оттого он толст и брюхат. Мне рассказывал знакомый полковник из этой «суконной», как называли прежде, Варшавской гвардии, из лейб-гвардии Литовского полка. Он вместе с Деникиным и другими генералами удирал из Быхова. На Деникине была бекеша, конечно без погон, и папаха. Деникин бородатый, очень похож на гостинодворца. Солдаты, ехавшие с фронта в одном вагоне с ним, так и говорили Деникину: «Эй, купчик, подвинься малость!»

— А к вечернему чаю к нам заявился дрянной адвокатишка, подлиза и льстец Жердецкий. Ты его помнишь, Вася? — обратился к шурину Жарких. — У нас в гимназии училась его дочь, Липа, слабенькая ученица. Писала, как курица... Я распахиваю перед ним дверь и говорю: «Здравствуйте, Владимир Ардальонович!» А он словно не знает меня, будто не приходил к нам в гимназию, когда я по каллиграфии поставил его Липочке двойку в четверти! Керенский номер два! Презираю этих болтунов, адвокатишек!

— Болтуны-то болтуны, да вот небось слыхал: у Керенского большевики конфисковали в банке два миллиона рублей! — сказал шурин. — А за что же «Правитель» так благоволит к Жердецкому?

— Однако за то, что Жердецкий ему пятки лижет. Превозносит до небес. А на лесть кого не поймаешь!

— «Правитель» лесть обожает, — прибавила Анастасия Викторовна. — На святой неделе причащался в казачьем соборе, так в газетах об этом больше писали, чем, бывало, о Николае Втором!

— Ну, Вася, а у тебя как дела? — обратился к шурину Жарких.

— Хожу, присматриваюсь.

— В интендантском управлении был?

— Был. Еще подумаю, куда лучше повернуть... Но как погляжу я — у вас тут всюду штаты разбухли до невероятия! И всюду окопалась молодежь. Это как в прошлую германскую: на фронте одни «прапоры»-недоучки из ускоренного выпуска. Их в армии так и называли: «шестинедельные выкидыши». Малограмотные во всех отношениях. А в то же время за линией фронта во всех этих «земских союзах» образованные люди, «земгусары» из студентов, заведовали в тылу банями и прачечными... Это на фронте отзовется!

— Верно. На фронте у нас не ахти как. Хвалиться нечем...

— Как у вас на фронте, я судить не могу, а в тылу — мало порядка. И никаких, так сказать, лозунгов, никаких обещаний!

— Когда Колчаку говорят о реформах, он злится и кричит: «Я не политик, я — солдат! Мне хватит „Положения о полевом управлении войсками“»! — заметил Жарких.

— Вот то-то и оно! Я как пробирался сюда, во всех весях и градах слышал о Колчаке одно: шомпол, нагайка да виселица! Должно, Колчак в самом деле только солдат, но не государственный человек!

12

Осень 1919 года была тяжелой для Красной Армии. 20 сентября Деникин взял Курск и продвигался к Орлу, а Юденич стоял у самых пригородов Петрограда — у Детского Села, Гатчины и Павловска.

Колчак тоже накапливал силы: продолжал проводить насильственные мобилизации, готовясь к наступлению.

Но Тухачевский опередил адмирала — он перешел в решительное наступление 14 октября. Пятая армия отдохнула и пополнилась. Сибирское крестьянство, испытавшее на себе все ужасы колчаковщины, охотно шло в ряды красных. Тухачевский мог с полным основанием говорить, «что не только наступала Красная Армия, но наступало и все сибирское крестьянство», — в тылу у Колчака действовали сорок тысяч героических партизан Сибири.

Еще колчаковские солдаты спали, когда красные части форсировали Тобол. Осенняя степь ожила вновь: забухали орудия и зататакали дремавшие пулеметы.

Белые не выдержали дружного натиска «пятоармейцев» и стали отходить. Вблизи не оказалось никаких естественных преград, и Пятая армия, стремительно продвигаясь, прошла за две недели двести пятьдесят верст.

Впереди был Ишим. На Ишиме завязались жаркие бои, но Красная Армия форсировала реку и 30 октября вступила в Петропавловск. Колчаковцам оставалось отходить к своей столице Омску. Омск являлся главной базой: отсюда шло все управление и снабжение колчаковских армий.

Колчак созвал у себя совещание: как быть?

Для Колчака всегда самым трудным было положение, когда при рассмотрении какого-либо вопроса возникали две точки зрения и ему, «Верховному Правителю», надо было принимать определенное решение, — у Колчака не было своих планов, он всегда придерживался чьего-либо мнения.

Такое трудное положение оказалось сейчас.

Совет Министров и ряд генералов — Каппель, Войцеховский, Сахаров, Пепеляев — были за то, чтобы защищать Омск. К ним присоединился и Колчак, хотя чувствовал, что может существовать и другое мнение. Как всегда, он жил какими-то миражами, а не суровой действительностью. Колчак предполагал мобилизовать всех мужчин Омска, создать впереди города, километрах в шести, оборонительную линию, вырыть окопы и установить проволочные заграждения. «Правитель» не понимал того, что никакие окопы и колючая проволока уже не могут спасти Омска, если белая армия деморализована.

Колчак наивно подчеркивал: весь гарнизон Омска состоит из тридцати тысяч человек. «Правитель» не хотел видеть того, что в эти тридцать тысяч входят бесчисленные штабы и тыловые учреждения и что в действительности под ружьем окажется значительно меньше защитников. Последнюю оборону «столицы» Колчак собирался поручить энергичному генералу Войцеховскому. Ведь Войцеховский позавчера собственноручно застрелил генерала Гривина за проявление малодушия!

И вот теперь Колчак сидел за письменным столом и исподлобья смотрел на приглашенных.

Войцеховский, Каппель, Сахаров, Пепеляев, генерал для поручений Иностранцев — это все «свои». Начальник штаба Андогский неизвестно что скажет, но он не препятствие. А вот самый гвоздь — тот маловоинственного вида человек в простой, защитного цвета гимнастерке, главнокомандующий армий генерал Дидерихс, немец, который называет себя чехом.

«Правитель» всегдашним глуховатым голосом изложил свое мнение. Генералы поддержали Колчака. Воинственный Войцеховский прямо горел: давайте поскорее приступать к обороне!

Андогский молчал, глядя на свой портфель и барабаня по нему пальцами, — не хотел возражать первым.

И тут выступил Дидерихс. Покашливая и как будто виновато поглядывая на своих младших коллег, он убежденно стал возражать «Верховному Правителю». Главнокомандующий Дидерихс предлагал отходить на восток и закрепиться в Иркутске или Новониколаевске. Дидерихс считал, что защита Омска — безнадежное предприятие.

Дидерихс говорил и изредка посматривал на Колчака: даст ли «Правитель» ему договорить или потеряет равновесие?

Колчак сидел, плотно сжав губы. На исхудавшем лице лихорадочно блестели глаза (командующий соединенными войсками союзников в Омске французский генерал Жанен утверждал, что Колчак морфинист). Нахохлился. Сейчас, сейчас взорвется! Но «Правитель» дал возможность Дидерихсу изложить свои соображения...

И вот Колчак стремительно встает из-за стола, вытягивает шею, откидывая назад голову, и в таком положении застывает, закрыв глаза. Это длится какую-то долю секунды, а потом руки непроизвольно выхватывают из хрустальной вазочки на столе карандаш, Колчак ломает его и кричит:

— Как вы не понимаете, генерал, что оставлять Омск нельзя? С потерей Омска потеряно все!

Он бросает переломанный пополам карандаш на стол, хватает второй.

— Ваше высокопревосходительство, защищать Омск — стратегическая ошибка, — успевает вставить покрасневший Дидерихс.

— В данный момент политика должна стоять выше стратегии! — неистовствует Колчак. — Желаете спорить? Митинговать? Это вам не Совдеп!

Гнев «Правителя» достигает высшей точки. Колчак схватывает всю хрустальную вазочку с карандашами и с размаху швыряет ее на пол.

— Вы... вы... — захлебывается он от гнева. — Вы — бездарь! Сейчас же сдать командование генералу Сахарову! Вон! — кричит он на почтенного генерала.

Дидерихс встает бледный и трясущимися губами отвечает:

— Слушаю-сь! — И поспешно оставляет кабинет.

В тот же день генерал Сахаров вступил в командование всеми армиями Колчака.

Но и это не помогло: белый Омск доживал последние дни — Пятая красная армия Тухачевского энергично наступала.

Начала наступать по всему фронту и зима. Повалил снег, и ударили трескучие сибирские морозы. И снег и морозы помогали белым. Колчаковцы были хорошо одеты: в полушубки, треухи, валенки. А «пятоармейцы» шли в рваных шинелишках, мало гревших шлемах и кое-какой кожаной, холодной и не всегда целой обуви. Но шли терпеливо и мужественно.

— Колчак нам ничто, — говорили бойцы, — вот мороз, язви его, хуже!

Между Тоболом и Ишимом решилось все.

После падения Петропавловска разбитые колчаковцы не задерживались. Они быстро катились на восток. Перед Пятой армией стояла одна задача — не позволять белым отрываться, не давать им передышки. Красные полки днем отдыхали, а шли вечером, чтобы ночью ударить на усталого, измотанного противника.

Тухачевский правильно решил положить в основу последней, Омской, операции быстроту. Он все делал для этого. Когда до Омска оставалось сто с лишним километров, Тухачевский посадил двадцать седьмую дивизию на сани. Дивизия, проделав за сутки сто километров, обогнала отходившие к Омску колчаковские обозы и в ночь на 14 ноября ворвалась в Омск.

Командарм-5, оставив штаб армии в Челябинске, следовал за передовыми частями. Утром 14 ноября Тухачевский и член Реввоенсовета армии Смирнов въехали в бывшую колчаковскую столицу. Омск пал за четыре дня до годовщины провозглашения Колчака «Верховным Правителем».

Кровавое «правление» адмирала Колчака не продержалось и года.

13

Начальник артиллерийских складов армии Колчака генерал-лейтенант Римский-Корсаков утром 14 ноября ехал к себе в управление. Разъезжал Римский-Корсаков всегда в щегольских санях, запряженных парой вороных. На козлах восседал ямщик-солдат Потап.

Морозило основательно, генерал закутался в енотовую шубу и сидел, мучительно думая: что же делать?

У него в омских артиллерийских складах лежало полмиллиона снарядов, пять миллионов патронов, не считая пироксилина и прочего. Вчера «Верховный Правитель» приказал: с приближением неприятеля склады взорвать! Время — сообразите сами!

Но как взрывать? Тогда от города не останется ничего. Не выполнить приказ — нельзя, но и выполнять тоже рука не подымется!

По сведениям штаба, красные находятся еще в ста пятидесяти верстах. Пожалуй, еще можно повременить со взрывом!

Римский-Корсаков рассеянно смотрел по сторонам. На Атаманской улице он встретил оживленно горланившую толпу солдат. Они шли без всякого строя посередине улицы, не обращая внимания на генерала Римского-Корсакова. Это его взорвало:

«Красные где еще, а они! .. Не хотят уже признавать начальства? Вот до чего дошло!»

Он ткнул рукой в теплой перчатке в широкую от природы и от толстого полушубка спину ямщика Потапа: стой! И, высунувшись из саней, махнул солдатам рукой:

— А ну, голубчики, подите сюда!

Солдаты, не смущаясь и не подтягиваясь, охотно обступили генеральские сани.

— Вы почему не отдаете чести? — накинулся генерал.

— А зачем тебе честь? Ты откудова взялся?

— Как откуда? — еще больше возмутился генерал.

— А так. Вот мы — новгородские, а ты какой губернии?

— Я Тверской, — ничего не понимая, но машинально ответил Римский-Корсаков.

— Стало быть, земляк! — хлопнул его по плечу веселый солдат.

Римский-Корсаков окончательно вышел из себя.

— Т-т-ты! Да ты знаешь, с кем говоришь? Я генерал!

Дружный смех солдат не дал ему докончить.

— Братцы, а в самом деле, это ж генерал!

— Здравствуй, погон атласной!

— Черт с ним, что генерал, а вот шуба у него знатная!

— Мы мерзнем в шинелишках, а он, щучий сын, в шубе!

— А ну, сымай шубу!

— Я вас расстреляю!.. Я!.. — завопил Римский-Корсаков, не даваясь красноармейцам, которые уже драли с его плеч енотовую шубу.— Потап, погоняй! — кричал он кучеру.

Но Потап уже ничего не мог поделать: хохочущие бойцы облепили и лошадей и сани.

Красноармейцы вмиг вытряхнули генерала из его теплой шубы и заодно сдернули с головы папаху. На генеральскую плешь шлепнули изношенный суконный красноармейский шлем, а на плечи накинули продранную солдатскую шинель с болтающимся хлястиком.

— Товарищи, сдадим земляка самому командарму Тухачевскому! Вези вон к тому дому! — указали они ямщику.

Один боец вскочил на облучок к ямщику, двое стали на запятки саней, двое плюхнулись в сани на ноги Римского-Корсакова и с шутками-прибаутками доставили онемевшего от удивления и страха генерала к двухэтажному купеческому особняку.

У особняка уже кучились верховые и пешие красно-

армейцы, у распахнутых настежь дубовых дверей особняка стоял пулемет.

Генерала ввели в большую комнату первого этажа. Римский-Корсаков огляделся. За столом у разостланной карты сидели трое: пожилой, с бородкой и в пенсне, рядом с ним в таком же защитном френче — чуть помоложе, бритый, а сбоку примостился миловидный молодой человек в валенках и стеганке.

Римский-Корсаков с брезгливостью сбросил с плеч солдатскую рыжую шинель и шлем. Красные командиры с интересом смотрели на него.

— Ваше звание и фамилия? — спросил пожилой человек в пенсне.

— Генерал-лейтенант Римский-Корсаков. Господа, как же это? — вырвалось у него. Генерал был так поражен, что не мог не задать этого вопроса: — По нашим расчетам, вы еще должны находиться не ближе Исиль-Куля? До Омска оттуда трое суток езды.

— А мы доставились за полтора, — спокойно ответил человек в пенсне.

— Меня раздели ваши солдаты! Сняли енотовую шубу...

— Благодарите господа бога, что не сняли головы!

— Скажите, генерал, в каком состоянии склады в Омске? — вдруг раздался сбоку звучный молодой голос.

Римский-Корсаков только искоса глянул на этого молодого человека в стеганке, но не счел нужным говорить с ним.

— Как же я буду без шубы? — продолжал он возмущаться, все время оборачиваясь к человеку в пенсне.

— Потрудитесь ответить командарму, — сказал ему человек в пенсне.

Римский-Корсаков смотрел в недоумении то на пожилого, то на молодого.

— Генерал-лейтенант, почему вы не изволите отвечать на мой вопрос? — еще раз спросил молодой человек в стеганке.

— Вы... вы... командарм? Вы — Тухачевский?

— Да, я командарм Тухачевский.

— Виноват. Я принял вас за адъютанта... Простите, а... сколько же вам лет?

— Двадцать шесть.
— А в каком же вы чине служили прежде?
— Подпоручик.
— Подпоручик? — переспросил генерал Римский-Корсаков. — У Колчака назначали по старшинству, а не по способностям.
— Да. А что же делать, генерал? За неимением гербовой — пишут на простой, не так ли? — ответил Тухачевский улыбаясь.— Вы же, как и многие господа полковники и генералы, сбежали к белым. Вот Красной Армии и приходится обходиться подпоручиками.

Римский-Корсаков ничего не сказал. Он лишь облегченно вздохнул: взрывать артиллерийские склады уже не было нужды!

14

И на Восточном фронте Тухачевский оправдал доверие, которое оказывали ему Ленин и ЦК. Колчак был разбит. В Сибири уже пели:

Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся,
Эх, шарабан мой, американка!

Реввоенсовет республики высоко оценил работу командарма Тухачевского: еще в августе, после взятия Челябинска, он так написал в приказе о Пятой армии:

«Огромный успех, достигнутый армией, является результатом главным образом талантливо созданного товарищем Тухачевским плана операции, который твердо проведен им в жизнь».

Сразу после взятия Омска ЦК вызвал командарма-5 в Москву.

Тухачевский в третий раз встретился с Владимиром Ильичем. Ленин одобрительно отозвался о действиях Тухачевского на Восточном фронте.

— Вы поступили очень правильно, поставив у себя в армии на командные посты коммунистов. В этом был весь гвоздь, — говорил Ленин. — А скажите, Михаил Николаевич, не возникало у вас опасений, что новые

командиры — солдаты, унтер-офицеры, прапорщики — не справятся со своей задачей?

— Нет, Владимир Ильич. Это не такие трудности, с которыми не мог бы справиться коммунист!

— Как говорится, не боги горшки обжигают, да?

— Да. Есть много примеров, когда революционный солдат даровитее и умнее царского генерала. Вот хотя бы унтер-офицер Чапаев и его генерал Ржевский. Или Гай. Я уже не говорю о таком исключительно талантливом, прирожденном полководце, каким является невоенный человек Михаил Васильевич Фрунзе.

— Но ведь офицеры и генералы получили специальное военное образование. Они — знатоки своего дела!

— Не всегда, Владимир Ильич. Офицерство неоднородно. Есть стремящаяся к знанию энергичная военная молодежь. А старики, по большей части, привыкли действовать по шаблону. И главное, не понимают характера гражданской войны. При мне один почтенный старый генштабист признавался товарищу Енукидзе: «Мы, говорил он, не способны вести вашу войну. Нас готовили к вождению массовых армий, а не каких-то «отрядов»!

— Да, да. Сергей Сергеевич Каменев тоже, как-то докладывая об одной готовящейся операции, сказал мне, что она будет стратегически «красивой», — улыбнулся Ленин. — А я ему ответил: «Будет ли она красивой или нет, нам безразлично. Нам необходимо, чтобы эта операция была успешной!» Все, что говорили вы, Михаил Николаевич, весьма интересно и архиважно! Прошу вас, изложите ваши соображения о военных специалистах в виде доклада и передайте товарищу Склянскому, — сказал на прощанье Ленин.

В те же дни Тухачевский был направлен на Южный фронт — ему предполагали поручить Тринадцатую армию.

Но в командование Тринадцатой армией Тухачевский не вступил — шли разговоры уже о новом назначении Тухачевского командующим Кавказским фронтом. Тухачевский числился при штабе Южного фронта и ждал в Курске. Безделья он не переносил и, сидя у себя в номере гостиницы, писал доклад, который поручил ему Ленин.

15

Тухачевский шагал по холодному, почти нетопленному номеру курской гостиницы и обдумывал доклад для Владимира Ильича об использовании военспецов и выдвижении коммунистов на командные должности. Он хотел поделиться своими пятилетними наблюдениями в этом вопросе.

Смятая Колчаком Пятая армия смогла так быстро оправиться и переорганизовать свои части только потому, что во главе рот, батальонов, полков и дивизий Тухачевский смело поставил коммунистов. Он верно учел, что длительные, систематические неудачи на фронте деморализовали военспецов и с ними будет трудно контратаковать Колчака. Но вместе с тем думалось: как же может какой-либо простой «унтеришка» заменить полковника, если он не окончил даже полковой учебной команды и у него нет опыта, а бывший полковник обучался в специальных военных заведениях и на военной службе, как говорится, зубы съел?

И вот Михаилу Николаевичу предстояло показать и доказать, что не все господа офицеры так «подкованы», как о них думают, и что не все солдаты далеки от военного искусства, как кажется.

На ум тотчас же приходили исторические примеры. Вспоминались прославленные маршалы французской революции, не нюхавшие Сен-Сира[1]: бывший каменщик, шумливый, огромный Клебер и выдержанный и тихий Журдан, торговавший в лавчонке табаком и мылом.

Главный тезис доклада Тухачевского был уже четко написан на листе бумаги, который лежал на вязаной скатерти, покрывавшей круглый стол:

«Возможность командования вовсе не сопряжена с такими трудностями, чтобы они не были достижимы для наших партийных товарищей».

Михаил Николаевич ходил из угла в угол и вспоминал господ генералов, с которыми ему пришлось встречаться в боевой обстановке. Вот тучный, внешне весьма представительный командир лейб-гвардии Семеновского

---

[1] Высшая военная школа во Франции.

полка генерал-майор фон Эттер. Вид у него был очень бравый, но единственным достоинством фон Эттера как командира полка оказывался генеральский фальцет. Фон Эттер отлично командовал полком, но только на парадах. А в первой же стычке с австрийцами обнаружил свое полное ничтожество как командир.

А его помощник фон Тимрот был известен другим — пристрастием к женскому полу. Солдаты говорили о нем: «До баб лют! Ежели б за этаку удаль давали «Георгия», то наш Карлуша давно имел бы полный бант!»

Не лучше был и сам командир гвардейского корпуса генерал Олохов, которого за глаза, конечно, звали «Олуховым». Олохов участвовал в русско-японской войне, но остряки офицеры говорил о нем:

— Мул Евгения Савойского [1] проделал двадцать походов и тоже не научился ничему!

А чего стоили такие бездарные старшие офицеры, с которыми пришлось встретиться Тухачевскому уже в Красной Армии, как недалекий Ольдерогге или авантюрист Муравьев.

О младших обер-офицерах и говорить не приходилось: большинство ротных семеновцев были лишенными инициативы и не сведущими в военном деле людьми. Счастливое исключение составляли такие, как командир пятой роты штабс-капитан Тавилдаров и особенно командир шестой роты капитан Веселаго.

Тухачевский подошел к столу и написал:

«У нас принято считать, что генералы и офицеры старой армии являются в полном смысле не только специалистами, но и знатоками военного дела.

Русский офицерский корпус старой армии никогда не обладал ни тем, ни другим качеством.

В своей большей части он состоял из лиц, получивших ограниченное военное образование. Хорошо подготовленный командный состав, знакомый основательно с современной военной наукой и проникнутый духом смелого ведения войны, имеется лишь среди молодого офицерства».

---

[1] Евгений Савойский — известный австрийский полководец XVIII века.

Михаил Николаевич написал последнюю фразу и тотчас же представил тех, о которых думал. Вот его ровесники, начавшие службу в 1914 году в младших офицерских чинах: Корицкий, Гай, Толстой, Эйхе. Вот окончившие ускоренными выпусками военные школы, такие, как агроном Александр Павлов и Витовт Путна. Бывший батрак Витовт Казимирович Путна заткнет за пояс по военным способностям десяток лощеных Энгельгардтов.

Тухачевский резюмировал:

«Из среды скороспелого офицерства мы имеем больше хороших командиров, чем из среды старых офицеров».

И тут же какой-то другой голос подсказал: «А ведь есть же немало прекрасных генералов-генштабистов, которые пошли с народом и честно помогают строить Красную Армию: Бонч-Бруевич, Брусилов, Зайончковский, Каменев, Лебедев, Парский, Свечин!»

Тухачевский подумал и прибавил:

«Только в службе Генерального штаба, в штабной работе старое офицерство имеет преимущества перед новичками».

Основные пункты доклада как будто намечены, но главное — доктрина гражданской войны.

Михаил Николаевич изложил:

«Для того чтобы понимать характер и формы гражданской войны, необходимо сознавать причины и сущность этой войны. Наше старое офицерство, совершенно незнакомое с основами марксизма, никак не может и не хочет понять классовой борьбы и необходимости и неизбежности диктатуры пролетариата».

Тухачевский встал, потирая замерзшие пальцы...

За три недели пребывания в Курске доклад был обдуман, написан и отшлифован. В половине декабря 1919 года Михаил Николаевич смог отвезти доклад в Москву, потому что с окончательным назначением командарма Тухачевского все еще не было ясности.

К новому, 1920 году Тухачевский вернулся в захолустный, надоевший Курск. Здесь все было по-прежнему: «А воз и ныне там...»

Враги же обступали Советскую Россию со всех сторон.

Бездействие окончательно вывело Тухачевского из терпения.

Девятнадцатого января 1920 года он написал Реввоенсовету республики письмо:

«Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой: освободите меня от безработицы. В штаюгозапе я бесцельно сижу почти три недели, а всего без дела — два месяца. Не могу добиться ни причины задержки, ни дальнейшего назначения. Если за два почти года командования различными армиями я имею какие-либо заслуги, то прошу дать мне использовать свои силы в живой работе, и если таковой не найдется на фронте, то прошу дать ее в деле транспорта или военкомиссаров.

Командарм *Тухачевский*».

Об этом письме узнал Владимир Ильич. И в последних числах января 1920 года Тухачевский был назначен командующим Кавказским фронтом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДАЕШЬ ВАРШАВУ!

1

К весне 1920 года Красная Армия разгромила белогвардейские армии Колчака, Деникина и Юденича. Были освобождены Сибирь, Урал, Северный Кавказ, Донецкий бассейн и нефтяные районы Грозного и Баку. Оставалось лишь сбросить в море белогвардейскую армию барона Врангеля, который засел в Крыму.

Но империалисты Европы и Америки не очень надеялись на одного барона и подбили только что образовавшееся польское государство выступить против Советской России: буржуазное правительство Пилсудского мечтало захватить Украину и Белоруссию.

Партия и Ленин прекрасно видели эти поползновения панской Польши. Ленин указывал, что американские капиталисты всеми силами стараются втравить Польшу в войну против Советской России.

Двадцатого марта 1920 года главнокомандующий всех вооруженных сил республики С. Каменев докладывал Ленину:

«...в виду возможности польского фронта и в виду серьезных предстоящих здесь операций Главнокомандование предлагает к моменту решительных операций переместить на Западный фронт командующего ныне Кавказским фронтом Тухачевского, умело и решительно проведшего последние операции по разгрому армии Деникина».

На Кавказском фронте Тухачевский пробыл всего лишь три месяца. Он принял командование войсками фронта в конце января 1920 года, в дни решающих боев с Деникиным. Тухачевскому посчастливилось — на Восточном фронте он работал с Куйбышевым, а здесь встретился с другим видным большевиком — Серго Орджоникидзе, который был членом Реввоенсовета фронта. Молодой член партии Тухачевский имел возможность поучиться многому у старого партийца. Они подружились.

Двадцать пятого апреля буржуазная Польша начала войну, двигаясь на Киев.

«У нас нет сомнений, что Польское правительство начало эту наступательную войну против воли своих рабочих», — сказал Ленин.

28 апреля Тухачевского перевели на Западный фронт вместо Гитиса.

Чтобы остановить продвижение польских легионеров, 6 мая занявших Киев, Тухачевский был вынужден 14 мая начать наступление, хотя Западный фронт еще не успел сосредоточить все свои силы. Наступление Западного фронта началось успешно, поляки бежали. В первые дни они отступали по двадцать верст в сутки.

Но майское наступление быстро захлебнулось: иссякли резервы.

До подхода подкреплений Тухачевскому пришлось отойти на прежнюю линию фронта.

И все-таки майская операция имела весьма важное значение: наступление поляков на юге было приостановлено, и все увидели, что молодая Красная Армия может

побеждать регулярную польскую армию. В советских войсках укрепилась уверенность в победе.

К июлю подошли подкрепления, и 2 июля командзап Тухачевский отдал приказ войскам фронта:

«Красные солдаты! Пробил час. Солдаты! Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Да не будет в нашей среде трусов и шкурников; в бою побеждает только храбрый! Разоренные империалистической войной места будут свидетелями кровавой расплаты Революции со старым миром и его слугами».

Четвертого июля Красная Армия снова победоносно двинулась вперед. В течение первых десяти дней были взяты Сморгонь, Вильна, Минск.

Войска, переброшенные из Сибири, с энтузиазмом шли освобождать белорусов, украинцев и польских крестьян от помещичьего ига. На вагонах, следующих из Сибири, было написано: *«Даешь Варшаву!»*

Это был боевой клич всей Красной Армии. Красные части, вступавшие в освобождаемые белорусские местечки и села, только и спрашивали у жителей: «Где дорога на Варшаву?» — хотя до Варшавы было еще очень далеко.

Ни один красноармеец не собирался останавливаться ближе Варшавы.

Под стремительным натиском красных польские войска в панике откатывались по всему фронту на запад, не оказывая серьезного сопротивления.

2

Двадцать седьмая Омская дивизия, входившая в состав Шестнадцатой армии, наступала вместе с другими соединениями Западного фронта на Варшаву. Дивизия проделала тяжелый путь борьбы за Поволжье, Урал и Сибирь. В боях с Колчаком «омичи» прошли шесть тысяч километров.

Овеянные жесткими сибирскими ветрами, они попали в белорусские леса и болота.

Вид у «омичей» был неказистый: истрепанное, выцветшее обмундирование, изношенная обувь. Но за этой серой, неприглядной внешностью скрывался бодрый, боевой дух — на семь тысяч триста штыков дивизии чуть ли не половина (три с половиною тысячи человек)

были коммунистами: двадцать седьмая комплектовалась из уральских и сибирских рабочих. Командование двадцать седьмой дивизией еще в Сибири принял Витовт Казимирович Путна.

Как только дивизия выгрузилась на станциях Крупски — Славное — Орша, Путна дал приказ дивизии:

«Помните, товарищи: в польской армии комсостав высококвалифицированный, у них лучшие французские и английские генералы, у них умные академики, а мы — простые рабочие и крестьяне. Если мы дадим этим генералам много думать, они нас «передумают».

Не давайте им долго думать!»

Но красноармейцы и без того сами рвались в бой.

Сбивая противника, дивизия переправилась через Березину и в нестерпимом июльском зное, в тучах пыли неуклонно продвигалась на запад.

Путну угнетала малая маневренность его дивизии: не хватало обоза. Лошади были, но на полк приходилось всего лишь тридцать пять повозок, и то не армейских, а крестьянских, на непрочном, деревянном ходу. Патронных и телефонных двуколок не было вовсе, а походных кухонь каждый полк имел не больше трех. Но самое большое беспокойство доставляло Путне то обстоятельство, что дивизия с каждым днем отрывалась от своих тылов, что иссякали взятые с собою из Сибири провиант и боеприпасы.

Дивизия шла вперед, почти не поддерживаемая тылом.

Впрочем, так было на всем фронте...

3

В это лето сон бежал от глаз пана Юзефа.

Юзеф Пилсудский, «Naczelnik Państwa i wódz naczelny armji»[1], просыпался среди ночи. Он лежал, глядя в чуть проступавший в ночной полутьме лепной потолок бельведера. Смотрел и невольно прислушивался, хотя фронт был еще далеко, — не гремят ли большевистские арматы?[2]

---

[1] Начальник государства и главный вождь армии *(польск.)*.

[2] Пушки *(польск.)*.

Вместе с ним сразу просыпался неугомонный, несносный кашель.

Пан Юзеф кашлял и думал: «Небось «товарищ» Тухачевский спит в Минске спокойно: у него дела блестящи!»

Чтобы угомонить кашель, Пилсудский закуривал. Кашель проходил, но не проходили бессонница и беспокойство. Пилсудский зажигал свет и вставал с постели. В одном белье он шел к столу, на котором лежала карта. Идя к столу, пан Юзеф невольно видел себя в высоких венецианских дворцовых зеркалах. В них отражались его подагрически согбенная, сухощавая, далеко не воинственная фигура, обвислые щеки и совсем не «гонорово» опущенные усы.

Пятьдесят три года...

Кажется, еще не такая и старость!

Начальник штаба генерал Розвадовский старше «Начальника Государства» Юзефа Пилсудского на целый год. А как еще держится, пся кость! Пан Тадеуш Розвадовский уверяет, что чувствует себя превосходно. Впрочем, пан Юзеф, помнится, читал у какого-то остроумного французского писателя: «Старость начинается тогда, когда человек говорит: „Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас!"»

Пан Юзеф шел к карте и смотрел на эти ненавистные пятна красных флажков. Они начались у Полоцка, от никому не известного, ничтожно малого белорусского местечка Ореховно, и вот уже добежали до самой Польши.

Тухачевский начал с «полупобеды», как язвительно говорил пан Юзеф, у этого невзрачного Ореховна, потом воспользовался «полуслучайностью» у Вильны и вот теперь собирается разбить легионеров Пилсудского у самой Варшавы!

Пилсудский смотрел на флажки, обозначавшие вчера линию фронта, и вспоминал слова приказа русского большевистского командующего Михаила Тухачевского, который тогда, перед началом июльского наступления, доставила «Начальнику Государства» польская разведка:

«На Запад к решительным битвам и громозвучным победам. Стройтесь в боевые колонны, пробил час наступления на Вильно, Минск, Варшаву!»

Вильно и Минска уже давно нет, как нет уже ни Гродно, Лиды, Барановичей. Теперь очередь за Варшавой...

Вот почему сон бежит от глаз пана Юзефа весь этот месяц. И как не бежать, когда «над Варшавой висит призрак мудрствующего бессилия и умничающей трусости»,— так думал в эти трудные дни Пилсудский.

И все-таки пан Юзеф, выкурив одну-другую папироску, в конце концов кое-как засыпал...

Утром Пилсудский вставал более оптимистично настроенным (известно: ночью все краски кажутся темнее!). Принимая ванну, он уже бодро и не фальшиво напевал легионерскую песню:

Во́енко, во́енко,
Яка ж ты, шалёна!..

Потом пил кофе и даже трунил над семидесятипятилетним камердинером Стасем, что он ходит «до девчент». И ждал, что́ сейчас скажет ему на утреннем докладе начальник штаба генерал Тадеуш Розвадовский.

Почему маршал Пилсудский выбрал себе в начальники штаба его, а не генерала Станислава Галлера, Эдварда Ридз-Смиглого или Люциана Желиговского? Потому что генерал Тадеуш Розвадовский не теряет присутствия духа и больше всех верит в победу. У пана Тадеуша есть один недостаток — непостоянство. У него тысяча предложений, и он меняет их каждый час. А, как известно, старое военное правило говорит: «Организация не терпит импровизации»...

Впрочем, это неважно: все решает не польский начальник главного штаба, а представитель французского главного штаба генерал Вейган. Его с несколькими десятками штабных западноевропейских офицеров прислала на помощь Пилсудскому заботливая Антанта.

Генерал Розвадовский не ладил с генералом Вейганом. В здании Генерального штаба на Саксонской площади они сносились друг с другом лишь на бумаге. Их мирил военный министр генерал Казимир Соснковский, более покладистый в жизни (Соснковскому было только тридцать пять лет, и у него еще не болела поясница!), чем генерал Розвадовский. Розвадовский был оскорблен в своих лучших чувствах: как же, он окончил в Вене

Академию Генерального штаба, а Вейган не кончил ничего. И Вейган будет учить генерала Розвадовского?!

Но для того чтобы побеждать, разве обязательно кончать академию? Вот — Тухачевский. Говорят, он не кончал никакой академии. А как уже прославился на всю Европу! Он — настоящий, прирожденный полководец, этот молодой человек!

...После кофе Пилсудский принимал у себя в роскошном кабинете начальника штаба.

— День добрый, пане начэльни́ку! — говорил, входя, генерал Розвадовский.

— День добрый, пане Тадеуш! Ну, цо слыхать?

— Але ж марш! Але ж марш! — разводил руками Розвадовский и почему-то виновато улыбался. В этом восторженном восклицании горечь бессилия затушевывалась восторгом.

— Алюр все тот же? — хмурился Пилсудский.

— Все тот же, пане начэльни́ку! Двадцать верст в сутки...

Пилсудский только качал головой.

— Пся крев! — невольно вырывалось у маршала.

Вот так армии Тухачевского в сумасшедшем аллюре и двигались с 4 июля. Как грозный, неотвратимый вал безудержно катились вперед уже пятую неделю!

— С таким маршем Тухачевского будет поздравлять каждый военный историк! — говорил маршал Пилсудский.

— Ничего не скажешь: полководец незаурядный! — соглашался начальник главного штаба.

— Да, надо иметь достаточно сил, энергии, воли и уменья!

— Пане начэльни́ку, Клаузевиц учит: армия, вторгшаяся в чужую землю, уподобляется пламени лампы. Чем больше понижается в лампе уровень масла, тем меньше пламя. У Тухачевского масла с каждым днем все меньше: он с каждым днем все дальше от своих баз,— улыбался пан Тадеуш.

— Что ж, будем ждать, когда масло наконец иссякнет! Ну, посмотрим, куда докатились большевистские орды? — предлагал Пилсудский.

Они подходили к карте. И опять, как и каждый день, разворачивался целый калейдоскоп новостей: шли новые

географические (уже польские, а не белорусские) пункты, назывались номера полков и дивизий...

Генерал Розвадовский переставлял на карте флажки, а маршал Пилсудский слушал и думал о том, что от этого стремительного, безостановочного движения красных колеблются характеры, шатается государство, что поднимает голову внутренний фронт — деревня дает мало добровольцев на защиту Варшавы и что Польшу может спасти на Висле только чудо...

4

Пока советские войска шли по Белоруссии, население явно симпатизировало Красной Армии и помогало ей, чем могло. Когда полкам требовались подводы, крестьяне хоть и чесали затылки (хлеба поспели, надо убирать), но все-таки запрягали лошадей. И эти же подводчики при случае могли в бою взяться за винтовки, чтобы гнать дальше «áнтков», как звали легионеров белорусы.

Владельцы фольварков и имений, которых на белорусской земле было рассыпано достаточно, убегали от Красной Армии на запад. Батраки, конечно, оставались на месте, но берегли панское добро, как свое.

И это очень удивляло Александра Зайцева, комполка-240. Новгородец Зайцев никогда не бывал в Белоруссии. Он с недоумением обращался к своему приятелю, комдиву Путне: как же это так?

Путна происходил из крестьян Виленской губернии, после революции работал комиссаром военкомата в Витебске и потому хорошо знал Белоруссию.

— Батрак еще не верит в свою силу! — говорил он Зайцеву. — Держится за помещика!

Чем дальше на запад продвигалась Красная Армия, тем холоднее встречало ее население. Когда подошли к Западному Бугу, к этнографическим границам Польши, население уже не делилось с красноармейцами хлебом, с большой неохотой поставляло подводы. Поляки угоняли лошадей в лес, ломали колеса, чтобы только не пускаться с Красной Армией в поход. А в походе дремали под брезентом и ждали одного — при первом удобном случае дать тягу.

— Здесь же такие узенькие полоски пахоты и такие же хатенки, как и у белорусов, а жители смотрят на нас, как на врагов! — удивлялся Зайцев.

— Хлоп еще не разобрался в том, что ему принесла самостоятельность польского буржуазного государства,— отвечал Путна.— К тому же, что этот хлоп видит? Мы обещаем ему право на землю, а пока требуем с него хлеба и подвод. Освободиться от помещичьего гнета заманчиво, но когда наступит обещанное освобождение? И наступит ли вообще? Ксендзы и шляхта нашептывают: «Большевикам не победить — за нас Европа и Америка!»

В польских областях из фольварков и маёнтков[1] уходили все — паны и батраки. Ксендзы разжигали в населении вражду к русским, отождествляя старую царскую Россию с Советской, и уже синонимом к слову «большевик» появилось стародавнее «москаль».

Кроме этих трудностей возникали новые.

Полки Красной Армии таяли, а пополнения не подходили. Колчака побили силами Приуралья и Сибири: с занятием любого населенного пункта в Красную Армию вливались добровольцы. А здесь с начала похода двадцать седьмая дивизия не получила ни одного бойца. Запасной батальон в тысячу человек задержали где-то в районе Барановичей восстанавливать железную дорогу.

Как поляки ни уклонялись от решительных боев, но все-таки потери в Красной Армии были. В полках насчитывалось по двести — двести пятьдесят штыков. В сущности, они оставались полками лишь по названию.

— Теперь мы как прикрытие к пулеметам и нашим трехдюймовкам,— сокрушался Путна.

И все-таки инерция удара еще сохранялась, хотя бойцы были истомлены до крайности и во всем терпели недостаток — в провианте и боеприпасах.

Вечером 1 августа под ударами двадцать седьмой дивизии поляки вынуждены были отойти за Вепрь. Красная Армия уже стучалась в ворота Варшавы.

— «Антки» скоро увидят, что мы малочисленны, что мы босы и голы и что у нас мало патронов и снарядов,— говорил Путна.

[1] Имений *(польск.)*.

И действительно, бедственное состояние Красной Армии не могло ускользнуть от польской разведки.

И в ночь на 15 августа легионеры Пилсудского начали контрнаступление.

5

У белого продолговатого здания станции Лозовая, на четвертом пути, стоял поезд командующего Юго-Западным фронтом Егорова. Шесть пульманов с широкими, чисто вымытыми зеркальными окнами и четыре теплушки, где размещалась рота латышских стрелков охраны.

Передний пульман занимали члены Реввоенсовета фронта Сталин и Берзин.

Рейнгольд Иосифович Берзин, ведавший вопросами тыла, был так непомерно высок, что, входя в вагон, гнулся в дверях. Он носил рыжевато-белокурые усы и такую же бородку.

Иосиф Виссарионович Сталин — ростом много ниже Берзина, худощав и темноволос. У него на бледном лице длинные черные усы и пристальные карие глаза с резким изломом бровей.

Оба члена Реввоенсовета малоразговорчивы.

Берзин или без конца звонил по телефону, или, собрав разные сводки, наряды и ведомости и нацепив поверх кожанки маузер в деревянном футляре, уезжал на паровозе в Харьков, где помещался штаб фронта.

А Сталин не умел сидеть на месте. Он ходил из угла в угол с трубкой в зубах. А по ночам, если не было никаких совещаний и срочных дел у командующего Юго-Западным фронтом Егорова, лежал у себя в купе и читал. В салон-вагоне, который раньше принадлежал какому-то важному путейскому начальству, в книжном шкафу стояло десятка три книг. Большинство из них было по железнодорожному делу, но нашлось несколько книг для чтения.

— Может, убрать книги? Они вам будут мешать? — спросил у новых хозяев салон-вагона старый проводник.

— Книги никогда не мешают, — как всегда коротко, отрезал Сталин.

Он начал просматривать книги в шкафу салон-вагона.

Чехов. Горький.

«Это хорошо!»

Сталин любил Чехова и Горького. Особенно нравились ему рассказы «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» и «Душечка». «Душечку» он знал почти наизусть.

Проводники первого пульмана хорошо изучили своих новых пассажиров.

Высокий Берзин не следил за своей внешностью: его рыжеватая борода росла сама по себе — во все стороны, на рукаве желтой кожанки темнело мазутное пятно, сапоги давно не видали щетки.

А Сталин был аккуратен — всегда чисто выбрит, сапоги начищены.

Проводники вагона и латышские стрелки охраны уже привыкли к тому, что член Реввоенсовета Сталин сам чистил по утрам свои сапоги. Он выходил в туфлях на босу ногу в тамбур со щетками и гуталином и старательно наводил блеск на хромовые сапоги. Чистил сам, несмотря на то что левая рука у него плохо сгибалась в локте: в детстве Сталин во время игры разбил руку. Рука стала гноиться, получилось заражение крови. Но все обошлось благополучно.

— Не знаю, что спасло: крепкий организм или мазь деревенской знахарки,— сдержанно улыбаясь, рассказывал он командующему фронтом Александру Ильичу Егорову.

Утром Сталин, лихо сбив фуражку на затылок, отправлялся в салон-вагон командующего. Маузера Сталин не носил, а просто, по привычке старого революционера, всегда держал в кармане брюк браунинг.

Часовые у салон-вагона вытягивались, отдавая честь. Они знали: два члена Реввоенсовета, и оба разные в отношении службы.

Невероятно высокий, бородатый Берзин не очень обращал на них внимание. Несмотря на то что он окончил школу прапорщиков и был на фронте, Берзин на их приветствие по-простецки кивал головой и бросал короткое:

— Лаб-рид! [1]

А Сталин хоть и не военный, но любил, чтобы его встречали, как положено по уставу. И сам не улыбнется,

[1] Доброе утро! *(Латышск.)*

только поднесет руку к козырьку фуражки. Латышские стрелки, служившие в Москве, в Кремле, знали по опыту: старые партийцы относятся по-разному к военным условностям и обычаям.

Ленин, руководивший всей обороной молодой республики, больше всех заботившийся о силе Красной Армии, никогда не изображал из себя военного. Когда ему случалось проходить вдоль выстроенных фронтом красноармейцев, он чувствовал себя как-то неловко. И если козырял на параде или на смотру, то делал это без особого удовольствия, неумело приложив к кепке вывернутую наружу ладонь.

А Сталин козырял исправно, охотно и ловко, будто всю жизнь служил командиром. И вместе с тем он, любивший и умевший передразнивать, каждый раз смеялся, когда чины штаба, бывшие полковники, щелкая каблуками, говорили ему привычные для них «здравия желаю» и «честь имею кланяться».

— Что за честь, коли нечего есть? — насмешливо говорил он.

И все-таки старался во всем походить на настоящего военного.

Единой установленной формы для командиров Красной Армии в то время еще не существовало. Щеголяли кто в чем мог: кто донашивал офицерскую диагоналевую гимнастерку, кто китель цвета хаки. Борис Михайлович Шапошников, начальник Оперативного управления республики, ходил в добротном штатском костюме и накрахмаленной рубашке с шелковым галстуком.

А Сталин носил сапоги и защитного цвета армейские штаны и такой же френч, а на голове — комиссарскую кожаную фуражку со звездочкой.

6

В это августовское солнечное утро член Реввоенсовета Сталин встал мрачным. Причины к тому были следующие.

Еще весной 1920 года Реввоенсовет республики выработал план ведения войны с панской Польшей. Предлагались разные варианты. Эти варианты докладывались Владимиру Ильичу, который всесторонне обсуж-

дал их, вникая во все детали. Потом планы рассматривались в Центральном Комитете партии.

По поручению ЦК Сталин сам уточнял с главкомом Каменевым окончательный вариант плана, а затем докладывал его на заседании Политбюро.

Двадцать восьмого апреля 1920 года Политбюро одобрило план.

Против вооруженных сил польской буржуазной республики стояли два фронта — Западный и Юго-Западный. Главный удар — на Минск — Вильну — Варшаву — должен был наносить Западный фронт. Юго-Западному отводился вспомогательный удар на Ровно — Брест. Операцию решено было вести в тесном взаимодействии фронтов, чтобы разгромить основные силы панской Польши, защищавшие Варшаву.

Для усиления Юго-Западного фронта была вызвана с Кавказа Первая Конная армия.

Политбюро решило, что после выхода войск обоих фронтов на рубеж Брест-Литовска они должны будут соединиться в один Западный фронт.

Сталин не мог забыть об этом решении.

И вот позавчера, 1 августа, Красная Армия после месяца стремительного, ошеломляющего наступления на запад, освободила Брест-Литовск. И вчера, 2 августа, ЦК подтвердил свое решение относительно объединения фронтов. Член Реввоенсовета фронта Сталин получил телеграмму Ленина:

«Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность Врангеля становится громадной, и внутри ЦК растет стремление тотчас заключить мир с буржуазной Польшей. Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать Ваше заключение. С Главкомом я условился, что он дает Вам больше патронов, подкреплений и аэропланов».

Эта мысль о разделении Юго-Западного фронта и присоединении части его сил к Западному уже не нравилась Сталину.

Первая Конная заняла Броды. Впереди соблазнительно маячил древний Львов, который казался не менее

заманчивым, нежели Варшава. До Львова было рукой подать. Почему не овладеть Львовом? Западный фронт намерен взять Варшаву, а Юго-Западный возьмет Львов! И Конармия уже двигалась к нему. Предполагалось, что Львов будет взят Первой Конной к 29 июля, но устали и кони и всадники и падение Львова несколько затягивалось. И теперь, когда от Юго-Западного фронта отнимали Первую Конную, самую силу фронта, он возмутился.

Сдвинув брови, Сталин быстро ходил по салону и с раздражением думал:

«А все — Каменев, Сергей Сергеевич! Бывший полковник Генерального штаба! Ильич вообще излишне доверчив к этим золотопогонникам!»

Сталин не очень верил во всех этих «военспецов» — Каменева, Шорина и иже с ними...

Александр Ильич Егоров, правда, тоже бывший офицер, но он прослужил в царской армии недолго — стал певцом. И как-никак Егоров — сын железнодорожного грузчика и сам бывший молотобоец... А Каменев — сын инженера, мелкая буржуазия...

Сталин схватил фуражку, по обыкновению сдвинул ее на затылок и побежал к Егорову. Сегодня он не обращал внимания, как встречает его охрана и адъютанты Егорова. Он прямо промчался в кабинет командующего фронтом.

Егоров стоял в раздумье у развешенной на стене карты. Сталин поздоровался, вынул из кармана трубку, молча закурил и стал ходить из угла в угол кабинета.

— Ну что, какие новости? Что придумали еще московские стратеги? — наконец спросил он своим чуть глуховатым голосом.

— Я получил депешу главкома,— ответил Егоров и протянул Сталину телеграфный бланк.

Сталин читал, глубоко затягиваясь трубкой.

В телеграмме стояло:

«С форсированием армиями Запфронта р. Нарева и овладением Брест-Литовском наступает время объединения в руках командзапа управления всеми армиями, продолжающими движение к р. Висле, т. е. передаче в ближайшие дни 12-й и 1-й Конной армий из Югзапфронта в распоряжение командзапа».

«Отдать им Конармию? Ишь чего захотели! Это черт знает что! — швырнул на стол телеграмму Сталин. — Они оставляют нам рожки да ножки! Чтоб мы осрамились с Врангелем! Не будет!»

7

Тухачевский трудился в Минске дни и ночи. Опытных штабных работников в штабе Западного фронта не хватало — все поглощала действующая армия. Громадный фронт, ежедневно продвигавшийся все дальше и дальше на запад, требовал к себе большого внимания. Управлять фронтом было трудно. Телеграфные линии, натянутые еще пятьдесят лет тому назад, пришли в ветхость. Провода часто рвались. Оперативная информация иногда запаздывала. Так, о взятии Вильны и Гродны штаб Западного фронта узнал из перехваченной польской радиограммы. И не было уверенности в том, что армии своевременно получают директивы фронта. Все так же плохо работали железные дороги. Например, между Минском и Молодечно могли быть в обращении всего лишь две пары поездов в сутки.

Вот и подвози подкрепления фронту!

Бывали случаи, что при задержке эшелонов, следующих из центральных районов республики, приходилось обращаться за содействием к самому Ленину. Владимир Ильич всегда очень ревниво следил за всей помощью фронту.

Чем ближе приближалась к Варшаве Красная Армия, тем все больше увеличивался объем штабной работы.

На защиту польской столицы Пилсудский собрал все силы. Польская армия состояла из солдат и офицеров, служивших в трех армиях — русской, германской и австрийской. Но все-таки в основе это была регулярная армия. Добровольческие соединения составляли ее небольшую часть.

Самые стойкие войска находились в армии генерала Галлера — «галлерчики», из поляков Познани, служивших в немецкой армии. Вооружение и снаряжение у них было германское. У «галлерчиков» за плечами виднелся тот же основательный телячий ранец, на голове те же тевтонские серые каски, на боку болталась обязатель-

ная фляга с кофе. «Галлерчики» шли в бой выбритые, в чистых воротничках. За ними следовал прекрасно снаряженный полковой обоз — вереница высоких зеленых фур с тормозами у переднего колеса, запряженных сытыми лошадьми.

Самыми слабыми частями были «крулевяки» — солдаты из бывшего в Российской империи «царства Польского». «Крулевяки» воевать не любили. Они охотнее ухаживали за девушками и танцевали польку. Когда батальон «крулевяков» приходил в какую-нибудь деревню, он прежде всего заводил «грай полечка». За танцы и «девчент» «крулевяк» готов был отдать все.

На главном, Варшавском направлении Пилсудский сосредоточил двенадцать дивизий из двадцати трех наличных. На второстепенном, Львовском оставалось у него лишь три. Между тем Юго-Западный фронт с непонятным упрямством не хотел прийти на помощь Западному, а добивался занятия Львова, который не решал кампании. Но у Львова все-таки оказалось достаточно польской пехоты, чтобы вынудить Первую Конную топтаться на месте.

Тухачевского волновало то, что Юго-Западный фронт затягивает передачу Западному Двенадцатой пехотной и Первой Конной армии, о чем постановил Пленум ЦК. Строго следивший за выполнением приказов, сам отличавшийся высокой дисциплинированностью, Тухачевский обратился за помощью к главкому.

«Обстановка требует от меня немедленного принятия южных армий, ибо промедления меня волнуют», — телеграфировал он.

Наконец после многодневных споров и убеждений главкому удалось получить приказ Юго-Западного фронта о передаче этих армий Западному. И 15 августа Тухачевский, полагая, что все муки с передачей окончены, отдал директиву Первой Конной:

«Командарму 1-й Конной с получением сего вывести из боя свои конные части, заняв участок от района Топоров и к югу частями 45-й и 47-й стрелковых дивизий.

...Всей Конармии в составе 4, 6, 11 и 14-й кавдивизий четырьмя переходами перейти в район Устилуг, Владимир-Волынский».

Но командование Конармии отказалось подчиниться Тухачевскому, потому что на его директиве не оказалось подписи члена Реввоенсовета Западного фронта.

После того как Реввоенсовет Юго-Западного фронта выразил недоверие главкому Каменеву, Реввоенсовет Конармии вдруг почему-то перестал доверять командзапу Тухачевскому.

Чтобы уладить эти формальности, пришлось потерять два дорогих дня. И даже после того как директива Тухачевского была подписана членом Реввоенсовета фронта Уншлихтом, Реввоенсовет Первой Конной телеграфировал Тухачевскому:

«Армия в данный момент выйти из боя не может, так как линия Буга преодолена и наши части находятся на подступах к Львову, причем передние части находятся в пятнадцати километрах восточнее города и армии дана задача на 17 августа овладеть Львовом. По окончании операции армия двинется согласно директиве».

В решающие дни Западный фронт оказывался один против основных сил панской Польши.

8

У командзапа уже не хватало терпения дожидаться всегдашнего утреннего доклада начальника штаба. В третьем часу ночи Тухачевский направлялся в разведотдел за последними данными.

Обстановка на фронте стала особенно напряженной. Красная Армия подошла к последним оборонительным рубежам у польской столицы. Перед Варшавой тянулись две полосы укреплений. Главная — Brückenkopf Warschau — система бетонированных окопов была создана еще немцами во время прошлой войны.

Причин для тревоги у командзапа было предостаточно.

Во-первых, Конармия безнадежно увязла подо Львовом, напрасно растрачивая силы. Конармия не могла

уже оказать помощь Западному фронту на Люблинском направлении.

Во-вторых, Тухачевского не могли не волновать бестолковые действия Четвертой армии, которая «путешествовала» по Данцигскому коридору.

Тухачевский опасался, что в результате всех неурядиц будет упущено время для нанесения врагу решительного удара.

И в ночь с 17 на 18 августа его опасения подтвердились.

Советской разведке удалось перехватить приказ Третьей польской армии. Из приказа явствовало, что легионеры Пилсудского готовятся перейти в наступление из района реки Вепрж против левого фланга Западного фронта.

Новость была чрезвычайно неприятная, но Тухачевский по обыкновению не показал виду. Внешне он сохранял свое всегдашнее спокойствие и уверенность.

Это сообщение следовало немедленно проверить, и спать командзапу уже не пришлось.

Связь в Красной Армии была одним из самых слабых мест. И все-таки к утру удалось кое-как связаться с Шестнадцатой армией.

К сожалению, известие подтвердилось — легионеры уже контрнаступали. Штаб Шестнадцатой армии только накануне узнал об активизации врага и о том, что Мозырская группа разбита. Сама она, конечно, не смогла послать донесение.

Тухачевский вернулся с телеграфа к себе в кабинет.

Большой стол покрывала, свисая по бокам, точно скатерть, карта Привислянского края и Галиции. Командзап и начальник оперативного управления штаба Алексей Макарович Перемытов, бывший кадровый офицер старой армии, молча склонились над белым полотнищем.

Перемытов оперся обеими широко расставленными руками о стол. Он пристально смотрел на карту, точно хотел высмотреть в ней что-то. Тухачевский стоял по другую сторону стола и также не спускал глаз с этой сети железных дорог, кружков, населенных пунктов и прихотливых извилин рек. Руки Тухачевского лежали на узком кавказском ремешке, подпоясывавшем гимнастерку.

— Положение угрожающее, — прервал молчание Перемытов.

— Положение — хуже губернаторского, — ответил командзап, подымая голову.

В его голубых, чуть навыкате глазах стояла ярость. Перемытов привык к тому, что, как бы ни был недоволен, возмущен командзап, от него не услышишь гневного, резкого слова.

— Фронты разошлись под прямым углом! — сказал Тухачевский и, оправляя гимнастерку, зашагал по кабинету.— Красный фронт имел возможность выполнить поставленную задачу!

Перемытов слегка дрожащими пальцами вынул кисет с табаком и стал свертывать папиросу.

— Михаил Николаевич, если говорить по правде, задача-то была не из легких,— сказал он, закуривая.

— Алексей Макарович, политика поставила нам трудную задачу! Но ведь не существует ни одного большого дела, которое не было бы рискованным... Беда в том, что шляхетская армия Пилсудского уходила, не будучи разгромленной! Наши цивильные товарищи — Кон, Мархлевский — думали: если легионеры бегут без оглядки, стало быть, им конец. А Суворов правильно говорил: «Недорубленный лес — вырастает!» Даже наиболее крупные бои на нашем правом фланге в районе Германовичи — Глубокое и у Гродны только ослабили польскую буржуазно-шляхетскую армию, но не привели ее к разгрому. Впрочем,— решительно сказал Тухачевский, круто поворачиваясь к карте,— надо действовать. Ясно, что мы не удержимся и нам придется отходить до линии Гродно — Брест. Подумаем, как выйти с честью из этого тяжелого положения.

И командарм взялся за красный карандаш.

9

Лишь 20 августа Первую Конную вывели из-подо Львова и направили в район Замостья. Но уже было поздно: не только Мозырская группа, но и все армии Западного фронта отступали под натиском превосходящих сил панской Польши. Революционные войска, сильные в наступлении, оказались слабыми в обороне.

Давал себя знать излишний оптимизм главкома. Еще

в конце февраля по прямому проводу с Егоровым Каменев говорил: «Лично глубоко убежден, что самый легкий фронт, если ему суждено быть активным, это будет польский, где еще до активных действий противник имеет достаточное число признаков своей внутренней слабости и разложения».

Главное командование не прислушивалось к прозорливому слову Ленина, который еще в начале военных действий с Польшей предостерегал: «Самое опасное в войне, которая начинается при таких условиях, как теперь война с Польшей, самое опасное это недооценить противника и успокоиться на том, что мы сильнее».

Вообще перед Красной Армией стояла трудная задача. Приходилось воевать с братским народом, хотя и не против самого народа. Польская буржуазия воспользовалась старой ненавистью поляков к царской России, она уверяла народ, что большевики идут уничтожать польское государство, хотя уже 25 апреля 1920 года Ленин заявил: «Война с Польшей нам навязана, ни малейших замыслов против независимости Польши мы не имеем».

Советская Россия еще не успела оправиться от войн последних семи лет. В стране не хватало хлеба, мяса, жиров, одежды и обуви. Железная дорога работала с трудом.

Пехота прошла с боями за шесть недель пятьсот — шестьсот, а местами до восьмисот верст. Красноармейцы шли разутые. Марш от Полоцка до Варшавы не могла выдержать никакая обувь. Шли полубосые, в изношенном обмундировании. Обозы не поспевали за неудержимо катившимся на запад фронтом. С каждым днем Красная Армия все больше отрывалась от своих баз, все слабее становилась ее связь с тылом. Поляки отступали и не ввязывались в настоящий бой. Живая сила их не была уничтожена. Могло казаться, что польская армия разбита и деморализована. Никто не вспомнил уроков войны 1914—1918 годов, все забыли, как быстро оживают «разбитые» армии.

Сильно помогла полякам разобщенность обоих советских фронтов. Западный вполне резонно был нацелен на Варшаву, в то время как Юго-Западный упорно стремился к Львову, хотя вполне можно было бы пройти мимо него.

У главкома Каменева не хватило твердости характера принудить Юго-Западный фронт следовать плану ведения войны, утвержденному ЦК партии. В феврале 1920 года командующий Юго-Западным фронтом Егоров понимал, что надо будет в свое время помочь Западному фронту, а в августе того же года он пошел на поводу у своего волевого, упрямого Реввоенсовета фронта. И когда Пилсудский, с благословения генерала Вейгана и других западноевропейских советчиков, начал в августе контрнаступление, то польским армиям противостоял только один ослабленный Западный фронт Тухачевского.

Разумеется, это не могло не привести к катастрофе на Висле.

10

Тухачевский чувствовал себя несколько смущенно, когда встретился с Лениным после окончания польской кампании, хотя меньше других был повинен в отступлении Красной Армии от Варшавы.

— Скажите, Михаил Николаевич, не следовало ли нам остановиться на каком-либо рубеже и закрепиться, а потом наступать дальше? — спросил у него Ленин.

— Думаю, что не следовало бы... Войска были охвачены таким единым порывом — «вперед на Варшаву!», что остановиться — значит сорвать все!

Ленин секунду размышлял, а потом, живо улыбнувшись, спросил:

— Простите, Михаил Николаевич, вы играете в шахматы?

— Немного играю...

— Значит, как в шахматах: начал наступать, пожертвовал фигуру, вторую — и уже нельзя остановиться? Нельзя не атаковать? Так ведь? Остановился, потерял темп, и уже инициатива у противника?

— И не хватает сил,— прибавил, улыбаясь одними глазами, Тухачевский.

— Да, да! Так у нас и получилось: для завершения начатого удара не хватило сил!

— Клаузевиц говорит, что наступающему так же трудно остановиться, как лошади, везущей в гору тяжелый воз...

— Вот именно!

— Мы надеялись на польский пролетариат,— как бы оправдываясь, продолжал Тухачевский.

— Конечно, самая главная причина нашего неуспеха в том, что мы не смогли добраться до промышленного пролетариата Польши! — подтвердил Ленин.

— И все же, Владимир Ильич, кампанию проиграла не политика, а стратегия...

— Не будем теперь разбирать, Михаил Николаевич, чья ошибка — политики или стратегии... Армия проделала такой неслыханный марш от Полоцка до Варшавы!

— Признаться, войска очень устали. Красная Армия терпела недостаток во всем — в провианте, в снарядах, в патронах...

— Мы знаем: наши красноармейцы наступали раздетые и разутые. Они герои! Они воевали в таких условиях, в каких не приходилось воевать ни одной армии в мире! — горячо сказал Ленин.

— Много вреда причинила несогласованность действий фронтов. Юго-Западный фронт упрямо считал, что главное направление — Львов! — вспомнил Тухачевский.

— Да, да! Это архидетское упрямство! И кто же ходит на Варшаву через Львов? — смеялся Владимир Ильич, взглядывая на Тухачевского.— Но ничего! Я убежден: над Варшавой будет развеваться красное знамя! Его водрузят сами польские рабочие и крестьяне! — уверенно заключил Ленин.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МЯТЕЖНЫЙ МАРТ

1

Наконец страна могла вздохнуть свободно: гражданская война победоносно закончена на всех фронтах.

Антанта увидела, что из военных походов западных держав против большевиков не получается ничего. Оказался прав английский генерал Альфред Нокс, бывший военным советником у Колчака, который сказал:

— Можно разбить миллионную армию большевиков, но когда сто пятьдесят миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, то бесцельно помогать белым.

Буржуазные государства были уже вынуждены считаться с существованием Советской России: Афганистан, Иран и Турция установили с ней дипломатические отношения, Англия вела торговые переговоры с Москвой. Казалось, уже отгремели военные громы.

Но в начале марта 1921 года вдруг взбунтовался Кронштадт.

Четыре года войны с Германией и три года гражданских фронтов изнурили, обессилили Россию, довели ее до полного обнищания. В стране не хватало самых жизненно важных предметов: хлеба, сахара, жиров, мануфактуры, кожи. Железнодорожный транспорт был разрушен, города не имели ни угля, ни нефти. В Петрограде и Москве ввели продуктовые карточки, по которым выдавали от двухсот до восьмисот граммов хлеба в сутки. Восемьсот граммов полагалось только рабочим горячих цехов, но горячих цехов с каждым днем становилось все меньше, фабрики и заводы закрывались из-за отсутствия топлива и сырья. Петроградская промышленность почти замерла. Полуголодные рабочие уезжали к родным в деревню. В деревне тоже не хватало соли, керосина и мыла, но зато был хлеб. Пока шла гражданская война, кое-как терпели — не до жиру, быть бы живу. А после окончания войны мириться с недостатками стало труднее.

Ленин очень точно и чрезвычайно образно сравнивал Советскую страну с человеком, которого избили до полусмерти:

«Семь лет колотили ее, и тут, дай бог, с костылями двигаться! Вот мы в каком положении!»

За эти годы изменился и красный часовой Петрограда — Кронштадт. Балтика разослала по разным фронтам более сорока тысяч моряков. Бескозырки балтийцев всегда были там, где советской власти угрожала опасность. Они дрались на Дону, на Волге и на Кубани, в оренбургских и украинских степях, на равнинах Сибири и Польши. Матрос, моряк, военмор были синонимами большевиков, олицетворением мужества и патриотизма.

И вдруг кронштадтские «братишки» обратили штыки

против революции, а двенадцатидюймовые орудия их дредноутов повернулись на Петроград. Произошло это потому, что среди кронштадтцев уже редко можно было встретить участников Октября. На смену старым, революционно настроенным морякам пришли иные люди — набор во флот осуществляло «Бюро по найму». На корабли хлынули разгульные франты с Лиговского проспекта, все эти «жоржики» и «клешники», для которых ширина штанин считалась высшей доблестью. А главное, в Кронштадт устремилась крестьянская молодежь, «иванморы». Этот новый матрос — деревенский парень, одетый в матросский бушлат,— и был основной социальной силой мятежников. Деревня была недовольна продразверсткой и отсутствием свободной торговли.

— Вы требуете от нас хлеба,— говорили крестьяне,— а что даете взамен?

Недовольство крестьян военным коммунизмом разделяли, конечно, и их сынки, пришедшие на флот. В Кронштадте к таким настроениям прибавилась эсеровская и анархистская агитация против коммунистов. В не очень просвещенные головы «иванморов» легко вбивалась нелепая мысль, что во всей разрухе страны повинны только большевики.

И весной 1921 года Кронштадт заволновался.

Первого марта кронштадтские моряки устроили на Якорной площади митинг. На него собралось около пятнадцати тысяч частью вооруженных матросов. На митинг из Петрограда приехал Калинин. Михаил Иванович приехал в простеньких санях с ямщиком. Он полтора часа убеждал моряков, но провокаторы и контрреволюционеры не раз прерывали его речь грубыми, демагогическими выкриками.

— Это говорит не рабочий, не трудящийся, который делал революцию. Это говорит тот, чья дубинка ходила по нашим спинам. Не давайте себя обмануть, товарищи! — отвечал Калинин.

Смутьяны не слушались никаких уговоров. Они образовали свой ревком и арестовали всех кронштадтских коммунистов. Калинин с трудом выехал из Кронштадта.

В мятежном ревкоме всем руководил писарь с дредноута «Петропавловск» эсер Петриченко, прозванный «Петлюрой», потому что он был в петлюровской банде.

Значение восстания в Кронштадте метко оценил Ленин: «Эта мелкобуржуазная революция несомненно более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые».

2

Адъютант командующего Западным фронтом Алексей Докучаев сбился с ног, разыскивая Тухачевского.

Только что звонили из Москвы. Начальник главного штаба Павел Павлович Лебедев вызывал по весьма срочному делу командзапа. В Доме профсоюзов, где в Смоленске размещался штаб Западного фронта, Михаила Николаевича не оказалось. Все давно знали: Тухачевский сидеть без дела не будет, не такой у него характер.

А сегодня в штабе никаких заседаний, ни совещаний, ни военных занятий, ни слета военкоров — ничего подобного не было. Не собирался командующий ехать и в какую-либо воинскую часть. Просто он оставил «пежо» у Дома профсоюзов (на «кадиллаке» уехал в губком начальник штаба Павел Иванович Ермолин), а сам пошел пешком домой обедать.

Работы у Тухачевского всегда было невпроворот. Он писал статьи в газеты и журналы, занимался разработкой разных инструкций, готовился к докладам.

Приближались 8 Марта и День Парижской коммуны, приближался Десятый съезд партии — тем для докладов хватало. Командзап был активным членом партии. Он добросовестно и аккуратно выполнял поручения партийного бюро штаба. Охотно выступал с докладами не только в воинских частях или в штабе округа, но и где-либо у железнодорожников Смоленского узла или в типографии имени Смирнова.

Часто у себя дома, в небольшом деревянном особнячке в Солдатской слободке за Малаховскими воротами, после большого, насыщенного делами дня Михаил Николаевич отвлекался за своим давним, любимым занятием — мастерил скрипки. Он раскрывал дверь из маленькой мастерской в комнаты, чтобы в любой момент принять живое участие в шутках и веселых забавах своей большой, полной молодежи, семьи.

А готовился к докладам, писал статьи большей частью в салон-вагоне обжитого за три года пользо-

вания уютного пульмана № 199 Владикавказской железной дороги. Пульман № 199 видел и Волгу, и Сибирь, и Польшу. Частые гудки маневровых паровозов, выстукивающих номера путей, и шум проходящих поездов нисколько не мешали работе. Там Михаил Николаевич мог заниматься хоть ночь напролет. В штабе фронта это было нельзя. Командзап запрещал своим сотрудникам засиживаться в штабе позже двадцати трех часов. Оставаться в Доме профсоюзов после указанного часа могли только те, кому было положено или кто получил разрешение начальника штаба.

— А что запретил другим, не позволяй и самому себе. Иначе какой же ты пример для подчиненных? — говорил Михаил Николаевич.

А в салон-вагоне, за голубыми шелковыми шторами, не видно никому, как и сколько работает командзап.

Адъютант Докучаев наведался на квартиру к Тухачевскому. Никто из домашних не знал, где искать Михаила Николаевича.

— Пообедал и ушел, ничего не сказав,— ответили адъютанту.

Докучаев знал: Михаил Николаевич не выносил праздного досуга. Он всегда должен что-то делать. Адъютант велел шоферу ехать на станцию. Еще издали он увидел у салон-вагона проводника. Проводник чистил на междупутье ковровые дорожки.

— Командзап здесь?

— Нет. Сегодня еще не был.

Докучаев поехал в Госиздат. Ни там, ни в типографии, где печаталась книга Тухачевского «Война классов», Михаила Николаевича не оказалось. И вдруг у сада Блонье Докучаев встретил Александра Александровича Типольта. Всегда спокойный, чуть грустный, в противоположность своему живому и веселому полковому товарищу и другу Мише Тухачевскому, Типольт служил офицером для поручений при начальнике штаба.

— Александр Александрович, не видали Михаила Николаевича? — спросил Докучаев.

— Он поехал с Марией Александровной к подшефникам.

— В детдом?

— Да.

Тухачевский успевал всюду. Он вел переписку с демобилизованными командирами, устраивал их на работу, заботился о том, чтобы его подчиненные учились, и, любя детей, уделял много внимания детскому дому.

В детдоме, конечно, было туго с одежонкой и обувью, негусто с едой и топливом. Тухачевский советовался в партбюро, как раздобыть дров, откуда взять подводы, кого выделить на заготовку их. И первым записывался на поездку сам, ссылаясь на свою физическую силу и сноровку. Смотрел, на кого из жен командиров или штабных машинисток и телефонисток возложить ответственность за шитье детям белья. В детдоме дымили печи. Михаил Николаевич сам выискал в ближайшей деревне печника. Печник оказался старым солдатом и охотно помог детдому. А теперь надвигалась весна, вставали новые заботы: огород, снова обувь, снова одежда...

Докучаев встретил командующего на дороге, Тухачевский уже возвращался назад. Он оживленно говорил с Марией Александровной — женой штабного офицера — о мыле, о каких-то прививках. Докучаев доложил командующему о том, что его срочно вызывает Москва, главный штаб.

— Мария Александровна, пересаживайтесь в машину, — предложил Тухачевский, вылезая из саней.

— Благодарю, Михаил Николаевич. Вам надо поскорее, а мне торопиться некуда. Я доеду и на лошадях. Смотрите, чтоб вам не пришлось пересаживаться ко мне. Как застрянете где-либо с машиной!

— Не застрянем! — ответил Тухачевский, садясь в «пежо».— Мотор надежнее лошади!

Он сел в машину и задумался:

«Что бы это могло быть? Зачем вызывают? Интересно!»

Смотрел, как «пежо» убегает от пары лошадей, которые везли Марию Александровну.

И опять возникло невольное сравнение — мотор и лошадь. Опять та же проблема, над которой думали многие мыслящие военачальники. Разве может лошадь идти в сравнение с мотором? Будущая мировая война, без сомнения, станет войной моторов. Этого может не видеть, не понимать только невдумчивый, отсталый, косный человек. А некоторые кавалерийские начальники, когда Тухачевский говорил о большой будущности мо-

тора и о том, что кавалерия отжила свой век, воспринимали его слова как личное оскорбление! Особенно ершился горячий, как большинство конников, запальчивый Щаденко.

— Война моторов, механизация, авиация и химия придуманы военспецами! Пока главное — лошадка! Решающую роль в грядущей войне будет играть конница! Ей предстоит проникать в тылы и там сокрушать врага! — упрямо твердил Щаденко.

Все оглядка на гражданскую войну, на практику недавнего прошлого. Какая узость мышления!..

...У себя в штабе фронта Тухачевский тотчас же соединился по прямому проводу с Павлом Павловичем Лебедевым, и все стало ясно: в Кронштадте мятеж. ЦК партии по предложению Владимира Ильича назначил Тухачевского возглавить войска, которые будут действовать против мятежников. Командзапу приказано немедленно ехать в Питер принимать Седьмую армию. Ее уже собирались было перевести в трудармию, считая, что гражданская война закончена. Западного фронта, сказано Тухачевскому,— не сдавать никому. Напоследок Лебедев спросил, какую дивизию Тухачевский хотел бы взять с собой.

Михаил Николаевич сразу вспомнил двадцать седьмую, которой командовал рассудительный, талантливый военачальник и литератор Витовт Путна.

«Там же и Саша Зайцев»,— вспомнилось.

— Двадцать седьмую Омскую,— ответил он начальнику главного штаба.

— Добро, берите двадцать седьмую!

Тухачевский заторопился. Отдал распоряжение, чтоб к его поезду прицепили вагоны для роты курсантов охраны, чтоб начальник ВОСО приготовил «литер К» (остановка поезда только по техническим надобностям, или, как выражаются железнодорожники,— дать «зеленую улицу»). Перед глазами у Михаила Николаевича уже стояли дредноуты с двенадцатидюймовыми орудиями, мощные кронштадтские форты и предательски голубой мартовский лед залива.

Задача не из легких!

Но Тухачевский приступил к решению этой трудной задачи с большим подъемом. Его вдохновляло то, что Владимир Ильич снова, даже после неудачной прошло-

годней польской кампании, оказывает ему такое большое доверие! Значит, Владимир Ильич не изверился в полководческих способностях Тухачевского! И это не могло не окрылять командзапа.

3

Когда 5 марта Тухачевский приехал в Петроград, там уже были главком Каменев и начальник главного штаба Лебедев.

Тухачевский вступил в командование Седьмой армией, принял петроградский гарнизон и ждал прибытия вызванной двадцать седьмой дивизии, которая располагалась в Белоруссии, в Гомельской области.

Реввоенсовет республики дал приказ Тухачевскому:

«В кратчайший срок подавить восстание в Кронштадте. Предварительно предупредить восставших, что если в течение 24 часов возмущение не будет прекращено, то будут открыты военные действия».

К сожалению, под Кронштадтом, как и под Варшавой, политические и иные обстоятельства заставляли Тухачевского торопиться, заставляли начинать действия преждевременно, до того как сосредоточатся все силы, выделенные для удара.

Петроградский Совет занимался только переговорами и выжидал, начальник Политотдела Балтфлота Батис на запрос Реввоенсовета республики накануне восстания 28 февраля близоруко уверял:

«Особенного недовольства среди военморов нет. Наличие недовольства обыкновенного характера, вызываемое текущими событиями, как-то: вопрос о бессрочном и кратковременном отпуске, заминка в продовольственном вопросе. Влияние правых эсеров и меньшевиков по обыкновению ничтожно».

А когда Кронштадт избрал свой ревком и пошел против Советской власти, в Питере растерялись. Боялись, что вот-вот растает лед и что тогда мятежный Кронштадт ничем и никак не возьмешь.

Последнее соображение было весьма резонным, и

с ним не считаться никто не мог. Зиновьев требовал немедленного штурма еще и потому, что хотел сделать подарок Десятому съезду партии, открывавшемуся в Москве 8 марта, — утихомирить Кронштадт. Поэтому, не считаясь ни с чем, было решено идти на штурм первоклассной морской крепости по льду.

Сил у Тухачевского было явно недостаточно. В разговоре его с главкомом 6 марта Тухачевский прямо заявил о Южной Ораниенбаумской группе, которой отводилась главная роль в штурме:

«Вся группа Седякина, собственно говоря, еще не группа, а так, сторожевка на берегу моря из полутора десятков отрядов и столь же разрозненной артиллерии».

Тухачевский благодарил судьбу за то, что у мятежников нет ледокола. Он обломал бы вокруг Кронштадта лед и сделал бы совершенно немыслимой атаку пехоты.

Очень устраивала Тухачевского и пассивность мятежников, Кронштадт мог бы тогда же, 1—2 марта, захватить плацдарм на ораниенбаумском берегу. По рассказам перебежчиков, мятежники не выработали единого плана действий: одни хотели атаковать побережье и Петроград, другие предпочитали спокойно выжидать. Они рассчитывали продержаться до вскрытия льда. Тогда Кронштадт стал бы совершенно недосягаемым.

Тухачевский был вынужден назначить штурм в ночь с 7 на 8 марта.

Но что могли сделать полевые орудия против бетонированных фортов и против двенадцатидюймовых орудий дредноутов?

Кроме того, не благоприятствовала погода — стоял густой туман, а потом поднялась метель. Нельзя было корректировать стрельбу и пользоваться авиацией.

В пять часов утра 8 марта началась общая атака пехоты Южной Ораниенбаумской группы и Северной из Лисьего Носа. Кронштадтцы отбили штурм, хотя питерским курсантам удалось проникнуть даже в город.

Главная причина неудачи заключалась в недостаточности сил. Напрасной тратой снарядов оказалась и артиллерийская подготовка. Она только предупредила мятежников о готовящемся штурме.

Кронштадтцы не преследовали отступающих красных и не пытались захватить плацдарм на берегу. Крон-

штадтцы были слишком уверены в себе и наивно полагали, что до ледохода у Красной Армии не хватит сил и времени взять первоклассную морскую крепость.

Тухачевскому было ясно: военное руководство мятежников не на высоте.

4

Полки двадцать седьмой дивизии ехали к Петрограду, и никто из красноармейцев и младших командиров не знал, зачем их везут на север.

Не успел двести сороковой Тверской полк, которым командовал Александр Зайцев, выгрузиться в Красном Селе, как эсеровские агитаторы тотчас же попытались «обработать» красноармейцев. Уже тут — на платформе, на вокзале и пристанционной площади — среди солдат шныряли разные личности в мазуте и угольной пыли: не то железнодорожники, не то рабочие, не то моряки. Они рассказали красноармейцам, как Кронштадт восстал против коммунистов и выбрал свой «ревком» без большевиков, как 8 марта петроградские курсанты и чекисты хотели взять штурмом Кронштадт, но их отбили и во время штурма погибло тридцать тысяч курсантов, как линкоры стреляли из двенадцатидюймовых по Ранбову и не только здесь, в Красном Селе, но и в Петрограде в окнах звенели стекла, как вокруг Кронштадта весь лед заминирован. Кончая все эти басни, полупьяная чуйка, вихляясь, многозначительно напевала:

Я на бочке сижу,
Ножки свесила.
Моряк в гости придет —
Будет весело!

А в другом месте цыганского вида, с головы до ног промасленный паренек откровенно советовал красноармейцам:

— Не лезьте в эту кашу, ребята! Лучше валитесь лево на борт! — И, подмигнув, исчез в толпе.

Занятый выгрузкой, питанием и размещением полка, Зайцев не видел этой «обработки».

Полк кое-как разместился на ночлег: один батальон в пустующей даче, второй батальон занял станционное помещение.

Комиссар полка, черноглазый студент, сказал Зайцеву о том, что во втором батальоне ведутся пораженческие разговоры.

До выезда в Петроград двести сороковой полк стоял в нескольких деревнях Гомельской области. Питались красноармейцы скудно: триста граммов хлеба в сутки и никаких жиров и приварка. Половина красноармейцев ходила в лаптях, драных валенках или в опорках и в изодранных, немыслимых шинелях. Перед отъездом в Петроград полку выдали сто пятьдесят пар сапог и столько же шинелей. Дообмундировывать обещали по приезде на место.

Сегодня красноармейцы поели подходяще — им дали щи со снетками и кашу. Настроение было бы совсем неплохое, если бы не эти сомнения, которые посеяли в умах некоторых бойцов эсеровские шептуны.

Зайцев вместе с комиссаром полка пошел во второй батальон. Большинство красноармейцев спало на полу, на скамейках — кому где пришлось. Только у кафельной печки сидели — разговаривали и курили — сомневающиеся. Зайцев пристально оглядел их, кажется, все свои.

— Ну как, товарищи, поели?

— Поели, — не очень охотно отозвалось несколько голосов.

— Почему не спите? О чем толкуете? — спокойно спросил он, шагая через лежавших на полу бойцов.

Красноармейцы молчали. Никто не хотел отвечать на вопросы командира полка.

— Да вот толкуем: где это видано, чтоб пехота брала морскую крепость? — сказал, насмешливо щурясь, молодой подслеповатый боец.

— А как Суворов брал Измаил? — привел комиссар первый пришедший на ум пример. Он надеялся, что красноармейцы знают Суворова, но не очень помнят, где и какой Измаил.

— В Кронштадте столько кораблей и такие форты...— закашлявшись, поддержал подслеповатого пожилой боец, видимо служивший ранее в армии.

Красноармейцы ожили. Теперь уже говорили со всех сторон:

— У него ведь пушки не такие, как у нас. У нас три дюйма, а у него — двадцать!

— Слыхано ли дело, чтобы на форты идти с одними винтовками?

— А как же мы ходили на деникинские танки? — парировал Зайцев.— И на колчаковские бронепоезда? Забыли? С одними винтовками!

— Говорят, весь Кронштадт кругом заминирован. И лед, и все чисто... Чуть сунешься, тут тебе и крышка!

— На сухом месте я на черта полезу, а на льду... Спасибо!

— А ты Кронштадт видал? В Кронштадте бывал?— не повышая голоса, без нажима, спросил Зайцев.

— Не-ет... А что?

— Ты знаешь, какой величины этот остров Котлин? Если бы минировать вокруг него, то во всей Европе мин не хватило бы!

— Ежели мин нет, то почему же когда три дня тому назад штурмовали Кронштадт, то погибло сорок тысяч курсантов?

Зайцев искренне рассмеялся.

— Сорок тысяч? — переспросил он. — А может, пятьдесят? Ах и вруны! Ах и заливалы! Вот ловят дурачков! Да у нас во всей стране столько курсантов не наберется!

Красноармейцы на минуту замолчали. Чувствовалось, что их сомнения поколеблены убедительными доводами командира полка, его спокойствием, но еще не до конца.

— Братишки — вояки лихие, заядлые. Я видал, как они дрались на Украине!

— Да, настоящие балтийцы, революционные моряки дерутся по совести. Но в Кронштадте таких уже почти не осталось. Все давно разошлись по фронтам. Вон в прошлом году на польский фронт ушло с Балтики никак десять тысяч человек.

— А кто же остался? — с ехидцей спросил кашляющий.

— Новое пополнение, сынки разных питерских торгашей да пригородных кулаков и разные «клешники». Они только по виду моряки, по штанам, по клешу. У них, чем клеш шире, тем больше почета... Мы англичан, американцев, французов, итальянцев, немцев — всех не пересчитаешь — били, а вы «клешников» испугались!

— Кто говорит, что испугались?

— Набрехал тебе какой-то буржуйский прихвостень, а ты и рот разинул! Надо же свою голову на плечах иметь! Не так страшен черт, как его малюют! Ложитесь спать, отдыхайте! Завтра двинемся к Ораниенбауму. Я сам пойду на залив, посмотрю, как лед держит. И кто боится или сомневается — айда со мной! Поставить дневального, чтобы ни один чужой сюда не вошел! — приказал Зайцев, уходя с комиссаром.

5

На следующий день двести сороковой полк вместе со всей восьмидесятой бригадой прибыл в Ораниенбаум. Маловеры и сомневающиеся могли видеть: в Ранбове больших разрушений нет.

Вечером Зайцев вывел группу скептиков на лед. Шли не особенно охотно — в облаках проглядывала луна, но все-таки шли. В ночном небе густо неслись тучи. Сквозь их короткие разрывы нет-нет да и показывалась луна.

— Ну ее к лешему! И чего вылупилась? — недовольно смотрели вверх бойцы.

— С ней только к милушке на беседу лестно ходить...

— Не все же время светит. Вон тучки плывут, спрячется, — говорил Зайцев.

— А не луна, так сейчас ихний прожектор глотку распялит. И враз тебя найдет. Тут — что на блюдечке!

— Мы как черные мухи на белой скатерти,— ныли некоторые.

— Не бойтесь, нам белые халаты дадут, — успокаивал Зайцев.

— Белые халаты! — усмехнулись маловеры. — На всех халатов не напасешься!

— Знаешь ты: пол-Питера халаты шьет.

— Лучше бы сапоги дали...

— И сапоги выдадут.

— Держи карман...

Но все-таки, хотя и с опаской, а шли за командиром полка и чернявым комиссаром.

И тут, когда луна погружалась в тучи, по льду забегали щупальца прожекторов. Красноармейцы сбились

в кучу, жались под яркими лучами прожекторов, прятались друг за дружку. Зайцев и комиссар невозмутимо шли впереди всех. Им тоже было не очень приятно идти в слепящем, сильном луче, но они шли.

— Вот сейчас как вдарят по нам!

— От нас — одни брызги!

— А я и плавать не умею...

— А тебе плавать и не придется,— смеялись товарищи.

Но луч скользнул и побежал дальше. Сразу стало темно. Через минуту снова глянула луна. Прожектор погас.

Кронштадт молчал: то ли не увидал группу, то ли не пожелал мараться с такой горсточкой. Когда светила луна, силуэты крепости и фортов выделялись среди снегов черными пятнами.

Назад возвращались более веселыми.

— Что, товарищи, убедились — крепок лед? — спросил Зайцев, когда группа выбралась на берег. — Воды на льду много? Ведь говорили: по колено!

Никто не оспаривал фактов, и только один сухопутный маловер сказал:

— Сегодня лед крепок, а завтра неизвестно что будет...— Но говорил он уже без вчерашней запальчивости, а только так, чтобы не сразу сдавать свои позиции. Не хотелось признаться, что все оказалось выдумкой.

— Лед-то, может, еще и крепок, да все же на льду воевать скучно...

— А ты что, никогда льда не видал? Ты откуда? Из какого жаркого места? Из Баку, что ли? — улыбнулся Зайцев.

— Нет, мы брянские...

— Что же, у тебя озер и рек разве нет? Ты зимой по льду ни разу не ездил?

— Чуть станет озеро, мы, мальчишки, на лед. Пустишь по льду палку — она только гудёт!.. — весело вспомнил кто-то.

— Ну вот. А ты? Эх, трус! Ничего, выкурим «клешников»! — уверенно сказал Зайцев.— Так, товарищи?

— Придется выкурить, товарищ командир! — отозвались бойцы.

— Ну то-то!

Ночная прогулка по льду залива сделала свое дело.

6

Тухачевскому было очень неприятно, что первая попытка штурмовать крепость сорвалась. Он ведь знал, предсказывал, что так и случится, но на преждевременном, неподготовленном штурме Кронштадта настаивало питерское начальство. Сначала оно не предпринимало ничего, чтобы в первые дни обезвредить мятежников, всех этих Петриченко, потом неправильно информировало ЦК и Ленина и главное командование. Тухачевский докладывал обо всем Зиновьеву, но с ним не посчитались. Никто не ожидал, что мятежники будут так упорно драться.

Было неприятно, но Тухачевский, как всегда, не показывал вида. Защищать себя от нападок он не умел, зато в трудную минуту не падал духом, не терял уверенности и бодрости.

Тухачевский со всей своей энергией и настойчивостью принялся тщательно готовиться к окончательному штурму. В этот раз нужно сделать так, чтобы наверняка взять Кронштадт. Третьей попытки не могло быть — время работало на мятежников. Дело шло к весне, лед должен же когда-то растаять.

Тухачевский не выходил из здания штаба военного округа, где располагался штаб Седьмой армии. Забот было много — надо все предусмотреть и ничего не забыть. Нужно достать обмундирование, боеприпасы, продовольствие, собрать и сосредоточить артиллерию, наладить транспорт, связь и санитарное дело. Фронт необычен. Для него необходимы тысячи белых маскировочных халатов, санки для подвоза патронов и пулеметов и транспортировки раненых, штурмовые лестницы, шесты и доски. Нужно предотвратить возможную вылазку мятежников, чего они по своей бездарности до сих пор не предприняли, — укрепить берега проволочными заграждениями. Надо усилить сторожевую службу и авиационную разведку — аэропланы очень нервировали мятежников. И — самое главное — нужно поднять дух войск, преодолеть эту ледобоязнь, почаще выводить бойцов на лед.

Михаил Николаевич не забывал слова Наполеона: «Успех на войне на три четверти зависит от нравствен-

ной силы и только на одну четверть от силы физической». Моральное состояние бойцов подняли делегаты Десятого съезда партии, приехавшие из Москвы в Седьмую армию в количестве свыше трехсот человек.

Кронштадт был силен артиллерией и фортами, Питер — силен духом. Мятежники по-прежнему не предпринимали активных действий, хотя чувствовалось, что после 8 марта они ободрились. От перебежчиков Тухачевский узнал о том, что в Кронштадте продовольствие на исходе, что мятежники просят у западной буржуазии денег, угля и присылки ледокола.

Медлить было нечего. Тухачевский решил штурмовать Кронштадт 14 марта. Он немного опасался одного: выдержит ли весенний лед такую массу людей?

Тринадцатого вечером командарм-7 говорил по телефону со старым боевым другом Седякиным, командующим Южной группой.

— Александр Игнатьевич, как настроение войск?

— Хорошее.

— Как лед?

— Ничего, Михаил Николаевич.

— Как думаете, завтра он не станет хуже?

— Нет. Не только завтра. Старожилы-ранбовцы уверяют, что в нашем распоряжении есть еще несколько дней.

— А то, что была оттепель?

— Оттепель не изменила положения. Разве только согнала снег. Вот дороги развезло, это верно. Тракторы буксуют. А у нас еще снарядов маловато. Надо бы, Михаил Николаевич, маленько повременить.

— Ну что ж, обождем до шестнадцатого. Это последний срок! — ответил Тухачевский.

План Тухачевского заключался в следующем: ударить по наиболее слабому пункту — по петроградским воротам. Атаковать с обоих берегов, со стороны Ораниенбаума и Лисьего Носа. И, конечно, атаковать ночью, несмотря на все предостерегающие слова тактики о ночном бое. Михаил Николаевич помнил, что сказано в «руководстве прикладной тактики» генерала Безрукова:

«Ночные действия очень сильно отзываются на всех

участниках. Ночью люди особенно впечатлительны; малейший подозрительный признак легко вызывает панику. Распознать обстановку и управлять боем крайне мудрено, а иногда и вовсе невозможно».

Ну да на заливе никаких «подозрительных признаков», кроме возможных полыний, не будет!

Пятнадцатого марта в двадцать три сорок пять командарм-7 Тухачевский подписал приказ № 0444:

«Стремительным штурмом в ночь с 16 на 17 марта овладеть крепостью».

7

Стальною грудью
Вра́гов сметая,
Шла с красным стягом
Двадцать седьмая...

Песня дивизии

Шестнадцатого марта утром двести сороковой полк, как и другие полки восьмидесятой бригады, получил сапоги. Теперь у всех была более или менее сносная обувь. Хуже обстояло дело с шинелями — многие остались в своих старых, рваных.

— Ничего, в бою согреешься!

— Лишь бы ноги были в тепле!

— А у нас как положено: голова в холоде, брюхо в голоде, а ноги — в тепле...— хлопнул себя по красноармейской фуражке полковой остряк.

Но он шутил: здесь красноармейцы получали не триста граммов хлеба в день, как в Гомельщине, а восемьсот. И приварок. А сегодня выдали хлеба на двое суток и по две банки мясных консервов.

После полудня в полк доставили ножницы для резки колючей проволоки, штурмовые лестницы, доски и разные саночки и сани — перевозить по льду пулеметы, патроны и раненых. И, наконец, выдали всем обещанные белые халаты с капюшонами.

Все поняли: штурм сегодня...

Бойцы где-то раздобыли мел и взялись натирать мелом винтовки.

— А что, если натереть мелом и лицо? — спросил какой-то предусмотрительный боец.

— На твою личность мелу не достать, — отозвался шутник.

— Ты что, собираешься выступать клоуном? — язвительно заметил пожилой рабочий.

Сегодня Кронштадт молчал. Ораниенбаумская артиллерия все утро обстреливала крепость, но мятежники не отвечали. Лишь поздним вечером они открыли артиллерийский огонь из тяжелых орудий и зажгли в Ораниенбауме спасательную станцию и склад фуража.

Ночью перестрелка затихла. Прожекторы лихорадочно шарили по льду: мятежники тревожились. В четвертом часу ночи двести сороковой полк, как и остальные части, подняли для штурма и, не мешкая, повели на лед. Зайцев, шедший с комиссаром впереди полка, заметил вполголоса:

— Научились воевать. Бывало, вызовут из теплых хат, построят, а потом дадут команду «вольно» и часа два топаешь, мерзнешь без толку на холоду, пока поведут в бой. А теперь у товарища Тухачевского первое правило: насколько можно беречь бойца.

Сходили на лед. Обычно красноармейцы не очень умели соблюдать осторожность, но на этот раз двигались без шума. Каждый понимал, как важно поближе подойти к крепости незамеченным. На санях везли пулеметы и патроны, лестницы и доски. За пехотой шла связь — телефонисты тянули провод. Вправо и влево ушли дозоры. Кругом стояла тишина. Только слышалось, как под тысячами ног шуршит подтаявший на мартовском солнышке, ставший прозрачно-кружевным, стеклянным снег. Над заливом стлался густой туман, контуры людей в белых халатах растворялись в нем.

Кронштадтские прожекторы, словно устали за ночь, бездействовали. Да их работе мешали еще не потухшие окончательно пожары на ораниенбаумском берегу. Они окрашивали туман в оранжевый цвет, и в нем лучи прожектора теряли свою яркость.

Так незамеченными шли красноармейские цепи уже с час. Шли легко и бодро. Настроение было хорошее. И вот передали приказ:

— Ложись! Отдыхай!

Это решили дать отдых перед последним решительным броском. Цепи легли на снегу. Воды на льду еще

не было, но чувствовалось, что наледь близка: стоит лишь посильнее ударить ногой в лед, как она выступит.

Цепи лежали минут десять, когда в небо снова взметнулся широкий луч прожектора, а потом побежал от Ораниенбаума к Лисьему Носу, ощупывая залив.

В это время появился откуда-то сзади высокий человек — он шел мимо двести сорокового. Человек был не в белом халате, а в черной кавказской бурке с широко расставленными плечами, делавшими его похожим на ширококрылого орла. Луч прожектора на мгновение выхватил эту фигуру из тумана, и все узнали известного революционера и командира Яна Фабрициуса. Он приехал в числе трехсот делегатов Десятого съезда партии на штурм мятежного эсеровского Кронштадта.

Делегаты были распределены по ротам, батальонам, полкам. Часть их работала в штабах, но большинство было причислено к частям в качестве политруков или просто рядовых бойцов. Все узнавали среди делегатов плотного Дыбенко, бородатого Затонского, вспыльчивого Ворошилова. Их присутствие подняло моральный дух бойцов Седьмой армии. И теперь эта черная бурка Фабрициуса на белоснежном ледовом фоне залива, спокойный, уверенный голос отважного командира вселяли бодрость.

— А ну, товарищи, отдохнули, теперь — вперед! — сказал Фабрициус и пошел к Кронштадту.

Цепи поднялись. Прожекторы уже назойливо, старательно шарили по заливу: Кронштадт заметил наступающих и открыл огонь. Сзади, в Ораниенбауме, гулко забухали взрывы тяжелых снарядов кронштадтских орудий — мятежники хотели отрезать подход красной пехоты. Артиллерия Седьмой армии, расположенная от Мартышкина до Ораниенбаума, живо отвечала. Артиллерийский огонь с каждой минутой усиливался — перестрелку вело более трехсот орудий.

Зайцев шел, оборачиваясь, подтягивая отстающих, и видел впереди и сзади два ярких полукольца. В воздухе стоял немолчный грохот. Уже часть снарядов рвалась на льду. С визгом и воем отскакивая от гладкой ледяной поверхности, летели во все стороны осколки шрапнели. Высоко вверх подымались фонтаны воды и искрошенного льда. От подледных взрывов гнулся и пучился под ногами лед. Более догадливые втыкали в

лёд штыки, пережидая, когда он перестанет колебаться. И белый лед и белые халаты уже окрасились кровью. Кругом падали раненые и убитые.

Когда нервно скользивший луч прожектора освещал группу наступающих, бойцы под его ударом падали на лед. Падали и снова вставали. Под ногами уже хлюпала ледяная вода, полы намокших халатов хлестали по ногам. Вода уже проникала в рукава шинели, но было не до нее. Хотелось поскорее преодолеть эту опасную зону, поскорее выбраться в «мертвое пространство», где орудия фортов и кораблей уже не достанут. А снаряды то и дело разрывались на льду. Перед наступающими в секунду возникал целый пруд. В него попадали белые халаты. Красноармейцы барахтались, кричали, звали на помощь. Товарищи совали им доски, винтовки. Штурмующие упрямо рвались вперед.

И вот наконец — «мертвое пространство». Здесь орудия не страшны, но здесь царствуют стрекочущие «максимы» и «льюисы». И все-таки здесь — легче.

Зайцев по опыту знал: ничто так не подымает дух пехотинца, как винтовка, когда она перестает быть только грузом. Беспорядочно, но живо затрещали запоздавшие красноармейские залпы и затакали пулеметы. Но на льду не было укрытия. Бойцы ставили перед собой пулеметные коробки, салазки, защищая голову. Рядом с Зайцевым лежал какой-то незнакомый боец. Он выпускал обойму, а потом, когда руки перезаряжали винтовку, пригибал голову к правому локтю Зайцева.

— Что делаешь? — закричал Зайцев.— Шальная пуля сразу прошьет обоих!

Низкое небо начинало сереть. Туман рассеялся. Теперь по всему заливу плавал пороховой дым.

Как ни строчили из-за проволочных заграждений кронштадтские «максимы», но красноармейцы уже пробились к заграждениям. Они, забросав их гранатами, вышибали прикладами, вырубали топорами, выламывали колья из льда руками. Проделав в проволочных заграждениях проход, устремились в него.

— Вот он, мятежный Кронштадт!

— Даешь Кронштадт!

Царапаясь о скрученную проволоку, путаясь в ее колючих репьях, бежали красноармейцы.

Зайцев выбежал вместе с другими на берег. Он пе-

репрыгнул через распростертое тело в черном бушлате. И тут из углового дома отозвался невидимый пулемет. Захлебываясь, он неистово залопотал. Что-то сильно хлестнуло Зайцева по ногам, и он упал.

8

С красными от бессонницы глазами, смертельно усталый за последние пять дней напряженной, нервной работы, но по-всегдашнему энергичный и бодрый, Михаил Николаевич Тухачевский принимал сводки с Кронштадтского фронта.

Операция начата без опоздания. Лед выдержал, и выдержали люди. Штурм проходил успешно.

Бойцы Седьмой армии, самоотверженно преодолевая все препятствия, сбивали на всех участках упорно защищавшихся мятежников. Дивизия Путны ступила на кронштадтский берег с развернутыми знаменами. По льду залива лихо промчался двадцать седьмой кавалерийский полк — он тоже спешил на штурм. Не было недостатка в проявлении храбрости и находчивости отдельных бойцов и командиров.

Пятьсот первый стрелковый полк попал под сильный перекрестный огонь и вынужден был залечь. И никакие слова командных приказов и увещевания не могли заставить бойцов подняться. И вдруг в цепи вскочил один боец и бесстрашно начал плясать вприсядку, задорно припевая:

Ах, барыня, барыня,
Барыня, сударыня!
У барыни много кос,
Любит барыню матрос! ..

Цепь взорвалась смехом. Настроение было переломлено.

— Даешь матроса! Даешь мятежников! — взревела цепь и бросилась вперед.

Находчивым певцом и танцором оказался делегат съезда, комиссар бригады Одиннадцатой армии товарищ Кавалерс.

— Молодец комиссар! — похвалил Тухачевский. — И фамилия подходящая: Кавалерс! Настоящий кавалер ордена!

Но с такими приятными вестями приходили и печальные — потерь было много. Оказался тяжело раненым командир двести сорокового Тверского стрелкового полка Александр Зайцев.

— Ах, Саша! — пожалел Тухачевский своего приятеля.— Отвоевался, Сашенька! Жалко!

В тринадцать часов командарм-7 говорил по прямому проводу с главкомом, доносил об удачном штурме.

Тухачевский доложил, что Северная группа после жестоких боев заняла форты № 4, 5, 6 и «Г». Один батальон уже вступил в северо-западную часть города. Южная группа ведет упорную перестрелку в центре Кронштадта. Вообще бои с мятежниками носят крайне ожесточенный характер.

— Вот результаты первой половины дня, — закончил доклад Тухачевский. — Сейчас выезжаю в Южную группу.

— Не окажется ли, что ваш отъезд нарушит стройность в управлении и задержит получение нужных сведений? — забеспокоился главком.

— Нет. Связь у нас хорошая. Управления не потеряю. Мне важно уловить дух Южной группы,— ответил Тухачевский.

В эти часы ему не сиделось в Петрограде. Он выехал в Ораниенбаум. К ночи мятеж был подавлен. Кронштадт снова стал красным часовым революционного Питера.

ЭПИЛОГ

Председатель колхоза «Борьба» Александр Васильевич Зайцев позавтракал и уже собирался уходить на скотный двор, когда почтальон, краснощекая, как снегирь, Оля, принесла газеты — районную и ЦО «Правду».

Зайцев взял «Правду» и заковылял на костылях к столу.

— А ну, посмотрим, что сегодня у нас на съезде, — садясь, сказал он сыну Володе.

Володя, ученик четвертого класса, по случаю воскресенья бывший дома, охотно сел рядом с отцом. Зайцев развернул газету.

— Тридцать первое января тысяча девятьсот три-

дцать пятого года, четверг. «Кровно народная, непобедимая», — прочел Зайцев заглавие передовицы.

— Вот, брат Володя, это про нас, про нашу Красную Армию!

— Прочти, папаня!

— Некогда. Надо сходить на скотный. Потом прочтем. А пока только посмотрим.

Справа была напечатана большая фотография. Зайцев взглянул и заулыбался:

— Михаил Николаевич говорит, вишь какой! Глаша, ступай погляди! — кликнул он жену, которая возилась у русской печки.

Глафира Ивановна, вытирая на ходу фартуком руки, подошла к столу.

— Ну, что тут? — спросила она, глядя из-за плеч мужа на газетный лист.

— Вот смотри, наш Тухачевский,— ткнул пальцем в газету Зайцев.— Стоит на трибуне. Это, брат, в Кремлевском дворце. Видишь, здесь так и сказано: «Бурными, горячими овациями встретил вчера съезд заместителя Наркома обороны Союза тов. Тухачевского, который в своей великолепной речи красочно иллюстрировал. . .» — прочел он.

— А кто же это вверху сидит? — перебила Глафира Ивановна.— Никак Михаил Иванович Калинин. И Сталин. . .

— И Буденный,— подсказал Володя.

— Это все президиум, — уточнил Зайцев. — Слева от Сталина — Калинин, справа Клим Ворошилов. А вон на трибуне, видишь, говорит речь Михаил Николаевич Тухачевский. . .

— Не старый еще. . .

— Мой ровесник: ему — сорок два. И красивый — беда! По нем все штабные девушки сохли,— улыбнулся Зайцев, глядя на жену.

— А ты откуда его знаешь? — удивилась жена.

— Тю! Забыла? Да я с ним в германском плену был. В Вормсе. Я же тебе рассказывал. Вместе с Тухачевским немецкую баланду хлебали, вместе на голых нарах спали, вместе из поезда бежали.

— Ах, это с ним? — наконец вспомнила Глафира Ивановна.

— Да, с ним. Простой, душевный мужик! Он у нас

в лейб-гвардии Семеновском в седьмой роте младшим офицером служил.

— Так он что, из офице-еров? — немного разочарованно протянула Глафира Ивановна.

— Да, подпоручик.

— Должно, из помещиков?

— Отец у него — помещик, а мать чистокровная крестьянка. Мавра Петровна. Интересно: у Тухачевского мать — Мавра и у Фрунзе — Мавра. Только у Тухачевского Мавра Петровна, а у Фрунзе — Мавра Ефимовна...

— Скажи-ите! — удивилась Глафира Ивановна.

— Папаня, а Тухачевский — храбрый?

— Храбрый, сынок. Когда наша Петровская бригада — Преображенский и Семеновский полки — в тысяча девятьсот четырнадцатом году форсировала реку Сан, австрийцы подожгли мост. Мы бежали по горящему мосту.

— А как же вы бежали, если мост горел?

— А вот так и бежали. Тухачевский бежал впереди роты. С винтовкой в руке. Он, брат, боевой командир. В Красной Армии вон как отличился! Владимир Ильич его ценил, назначал на самые ответственные участки. Тухачевский чехословаков прогнал, Колчака разбил, Деникина доконал, под Варшаву ходил, в Кронштадте порядок навел!

— Это когда ты ранетый был?

— Тогда, сынок.

— А он был ранетый?

— Нет. Тухачевский командовал Седьмой армией. Находился в Петрограде. Команду отдавал... Ну, я пойду,— беря костыли, поднялся Зайцев.— Приду, тогда, Володя, будем читать всю речь Михаила Николаевича. Он толково говорит!

— Папаня, а теперь он кто, Тухачевский?

— Вот голова! Я же тебе сказывал: заместитель Наркома обороны!

— А куда же Тухачевского дальше пошлют?

— А куда бы его ни послали,— ответил отец,— Тухачевский всегда останется Тухачевским!

1962—1966
Ленинград — Горская

Константин ЗАСЛОНОВ



Героическим белорусским партизанам

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны!

Янка Купала

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Гулко отдаваясь в необъятных просторах депо, проревел первый гудок. На дворе уже ярко светило щедрое июньское солнце, а здесь, под высокими сводами промывочного цеха, переплетенными сеткой железных балок, еще лежал полумрак. Все трое ворот, сквозь которые в «промывку» свободно проходили одновременно три паровоза, были, как всегда, закрыты наглухо.

Посреди депо, на стойлах, ждали приготовленные для промывки паровозы. Слева возвышался новенький коричневый «ФД», быстроходный товарный. Справа — с обдерганной обшивкой и измятыми подножками — «О», многострадальная «овечка», бессменный маневровый труженик конструкции далекого 1900 года.

Между стойлами, у слесарного верстака, беседовали в ожидании начала работы дневной смены паровозники: приземистый, вечно кашляющий старик Куль с «овечки» и оба машиниста «ФД» — слегка сутуловатый Норонович и худощавый, с энергичным лицом Анатолий Алексеев.

Оба напарника высоки ростом и улыбчивы, но Алексеев улыбается широко, простодушно, а Норонович — иронически.

С ними вместе стоял старый арматурщик, низенький, розовощекий Генрих Манш.

С «ФД» сошел вниз, вытирая паклей измазанные руки, кочегар Петрусь Белодед. Петрусь робок и светловолос. Глядя издали на Петруся, на его черным-черную от угольной копоти и сажи одежду, на его угловатые от робости движения, казалось, что он весь — не-

гнущийся, точно из чугуна, и только волосы у него из податливой желтой меди.

Петрусь на секунду остановился, прислушиваясь к разговору механиков — подходить он не решался.

— Заслонов с каждым умеет говорить, это верно, но из Штукеля все равно не выйдет толкового работника! Не-ет! — сказал и натужно закашлялся Куль.

— Константин Сергеевич никогда не избавляется от слабого работника, а помогает ему. И, прежде всего, старается найти причину, которая все вызывает! — прибавил напористый, быстрый Алексеев.

— Тут причину-то и находить нечего,— процедил Норонович. Он всегда говорил каким-то вялым, безразличным голосом, будто нехотя, но у него — что ни слово, то подковырка.— Причина — налицо. Как в той присказке: «Янка, ты коня поил? — Поил.— А что ж у него морда суха? — Конь воды не достал!..» Вот она причина. Никчемный человек Штукель! — щурился в иронической улыбке Норонович.

— Анатолий прав: слов нет, Заслонов всегда смотрит в корень,— продолжал Куль. — Что с тобой ни случилось — опоздал ли к поезду, не выдержал ли графика, он обязательно спросит: «А дома благополучно? Жена, дети — здоровы?»

— Был я у Штукеля в доме. У него и там: семь ворот да все на огород! — махнул рукой Норонович.

— А что, парторг настаивал на том, чтобы Заслонов понизил Штукеля? — спросил Манш.

— Да, хотел перевести на год в помощники,— ответил Куль.

— И Константин Сергеевич воспротивился?

— Еще как! Чуть не разругался!

— Не-ет, это преувеличено! — поморщился Алексеев.

— Ну, как сказать: Заслонов вспыльчив! — улыбнулся Манш.

— Верно, наш дядя Костя не какая-либо телятина. Он, брат, на все ярый. Не смотри, что на вид такой спокойненький! — подмигнул Норонович.

Петрусю этот разговор о нерадивом машинисте Штукеле был совсем неинтересен. Он отошел от механиков.

В «промывку» то и дело входили рабочие.

Шумной ватагой ввалились молодые слесари-комсомольцы: Женя Коренев, Леня Вольский, Коля Домарацкий и Алесь Шмель. Это — две неразлучные пары.

За угрюмым, не по летам сосредоточенно-серьезным Леней Вольским ходил тенью («как нитка за иголкой» — трунил Алесь Шмель) веселый, общительный Женя Коренев, самый молодой слесарь. Женя поступил в депо шестнадцати лет.

Черноглазый Домарацкий, парень спокойный, уверенный в себе, хороший слесарь и первый в железнодорожном клубе актер, дружил с маленьким Алесем Шмелем. Алесь длинноно с и осповат, но, как говорится,— на все руки: сноровист и ловок в работе, душа компании на отдыхе. Он хорошо играл на гитаре, мандолине и прочих струнных инструментах и не лез в карман за словом.

Женя Коренев продолжал что-то рассказывать на ходу:

— У «СУ», говорю, гудок пятитонный.— «А что это значит?» — спрашивает она. А Алесь отвечает: «За один, говорит, нажим гудка расходуется пять тонн пара. . .»

— И она поверила?— обернулся к Жене Вольский.

— Поверила! — загоготал Женя.

Алесь только улыбался.

— Ну, Петрусь, видал, какой сегодня денек! — подходя к Белодеду, весело хлопнул его по плечу Алесь.

— А с ночи совсем почти похоже было на дождь,— ответил Белодед.

От нерешительности и робости Петрусь никогда не выражался категорически, определенно, а всегда с какими-то оговорками.

— Что ты, Петух, бредишь? Какой там дождь!

— Нет, я не говорю — дождь, а вроде как бы тучи немного собирались. . .

— Ребята, поедем завтра кататься на лодке! — обратился ко всем Алесь. — Ух и накупаемся! . .

Он взмахнул руками, точно уже плыл.

— Ты что, разве забыл: ведь завтра играем с городскими! — возмутился Женя Коренев: он был бессменным капитаном деповской футбольной команды.

— Мы же играем после обеда. А утром что ты будешь делать?

— Кататься на лодке с утра как-то неинтересно. Лучше поедем вечерком, после футбола.

— Как после футбола? — вмешался Домарацкий. — Вечером же в душевом комбинате выступление самодеятельности!

— А ну вас! Видно, с вами каши не сваришь! Один — с футболом, другой — с театром! — досадливо махнул рукой Алесь и отошел к Вольскому.—Леня, поедем с тобой!

— Не поеду! — буркнул Вольский.

— Почему?

— Что я, Оршицы не видал?

— Если бы грибы собирать, Леня поехал бы,— подмигивая товарищам, сказал Женя.

Но Вольский ничего не ответил. Он вынул из-за пазухи книгу, завернутую в газету, и, примостившись на тележке, стал читать, не обращая внимания на то, о чем говорят его друзья.

К нему подошел Петрусь.

— Какую это ты книгу читаешь?

— «Педагогическая поэма».

— Интересная?

— Очень.

— Где взял, в клубе?

— Нет, мне дядя Костя дал.

— Ишь ты! — вырвалось у Петруся.

Он с уважением посмотрел на Леню: сам Заслонов дал ему книгу!

— Ребята, а что это сегодня Борис Нестерович носится как угорелый? — спросил Коренев, указывая на дежурного по депо, который с озабоченным видом пробежал через «промывку».

— Кажется, опоздал поставить на промывку паровоз. Вроде, говорят, Щ-726, — объяснил Белодед.

— Почему?

— Под экипировкой скопилось много паровозов, что ли...

— Ну и достанется же ему сегодня от дяди Кости на орехи!

Последние слова покрыл гудок. Это был второй — без пяти минут восемь.

— Леня, бросай читать, дядя Костя идет! — толкнул Вольского Алесь Шмель.

В депо неторопливо вошел среднего роста тридцатилетний человек. Правильные черты его лица были приятны. В спокойных карих глазах, в раздвоенном, крутом подбородке человека чувствовалась твердость характера.

Это был начальник депо Орша, по-железнодорожному «ТЧ», а по-деповскому — «дядя Костя», Константин Сергеевич Заслонов.

2

Сегодня сам «ТЧ», а не его заместитель, Сергей Иванович Чебриков, осматривал приготовленный для промывки паровоз.

Наверху, с молотком в руке, ходил вокруг «ФД» приемщик Наркомата, а Заслонов, надев комбинезон, лазил где-то под паровозом в смотровой канаве. Его свеча медленно подвигалась вдоль паровоза; Заслонов стучал по гайкам и бандажам, как дятел. Пробовал, все ли в порядке.

За ним, пригнувшись, ходил высокий Анатолий Алексеев, которому «ТЧ» указывал на все неполадки.

Норонович остался в паровозной будке с Генрихом Маншем. Арматурщик возился с инжектором, один помощник машиниста набивал сальники, другой чистил арматуру. Петрусь Белодед старательно тер паклей, смоченной в минеральном масле, тендер. С каждым его мазком тендер оживал.

К нему подошел проходивший мимо помощник с «овечки»:

— Ишь ты на каком красивом поедешь, Петрусь!

— Вроде как будто чистый,— улыбнулся довольный Белодед.

— А уголек какой набрали?

— Думается мне, ничего. Смесь подходящая, не самая лучшая, но все-таки... Поедем весело!

— Завидую тебе: на такой машине работаешь! — сказал кочегар, уходя.

Каждый паровозник мечтал о том, чтобы ездить на «ФД».

Петрусь только кашлянул от удовольствия и еще усерднее стал тереть и без того блестящий, шоколадно-коричневый тендер.

Из конторы с бумажкой и карандашом в руке в цех вошла белокурая, в белой блузочке Вера Шмель. Она осторожно обошла рогатую тележку для перевозки дышла — с цепями и громадными клешнями, — стоящую на дороге, и направилась к «ФД». Вера смотрела по сторонам, видимо, разыскивая в «промывке» кого-то.

Навстречу ей шли Вольский и Коренев.

— Здравствуйте, мальчики! Какие вы черненькие! — жеманно посторонилась она, уступая им дорогу.

— А вы, Верочка, какая беленькая! — улыбнулся Вольский.

— Позвольте черненьким притронуться к беленькой... — протянул к ней руку Алесь.

Вера ударила его по пальцам.

— Я хотел дотронуться только до бумажки...

— Когда будете «ТЧ», тогда и тянитесь к бумажке, слесаришка! — с притворной сердитостью сказала она.— Мальчики, а где дядя Костя? — уже ласково спросила Вера.

— Где же ему и быть, как не под паровозом!

Ребята оглянулись.

Заслонов как раз показался из смотровой канавы. Константин Сергеевич вылез и, протягивая руку Алексееву, вылезавшему вслед за ним, продолжал:

— Обратите внимание, товарищ Алексеев, на подбивку паровозных букс: некоторые подбуксовые коробки болтаются. Освежите подбивочку. Я доволен, доволен. Машина у вас в хорошем состоянии. Чистенькая. Вы ко мне?— увидел он подходившую Веру Шмель.

— Да. Подпишите, Константин Сергеевич!

Заслонов взял из Вериных рук бумажку и химический карандаш.

— Какое сегодня число? — спросил он, подписывая.

— Двадцать первое июня, — подсказал Алексеев.

Уходя из «промывки», Вера глянула в тот угол, где работали Вольский и Коренев. Друзья не видели ее. Они держали какую-то деталь и горячо спорили.

— Я ж говорил тебе: скоба лопнула на сварке! — убеждал друга Женя.

Осмотр паровозов был окончен. Солнце пробивалось уже через верхние стекла высоких окон и косыми столбами лилось в цех. В солнечных лучах еще заметнее стал дым, который плавал по цеху. Это надымил пере-

носный горн, стоящий за «овечкой»: котельщики выпрямляли и заклепывали погнутые во время маневровой работы подкладки под буферные стаканы.

Заслонов недовольно сдвинул черные, густые брови. Его карие, всегда спокойные глаза сердито вспыхнули.

— Откройте вытяжной зонт: надымили, как в овине! — сказал он, проходя мимо котельщиков.

Навстречу ему неслось из радиорупора:

Широка страна моя родная...

Эта была любимая песня Константина Сергеевича. Заслонов шел и тихо насвистывал ее.

3

Продолжался обеденный перерыв. У нарядческой, на солнышке, собралась молодежь. Ребята обступили худощавого, жилистого старика Антона Куприяновича, которого все звали «Куприянович».

Куприянович — старый железнодорожник. Давным-давно, когда большинства его слушателей и на свете еще не было, Куприянович служил в Петербурге сцепщиком на Варшавской дороге. Во время работы ему отдавило пятку. Куприянович стал хромать и потому вынужден был уйти со службы. Жил он неподалеку от Орши, работал в колхозе. А бывая в городе, наведывался по старой памяти в депо. Все любили Куприяновича за то, что он был веселый, занимательный собеседник.

Сегодня молодежь подбила Куприяновича на разговор о женщинах, о семье.

Дед сидел на скамейке, курил и говорил:

— Женщину надо, мои милые, уважать. Она и жена, и сестра, и мать. Ведь неспроста говорится: «Сорок батек на году, одна матка на роду!» И заботы у женщины не меньше, чем у нас. Вот, к примеру, взять выходной день, воскресенье. Мужик встал и пошел к соседу побриться. Брились-голились, а потом сидят, тары-бары разводят. А у бабы ни минутки свободной. Один малый в люльке верещит, а второй за подол тащит: «мамка, есть хочу!» Варево в печке выкипело — долить надо, а воды в хате ни капельки. Схватила коромысло да за водой. Принесла воды, видит — дров в печке мало. Побежала за дровами. Глядь, петух в ого-

род кур зазвал — грядки дерут. Только выгнала кур, соседка кричит: «Настя, свинья в бураки залезла!» Бросила все, побежала выгонять свинью из огорода. Вернулась в хату — стоит и сама не знает, за что раньше схватиться: детей кормить или водицы от устали попить. А через минуту — муж шасть в хату. «Что ты, женка, все еще топаешь? Люди давно позавтракали, а у нас. . .» Вот как бывает,— закончил Куприянович.— Женщину надо, мои милые, уважать!

— Правильно!

— Здóрово!

— Молодец, Куприянович!

— Ну, иная баба боится мужика, как волк козы,— ухмыльнулся подошедший Норонович.

— А-а, браток, всякий гад на свой лад,— живо ответил Куприянович.

К нарядческой подходил «ТЧ». Он не переносил, когда деповцы собирались и кто-либо рассказывал анекдоты, и потому уже издалека недовольно нахмурился, но, увидев Куприяновича, сменил гнев на милость: Заслонов ничего не имел против бесед деда.

— Здравствуй, Антон Куприянович! — приветствовал он старого железнодорожника. — Что, учишь ребят сцепке? — пошутил «ТЧ».

— Плетет кошель с лаптями, — ядовито буркнул Норонович.

Дед пропустил мимо ушей ироническое замечание машиниста.

— Учу ребят, товарищ начальник, учу, как на свете жить! — словоохотливо ответил Куприянович, пожимая руку Заслонова.

4

Уже полтора часа работала вторая смена. В депо все шло обычным, заведенным порядком, и Константин Сергеевич позволил себе сходить домой выпить чаю.

Вечер был тихий. Жара нехотя спадала. Все предвещало и на завтра такой же, до отказа насыщенный солнцем и покоем, день.

«Завтра — воскресенье, значит, можно будет покататься на мотоциклете»,— подумал Константин Сергеевич: он купил себе весной мотоцикл «Промет».

Заслонов всегда шел домой через станцию.

Когда Константин Сергеевич прошел пути, мимо него с грохотом промчался шестнадцатый скорый «Брест — Москва». Из паровозной будки глянуло задорное, загорелое лицо помощника машиниста Сергея Пашковича, сидевшего за левым крылом.

Перрон сразу наполнился народом. Из вагонов на платформу прыгали пассажиры и, как всегда, спрашивали у проводников: «Долго стоим?», «Где буфет?»

— Товарищ «ТЧ», здравствуйте! — тронул кто-то Константина Сергеевича за локоть.

Заслонов обернулся. Перед ним, с портфелем в руке, стоял секретарь райкома, Иван Тарасович Ларионов, видимо, приехавший с шестнадцатым.

Это был небольшого роста, худощавый седой человек лет сорока.

— Что, с работы? — спросил он у Заслонова после первых приветствий.

— Какое там! У меня работа — круглые сутки. Вырвался на полчасика домой выпить чаю. А вы, товарищ Ларионов, из Минска?

— Да.

— Я в Минске с полгода не был. Как он там?

— Не узна́ете: строится, растет — день ото дня становится красивее!

— Как и вся наша страна. Так и должно быть! А урожай под Минском какой?

— Не хуже нашего. Хлеба́ и травы прекрасные. Будет у нас и хлеба и кормов вволю. Вам, железнодорожникам, придется потрудиться с перевозкой зерна.

— Перевезем. Скоро уж и вагоны под зерно начнут прибывать.

— А своих слесарей на уборочную готовите посылать?

— Готовим. Поможем.

— Дело доброе. Уборка не за горами.

Они вышли на привокзальный двор. Райкомовская «эмка» ждала у киоска.

Шофер улыбался, приветствуя обоих.

— Садитесь, товарищ Заслонов, подвезем,— предложил Ларионов.

— Благодарю, мне недалеко. Я хочу пройтись, вечер-то какой чудесный! Завтра я вдоволь накатаюсь на своей «жар-птице».

— У товарища Заслонова мотоцикл — красота! — похвалил шофер. — «Промет». Настоящая «жар-птица»!

— Как же, как же, знаю, видел! — ответил секретарь райкома, садясь в «эмку». — До свиданья!

Константин Сергеевич приподнял фуражку, прощаясь, и направился домой.

Подходя к дому, он уже издали увидал своих: жена, Раиса Алексеевна, сидела с книгой у раскрытого окна, а «бусеньки», как называл Заслонов дочерей, играли в палисаднике. Младшая Иза — ей было полтора года — бегала, а восьмилетняя Муза делала вид, что ловит сестренку и не может поймать. Потом, вероятно, мама сказала им из окна: «Дети, папа идет!»

И обе девочки, увидев отца, кинулись к нему навстречу.

Иза неумело, но что было сил бежала впереди. Красный бант в ее волосах смешно подпрыгивал. А Муза — сзади, за нею, готовая подхватить сестру, если она будет падать.

Тогда Константин Сергеевич тоже пустился бежать им навстречу. Он не просто бежал, а при этом смешно приплясывал, выделывая ногами уморительные коленца.

Муза хохотала, глядя на то, что делает отец, а Иза была всецело поглощена своим бегом. Она взглянула на отца только тогда, когда очутилась у него на руках.

Константин Сергеевич схватил Изу на руки и, целуя, понес к дому. Он по-прежнему не переставал смешно выплясывать.

Муза, хохоча, бежала сбоку.

— Смотри, начальник депо сошел с ума! — неодобрительно сказал жене сосед Заслоновых, старик Борух Кнот, сидевший у дома.

— Дай бог, чтобы все так посходили с ума, как товарищ Заслонов, — умильно улыбаясь, ответила его жена, Брайна Кнот.

5

— Женя! Женя! — позвали с улицы.

Женя чистил в коридоре костюм, собираясь идти к Константину Сергеевичу. Он вбежал в комнату и так, со щеткой в руке, выглянул из окна.

Перед домом стояли Коля Домарацкий и Алесь Шмель. Алесь держал мандолину — он, видимо, уговорил-таки Домарацкого отправиться на прогулку с утра.

— Куда это вы? — спросил Женя.

— Поедем с нами кататься на лодке,— предложил Коля.

— Не могу.

— Почему?

— Обещал быть в одном месте.

— Кому это обещал? — хитро сощурился Алесь.

— Дяде Косте,— не без гордости ответил Женя. — Поеду с ним на мотоциклете. Я ведь помогал ему красить машину.

— Вот оно что-о! — с завистью протянул Коля. — Куда же вы поедете с дядей Костей?

— Должно быть, за Днепр, по шоссе. . .

— Ну что ж, поезжайте, глотайте пыль, а мы покатаемся на лодочке, — сказал Алесь и, наигрывая на мандолине веселый марш, ушел вместе с Колей.

Женя привел себя в порядок и глянул в зеркало. Он увидел те же голубые, быстрые глаза, русые волосы, стриженные «под польку», и на щеке знакомую царапину — след последней футбольной игры.

— Мама, я пошел! — сказал Женя, выходя из дому.

Константин Сергеевич Заслонов жил неподалеку, в маленьком деревянном доме.

Подходя к дому, Женя издалека увидал перед крыльцом красный «Промет». Возле него стоял, окруженный соседскими ребятишками, дядя Костя. Тут же были и его дочери — Иза и Муза.

— Вовремя явился. Пришел бы чутеньки попозже, я бы уже укатил, — здороваясь с Женей, сказал дядя Костя. «Чутеньки» было любимым словечком Заслонова.

— Константин Сергеевич, как же можно опоздать? Приказ есть приказ,— весело ответил Женя.

— Ну, тогда поехали!

Дядя Костя повел мотоциклет. Женя повернул кепку козырьком назад и вскочил на багажник. Он сидел сзади за Константином Сергеевичем.

Красный «Промет» помчался по дороге.

— Жар-птица! Жар-птица! — кричали сзади мальчишки, напрасно старавшиеся догнать мотоцикл.

Железнодорожная линия, где пели рожки стрелочников, знакомые улицы и дома поселка побежали назад.

Еще несколько минут — и вслед за ними умчался мост через Днепр. Купающиеся ребятишки на одно мгновение мелькнули на берегу.

Какая-то шалая собачонка, выбежавшая из дома, тявкнула и пропала.

Впереди протянулась ровная лента шоссе.

Утро было ясное и тихое. Ветерок свистел в ушах у Жени, приятно холодил лицо и шею.

Тридцать километров незаметно остались позади. Солнце уже поднялось и основательно припекало. Становилось жарко. День выдался безветренный и душный.

Дядя Костя выключил мотор.

— Отдохнем, Женя! — сказал он, слезая.

Заслонов остановил мотоцикл на шоссе и ушел с Женей в тенек придорожных берез.

— Что, разве плохо прокатились? — спросил он, ложась на траву.

— Очень хорошо, Константин Сергеевич! Великолепно! — ответил Женя, обмахиваясь кепкой. — Теперь бы только искупаться! — улыбнулся он.

— Искупаться, а потом почитать хорошую книжку!

— Да, — согласился Женя, умолчав о том, что летом он охотнее гонял бы мяч, нежели читал книгу.

Положив под голову руки, Заслонов лежал и смотрел в небо. Легкие белые облачка таяли в голубом просторе. Где-то там, вверху, таяла и песня жаворонка, неутомимо взбиравшегося по своей невидимой лесенке.

— Ну, как твоя последняя авиамодель? — спросил Заслонов.

Он знал, что Женя в свободную минуту мастерит дома модели самолетов.

— Погибла! — смущенно почесал затылок Женя.

— Как так?

— Вчера бабушка сожгла...

— Почему?

— Она говорит: «Искала лучинок на растопку самовара, вижу — подходящие палочки... Взяла и сожгла...»

— Значит, придется делать новую? — спросил, улыбаясь, Заслонов.

— Сделаю новую! Лучше сделаю! — уверенно ответил Женя.

— А ты знаешь, что я когда-то поступал в летную школу; тоже, как и ты, хотел быть летчиком? — спросил дядя Костя.

— Вот это дело! — загорелся Женя.— Летчиком быть, Константин Сергеевич, лучше всего! Летчик лучше всех защищает Родину!

— Родину каждый должен защищать лучше всего! — раздельно сказал Заслонов.

Издалека послышался рожок машины. Заслонов приподнялся на локте.

Обгоняя медленно и беспорядочно тащившиеся по всей дороге к Орше какие-то подводы, мчалась легковая машина. Константин Сергеевич сразу узнал ее: это была райкомовская «эмка».

Поравнявшись с красным мотоциклом, «эмка» остановилась.

— Товарищ «ТЧ», никак у вас авария? — сквозь спущенное окно кабинки весело окликнул Заслонова секретарь райкома.

— Здравствуйте, Иван Тарасович,— встал Заслонов.— Моя машина в порядке. Я только отдыхаю на травке среди цветов. Наслаждаюсь. В депо такой прелести нет!

— Не скажите — у вас в депо хорошие газоны.

— Да, но паровозы исправно посыпают их уголечком. А тут вот какая благость. Хороший денек — только сено убирать.

— Я вот чем свет и поехал на косовицу. Так что ж, садитесь, подвезем! И «Промет» ваш как-нибудь прихватим!

— Товарищ Заслонов никогда не допустит этого,— обернулся райкомовский шофер. — У него своя машина всегда в аккурате. Сам мастер!

— Благодарю, Иван Тарасович, я как-нибудь дотрясусь!

— Ну, бывайте!

Секретарь райкома помахал рукой.

«Эмка» легко взяла с места.

— Надо ехать и нам. Довольно отдыхать! — сказал Жене дядя Костя.

Они сели на мотоциклет. Телеграфные столбы, под-

воды снова побежали назад. Навстречу им стремительно неслась Орша.

Вот уже и мост через Днепр.

Еще издалека Заслонов увидал на площади толпу.

«Неужели такая очередь на автобус?» — подумал Заслонов.

Но тотчас же заметил: один автобус стоял у остановки, второй — поодаль, и никто не обращал на них внимания.

Все головы были подняты вверх, к черной пасти радиорупора, висевшего на столбе.

Заслонов остановил мотор и прислушался. Из рупора несся бодрый, боевой марш.

Народ расходился. Лица у всех были возбуждены. Люди уходили с площади, продолжая горячо о чем-то говорить друг с другом.

— Что случилось? Что передавали? — спросил Константин Сергеевич у какой-то женщины, которая быстро шла от площади.

— Война! Фашисты на нас напали! — ответила женщина и встревоженная побежала дальше.

— Война-а! — удивленно повторил Женя.

Константин Сергеевич разогнал мотоциклет. Тот взревел сиреной и помчался.

«В депо! Скорее в депо!»

Все сразу стало иным: и голубое небо, и придорожные кусты. Уже не думалось ни о купанье, ни об отдыхе. Прошла только минута, а меж тем, что было, и тем, что есть, легла такая непреодолимая грань.

«Поставить на пары́ запасной парк! Выпустить на линию возможно больше паровозов! Скорее за дело!» — думал Заслонов.

«Жар-птица» вихрем влетела в поселок.

Дядя Костя не повернул к своему дому, а помчался прямо в депо. Когда он перемахнул через переезд и уменьшил газ, то увидел, что к депо со всех сторон торопились железнодорожники.

6

Депо работало круглые сутки. Гудки отменили; да в них теперь не стало и нужды: всех деповцев перевели на казарменное положение, и они жили в мастерских.

Люди работали по многу часов подряд, не ожидая смены. Покончив с одним паровозом, тотчас же принимались за следующий. В столовую бегали тогда, когда выдавалась свободная минутка. Спали кое-как и где придется, по большей части — прямо на дворе, возле депо.

У всех была одна цель, одно стремление — поскорее выпустить на линию побольше паровозов, как постановили деповцы на первом митинге, который состоялся еще 22 июня, в «промывке».

«ТЧ» подавал своим рабочим пример. Он ни минуты не оставался без дела. Глядя на него, невольно думалось: «Да спит ли когда-нибудь дядя Костя?»

Надев рабочий комбинезон, Заслонов так и не снимал его.

Вот «ТЧ» только вылез из смотровой канавы, где внимательно выстукивал громадный «ФД», а через минуту — глядь, Заслонов уже в другом месте: сам навешивает дышла на запасной паровоз «Щ».

Его видели с баббитовым молотком и гаечным ключом в руках. Не раз Константин Сергеевич брал лом и буксовые скаты, как простой слесарь. Спал он немного, забегая под утро в свой уютный кабинет, хотя и здесь, на кожаном диване, спалось тоже не особенно спокойно: надоедливые телефоны никак не могли угомониться даже ночью.

Домой Константин Сергеевич наведывался ежедневно, но на пять — десять минут,— больше не позволяла работа.

Оршанцы не ударили лицом в грязь: за двое суток поставили на пары́ весь большой запасной парк. Кроме того, они организовали охрану поворотного круга и здания депо и создали истребительный батальон для поимки диверсантов.

Но первые три дня войны прошли спокойно, как будто бы военная гроза была где-то далеко-далеко.

В ночь с 24 на 25 июня Заслонов, вконец утомленный, еле стоявший на ногах, прилег у себя в кабинете отдохнуть. Ему приснился нелепый сон, будто маленький домик нарядческой вдруг тронулся с места и с невероятным грохотом ударился в «промывку».

Заслонов вскочил.

Гулко били зенитки. Над головой противно гудели самолеты.

— Фашисты! Налет!

Он кинулся из кабинета.

Нигде не было видно ни пожара, ни следов разрушений: значит, бомба упала не на территории депо и вокзала.

Не успел Заслонов добежать до «подъемки», как где-то грохнула вторая.

В депо все были на своих местах, никто из рабочих и не подумал оставлять мастерские и уходить.

Бомбоубежища настоящего не было, только вырыли щели для укрытия от осколков; но железнодорожники даже их делали с неохотой:

— Чего рыть? И в смотровой канаве спрячемся. А уж если попадет прямо, то — одна спасень!

Первый налет прошел для депо и вокзала благополучно. Но фашисты обнаглели. На следующий день, ровно в полдень, прилетело семнадцать немецких самолетов.

Больших повреждений и на этот раз не оказалось — только одна бомба упала на железнодорожный путь да осколками поранило несколько человек.

— Ребята, Колька, слыхали? Лельку ранило! — вбежал в цех Коренев.

— Неправда!

— Сильно?

— Какую Лельку?

— Да дежурную по станции. Честное слово. Осколком. Говорят, не очень сильно...

После этих двух налетов фашисты на несколько дней оставили Оршу в покое.

7

Третьего июля утром Заслонов залез в смотровую канаву осматривать «щуку».

С ним ходил машинист паровоза Штукель — высокий человек лет тридцати пяти. У него был неприятный, узко прорезанный рот с сухими губами. Говорил Штукель всегда очень быстро, глуховатым, бесстрастным тоном. Слова сыпались с его синеватых губ, точно с каким-то сухим треском.

Заслонов был недоволен паровозом Штукеля. Он резко говорил машинисту:

— Возвращающий аппарат передней тележки у вас загрязнен. Грозит безопасности. В плохом состоянии ваши часики, товарищ Штукель!

(«Часиками» Заслонов всегда называл паровоз, потому что в «ПТЭ» [1] железнодорожный транспорт сравнивался с часовым механизмом.)

И вдруг сверху донеслась пальба зениток: опять летели эти проклятые фашисты!

— Константин Сергеевич, вылезайте! Налет! — крикнул, нагнувшись к колесам, приемщик наркомата, наверху выстукивавший паровоз.

— Черт с ними! Пусть летят! Некогда вылезать! — отозвался «ТЧ» и спокойно продолжал делать свое дело.

Наверху загрохотало, застучало. Штукель, съежившись от страха, ходил за начальником. Видимо, он больше беспокоился о себе, чем о паровозе.

— Константин Сергеевич! — вдруг окликнул сверху помощник Заслонова по эксплуатации, Сергей Иванович Чебриков.— Идите скорее!

— Что такое?

— Москва будет говорить! — крикнул Чебриков и убежал.

Заслонов кинулся вон из смотровой канавы.

Штукель тоже последовал его примеру, но побежал не туда, где столпились, забыв о бомбежке, деповцы, а в противоположную сторону — к калитке, ведущей на двор.

Когда Заслонов подбежал к толпе, из радиорупора доносилось: «Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».

Все невольно переглянулись. Было ясно, что каждый оршанец в эту минуту думал одно:

«Партия с нами. Она знает все. Она помнит обо всех нас!»

---

[1] «П Т Э» — правила технической эксплуатации железных дорог СССР.

Фашистские коршуны кружились над Оршей, бросали бомбы, а народ, затаив дыхание, слушал мудрые, полные любви к своему Отечеству и ненависти к лютому врагу, проникновенные слова:

«В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Когда налет окончился, Заслонов крикнул рабочим:

— Ну, ребятки, слыхали, что нам нужно делать? Мы должны быстрее продвигать транспорт с войсками и военными грузами. За работу!

Деповцы с еще большим рвением принялись за работу.

8

В этот же вечер Константин Сергеевич заглянул домой. Во время дневного налета одна бомба упала в том районе, где жили Заслоновы, и он беспокоился: как семья?

Домик стоял на месте — даже уцелели его стекла,— и все оказались живы-здоровы, но Раису Алексеевну не на шутку встревожили налеты. Она считала, что ей с детьми надо немедленно уезжать из Орши куда-либо подальше на восток.

Константин Сергеевич и сам видел опасность: фронт приближался. С запада тянулись поезда с эвакуируемыми женщинами и детьми, с оборудованием фабрик и заводов, с колхозным скотом. Шли санитарные поезда.

Фашисты заняли Борисов. До фронта осталось всего сто тридцать три километра.

Теперь Орша, как крупный железнодорожный узел, несомненно, станет еще больше и чаще подвергаться налетам.

Решили, что Раиса Алексеевна с детьми уедет завтра же.

Помогать жене укладывать вещи Константин Сергее-

вич не мог,— его ждала срочная работа в депо, и он ушел.

В эту ночь Заслонов, как всегда, был очень занят. Приходилось думать о многом, но сквозь мысли о деле прорывалась, неотступно стояла одна: скоро-скоро уедут его маленькие, дорогие «бусеньки». И тогда больно сжималось сердце.

Настало утро. Приближался час разлуки.

Вот уже надо было идти за женой и детьми собираться к поезду.

С тяжелым чувством шел домой Заслонов.

На крылечке беззаботно играла маленькая Иза. Она издалека увидела папу. Сегодня папа был что-то невесел: он шел, не выплясывая, как бывало...

— Папочка, и ты поедешь с нами? — спросила Иза, когда отец взял ее на руки.

— Да, да, поеду! — ответил Константин Сергеевич, крепко прижимая девочку к себе.

Они вошли в дом.

В комнатах был беспорядок. Ящики в комоде, шкафу, столах — выдвинуты. Оголенные, ничем не прикрытые кровати показывали неуютные, жесткие доски. Окна без занавесок были безобразно голы.

На обеденном столе кучились какие-то банки-склянки, которых раньше и вовсе, кажется, не было в доме; валялись хлебные корки, катушки из-под ниток, веревочки.

Пол устилал бумажный сор.

Столько лет обживались, обзаводились хозяйством, каждая вещица в доме казалась такой нужной, а вот настал час — и приходится бросать все, довольствуясь тем, что вместилось в чемодан и узел, в который связали одеяла и подушки.

Правда, Муза несла в руках еще одну поклажу — сеточку-провизионку. В нее был втиснут какой-то бумажный сверток, кусок мыла, детская губка, эмалированная кружка, несколько учебников Музы, а сбоку выглядывала смешная плюшевая морда истрепанного коричневого мишки с одним черным ухом.

Константин Сергеевич, держа на правой руке дочку, взял в левую руку чемодан; жена несла узел. Пошли на станцию.

Их издалека увидел проходивший по путям дежур-

ный по станции — Попов. Он подбежал к Раисе Алексеевне и взял из ее рук узел.

— Уезжайте, Раиса Алексеевна, уезжайте, тут оставаться уже опасно! — говорил Попов.

— А Надежда Антоновна собирается уезжать? — спросила Заслонова.

— Пока нет, Раиса Алексеевна: у нас ведь дочка взрослая. Не налетели б проклятые стервятники! — опасливо поглядывал на небо Попов.

— Они прилетают попозже: немец пунктуален,— сказал Заслонов.

В ожидании поезда остались на перроне.

Иза сидела на руках у папы и, показывая пальчиком на все окружающее — вокзал, вагоны, рельсы, стрелки, — спрашивала:

— А это что? А это зачем?

Константин Сергеевич терпеливо объяснял.

— Папочка, а это вон что, высокое?

— Водокачка. Там вода.

— Водокачка? — переспросила Иза.— А она не упадет, а?

— Нет, зачем же ей падать? — улыбнулся Заслонов.

И вот подошел поезд.

Константин Сергеевич внес в вагон вещи, устроил семью. Иза тотчас же села к окну. В вагоне ей все было ново, интересно. Она радовалась поездке. А Муза сидела с заплаканными глазами.

Томительно-медленно тянулись последние минуты. Раиса Алексеевна в сотый раз напоминала о том, чтобы Константин Сергеевич берегся, чтобы писал. . .

Он не отходил от девочек.

Раздался второй звонок.

Заслонов в последний раз обнял жену, крепко прижал к груди своих дорогих «бусенек».

Поезд уже тронулся.

— Папочка, поезд уже пошел, — с тревогой твердила сквозь слезы Муза. — Иди же скорей!

Она говорила одно, а думала другое: ей не хотелось, чтобы папа уходил от них, но в то же время она знала,— папа должен быть в депо.

Константин Сергеевич рванулся к выходу.

Он привычно легко спрыгнул на полотно и долго стоял, глядя вслед все быстрее и быстрее удаляющему-

ся вагону. Вот в окне высунулась русая головка Музы, мелькнула рука с платочком, а потом все пропало.

Заслонов повернулся и быстро зашагал к депо.

9

Как Женя ни пытался связывать проволокой ботинки, они развалились с обеих сторон: с пятки и с носка. Конечно, если бы не футбол, ботинки еще безусловно послужили бы, а так приходилось выбрасывать вон.

Работать же в депо без ботинок, когда кругом металл, кругом тяжелые детали, было вовсе несподручно. Оставалось одно: надеть выходные, праздничные.

Женя так и решил. Он урвал утречком минуту и побежал домой переобуться.

С первого дня войны все деповцы жили на казарменном положении, и Женя впервые пришел домой.

Обрадованные мать, бабушка и сестра тотчас же принялись угощать его: поставили на стол мед, молоко, приготовились жарить любимую Женей яичницу-глазунью.

Как ни отговаривался Женя, что он сыт, что в деповской столовой теперь кормят даже лучше, чем до войны, что ему некогда засиживаться — доро́га каждая секунда,— все-таки пришлось подчиниться.

Он переобулся, умылся и уже хотел сесть за стол, но в это время на крыльце послышались шаги и в квартиру постучались.

Женя распахнул дверь.

В комнату вошли двое милиционеров — мужчина и женщина. Мужчина был лет тридцати пяти, женщина — моложе.

Бабушка, мать — Анна Ивановна, сестра — Катя и сам Женя смотрели с удивлением на непрошеных гостей: своих, оршанских, милиционеров они знали наперечет, а эти были совершенно незнакомые.

— Здравствуйте, товарищи! — козырнул мужчина.— Будьте добры, укажите нам дорогу на Красное. Мы милиционеры, бежим из Минска, который занят фашистами.

— Из Минска! — всплеснула руками Анна Ивановна.

— А на чем же вы приехали? — спросил Женя.

— Мы шли пешком, — ответил мужчина. А женщина смотрела куда-то в сторону и улыбалась.

— Садитесь же, пожалуйста! Отдохните с дороги! Минск ведь не близкий свет! — засуетилась бабушка.

Милиционеры стояли в нерешительности перед накрытым к завтраку столом.

— Садитесь, покушайте с дороги молочка,— предложила Анна Ивановна.

— Вот и яишенка готова,— несла бабушка на стол сковороду с глазуньей.

Милиционеры переглянулись и сняли фуражки.

— Помойте руки с дороги. Вы же запылились! Мама, покажи, где рукомойник! — обратился к матери Женя.

Милиционеры пошли за Анной Ивановной в коридор, где был рукомойник. Когда они вышли, Женя шепнул Кате:

— Беги в конвойную команду. Это шпионы.

Катя взглянула на Женю и, ни слова не говоря, юркнула в спальню.

Милиционеры, умыв руки, вернулись в комнату и сели за стол.

Бабушка и Анна Ивановна наперебой угощали путников и расспрашивали их о Минске, о войне.

Милиционеры расписывали ужасы бомбежек и пожара Минска, говорили, что не сегодня-завтра фашисты будут в Орше, что Красная Армия не может их сдержать.

Женя сидел возле милиционера, яичницы не ел, только пил молоко. Он плохо слушал, что говорят «гости», и ждал, когда же, когда придут красноармейцы.

И вот эта минута настала: дверь широко распахнулась и в комнату вошли четверо красноармейцев и лейтенант.

Бабушка и Анна Ивановна испуганно вскочили.

— Руки вверх! — крикнул лейтенант, направляя на «милиционеров» наган.

Те послушно подняли руки вверх. Их заставили выйти из-за стола, обыскали,— кроме наганов в кобурах, другого оружия у «милиционеров» не оказалось.

Мужчина все время ругался, доказывая, что это ошибка, что они милиционеры из Минска, и настаивал,

чтобы тут же проверили их документы, но лейтенант отрезал:

— Ступайте, там разберемся!

И обоих «гостей» под конвоем повели из дому.

Бабушка и Анна Ивановна были удивлены до крайности.

— Откуда ты взял, что это шпионы? — кинулись они к Жене.

— Видна птица по полету! Скоро узнаете, что я прав! — убежденно говорил Женя, собираясь уходить в депо.

— Женечка, а ты ведь так ничего и не ел. Съешь яишенки, вот осталась,— предложила Анна Ивановна.

— Что ты, мама! — вспыхнул Женя. — Чтобы я ел ту же яичницу, что и шпионы? Выброси ее вон!

— Верно, Женечка, верно! Я ее сейчас выкину в помойное ведро. А ложки кипятком ошпарю! — говорила бабушка, с брезгливостью собирая со стола.

Через час весь поселок знал: под видом милиционеров пришли самые настоящие шпионы.

Женя был в депо героем дня. К нему подходили токари, слесари, машинисты — просили рассказать, как он поймал фашистских шпионов.

Подошел и Заслонов.

— Почему они пришли к вашему дому? — спросил Константин Сергеевич.

— Дом Кореневых — самый крайний от поля, — ответил за друга Леня Вольский.

— А как же ты, Женя, все-таки догадался, что это шпионы?

— Уж очень на них, Константин Сергеевич, все было новенькое, с иголочки. А сами говорят, — шли пешком из Минска. Это ведь двести девять километров, а на сапогах ни пылиночки. И лица не запылены, не усталые. Потом выговор: говорят по-русски чисто, но както очень уж старательно. А женщина эта сказала вместо «мед» — «миод». И самое главное, — очень они напуганы фашистами. Так советский человек не думает! Советский человек не боится фашистов! — горячо сказал Женя.

— Молодец! — хлопнул его по плечу Заслонов.

Советская Армия мужественно задерживала фашистские полчища, но фронт все-таки приближался.

Дыхание войны обжигало Оршу. Железнодорожники оршанского узла уже попадали в огонь.

В Борисове отличился машинист «ФД» — Толя Алексеев.

Он оказался со своим паровозом на станции Борисов в те часы, когда фашисты занимали город.

Все груженые поезда ушли. Оставался только один состав порожняка, который «ФД» должен был увести.

Через железнодорожный путь с визгом проносились снаряды: шла артиллерийская перестрелка между советской и фашистской артиллерией.

Но не это было препятствием для вывода состава. В последний товарный состав, ушедший из Борисова, сразу же за железнодорожным мостом, попал фашистский снаряд. Несколько вагонов сгорело, а задние сошли с рельсов и стояли, наклонившись на соседний путь. Они почти загородили дорогу.

Пробиваться через такое препятствие было рискованно.

Но что же делать? Оставить свой родной комсомольский «ФД» врагу? Никогда!

Его бригада — помощник Пашкович и кочегар Беloдед — тоже не допускали мысли, что можно уйти с паровоза.

— Поедем! Пробьемся! — уверенно говорили они.

И Алексеев решил ехать.

Он мчался со скоростью шестьдесят километров в час.

Страшный удар потряс паровоз. Сзади что-то трещало, крошилось, ломалось, но «ФД» несся вперед.

Мощный советский паровоз выдержал и это испытание.

Поцарапанный, с вмятинами на тендере, он все-таки благополучно вывел из Борисова состав.

Когда Алексеев вернулся в Оршу, Заслонов, крепко пожав ему руку, сказал:

— Молодец, Толя!

Алексеев улыбнулся и ответил:

— Не я молодец, а советский «ФД»!

В Орше уже шла эвакуация. Мосты через Днепр и Оршицу были заминированы. Учреждения уезжали на восток.

Спешно эвакуировалось и депо: Заслонов получил приказ начальника Западной железной дороги.

Рабочие снимали станки, подъемные краны и прочее ценное оборудование цехов. Заслонов мобилизовал всех работоспособных членов семей железнодорожников, — они выносили из складов и грузили в вагоны запасные части.

Заслонов обходил деповские закоулки и заставлял погружать все до самой малейшей детали.

В напряженной, лихорадочной работе прошла неделя. Депо с каждым днем все больше и больше пустело.

К вечеру 11 июля все деповские и станционные сооружения стояли пустыми. Заслонов успел вывезти все, до последней тормозной колодки. На территории депо оставался лишь остов никуда не годного «ФД», который был поврежден фашистами во время последней бомбежки.

В субботу 12 июля днем из Орши еще отправился поезд с разной деповской мелочью, а вечером собирался уходить последний пассажирский, эвакуировавший железнодорожников. Станция Орша уже находилась в ведении военного коменданта.

На всем обширном пространстве оршанских путей стоял только единственный небольшой состав: один классный и два товарных вагона саперов-подрывников.

Заслонов всю эту неделю спал еще меньше, чем предыдущую, и теперь валился с ног от усталости.

Отправив товарный состав, он лег тут же, в нарядческой, на лавке. Все телефоны были сегодня сняты и уже отправлены по направлению к Смоленску, а потому Заслонов спокойно проспал несколько часов.

Его разбудил Чебриков:

— Вставайте, Константин Сергеевич, собирайтесь! Минут через сорок отправляемся. Слышите, как гремит?

Заслонов поднялся. Уже вечерело. Орудийная канонада, несколько дней глухо доносившаяся до Орши, сегодня стала слышна совершенно отчетливо.

— Не задерживайтесь, не опоздайте! — сказал ему, торопясь из нарядческой, Чебриков.

— Я только за вещами схожу,— ответил Заслонов.

А в уме вдруг мелькнула иная мысль: «А что, если в самом деле поехать не с пассажирским поездом, а с последним, с подрывниками?»

Константину Сергеевичу было больно оставлять врагу свое депо. Ему хотелось собственными глазами убедиться в том, что саперы подорвут мосты, водоемное здание, эстакаду и что фашистам достанутся руины, а не депо Орша.

Заслонов пошел собираться в дорогу.

С момента отъезда семьи он за всю прошедшую неделю ни разу не заглянул к себе в осиротевшую квартиру.

Теперь он шел, и волнение охватывало его.

Константин Сергеевич прекрасно знал, что дом пуст, но невольно ускорял шаг, словно кто-то ждал его там, в этом небольшом домике.

Но никто не встречал Заслонова у крыльца. Он открыл ключом дверь и шагнул в комнату.

В непроветривавшихся, нагретых солнцем комнатах стояла духота. На подоконниках валялись дохлые мухи.

Всюду были те же следы поспешных сборов, но в этих разбросанных вещах жило столько воспоминаний.

Заслонов снял со стены рюкзак, вынул из комода белье, отложенное женой. Подошел к письменному столу. Все фотографии жена увезла, на стене висели пустые рамки.

Пересмотрел книги. Положил в рюкзак томик Пушкина. Сел у стола и стал осматривать содержимое ящиков.

Слева лежали инструменты: гаечные ключи, молотки, плоскогубцы, стамески, напильники. Так недавно все это было нужно, а теперь его красный «Промет» уже передан в армию.

«Это все ни к чему!»

Константин Сергеевич захлопнул ящик.

Справа помещались шахматы, краски, кисточки, стояли флаконы с тушью.

Вспомнилось, как он рисовал девочкам, как делал им елочные игрушки.

С грустью подумал: «Когда-то еще придется...»

Открыл средний ящик. Тут лежали разные бумаги и бумажки — квитанции об уплате за квартиру,

старые письма. Пересмотрел все, — не смогут ли чем-нибудь воспользоваться фашисты. Кое-что порвал. Невольно задержался на письмах. Вот от матери из Мурманска, вот от дяди Коли из Ленинграда, вот от друга юных лет, веселого Геннадия Ипполитовича, с которым вместе работал в Витебске.

Милое далекое прошлое...

Взял в руки старую записную книжку — еще из Рославля, когда служил там «ТЧ». Полистал ее и хотел уже бросить назад, в ящик, но остановился на одном листке. Его рукою было четко написано:

«Мои желания:

1. Хочу быть инженером по образованию, предварительно поездить, до учебы, 1,5 года на «ФД» машинистом и обязательно на «ИС» — обязательно.

2. Стать настоящим, хорошим, идеологически выдержанным, в полном смысле слова большевиком.

И все желания мои, по-моему, осуществимы. Это будет, если я буду честен, чуток, внимателен и классово бдителен. В настоящее время я своей работоії не удовлетворен, потому что я техник 2-го разряда, а несу работу инженера,— это мало. Работать я могу и умею, и не было ничего, чтобы у меня не выходило.

29/XII 1936 г.».

Константин Сергеевич задумчиво сунул книжечку в боковой карман тужурки.

Со станции донесся призывный гудок, — поезд собирался уходить. Заслонов даже не пошевелился.

Он сидел у стола, глядя в одну точку. Он просидел так довольно долго. Потом встрепенулся: «Надо идти, а то еще в самом деле останешься в плену».

Сложил в рюкзак все, что брал с собою, и пошел к выходу. На пороге остановился, оглянулся назад, словно за тем, чтобы сильнее запечатлеть в памяти это разоренное гнездо, из которого его и семью выгонял наглый враг.

А сколько тысяч таких гнезд уже разорено! Сколько крови и слез, сколько бескрайнего горя несут с собою фашисты!

Возмущение и гнев охватили Заслонова. Он круто повернулся к выходу.

«За все наши муки... за все разорение... заплатим!» — думал он, дрожащими от злобы пальцами закрывая дом на замок.

У Заслонова с детства была эта хорошая ярость. По натуре спокойный, уравновешенный, он умел сдержать себя. Но если какое-либо сильное чувство захватывало его, Заслонов отдавался этому чувству целиком.

В детстве Константин Сергеевич рос недрачливым мальчиком. Однако стоило кому-либо из товарищей вывести Костю из равновесия — обидеть, оскорбить, как он бросался в бой, не глядя на то, что обидчик старше и сильнее его.

И часто случалось так, что в мальчишеской драке перед его напористостью отступал более сильный противник.

Теперь Заслонова охватила лютая ненависть к наглому врагу, который терзал Родину. И он решил драться с ним не на жизнь, а на смерть.

— Ничего, наше дело правое! Разобьем! — невольно сказал он вслух и открыл входную дверь на крыльцо.

На крылечке спокойно сидел Женя Коренев. За плечами у него болтался тощий рюкзак.

— Ты как здесь? Ты разве не уехал? — удивленно спросил Константин Сергеевич.

Женя встал.

— Катя уехала, а я незаметно остался... Я не хотел без вас...— смущенно процедил Женя, ковыряя ногтем перила.

— Ладно! — горько улыбнулся Заслонов. — Поедем и мы! Пошли! — приказал он.

Солнце уже зашло. В вечернем воздухе еще отчетливее доносились со стороны Борисова орудийные раскаты.

Привокзальный поселок казался совершенно вымершим: на улицах не было видно ни души. Кругом стояла какая-то настороженная, гнетущая тишина.

Так же необычайно тихо и безжизненно было на путях узла. Не светились уютные огоньки стрелок, не слышалось бодрой переклички маневровых паровозов и рожков стрелочников.

На просторах оршанских путей одиноко затерялся небольшой состав подрывников.

Заслонов и Женя шли, не говоря ни слова. Заслонов — впереди, Женя — немного сзади. Они ступили на перрон. Их шаги гулко отдавались в тишине.

Заброшенным, нежилым стало огромное здание вокзала. Сквозь раскрытые настежь двери чернели пустые залы с окнами, заделанными фанерой.

Саперы возились у водокачки.

Константин Сергеевич пошел в комнату дежурного по станции, откуда слышались голоса: кто-то говорил по полевому телефону.

Навстречу ему вышли комендант и саперный капитан.

— Что, опоздали? — увидев «ТЧ», спросил комендант.

— Решил уезжать с вами. Может быть, понадобится моя помощь.

— Добро! Как и полагается, командир уходит последним.

— Что ж, нам только лучше: авторитетный консультант на месте,— прибавил саперный капитан.— А это кто с вами? — спросил он, глядя на Женю.

— Это мой... — немного запнулся Заслонов, — мой адъютант Женя Коренев!

— Хорошо! Пойдемте, товарищи, вы нам поможете! — сказал саперный капитан.

И все направились к водокачке.

«Вот теперь водокачка упадет непременно! И даже очень скоро упадет!» — подумал Заслонов, невольно вспомнив слова маленькой Изы.

11

Последние поезда, вышедшие из Орши, не дошли до Вязьмы. Враг, заметив скопление эшелонов на линии Смоленск—Вязьма, выбросил восточнее Ярцева парашютный десант.

Десант повредил железнодорожный путь. Несколько десятков поездов, шедших друг за другом на Москву, вынуждены были остановиться.

Когда поезда остановились, Заслонов кинулся в са-

мую голову составов. Он подходил к каждому паровозу и говорил бригаде:

— Хлопцы, не тушить и не оставлять паровозов! Прорвемся!

К счастью, погода стояла пасмурная, нелетная. Появилась надежда на то, что десант, не получая подкрепления, будет смят.

Поврежденный путь кое-как исправили, и нескольким передним эшелонам посчастливилось проскочить дальше. Но к утру погода опять прояснилась, фашисты сбросили подкрепления и снова разбили путь. Остальные эшелоны оказались отрезанными.

Из железнодорожников, успевших проскочить в Вязьму на поездах и пешком, часть была оставлена управлением дороги на месте, а часть — откомандирована в Москву, в депо имени Ильича.

В августе перевели в столицу и Заслонова — инспектором по приемке паровозов.

Приехав сюда, Константин Сергеевич узнал, что Раиса Алексеевна благополучно добралась с детьми до Москвы, а отсюда уехала с семьей своего брата в Ташкент.

В московском депо работало человек двадцать пять оршанцев. Они водили поезда до Вязьмы и Дорогобужа.

После того как фашисты заняли Белоруссию, Заслонов не находил себе места. Мирная работа на транспорте как-то уже не удовлетворяла его. Хотелось большего.

Разумеется, Заслонов понимал громадное значение железной дороги в обороне страны, но ему хотелось бить врага своими руками, драться на самой передовой линии. Обычная деповская работа представлялась ему все-таки далекой от борьбы.

Заслонову казалось, что все оршанцы должны были еще под Ярцевом уйти в партизаны и громить фашистские поезда, рвать мосты и железнодорожное полотно.

Мысль о партизанской деятельности не давала ему покоя. Партизан-железнодорожник — страшная сила на вражеской коммуникации. Кто лучше сможет организовать диверсии на транспорте, как не сам железнодорожник?

Как только Константин Сергеевич встретился

в Москве с оршанцами, он сразу же рассказал им о своей мысли.

— Нам надо помочь Красной Армии отвоевать советскую землю. Мы должны это сделать. Организуем партизанский отряд, проберемся в тыл врага и будем пускать его эшелоны под откос. Наша обязанность — создать невыносимые условия для фашистского транспорта в оккупированной Белоруссии!

Заслонов говорил с одним товарищем, с другим; все поддерживали его.

— Действуйте, Константин Сергеевич, возглавьте все, поговорите, с кем надо, а мы готовы! — отвечали ему оршанцы.

— Наш дядя Костя ярый. Если он что задумал, — обязательно добьется! — говорили о своем «ТЧ» паровозники.

Заслонов начал действовать.

Руководители Политотдела и Управления Западных железных дорог горячо поддержали его.

Тогда Заслонов написал письмо в ЦК партии:

«Наша страна в огне. Жизнь требует, чтобы каждый гражданин, в ком бьется сердце патриота, кто дышит и хочет дышать здоровым советским воздухом, стал бы на защиту нашей Родины.

Я, начальник паровозного депо Орша Западной железной дороги, Заслонов Константин Сергеевич, прошу Вашего разрешения организовать мне партизанский отряд и действовать в районе от Ярцева до Барановичей в полосе железнодорожных линий, станций и других железнодорожных сооружений.

Временно прошу 20—25 человек отборных «орлов» — храбрых паровозников, умеющих держать в своих руках не только регулятор, но и пулемет, владеющих артиллерийским делом, танком, автомашиной, мотоциклом и связью.

Я Вас заверяю от имени храбрых из храбрых, просящих меня передать Вам, что клятву партизан, присягу выдержим с честью.

...Головы своей зря не подставим, а если придется, то будет она потеряна за Великую железнодорожную державу, за Родину!

К. Заслонов».

Заслонову посоветовали связаться с местными партийцами, оставленными в Орше для подпольной работы.

— На месте вы найдете товарищей.

— Найдем! — уверенно сказал Заслонов.

Он уже был весь в этом новом, ответственном и увлекательном деле.

Когда 29 августа Норонович пришел в депо за маршрутом, нарядчик сказал ему, что он не поедет.

— Почему это? — удивился Норонович.

— Вы поступаете в распоряжение Заслонова.

— Ага-а! — понимающе протянул Норонович и тотчас же направился в «кондукторский резерв», где жил Константин Сергеевич.

У дяди Кости сидели: Чебриков, Шурмин и Анатолий Алексеев.

— Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение,— полусерьезно, полушутя сказал Норонович, здороваясь с Заслоновым.

— Прекрасненько. Будьте готовы, Василий Федорович: завтра едем.

— Да я хоть сей минут!

— Если кто спросит, куда и зачем,— отвечайте: «Заслонов набирает людей для бронепоезда».

— Понимаю.

— В Вязьме укомплектуемся, чутеньки подучимся и пошли в Оршу!

— Значит, скоро увидим нашу Одровку? Дело! Тогда, выходит, можно и закурить?

В организационную группу Заслонов выбрал из оршанцев восемь человек: своего помощника Чебрикова, заведующего водоснабжением оршанского узла Петра Шурмина, машинистов Алексеева, Нороновича, Пачковского, Латко, Ткаченка и слесаря комсомольца Женю Коренева.

Сначала он не думал брать Женю,— боялся, что пареньку будет не под силу такой необычный переход. Но Женя со слезами на глазах просил дядю Костю взять и его.

— Вы не смотрите, что мне семнадцатый год. Я худой, но жилистый! — говорил он.— А потом вы же сами сказали тогда: «Коренев — мой адъютант!» Ведь

адъютант вам будет нужен! И в группе у вас нет ни одного комсомольца! — как последний, самый веский довод привел он.

Заслонов улыбнулся и согласился взять Женю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

> Лица, входящие в состав паровозных бригад, должны иметь вполне нормальные слух и зрение, вполне нормальную, устойчивую нервную систему и обладать вниманием, хорошей памятью, сообразительностью, находчивостью и быстротой действий.
>
> *Общий курс железных дорог*

1

Первые два километра Заслонов шел впереди всех, не останавливаясь и не оглядываясь. Ходить Константин Сергеевич любил и умел. Невольно вспомнилось, как в 1924 году он, пятнадцатилетний паренек, ходил из своей деревни Ратьково в Невель поступать в школу 2-й ступени. До Невеля из дому километров сорок пять с гаком, а прошел их Костя от утренней зари до вечерней.

Несмотря на то что Заслонов был командиром отряда, он нес то же, что и все партизаны: семидневный запас продовольствия, пять килограммов толу, три железнодорожные мины, шесть гранат и патроны. Весило все это около тридцати пяти килограммов. Только у Жени Коренева, самого молодого участника похода, груз был полегче.

Стоял теплый сентябрьский день. Под ватной курткой, которую выдали партизанам в Вязьме, мгновенно вспотела спина. Новые, необношенные сапоги жали ноги.

Обвешанный сзади, спереди, с боков, Заслонов стал неповоротливым и неуклюжим.

Душа рвалась к героическому, к подвигу, а пока приходилось бороться лишь с физической усталостью.

Тяжелый заплечный мешок тянул назад, невольно заставляя весь корпус наклоняться вперед, а надо бы смотреть не только под ноги, а вдаль, вокруг себя.

А каково же было тем бойцам, которые кроме немецкой винтовки, выданной партизанам, несли еще ручной пулемет Дегтярева, или винтовку СВТ?

Все-таки груз оказался непомерно тяжелым. Было очевидно, что в Зекееве, в деревне, расположенной на самой линии фронта, придется кое-что из поклажи выбросить. Кроме того, не все уложили как следует: консервная банка с противной ритмичностью звякала обо что-то при ходьбе.

Хорошо, что путь в Зекеево решили проделать не на машинах, а пешком: выяснились все недостатки в снаряжении. Идти с таким грузом без отдыха было невозможно. Заслонов остановился и оглянулся на товарищей.

Сзади за ним упрямо шагали его заместитель и по депо и в отряде, Сергей Иванович Чебриков, и комиссар отряда, машинист Анатолий Алексеев. Чебриков шел насупив брови, а Анатолий с улыбкой на худощавом лице, хотя пот лил по его щекам так, будто Анатолий только что перебросил сам полтендера угля.

Небольшой партизанский отряд растянулся чуть ли не на полкилометра. В нем было всего пятнадцать человек: девять оршанцев и шестеро из управления дороги. Вид отряда был пока что мало воинственным.

«Непривычно товарищам механикам: это не на паровозе»,— подумал Заслонов.

Железнодорожники, мало хожалые, в большинстве не служившие в армии, запарились под непосильным грузом.

Слышались разговоры. Пожалуй, разговоров было многовато для отряда, собирающегося пробираться в тыл врага.

— Тащимся, как «овечка»: пыхтишь, свистишь, а все на месте!

— На своем-то ходу оказалось хуже, чем на колесном.

— Век ездил, теперь походи!

— Как тут быстро пойдешь, если тащишь на себе целую инструменталку!

Увидев, что Константин Сергеевич остановился и,

сняв фуражку, вытирает пот, уставшие партизаны тоже сделали привал: кто прислонился к придорожной березе, кто сел. Курящие тотчас же взялись за табачок.

К Заслонову подошел Норонович. Присаживаясь на камень, Норонович, по-всегдашнему как бы безразличным, вялым голосом, но с обычной иронией сказал, не обращаясь ни к кому.

— Чтобы стать машинистом, полагается проездить пятьдесят тысяч километров, а сколько же надо пройти, чтоб стать пехотинцем?

— Не бойся, товарищ: у нас легче — и тысячи не пройдешь, как произведем! — ответил Иванов из управления железных дорог — он служил в армии.

— До Зекеева двенадцать километров. На его «ФД», — кивнул на Нороновича Чебриков, — в момент домчишься.

— Теперь он и на «Н»[1] согласился бы...

Норонович вытирал лицо платком.

— Взялся за гуж, не говори, что не дюж. А все-таки, Константин Сергеевич, мешок тяжеловат,— взглянул он на Заслонова, отнимая от лица платок.

— Верно, Василий Федорович,— согласился Заслонов.

— И это по легкой дороге, а в лесу, по болоту...— прибавили со стороны.

— Придем в Зекеево, снимем. Не на дороге же бросать. Оставим часть горохового супа и сухарей. Еду везде найдем, а вот взрывчатку и боеприпасы кто нам даст? — ответил Заслонов, вставая.

2

Деревня Зекеево стояла на реке Межа, по которой проходил фронт. Заслоновцы застали в деревне только эскадрон казаков-доваторцев — жители все ушли из Зекеева. Доваторцы накануне вернулись из рейда по неприятельскому тылу. Казаки радушно встретили партизан-железнодорожников. Они рассказали, что перейти линию фронта довольно легко, так как фронт не сплошной, а лишь патрулируется сильными группами фашистов.

---

[1] «Н» — устаревший тип паровоза.

Заслонов назначил переход линии фронта на пять часов 1 октября.

С вечера он отправил четырех партизан на ту сторону реки наблюдать за тем, чтобы фрицы не помешали завтрашней переправе.

В деревне нашлась одна старая лодка. На ней Заслонов решил переправить через Межу свой отряд. Собирать лодки по другим деревням или готовить плоты для переправы Константин Сергеевич не хотел, чтобы не привлечь излишнего внимания врага. Груз уменьшили — оставили продовольствия лишь на четыре дня. И даже после этого поклажа каждого заслоновца весила двадцать восемь килограммов.

Легли спать пораньше. Заслонов расположился со своими партизанами в сарае, на сене.

— Как в нарядческой в ожидании наряда на поездку,— сострил кто-то, укладываясь на ночь.

Но говорили мало — курить на сене нельзя и все скоро уснули.

Заслонову не спалось. Он ворочался с боку на бок. Тревожило будущее отряда: впереди предстоял путь в триста километров по лесам и болотам.

Константина Сергеевича беспокоило то, что никто из штаба не умел как следует читать карту, хотя в Вязьме, когда их обучали военному делу, все старались постичь эту премудрость. Как найти Полярную звезду, с какой стороны камень обрастает мохом, где на сосновом пне гуще круги среза,— все это как будто бы знали, но все это теория, а что получится на практике там, в лесу, или в болоте? Ведь железнодорожнику не приходится иметь дело с картой. Его путь всегда прям и всегда ведет в определенную сторону света. Он знает одно: «четный путь», «нечетный путь».

Думалось о семье — как там его дорогие «бусеньки». Думалось и об Орше...

Сон смешал все мысли.

Проснулся Заслонов оттого, что кто-то громко спросил: «который час?»

А через секунду раздался ответ Чебрикова:

— Без десяти четыре.

Заслонов вскочил.

— Пора собираться!

Было решено переправляться в самой деревне. Лодка стояла в кустах у низенькой, подслеповатой бани. На противоположном берегу расстилался небольшой лужок. За лужком чернел лес.

Заслонов послал связного на ту сторону реки узнать у дозорных, как их наблюдения, и велел подымать партизан.

Собрались в путь быстро. Сидели у предбанника на куче камней и выброшенной из бани золы.

Сегодня разговоров не слышалось.

Заслонов со штабом пошел в хату еще раз посмотреть по карте намеченный маршрут. Когда они при свете огарка неуверенно водили пальцами по карте, в хату вошел командир казачьего эскадрона, старший лейтенант. У него были роскошные пушистые усы, как у лихого старого рубаки, но молодые озорные глаза показывали, что командиру эскадрона еще очень далеко до старости.

— Здравствуйте, товарищи! Что, маршрут проверяете? — подошел он к столу.— Э-э, да у вас карта-то какая! — с сожалением процедил старший лейтенант.

Заслонов удивленно глянул на него:

— А в чем дело?

— Да у вас — пятикилометровка. Ну, с ней далеко не уедешь.

— Нам такую дали в Вязьме.

— А почему не взяли километровку?

— Посоветовали взять эту, говорили: меньше места займет...— сказал немного смущенный Заслонов. Он только теперь понял, какую оплошность допустил по незнанию дела.

— Возьмите мой лист,— предложил командир эскадрона, доставая из планшета километровку.

На километровке все выглядело яснее.

— Вот, черт их возьми, что всучили нам в Вязьме! — не выдержал начальник разведки — машинист Латко, пряча злополучную пятикилометровку в полевую сумку.

— Бачилы очи, що куповалы! — сердито буркнул Заслонов.— Как же с пулеметом? — обернулся он к начальнику эскадрона.

— Пулеметы мои наготове. Поддержим. За фланги не беспокойтесь, переправляйтесь смело!

Все вышли из хаты.

На огородах, по пути к реке, Заслонов встретил Нороновича.

— Товарищ начальник, все в порядке. На том берегу тихо, фрицев не слыхать, — доложил он.

Заслонов начал переправу.

Ветхая лодчонка могла поднять не более трех человек. Уже взошло солнце, было совершенно светло, когда переправилась последняя тройка партизан.

Отряд едва успел пересечь луг, как откуда-то из-за леса ударили фашистские минометы. Мины с визгом пролетали над головами и грохались на лугу и по берегу Межи.

Все невольно ускорили шаг, стараясь побыстрее укрыться в чащу леса. Заслонов приказал взять левее намеченного направления.

Отряд, выслав вперед разведку, осторожно двигался вперед. Разведка тщательно осматривала определенный участок леса, и только тогда отряд подвигался, занимал круговую оборону и, выставив посты, ждал следующего донесения разведки.

Сзади все время не умолкала пулеметная, минометная и артиллерийская стрельба. Над головой беспрерывно гудели, проносились фашистские самолеты.

— Должно быть, фашисты пошли в наступление по фронту,— догадывались партизаны.

В напряженном ежеминутном ожидании встречи с врагом незаметно промелькнул короткий осенний денек. Прошли лесом не более четырех километров.

Настала ночь.

Пошли гуськом. Цепь повел Иванов.

Но из этого ничего не получилось. В темноте задние теряли передних, цепочка то и дело рвалась. Непривычные к ночным переходам железнодорожники спотыкались, кто-то падал, бренчало оружие, кто-то окликал впереди идущего. В лесу стоял такой шум, словно медведь продирается напролом сквозь чащу.

Заслонов остановил отряд — лучше стоять на месте, чем двигаться таким образом. Он боялся заблудиться в темноте или напороться на фашистов.

Отряд заночевал в лесу.

Заслонова брала досада. Что называется, первый блин — комом. Представлявшееся, на первый взгляд,

таким легко выполнимым и простым продвижение по лесам и болотам до Оршанщины оказывалось на практике более сложным. Как и во всяком деле, в партизанском выявились свои законы, свои неписаные правила, без знания которых партизаном не быть.

Было досадно, но уверенности Заслонов не терял. «Не боги горшки лепят, все постигнем, преодолеем!» — думал он, укладываясь под елкой.

И, точно в продолжение его мыслей, по ту сторону елки комиссар Алексеев говорил Чебрикову:

— Ведь могли же мы своими средствами отремонтировать «ФД» и «ИС», не испугались трудностей. Неужели научиться жить в лесу сложнее?

3

Во всю первую неделю пути погода благоприятствовала отряду Заслонова. Было сухо и еще не так холодно. Лишь по ночам основательно подмораживало.

Выходить из лесу в деревни боялись, чтобы не выдать себя. По этой же причине избегали разжигать костры. Как-то, в один из первых дней похода, попробовали было разжечь на привале костер, но пролетавший фашистский самолет, очевидно, заметил дым и обстрелял лес из пулемета. В отряде никто не пострадал, но все-таки пришлось оставить костер и поскорее уходить дальше: думалось, что гитлеровцы обнаружили отряд и начнут погоню.

С этого дня пришлось есть всухомятку.

Однажды утром разведка, шедшая впереди, вышла на опушку леса. За лесом виднелись две деревни. Большая из них — Земцово — лежала на самой дороге. Через нее двигались к фронту фашистские войска. Беспрерывной вереницей тянулись громадные автобусы с пехотой, грузовые машины тащили за собой пушки.

Отряд был вынужден целый день прождать в лесу. Когда стемнело, движение войск прекратилось. Отряд обошел меньшую деревню Жуково, переправился через речку и вошел в лес.

Заслонов послал пять человек разбросать на дороге железные четырехножки, чтобы на них напоролись фашистские машины. Группа благополучно выполнила задание. Пачковский, руководивший группой, сказал, что,

по их наблюдениям, в Жукове нет немцев и можно было бы попытаться достать в деревне продукты. Отряд почти голодал, и Заслонов согласился послать в Жуково трех человек: машинистов Пачковского и Ткаченка и Гаврилова из управления дороги.

Не прошло и получаса, как со стороны Жукова раздались выстрелы, послышались крики. Стало ясно, что разведка наткнулась на оккупантов. Отряд занял оборону, приготовившись помочь отходившим товарищам.

Из трех человек вернулись только двое: Пачковский и Ткаченок, раненный в руку. Оказалось, что, когда разведчики вошли в Жуково, их окликнул фашистский патруль. Вместо того чтобы постараться поскорее отойти, Гаврилов выстрелил по оккупантам и убил одного из них. И тогда по разведчикам открыли стрельбу со всех сторон. Гаврилов был убит, а Ткаченок ранен.

Это были первые потери отряда.

С тяжелым чувством уходили заслоновцы от Жукова.

Враг стоял на всем их пути. Населенных пунктов, свободных от оккупантов, оказалось мало. Не имея связи с народом, не зная местности, нельзя было правильно ориентироваться. Заслонов знал, что где-то здесь, в Слободских лесах, базируется партизанский отряд, составленный из местного актива. Он слышал об отряде в тех двух-трех деревнях, в которые заходили заслоновцы, но напасть на след слободских партизан до сих пор не удавалось.

И так они шли день за днем по лесам и болотам. Держались направления на юго-запад, на город Демидов. Уходя от столкновения с фашистскими частями, много петляли и потому проходили по маршруту не более трех-четырех километров в день.

В километровке эскадронного командира разбирались с трудом, а когда карта кончилась и пришлось идти по пятикилометровке, то положение стало еще хуже. Приходилось высылать разведку к опушке леса, чтобы проверить все на местности. Это отнимало очень много времени и не всегда помогало. Плутали по лесам и болотам вдвое больше, чем проходили по намеченному маршруту.

Помня, что говорилось в Вязьме относительно конспирации при подрывной работе, по-прежнему избегали

заходнть в деревнн. Да большннство населенных пунктов было занято тыловыми частямн оккупантов.

Выходя нз Зекеева, было решено растяиуть четырехдневный запас продовольствня иа семь-восемь дней, ио миогне не выдержалн н съелн раньше этот скудный рацион. Отряд голодал. Перебнвалнсь одной картошкой, которую еще находнлн кое-где иа полях. Хлеб партнзаны доставали нзредка, когда, прижатые необходимостью, выходнли из лесу в деревню. Питание сильно сократилось, а груз надо было нестн на себе, он не убывал н оставался без употребленяя. Втнхомолку над ннм сталн уже нронизировать:

— Несем, обноснм гостннец мнмо друзей. Вон сколько этнх прнятелей по большаку едет...

— Навязался НЗ — нн себе, нн людям...

— Погодпте, зангранет н он,— возражал кто-ннбудь.

Несли этот груз уже не как спасенне, а как наказание.

Понемногу иачала ослабевать днсциплниа. Заслонов прнказывал кому-лнбо пойтн к опушке и провернть, стонт лн за лесом деревня, как обозначено на карте.

— Констаитни Сергеевнч, да ведь слышио: собакн в той стороне лают. Чего же ходнть? — отвечал боец и с иеохотой брел к опушке.

Ко всему этому с половнны октября испортилась погода — наступнлн холода. И, как иазло, кончнлась лесная полоса, потянулась однн поля. Теперь продвнгались иочью, а на дневку останавлнвались в каком-ибудь иебольшом перелеске, где нельзя было развестн костер, чтобы вскнпятнть воду, обсушнться н обогреться.

16 октября подошлн к большаку Слобода—Велнж. Ночью выпал первый снежок. Морозило. На дневку укрылнсь в редком лесу. Разжечь костер было опасно — по большаку шлн фашистскне войска н могли бы обнаружнть партизаи. Мерзлн, проклииалн фрицев и ждали темноты.

С полудня немного потеплело. Пошел дождик. Ои шел мелкнй, противный, осеинні. Ватинк, фуражка — все намокло. Дрожь прохватывала тело. Как избавления, ждалн сумерек, когда можио будет двннуться вперед н согреться хоть на ходу. Пересекать большак засветло ие представлялось ннкакой возможностн.

Накоиец потемиело. Движеиие иа большаке прекратнлось.

Вымокшие, голодные, усталые, две недели не снимавшие сапог (уже порядком изношенных!), партизаны пересекли большак.

Шли и радовались — грелись.

Но радость была кратковременной: к ночи ударил настоящий мороз. Ледок похрустывал под ногами. Коченели пальцы, державшие оружие.

— Градусов двадцать!

— Ну сказал: двадцать! Десяти и то не будет!

— Замерзнем, не схватившись с фрицем,— переговаривались партизаны.

Все стали просить Заслонова остановиться в какой-либо деревне: голодным и холодным идти дальше было невмоготу.

Заслонов согласился — он и сам промерз до костей.

Впереди послышался лай собак. Показались очертания построек.

Обрадованные партизаны ускорили шаг. Все уже знали по опыту, что входить в населенный пункт безопаснее с его середины, нежели с концов, потому отряд стал обходить деревню.

— Эх, на печку бы сейчас — ничего больше не надо!

— Горяченького поесть-попить, душа замерзла! — мечтали железнодорожники.

Уже подходили к гумнам, когда Латко, шедший впереди, вдруг круто повернул назад.

— Что такое?

— Чего там забуксовали? — нетерпеливо спрашивали задние.

— Фрицы! Полна деревня проклятых. Даже в сараях стоят! И машин полно,— объяснил Латко.

— А может, тебе показалось?

— Слышал, как говорят по-немецки.

Стали поспешно отходить.

Все разговоры разом смолкли. Шли в темноту, в стужу, а резкий ветер упрямо дул в спину, пронизывал насквозь. Не оставалось ни одного живого, теплого местечка. Но партизаны все шли и шли по намеченному маршруту.

...Наконец, часа через два, совершенно измученные, чуть живые, опять различили невдалеке деревню.

На этот раз Заслонов решил сначала хорошенько разведать.

— Пачковский, — сказал он, — возьмите двоих и узнайте, занята деревня, или нет, а мы тут будем вас ждать.

Отряд расположился в метрах двухстах от деревни в небольшой ложбинке. Усталые люди рады были даже такому отдыху. Сразу все повалились на снег, устраиваясь кто за жидким, голым кустиком, кто за камнем, кто как мог.

— Вот тебе и печка!

— Садись поближе — теплее будет,— говорили партизаны.

Но уже через минуту разговор подозрительно оборвался. Головы поникли.

— Уснут — замерзнут, — с тревогой сказал Заслонов прикорнувшему рядом с ним Жене Кореневу.— Василий Федорович! — окликнул он ближе сидевшего Нороновича.

— А-а...

— Не спите! Толкните Шурмина. Не спите, товарищи! Замерзнете!

Понемногу шевелились, но только затем, чтобы поудобнее, потеплее пристроиться.

Страшная усталость и дремота навалились на всех.

Заслонов потихоньку окликал товарищей, не давал им спать, но и сам то видел их силуэты, то проваливался в какую-то сладкую дрему.

...Он проснулся разом, точно его укололо. Глянул — кругом все спали. Никто не шевелился.

Заслонов поднес руку с часами к глазам.

Что это? Может ли быть: разведка ушла в 22 часа 25 минут, а теперь — без пяти двадцать четыре!

Как ни трудно было, а вскочил на ноги и стал тормошить всех подряд.

— Вставайте, замерзнете!

Не попадая от холода зубом на зуб, ежась на ветру, подымались партизаны.

— Пачковский вернулся? — спросил Алексеев.

— Нет еще.

Все забеспокоились.

— Где же они запропастились?

— Не случилось ли чего?

— Выстрелы услыхали бы.

— А может, мы проспали?

— Ничего не проспали,— ответил недовольно Латко. — На все надо время. Пока они подошли, послушали. Пока им хозяин открыл дверь. Пока курили, разговаривали, то да се...

— Да, так быстренько не схватишься,— поддакнул Иванов. — Разведка — дело тонкое...

Все-таки Заслонов решил проверить, что́ произошло, и отрядил в деревню Латко.

Латко осторожно подходил к тому гумну, куда направились разведчики. Прислушался. Все тихо. Только где-то в конце деревни невнятно тявкала сторожкая собачонка.

Миновал сарай, подошел к дому — и увидал у крыльца топавшего на месте человека. По одежде, по ватнику, кажется, свой.

— Пачковский!

— Я! — откликнулся, поворачиваясь на голос, часовой.

— Фашисты есть?

— Нет.

— Почему же вы так задержались? Полтора часа вас ждем...

— Мы недолго. Я только что вышел, чуть отогрелся...

— А где остальные?

— В хате. Отогреваются.

— Сами отогреваетесь, а товарищей держите на снегу, на ветру!

— Да ты бы видел, как мы вошли в хату — руки-ноги так зашлись в тепле, хоть кричи!..

— Хороши товарищи, нечего сказать! Беги к отряду, доложи дяде Косте, пусть идут!

Минут через десять давешняя пленительная мечта партизан претворилась в действительность: они были в тепле, они ели, их окружали свои, советские люди...

Весь остаток ночи партизаны отдыхали, отогревались и подкреплялись в деревне Игнатенки.

Появление советского вооруженного отряда, направлявшегося в глубокий фашистский тыл, произвело на крестьян сильное впечатление. Они уже три месяца были в оккупации. Фрицы каждую минуту твердили им, что Красная Армия разбита, что Москва давно взята, а вот пришли люди, которые так недавно еще были в

Москве. И самый факт появления заслоновцев красноречиво говорил о том, что фашистские оккупанты не так уж сильны, как они сами стараются всех уверить.

В Игнатенках партизаны узнали, что недалеко от деревни начинается большой лес — «Александровская дача». Заслонов решил в этом лесу передохнуть несколько дней и попытаться установить связь с местными партизанами, а потом двигаться дальше.

Запасшись в деревне продовольствием и тепло простившись с крестьянами, отряд перед рассветом направился в лес.

4

Наконец, впервые за целый месяц, партизаны смогли в «Александровской даче» отдохнуть по-настоящему: сбросили с плеч тяжелую ношу и спокойно разожгли костер.

Все с удовольствием расположились у огня — сняли ватники, стали разуваться.

И тут партизан ждала страшная неприятность: у большинства оказались сильно обмороженными ноги. На пальцах и ступнях зловеще чернели волдыри.

Уже прошлой ночью Заслонов с тревогой подумывал о том, как бы не обморозиться, а тут — свалилось такое несчастье. Он сам с трудом стянул сапог, развернул портянку. И у него было не лучше...

Норонович смотрел на него, криво улыбаясь.

— Что миру, то и бабьему сыну, Константин Сергеевич?

— Выходит... А до места, Василий Федорович, мы все-таки дойдем?

— Дойдем!

— И з р я не погибнем?

— Никогда!

Но приходилось серьезно задуматься над создавшимся тяжелым положением. Из тринадцати партизан его отряда, по крайней мере, шестерым нечего было и думать продвигаться дальше во вражеский тыл. Из оршанцев больше других были обморожены Пачковский и Ткаченок, а из управленцев — все, за исключением Иванова.

К удивлению и радости Константина Сергеевича, совсем не пострадал Женя Коренев.

— Как же это ты так ухитрился?

— Сапоги для меня великоваты, так я, чтобы не натереть ноги, теплые носки еще надел...— улыбался Женя, точно в чем-то провинившись.

Решили, что Алексеев и Чебриков тотчас же пойдут на розыски слободских партизан.

С невеселыми мыслями остался лежать у костра Заслонов. Для него было давно ясно, что при формировании, подготовке и снаряжении отряда допустили немало ошибок. Двухнедельное обучение в Вязьме было очень уж кратковременным и поверхностным.

Боевого задора, огня было много, а партизанской сноровки — никакой.

А теперь ко всему прибавилась эта беда...

Алексеев и Чебриков вернулись к вечеру. Их выход оказался удачным. Они встретились с разведкой слободских партизан, весь отряд которых базировался дальше, километрах в тридцати. Партизаны рассказали о положении в их районе.

Оказывается, оккупанты взялись вылавливать по деревням партизан, «окруженцев» и бездокументных. Поэтому в каждой большой деревне стояло по пятьдесят — шестьдесят человек полевой жандармерии.

Партизаны указали заслоновцам своего связного в деревне Озерище — Фомичева, который мог им пригодиться в дальнейшем продвижении по намеченному маршруту.

Затем, по пути в лагéрь, Алексеев и Чебриков неожиданно наткнулись на большой партизанский отряд в триста человек. Отряд действовал в тылу у фашистов, а теперь возвращался назад на «Большую землю». Командир отряда рассказал, что фрицы продвигаются к Москве, что положение у нас тяжелое. Он дал Алексееву карту-километровку до самой Орши и сказал, что может взять к себе в отряд всех обмороженных железнодорожников.

— Условимся, что они будут ждать наших до девяти часов утра вот здесь, у болота, — показал на карте комиссар.

Заслонов оставался непоколебимым: решил продолжать путь с шестью товарищами — Алексеевым, Чебриковым, Шурминым, Латко, Нороновичем и Кореневым, а остальных немедленно отправить на «Большую

землю», благо подвернулись такие сильные, удобные попутчики.

— Немного попозже проведем общее собрание отряда, а сейчас — партсобрание,— сказал Алексеев.— Вопрос один: о положении в отряде.

— Нет, товарищ комиссар, вопросов партсобранию — два, — добавил беспартийный командир отряда Константин Заслонов.

Алексеев вопросительно смотрел на него.

Заслонов протянул ему листок бумаги.

— Второй вопрос: о принятии меня в кандидаты партии! — Этот вопрос уже давно был предрешен Заслоновым — Константин Сергеевич говорил о нем с комиссаром. И вот теперь, в такую критическую минуту в жизни партизанского отряда, Заслонов захотел стать еще теснее, еще ближе к своей большевистской партии, к народу.

5

Ранним утром обе группы железнодорожников расходились в разные стороны. К Заслонову подошел Иванов из управления дороги. Иванов просил Константина Сергеевича взять его с собою, но Заслонов отказался наотрез:

— Вы один из всех нас служили в армии и лучше разбираетесь в военном деле. Мало ли что бывает: может, вам придется одним возвращаться на «Большую землю». Я назначаю вас командиром группы!

После трогательного прощания обе группы разошлись.

Заслоновцы взяли с собою два ППШ и весь тол — около пятидесяти килограммов, потому что Иванов со своими собирался идти налегке.

— Запас беды не чинит, Константин Сергеевич,— говорил Норонович, укладывая в мешок свою порцию тола. — Заберем. Не бросать же!

Небольшой группой продвигаться было удобнее — меньше шума и всегда все вместе.

И они шли быстрее, чем прежде.

Ночью, переходя дорогу, заслоновцы подложили весь тол под большой мост через речку. Днем по большаку проходило много фашистских машин, а мост не охранялся.

Километров пять прошли заслоновцы кустами и небольшими перелесками, когда сзади раздался сильный взрыв.

— Тол сработал!

— Этот наш гостинчик фрицу!

— А еще говорили — бросать! — щурился довольный Норонович.

На следующий день к полудню вышли из леса. Впереди расстилались поля и луга. Леса не было и в помине, только кое-где торчали жалкие голые кустики. Слева лежала деревня Озерище. В ней жил тот Фомичев, о котором говорили слободские партизаны.

В Озерище пошел Латко. Он быстро вернулся назад — Фомичева не застал дома. Старуха — мать Фомичева — явно не обрадовалась неожиданному гостю. Она сказала, что сын вернется домой к вечеру.

Приходилось ждать. Лежали и наблюдали за деревней.

Как будто бы все было спокойно. Но вот из Озерищ в соседнюю деревню проскакал верховой.

Смеркалось, когда он возвратился.

— Ох, неспроста разлетался этот черт,— ворчал Норонович.

Все понимали, что идти во второй раз в Озерище чрезвычайно рискованно, но делать было нечего: впереди — открытый, безлесый участок и впереди железная дорога, которая, как полагали заслоновцы, сильно охраняется.

Обсудили все «за» и «против». Иного выхода нет — надо разведать.

— Что тут долго думать? Пойду! — тряхнул головой отчаянный машинист Латко.

— Если не застанешь опять Фомичева, сразу же уходи! — приказал Заслонов.

Латко ушел.

Стемнело. Все с тревогой смотрели туда, куда ушел товарищ.

Сначала было видно, как он подкрадывался к огородам, а потом слился с постройками, пропал.

И вдруг разом затрещали выстрелы, раздались крики. Между домами на короткое мгновение ярко вспыхнул свет — бросили гранату.

— Ах, черт возьми! — вырвалось у Алексеева: он

понял, что гранату пришлось бросать Латко, — кроме пистолета у него была граната.

— Фомичев предал, сволочь! — сжал кулаки Заслонов.

Стрельба разом умолкла.

— Все. Конец. Амба! — вздохнул Норонович.

Из деревни по направлению к лесу, где укрывались заслоновцы, фашисты пустили несколько ракет.

По большому количеству выстрелов и крикам многих голосов было ясно, что силы далеко неравны.

Заслонов приказал немного отойти:

— Может быть, еще вернется!

Никто не ответил ему на это. Отошли. Снова всматривались в темноту. Ловили каждый шорох.

В томительном, напряженном ожидании прошло полчаса.

Никто не шел.

Заслонов снял кепку, вытер лоб и без слов пошел в сторону. За ним молча пошли остальные.

Их стало уже только шестеро. Они шли, как и прежде, на юг...

...Чуть рассвело, когда заслоновцы, усталые, измученные, вышли из редких ольховых кустиков. Впереди были гумна какой-то небольшой деревни. А в двух шагах от них раскинулся подернутый белым инеем лужок. По лужку мирно ходило стадо деревенских гусей. Посреди лужка одиноко чернел сарай.

Хотелось только спать, спать и спать. Даже позабылось о голоде. От свежего утренника, от бессонной, тревожной ночи тело прохватывала дрожь.

— Сарай наверняка с сеном. Рискнем забраться в него. Хоть выспимся, — предложил Шурмин.

— А не попадемся мы в ловушку? — подумал вслух комиссар.

Несколько минут понаблюдали за деревней — как будто бы в ней нет оккупантов.

— Разве гуси ходили бы вот так, если б в деревне стоял хоть один фриц? — резонно заметил Норонович.

— Это верно. А с другой стороны, в этих кустиках не безопаснее и менее уютно. Идем в сарай! — решительно сказал Заслонов и первым побежал через лужок.

За ним побежали все.

Предположение оказалось правильным — сарай до-

верху был набит сеном. Забрались на самый верх сена, зарылись в него и преспокойно уснули.

Проснулись от близких винтовочных выстрелов.

— Фрицы на лугу! — встревоженно зашептал Женя Коренев, раньше других глянувший в щель между бревнами.

Все мигом очутились внизу.

— Вот не думал, что попадемся тут, как кур во щи! — хмурился Норонович, щелкая затвором.

— Ну что ж, постреляем! — попробовал отшутиться Алексеев, хотя было не до шуток.

— Без команды не стрелять. Пусть подойдут ближе! — сказал вполголоса Заслонов. — Сколько их там? Против меня на лугу ни одного.

Выстрелы продолжали раздаваться, но пули не достигали сарая.

— Товарищи, да они стреляют не по нас! — сказал Шурмин. — Они бьют деревенских гусей! Взгляните, Константин Сергеевич, у меня щель широкая.

Все прильнули к щелям.

Действительно, пять фрицев преспокойно стреляли по стаду гусей. Встревоженные гуси с дикими криками метались по лугу.

Перестреляв гусей, фрицы поволокли их в деревню.

— Вот грабители!

— Ничего, полетят и с них перья!

— Надо посмотреть, останутся они в деревне или уедут.

Фашисты, забрав гусей и какие-то мешки, уехали из деревни на двух подводах.

Больше ничего в деревне подозрительного как будто бы не было. Вон баба идет к колодцу за водой. Мальчишка босиком и без шапки стрелой промчался по улице. Дед колет дрова.

— Если нам сегодня так везет, то попробуем пойти в деревню,— весело сказал Заслонов.— Надо запастись едой и разузнать о маршруте.

Осторожно, по одному, вышли из сарая и перебежали через лужок к ближайшему двору.

Алексеев пошел на разведку. Он быстро вернулся.

— Константин Сергеевич, идемте, фашистов нет. И нам сегодня так-таки везет: старик хозяин — бывший партизан гражданской войны! Он сразу меня понял!

Старый партизан радушно принял молодых: накормил и подробно рассказал заслоновцам о дальнейшем пути — в каких деревнях стоят оккупанты, где удобнее перейти железную дорогу.

Отдохнув и запасшись продовольствием, заслоновцы с новыми силами двинулись дальше.

Под вечер следующего дня они подошли к линии железной дороги между станциями Замошье — Лелеквинская.

Партизаны-железнодорожники лежали в кустах, с волнением глядя на полотно, на рельсы. Где-то привычно пели телеграфные провода. Здесь каждая мелочь была так близка, так знакома.

А вот и гудок паровоза. Но он не свой, советский — широкий и многотонный, а какой-то смешной, писклявый.

Из-за поворота выскочил паровоз. Замелькали чужие товарные вагоны. В дверях толпились солдаты в серо-зеленых шинелях. На платформах стояли танки и машины.

— Это все на Москву! ..— вырвалось у Жени Коренева.

— Эх, толу бы сюда! — шептал Алексеев.

— Хоть бы из автомата по ним. . .— сокрушался Норонович.

— Дайте только срок — будет вам и белка, будет и свисток! — горячо сказал Заслонов.

Когда поезд прогрохотал, партизаны осмотрелись — фашистских патрулей не было. Они вскочили и, пригибаясь к земле, быстро перебежали через полотно и нырнули в кусты.

— А полотно-то уже перешили, подлецы! — заметил Чебриков.

— Погоди, Сергей Иванович, мы им не так еще нашьем! — успокоил Заслонов.

И тут снова, как не раз уже за последние дни, когда шли небольшой сплоченной группой, заговорили о предстоящей подрывной работе на фашистском транспорте.

Когда выезжали из Москвы с готовым оформленным партизанским отрядом, впереди стояла определенная, точная цель: удары по железнодорожной линии от Яр-

цева до Барановичей. А теперь отряда нет. Осталось одно ядро, в сущности говоря, один штаб отряда. Цель была все та же, но возможности совершенно иные. Приходилось заново создавать отряд, создавать его на территории, захваченной врагом. Надо было подобрать верных и нужных людей. Надо было перестроиться на ходу.

Естественно, что все мысли прежде всего устремлялись к своей Орше, где изучен каждый шаг, где они знали все и всех. И, само собою, как-то пришли к выводу, что на первое время нужно обосноваться в Орше и оттуда начинать работу. Значит, идти нужно было только в Оршу. Орша была уже не за горами, но никто из шестерых не знал, что́ делается теперь там, кто из товарищей в Орше, как оккупанты смотрят на советских железнодорожников.

Подойдем поближе к Орше, все прояснится,— таково было мнение всей группы.

Оставалось пройти эту последнюю сотню километров.

А впереди лежал трудный, болотистый участок пути.

Особенно тяжело пришлось проходить Гусенские леса — урочище «Радомский мох».

Хотя стоял крепкий мороз, но болото лишь подернулось тонким ледком. Он не выдерживал тяжести человека — предательских ломался под ногами. Приходилось брести по колено в ледяной болотной воде. Такой дороги выпало шесть километров. Все измучились до последней степени. Через каждые двести — триста метров садились отдыхать.

Когда на каком-то очередном минутном привале все кое-как уселись на кустиках, Норонович не стал даже вынимать ноги из воды, точно принимал ножную ванну.

— Василий Федорович, что делаешь? Да вынь ноги! — забеспокоился Заслонов.

— Механикам все равно обеспечен к старости ревматизм,— пошутил Алексеев.

— Говорят, грязевые ванны полезны. Посмотрим! — прибавил Шурмин.

— Чего вынимать? Через минуту пойдем. Так теплее,— невозмутимо ответил Норонович.

Подбодряли, подгоняли изредка доносившиеся свистки паровозов: рядом пролегала знакомая, тысячу раз

изъезженная железнодорожная линия Орша — Смоленск.

Ночью 12 ноября наконец подошли к деревне Заполье. До Орши осталось рукой подать — всего тридцать километров.

В Заполье у Шурмина жил троюродный брат. Решили зайти к нему и у него узнать о положении в Орше.

— Видите, Константин Сергеевич, вербы стоят,— показывал в темноте Шурмин.

— Кто же это скажет ночью да еще зимой — верба там или груша, — поддел Норонович.

— Вижу, вижу — вербы,— подтвердил Заслонов.

— И вот слева от верб хата Семена. Он с первых дней войны в Красной Армии, дома должна быть Матрена с двумя малыми детьми. Вы ее, Константин Сергеевич, видали у меня в Орше, баба лет тридцати пяти, смышленая...

— Ступай поскорее — сами увидим, какая она, — не унимался Норонович.

— Так ты ей, Петр Васильевич, скажи, что мы возвращаемся в Оршу из Вязьмы, из окружения,— еще раз напомнил Шурмину Заслонов.

Шурмин ушел и довольно скоро вернулся за товарищами.

— Матрена дома, только с ребятами. Фрицев ближе Осинторфа нет.

Когда заслоновцы вошли в хату, хозяйка несколько смешалась, увидев у них оружие. Шурмин понял ее.

— Ты, Матренушка, не удивляйся: Вязьма — не близкий свет. До Орши без оружия было бы не пройти...

— Нет, что ж, я ничего, — быстро нашлась Матрена. — Я вот только никак не могу признать, кто товарищ Заслонов,— сказала она, улыбаясь.— Я два раза видела товарища Заслонова в Орше: раз у Петруши, а раз — на станции. А тут, простите, темно, и, если бы не Петруша, я бы ни за что...

— Не впустили бы таких бородатых дядей в хату? — окончил за нее Заслонов.— Здравствуйте, Матрена Осиповна. Я — Заслонов!

— Извините... Тогда, я ж говорю, видела вас днем... Раздевайтесь, вешайте ватники поближе к печке, вот сюда,— суетилась она возле неожиданных ноч-

ных гостей. — Но все-таки за бородкой вас никак не признать,— смеялась Матрена, не спуская глаз с обросшего черной бородой Константина Сергеевича.

— Обросли, не стриглись, не брились... погоди, сколько же дней? — задумался вслух Шурмин.

— Ровно сорок два дня,— подсказал Алексеев.

— А мылись за эти сорок два дня раз пять, не больше,— прибавил Заслонов, проходя к столу.

— Нет, больше, — возразил Норонович. — А своим потом сколько раз умывались, забыли?

Пока Матрена развешивала сушиться партизанскую одежду, ее наперебой расспрашивали об Орше, где Матрена, оказывается, недавно была.

— В депо много работает оршанцев-железнодорожников.

— Вот видите, — оглянулся на товарищей Шурмин.

— Откуда же их набралось? Ведь почти все эвакуировались? — удивился Алексеев.

— А как под Ярцевом нас фашистский десант перехватил, забыл? — обернулся к нему Чебриков.

— И всех железнодорожников отсылают из плену туда, где они работали, — продолжала Матрена.

— Это неплохо,— оживился Заслонов.

— Приходят в Оршу и куированные из Вязьмы...

Заслонов не сказал ничего, только многозначительно взглянул на Алексеева.

— В Орше на станции, на плацформе, где ихняя кантына — лавочка, немцы повесили объявление: всех прежних железнодорожников просят вернуться на работу — своих не хватает.

— Еще бы — столько заграбили. На фронт под Москву и с фронта — все через Оршу,— хмуро процедил Норонович.

— Извините, товарищи, придется вам маленько в темноте посидеть. Я принесу кое-чего покушать,— сказала Матрена и, взяв со стола лампочку, вышла.

Секунду сидели молча. Из-за ширмы слышилось мерное, спокойное дыхание спящих детей.

Молчали, но думали об одном и том же.

— А что, если всем нам устроиться на работу в депо? — неторопливо, точно взвешивая каждое слово, предложил Заслонов. — Вредить фашистам в самой Орше. Уйти в лес никогда не поздно!..

— Но ведь у нас нет никаких документов личности,— живо возразил Чебриков.

— А думаешь, у тех, кто вернулся из-под Ярцева, были документы? — усмехнулся Норонович.

— И без документов все знают, что Константин Сергеевич — это Заслонов, — сказал Шурмин. — Не в документах дело.

— Затем, когда мы уходили из Вязьмы, нас видели многие паровозники. И в том числе оршанские,— продолжал Чебриков.

— Кто, например? — поинтересовался Алексеев.

— Да хотя бы Леша, что ездил помощником на «щуке», и Струк.

— Лешка — свой парень, комса, а Струк — пьяница, сболтнет по глупости, по пьяной лавочке...

— Струк как раз, когда пьян — молчит,— заметил Заслонов,— а Лешка не болтун.

— Верно, Константин Сергеевич, Лешка не болтун! Лешка — футболист! — поддержал Женя Коренев.

— Вообще, волков бояться — в лес не ходить! — сказал Заслонов.

— Самое важное, чтобы возвращение Константина Сергеевича не бросилось бы в глаза,— продолжал обсуждать положение Чебриков.

— Если убедительно обосновать возвращение Константина Сергеевича в Оршу, то ничего,— возразил Алексеев.

— Причина одна: возвратился из плена к месту прежней работы. Решено: идем в Оршу! — быстро сказал Заслонов, услышав шаги возвращающейся хозяйки.

Матрена принесла сало, огурцы, квашеную капусту. Она достала хлеб, холодную вареную картошку, поставила все на стол и пригласила:

— Прошу, товарищи, покушать. Время ночное... Завтра лучшее что-либо сготовлю, а сегодня уже...

— Ничего, ничего!

— Спасибо, хозяюшка! — заговорили партизаны.

— Что ж, поставлёно — благословлёно! — сказал Норонович, первым принимаясь есть.

За едой говорили мало — Матрена не выходила из хаты, стелила постели гостям.

— Двум можно будет ложиться на печке, трем при-

дется на соломке, на полу, а вам, товарищ Заслонов, я на лавке постелю,— говорила она.

— Полезем, механик, на печку,— предложил Алексееву Норонович. — Она у хозяйки не хуже нашего «ФД» — широкая...

— Мне, пожалуй, лучше на полу: я ворочаюсь во сне, лучина шуршать будет,— улыбнулся Алексеев.

— Спасибо, хозяюшка! — сказал Заслонов, вставая из-за стола.

За ним, благодаря Матрену за ужин, поднялись остальные.

— На здоровье, — ответила Матрена, подходя к лавке стелить постель Заслонову.— Ложитесь, отдыхайте, а завтра, как говорится, — переночуем, больше почуем!

— Да наш номер и маршрут давно определен: в Оршу надо идти, в депо! — говорил, влезая на печь, Норонович.

К Матрене подошел Алексеев.

— Мы у вас, хозяюшка, оставим ненадолго вот это, — указал он на сложенное в углу оружие. — У вас ведь муж в Красной Армии...

— Хорошо, хорошо. Понимаю. Спрячем, сделаем,— улыбнулась Матрена.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Началось с того, что мастер механического цеха Птушка, идучи с работы, выпил в станционном киоске клюквенного кваску. Два дня Иван Иванович кое-как перемогался в цеху, а на третий уже не смог выйти на работу. Жена, Марья Павловна, прибежала в депо и сказала, что Иван Иванович слег. Врач определил — брюшной тиф.

В субботу 21 июня Птушку навестил дядя Костя. Заслонов посидел, пошутил, подбодрил приунывшего мастера («Не тоскуйте, Иван Иванович, скоро встанете. Как раз к подъемке «ФД» успеете!»), а 22 июня — война...

За все свои сорок три года Иван Иванович болел только раз и то в детстве, потому лежал с неохотой, злой — не то на себя, не то неизвестно на кого, что заболел. И заболел еще в такое время.

Птушка совсем разнервничался: в эти дни в депо каждый человек на вес золота, а он вынужден валяться без дела.

Иван Иванович порывался встать. Он уговаривал жену, что совсем здоров, что все это пустяки, что врачи ничего не знают, а ему бы в руки резец и он был бы здоров. Но Марья Павловна (детей у них не было) помнила строгий наказ врача: главное в этой болезни — уход, и не давала мужу никакой поблажки.

А тут наконец появились у Ивана Ивановича на теле пятна — сомнений не оставалось, что слег он основательно.

Как ни были теперь заняты деповские рабочие, а все-таки навещали больного мастера, забегали хоть на минутку.

Марья Павловна видела: муж очень переживает. Еще бы: у всех только и разговору было, что об эвакуации семей на восток да о готовящейся эвакуации депо. Пускаться в далекую дорогу с тяжело больным мужем Марья Павловна не рискнула бы, но и оставаться на месте, когда все уезжают, было тоже нелегко, и Марья Павловна решила уйти.

В воскресенье к ним заехал на машине двоюродный брат Марьи Павловны Миша, служивший кладовщиком в пригородном совхозе Межево.

С помощью брата она как-то уговорила мужа переехать на время в Межево.

— Схоронимся от бомбежки. Ты там скорее поправишься! — твердила она.

Неизвестно, что думал Иван Иванович, но все-таки позволил увезти себя. Поэтому он не видел, как через неделю товарищи эвакуировали депо и уезжали сами.

В Межеве они прожили до ноябре 1941 года. Птушка давно выздоровел. Оккупанты не привязывались к нему.

Работать на фашистов Иван Иванович не хотел, объявляться в Орше побаивался — не знал, как фашисты отнесутся к бывшему железнодорожнику. Но время шло и все-таки надо было работать.

Иван Иванович готов был остаться на какой-нибудь работе в «земском хозяйстве», как оккупанты называли совхоз, но староста настоял, чтобы Птушка вернулся в Оршу. Он первый сообщил Птушке о том, что фашисты предлагают всем железнодорожникам явиться к месту прежней работы.

Скрепя сердце выезжал из Орши Птушка, скрепя сердце и возвращался назад в Оршу.

Уезжая в Межево, Марья Павловна взяла одежду и белье, а комнату закрыла на замок. Ее никто не занял — окна были выбиты, от мебели остались одни обломки.

Двенадцатого ноября Птушки вернулись в Оршу.

От соседок Марья Павловна тотчас же узнала, что кое-кто из деповцев, уезжавших на восток, вернулся назад — многих отрезал у Ярцева с поездами фашистский десант. Несколько человек вообще не уезжало, как например, арматурщик Манш. Манш уже служил в депо у немцев переводчиком.

Нехотя собирался Иван Иванович в депо. Он прособирался бы дольше, если бы не патруль, проверявший документы.

Унтер-офицер, узнав, что Птушка железнодорожник, строго сказал, чтобы он завтра же поступал на работу. Унтер-офицер что-то лопотал, видимо, убеждал русского железнодорожника в необходимости работать. Иван Иванович уловил в его речи одно знакомое слово: «арбайтен».

И вот настало это завтра. Птушка не знал, как идти: почище одетым или в обычном. Получше одеться, подумают: вот, как на праздник вырядился! Надеть что-либо похуже — вроде стыдно за себя. Еще немчура скажет: вот как у них ходят железнодорожники!

— Нет, знай наших!

Птушка надел новую тужурку с железнодорожными пуговицами, Марья Павловна во что бы то ни стало хотела сама провожать мужа хоть до переезда — очень боялась, как бы с Иваном Ивановичем чего не приключилось.

— Ох, боюсь я, Ванечка, а как возьмут да сразу и арестуют!

— Говорят же, что берут на работу; зачем арестовывать.

И они пошли.

На улицах прохожих было мало. Проносились фашистские грузовики. Протарахтел, сотрясая землю, танк. Связисты сидели на столбах — тянули провод. От станции доносились знакомые гудки паровозов. Издалека станция казалась такой же, как прежде, только не хватало водокачки и эстакады.

Ивану Ивановичу казалось, что вот он сейчас увидит и тот киоск, где пил тогда этот проклятый клюквенный квас, и носильщика Луку, и красную шапку Попова, дежурного по станции. . .

Вон красное кирпичное здание, за ним железнодорожный клуб, а там столовая, которую все почему-то звали «Абиссинией», и — переезд.

В помещении клуба расположился фашистский госпиталь. Стояли санитарные машины, сновали солдаты. У забора разговаривали несколько гитлеровцев.

Впереди Птушки шел какой-то железнодорожник. На нем была такая же, как у Ивана Ивановича, тужурка. Птушка никак не мог узнать его со спины — кто это: оршанец или кто-либо чужой. Когда железнодорожник поравнялся с солдатами, один из гитлеровцев указал на него. К железнодорожнику кинулся ближе других стоявший фашист. В его руке блеснул нож.

— Ванечка, убивают! — закричала Марья Павловна, вешаясь на руку мужа. — Бежим! Я ж говорила... — испуганно причитала она.

У Ивана Ивановича заныло в груди. Он повернул назад и торопливо прошел несколько шагов.

Предсмертных криков сзади не слышалось. Он обернулся. Солдаты толпились на дороге, смеясь чему-то. Железнодорожник, живой и невредимый, стоял тут же.

— Идем, Ванечка, идем! — тянула мужа за руку Марья Павловна, боявшаяся даже взглянуть в ту сторону.

— Да солдаты ничего не делают,— сказал Птушка.

Марья Павловна отважилась оглянуться: железнодорожник шел уже своей дорогой.

— Зачем же они кинулись к нему с ножом? — спросила она.

— Железнодорожные пуговицы срезывают. Вот такие, как у вас, дяденька. Фрицы ничего нашего, совет-

ского, не любят. А не дашь срезать, тебя самого зарежут! — словоохотливо объяснил какой-то мальчик, пробегавший мимо.

Пришлось все-таки возвращаться назад.

2

Идти в Оршу из Заполья решено было не всем вместе, а по одиночке и разными дорогами.

Только Константин Сергеевич шел с Женей,— думал на первое время остановиться у Кореневых: их дом был удобен, потому что стоял на краю улицы у самого поля.

— А что, если оккупанты заняли ваш дом? — заметил Заслонов.

— Не займут! — поспешил успокоить Женя. — Он у нас маленький: две комнаты и кухня.

— Фашист — наглец, он не постесняется взять и последнюю комнату!

Шли они под видом плотников: Женя взял пилу, а Константин Сергеевич — топор и рубанок. Внешний вид их вполне соответствовал выбранной профессии. К тому же у Заслонова, не брившегося все эти месяцы, выросла небольшая черная борода.

— Похоже, отец с сыном идут в город на заработки! — сказал, глядя на них, Шурмин.

— Он и вправду мой сын! — прижал паренька к своему плечу Заслонов.

Женя весь зарделся от удовольствия.

Со смешанным чувством подходили они к Орше. Было тяжело смотреть на свой город, занятый врагом, но в то же время все-таки хотелось поскорее увидеть родные сердцу места.

Женя ждал встречи с матерью и бабушкой, а Заслонову не терпелось посмотреть, удалось ли фашистам исправить на станции и на путях то, что, по его указаниям, взрывали подрывники, уходя из Орши последними.

Было еще одно: хотелось увидеть врага вблизи.

Они заметили оккупантов еще до того, как ступили на оршанские улицы. У крайнего дома, на огороде, стояла группа военных в серо-зеленых шинелях. Они что-то рыли. Возле них бегала овчарка — громадный серый зверь. Увидев идущих по улице людей, овчарка сразу

насторожилась и кинулась было к изгороди, но ее остановил властный окрик хозяина: прохожие не показались фашисту подозрительными.

— Двуногая собака глупее четвероногой,— тихо сказал Женя.

— Но двуногие опаснее,— не поворачивая головы, ответил Заслонов.

Они пошли по улице.

Вот и Орша!

Где-то за этими домишками и опустелыми огородами пробегали гулкие железнодорожные пути, откуда доносятся знакомые свистки паровозов.

Но до всего этого еще так далеко!

— Только бы застать твоих дома! — беспокоился Заслонов.

— А куда им деться? Разве в живых уже нет...

На улице народу было мало. Им повстречалось лишь несколько женщин. Одна из них, жена помощника машиниста Пачковского, очень пристально посмотрела на Заслонова и Женю. Миновав ее, Заслонов слегка повернул голову, — Пачковская продолжала смотреть им вслед.

— Стоит и смотрит.

— Неужели узнала? — встревожился Женя.

— Все возможно.

Когда они свернули в ту улицу, где жили Кореневы, Женя схватил Заслонова за руку:

— Часовой!

Против дома Кореневых, у школы, ходил с автоматом на груди часовой.

— А ты думал,— фашисты школу для белорусских детей откроют? — ответил Заслонов и продолжал спокойно идти к дому.

Часовой не тронул их, и они вошли в калитку. Бабушка оказалась дома, а матери Жени, Анны Ивановны, не было: она ушла к соседям. Когда Заслонов и Женя умылись и поели, бабушка собралась сходить за Анной Ивановной.

— Я закрою дом на замок, а вы ложитесь и отдыхайте с дороги,— сказала она и ушла.

Но Заслонов и Женя не стали отдыхать. Они ушли в спальню, завесили единственное окно, выходящее на огород, и принялись чистить свои пистолеты.

За этим занятием их и застали возвратившиеся Анна Ивановна и бабушка. Увидев оружие, женщины оторопели.

Когда после первых приветствий все уселись, бабушка сказала, боязливо косясь на пистолеты:

— И зачем вам эти револьверы, скажите на милость?

— Мы пробирались лесами и болотами. Без оружия как же идти? — ответил Заслонов.

Давеча он сказал бабушке, что пришел с Женей только вдвоем.

— Вывешено объявление: у кого найдут оружие, сразу — расстрел,— сказал бабушка, испуганно глядя на пистолеты.

— Кажется, фашисты неплохо расстреливают и безоружных,— усмехнулся Заслонов.

— Сохрани господи, найдут или узнают! — твердила бабушка в страхе.

— У нас не найдут! — уверенно ответил Женя, кончивший собирать вычищенный пистолет.

Он попробовал отвести ствол, — все в порядке. И вдруг раздался выстрел. Пуля угодила в пол.

Все обомлели.

Бабушка в ужасе отшатнулась. Анна Ивановна сидела бледная, схватившись за голову руками. Сконфуженный Женя в недоумении смотрел на пистолет, не понимая, как это он мог выстрелить.

Заслонов криво улыбался.

Это длилось секунду. В следующую Заслонов, сидевший рядом с Женей, выхватил из его рук пистолет и поднялся.

— Надо спрятать. Могли услыхать выстрел!

Все очнулись от оцепенения и засуетились.

Куда спрятать пистолеты на случай обыска? Под кровать? На печь? В подполье?

Не годится!

Каждый старался придумать место понадежнее, а сам в то же время с тревогой прислушивался: не стучат ли, не ломятся ли уже в дверь эсэсовцы?

— Мамаша, давайте пустой котел! — живо сказал Заслонов бабушке.

Старуха осторожно шагнула на кухню, боязливо поглядывая на окно, в котором маячили голые сучья

сирени. Она проворно достала из-под лавки котел. В нем была картошка.

— Высыпайте картошку на пол! — командовал Константин Сергеевич.

Он положил оба пистолета и обоймы с патронами, предусмотрительно завернутые в тряпку, на дно котла, а сверху засыпал картошкой...

— Ставьте в печь. Фашист жаден, картошка не сало,— на нее он не польстится!

Бабушка с опаской взяла котел и понесла его к русской печке, далеко отставив от себя, точно котел обжигал ее.

Через секунду страшные пистолеты очутились в печке за заслонкой.

— Мама, выйди во двор, посмотри, как там! — попросил Женя.

Анна Ивановна накинула на плечи платок и вышла. Все молчали, с тревогой ожидая, что же будет. Женя не мог от огорчения и стыда поднять глаз: сидел красный как рак. Анна Ивановна быстро вернулась.

— Все спокойно. Должно быть, не слыхали!

— У нас тут кругом стреляют. Каждый день!..— повеселела бабушка.

— Это, щука, тебе наука!.. Из-за глупости могли бы влопаться. Вперед надо быть осторожнее! — строго сказал Жене Заслонов.

— А все-таки зачем смерть за собой таскать? Закопали бы лучше где-нибудь эту гадость,— сказала бабушка, все еще косясь на печь.

— В этих пистолетах наша жизнь, маменька, а не смерть! — ответил Заслонов.

3

Остаток дня прошел спокойно. К Кореневым никто не приходил. Но уже назавтра Константину Сергеевичу и Жене пришлось скрываться от чужих глаз в тесной спаленке.

Еще с утра к Кореневым явилась Пачковская. Она все-таки узнала на улице Заслонова и Женю и пришла расспросить у них, не знают ли они, где ее муж и что с ним.

Анна Ивановна отговаривалась, клялась, что Женя не вернулся.

— Вы не бойтесь меня, я никому не скажу,— убеждала Пачковская.

Но та стояла на своем:

— Сына нет в Орше, вы ошиблись, это был другой человек.

Пачковская ушла ни с чем, обиженная.

— Мама, ты плохо ведешь роль. Тебя по голосу сразу узнаешь, что ты говоришь неправду,— сказал Женя, выходя из спальни.— Вот бы Коля Домарацкий, тот бы сыграл!..

— Да, я не артистка. Но все-таки, как это — по голосу? А что в моем голосе? — даже обиделась Анна Ивановна.

— В твоем голосе много радости.

— А что же мне плакать, если ты вернулся?

— Немножко суше надо говорить.

Не прошло и часу, как вслед за Пачковской пришла жена машиниста Лобана, а за нею — Ткаченок. Слух о том, что бывший начальник депо Заслонов и Женя вернулись в Оршу, быстро распространился между железнодорожниками.

Кореневой так надоело отвечать всем одно и то же, что с Ткаченок она в самом деле говорила очень сухо.

— Все-таки плохо, что о нас так скоро узнали,— думал вслух Заслонов.

— Константин Сергеевич, мы же не скрываться в подполье пришли. Рано или поздно, а придется выйти на свет,— возражал Женя.

Ему не терпелось, хотелось поскорее что-то делать.

«Хватит ли нам времени для того, чтобы хоть осмотреться, ознакомиться с обстановкой и наметить план работы?» — раздумывал Заслонов.

Он попросил Анну Ивановну сходить к Петру Шурмину и узнать, как добрались в Оршу остальные товарищи.

Оказалось, что все дошли благополучно. Но в депо еще никто не являлся. Пока ограничивались тем, что старались обзавестись фашистскими документами. Городская управа выдавала всем удостоверения личности, если два свидетеля подтверждали, что данное лицо жило и работало в Орше постоянно.

Толя Алексеев поселился у вдовы машиниста Дарьи Степановны, у которой лучшую комнату занимал фашистский офицер.

— Молодец, не побоялся жить через стенку с врагом! — похвалил Заслонов.

Выяснилось положение с депо.

Линия Орша — Лепель не работала, так как все внимание фашистов было направлено на Москву. Паровозников-немцев не хватало. Фашисты вербовали на работу русских, но советские железнодорожники шли в депо очень неохотно.

Арматурщик Манш действительно работал переводчиком у шефа, Зильберт и Штукель — сменными нарядчиками, но это были явные предатели. Вообще работало у фашистов десятка полтора паровозников. На днях поступил Птушка — мастер механического цеха, но его сначала направили на черную работу: убирать в депо разный хлам.

Женя сходил в городскую управу и получил себе удостоверение личности, а Петр Шурмин передал Константину Сергеевичу пропуск машиниста Иванова, разрешающий ходить по железнодорожным путям. Это уже было некоторое подобие документа.

И в самом деле, через день этот пропуск сослужил Заслонову хорошую службу.

К Кореневым пришел патруль проверять документы. Услышав, что кто-то вошел со двора на кухню, Женя и Заслонов поспешили в свое убежище — в спальню. Они стояли и слушали: кто?

Из кухни донеслась немецкая речь, и чей-то хриплый голос сказал:

— Зи-имно! Кальт!

Сомнений нет: фашисты. Но кто и зачем, — неизвестно.

Заслонов и Женя не знали, как быть: сидеть в спальне или вернуться в комнату. Но дверь отворилась, и в комнату вошла Анна Ивановна, а за нею топал сапожищами патруль.

— Женя! — громко сказала Анна Ивановна.— Пришли проверять документы.

Заслонов и Женя вышли из спальни. Перед ними стояли двое солдат. Один, очевидно, старший,— на рукаве у него был нашит бело-зеленый треугольник.

— Это мой сын,— сказала Анна Ивановна старшему, указывая на Женю.

Женя протянул удостоверение, полученное им вчера в городской управе. Солдат вскинул глаза на обоих мужчин. Заслоновская борода, видимо, не очень понравилась ему.

Прочитав документ, он вернул бумажку Жене и протянул руку к Заслонову.

Константин Сергеевич подал пропуск Иванова.

Патруль едва взглянул на пропуск и спросил:

— Паспорт! Паспорт!

— Сдал по месту работы,— спокойно ответил порусски Заслонов.

Старший, не поняв ответа, хлопал глазами.

— В депо, нах бангоф,— пришел на помощь Женя, вспоминая все школьные немецкие слова.

— Там, там, дорт! — махал он рукой, указывая куда-то в сторону.

Наконец до фашиста «дошло». Он долго говорил о чем-то Заслонову. Константин Сергеевич понял: патруль требует, чтобы в следующий раз обязательно был предъявлен паспорт.

— Хорошо, хорошо, гут! — закивал Заслонов.

Солдат, начальственно отдув усы, посмотрел вокруг, потом заглянул в спальню и повернулся к выходу, бросив на ходу:

— Ауфвидерзеен!

— Вот дьявол! Придется куда-то перебираться,— недовольно поморщился Константин Сергеевич, когда патруль ушел.

— Да, он завтра непременно проверит, — подтвердила Анна Ивановна. — Немец — такой!

Стали думать, где бы поместиться Константину Сергеевичу. Перебрали всех железнодорожников, чьи семьи были в данный момент в Орше, и остановились на маневровом машинисте Соколовском.

— Домик у них свой, на Буденновской улице, в двух шагах от депо. Может, помните, Константин Сергеевич,— с желтенькими ставнями, с маленькой верандой? Живут вдвоем — ни детей, ни стариков.

— А у них, кажется, сын был? — вспомнил Заслонов.

— Сын перед самой войной уехал в санаторию около Ленинграда, да там и застрял.

— Но у Соколовских всего, считай, полторы комнаты,— сказала бабушка.— И большую занял фриц, а они сами ютятся в маленькой. Ее и комнатой не назовешь,— вроде купе.

— Ничего, как-нибудь поместимся. А фашист — что ж, куда от этой погани здесь денешься? — рассудил Заслонов.

Анна Ивановна сбегала за Соколовским.

Машинист очень обрадовался, увидев Заслонова и Женю.

— Устроимся, люди свои,— сказал он и тотчас же повел Заслонова к себе.

Постояльца Соколовских не застали дома, и никто не помешал им поговорить.

Квартира Соколовских в самом деле оказалась очень невелика: кухня и комната. Кроме того, от кухни была отделена малюсенькая — в три шага — клетушка с одним окном, да за печкой — узкая каморка.

Тонкие дощатые перегородки, разделявшие комнаты и кухню, не доходили до потолка, и ни одна из комнат не имела дверей, а потому каждое слово, произнесенное в любом углу квартиры, было слышно повсюду.

— Я не знаю, Миша, как же мы устроим Константина Сергеевича? — говорила Соколовская, несколько смущенная тем, что бывший начальник депо намерен поместиться у них, когда единственная приличная комната занята обер-фельдфебелем.

— Полина Павловна, мне много места не надо. Мне чутеньки. Если можно, вот тут, в этом купе, — указал Заслонов на комнатушку у входа.

Так и решили: Полина Павловна поместится за печкой, а Соколовский и Заслонов — в комнатушке. Хозяин — слева у перегородки, на диванчике, а Константин Сергеевич — справа, у стены, на ребристой железной кровати. У окна между диваном и кроватью едва втиснули небольшой столик.

Закончили все и сели на кухне ужинать.

За ужином Заслонов расспросил подробнее о постояльце, бок о бок с которым ему предстояло жить. Соколовские сказали, что немец — обер-фельдфебель связи Иозеф Шуф, лет двадцати шести — двадцати

восьми, до войны был студентом. Предупредили, что Шуф многое понимает по-русски и сам пытается говорить по-русски.

Кончали ужинать, когда послышались быстрые шаги и в квартиру вошел высокий молодой человек. Соколовские не упомянули об одной характерной особенности обер-фельдфебеля: у него была большая светлорусая, с рыжинкой борода. Она производила впечатление приклеенной, ненатуральной, настолько молодо глядели голубые нахальные глаза.

— Тнабенд! — козырнул он, поворачиваясь к столу.

Увидев Заслонова, фашист срезал шаг и остановился, удивленно глядя на незнакомого человека с черной бородой.

— А это кто? Кость?

«Смотри, как бы этой костью не подавился!» — невольно подумал Константин Сергеевич, внутренне потешаясь над этим невольным каламбуром.

— Начальник депо, инженер Заслонов,— представил Соколовский.

— О, руссише шеф. Вьеликольепно-карашо! — сказал Шуф и, глядя на черную бороду Заслонова, прибавил с улыбкой: — Шварцман!

Обер-фельдфебель шагнул в свою комнату, насвистывая что-то веселое. Он зажег у себя лампу и снова появился в дверях комнаты.

— Герр Сацлонοф играйт... — защелкал он пальцами, подбирая нужное слово: — ...Шахшпиль?

— В шахматы? — помог Заслонов.

— Да, да, шахмати...

— Играю.

— Вьеликольепно-карашо. Граем, пожалюста!

— Пожалуйста! — согласился Константин Сергеевич: шахматы он любил. «Мало ли что бывает в жизни: может, когда-нибудь этот рыжебородый студиозус пригодится!» — подумал Заслонов, идя в комнату обер-фельдфебеля.

4

На следующий день Константин Сергеевич пошел с Соколовским в городскую управу получать удостоверение личности. Там уже были Норонович и Алексеев. В городской управе все сошло благополучно: Заслоно-

ву беспрепятственно выдали удостоверение, и он мог не бояться патрулей.

Первая стадия — получение фашистского вида — пройдена.

На очереди оставалась более сложная задача: устроиться в депо.

Рискнут ли фашисты взять на работу бывшего «ТЧ», который, как всем в Орше известно, деятельно проводил эвакуацию депо?

Может быть, не только не возьмут, а просто арестуют? Очевидно, до гестапо уже дошло, что Заслонов — в Орше, хотя гестапо и помещалось в четырех километрах, на бывшем льнокомбинате, а на станции — только комендатура.

«С другой стороны, если не арестовали до этого времени, может, пронесет?» — думал Заслонов.

О том, что делается сейчас в депо, Константин Сергеевич собрал самые точные сведения.

После занятия оккупантами Орши дорогу обслуживали военные. И лишь в первых числах ноября, с продвижением фронта к Москве, все перешло в руки гражданских железнодорожников. Заслонов видел их черные шинели и фуражки с высокой тульей. Мастера, дежурные по депо и часть машинистов были немцы, а паровозников не хватало. Фашисты хотели завербовать советских паровозников и деповцев, но пока что к ним на службу поступило всего несколько человек, хотя в Орше и окрестных деревнях жило много железнодорожников.

Прежде чем отправляться к начальнику депо — Контенбруку,— Константин Сергеевич решил прощупать почву — поговорить с кем-либо из оршанцев-железнодорожников, работающих у фашистов: можно ли надеяться на успех.

Остановились на Птушке, который поступил в депо на работу. Птушку все старые рабочие знали и уважали, как мастера механического цеха, и он мог быть в курсе всех разговоров и настроений в депо.

— А Птушка-то сам каков? Ведь он остался, не уехал на восток? — спросил у товарищей Заслонов.

— Константин Сергеевич, да ведь Птушка перед самой войной заболел брюшным тифом,— напомнил Алексеев.

— Птушка всегда был советским человеком, — прибавил Норонович.

— Остался он не по своей воле, это верно, — сказал в раздумье Заслонов.— Тогда он был советским человеком — тоже верно. Но тогда и Штукель казался советским человеком, а теперь вот кем оказался!

— Ну что ж, посмотрим, чем сейчас дышит Иван Иванович.

Сговорились, что Заслонов вместе с Алексеевым сегодня же сходят к Птушке.

Иван Иванович сидел у топившейся печки, когда в комнату кто-то вошел.

Птушка взглянул,— перед ним стоял машинист Толя Алексеев, ездивший на «ФД».

— Здравствуйте, Иван Иванович!

— А, Толя, здорово! — протянул ему руку Птушка. — Откуда ты?

— Из Вязьмы. Попались в окружение. . .

— Та-ак, садись, механик, грейся,— пододвинул Птушка гостю табурет.

— А там это кто? — смотрел он, не узнавая.

У двери, засунув руки в карманы старенькой тужурки, стоял небольшой человек. Кепка была надвинута на глаза, и в вечерних сумерках можно было различить только усы и черную бороду.

— Что, не узнаете меня, Иван Иванович? — спросил незнакомец и подошел к печке.

Птушка наконец признал своего бывшего начальника; Заслонов очень изменился: лицо осунулось, костюм был потрепан.

— Константин Сергеевич, здравствуйте! — оживился Птушка, усаживая Заслонова у печки.— Как вы изменились!

— Да, пока тащились пешком, обносились, обросли бородами. Зашли вот проведать старых товарищей.— Заслонов нарочно сказал не «друзей» или «приятелей», а «товарищей», чтобы посмотреть, как это примет Птушка. Иван Иванович принял как должное.

— Спасибо, Константин Сергеевич. Очень рад! А как тогда все из моего цеха вывезли в тыл? Дошло ли?

«Выпытывает, что ли?» — подумал Заслонов и сказал, улыбнувшись:

— Все, Иван Иванович, вывезли. До последнего

болтика. И все дошло. А фашисты, небось, понавезли всего?

— В механическом я еще не бывал. Я ведь пока вроде чернорабочего, по двору работаю, — смутился Птушка.— Немцы допускают нас лишь к самой простой грязной работе...

— И давно вы у них, Иван Иванович?

— С неделю. А вы что, Константин Сергеевич, думаете делать?

— Придется работать: пить-есть надо...

— Идите в депо. Там люди нужны. Особенно такие. Вы для них — клад: всех знаете и вас все знают. Если вы придете, потянутся старые деповцы, а то полный разброд. Людей некому организовать...

Заслонов переглянулся с Алексеевым.

— Говорите, фашисты будут довольны?

— Еще бы!

— А не заметут часом как бывшего советского «ТЧ»? — улыбнулся Заслонов.

— Кто их знает! — пожал плечами Птушка. — Думается мне, что нет. Вы ведь беспартийный спец! Я вчера с Маншем о вас говорил. Манш теперь большая шишка — переводчик.

— Ну и что же он? — насторожился Заслонов.

— Хорошо о вас отзывается. Услыхал, что вы вернулись, говорит: «Золотая голова! Вот бы нам такого работника! Начальником русских паровозных бригад».

— Надо подумать,— ответил без энтузиазма Заслонов, глядя на ярко горевшие в печке дрова.

— Приходите, Константин Сергеевич, будем вместе страдать. Манечка, смотри, кто у нас! — обратился Птушка к жене, которая вошла в комнату с зажженной лампой.

Разговор перешел на другие темы. Заслонов расспрашивал, как Птушки жили все эти месяцы в Меже́ве.

Марья Павловна рассказывала, горевала о том, что их имущество разграбили. Заслонов и Алексеев слушали не перебивая, старались сами говорить поменьше.

Птушка хотел угостить их жареной картошкой, но они заторопились.

— Спасибо, Иван Иванович,— в другой раз. Надо идти, а то патруль заберет, — отговаривался Алексеев.

— Мы еще придем. Теперь будем видеться,— говорил на прощанье Заслонов.

И они ушли.

— Ну, как вам Птушка? — спросил на улице у Заслонова Алексеев.

— Такой же, как и был: настоящий советский человек.

— По-моему, подавлен фашистскими успехами на фронте.

— Да, напуган всякими страхами. А вот мы покажем, что не так страшен черт, как его малюют!

5

С тяжелым чувством шел в депо Заслонов.

Из окна его тесной комнатушки у Соколовских, сквозь голые ветки куста сирени, росшего в палисаднике, Константин Сергеевич видел железнодорожные пути, вокзал, депо. Казалось, все было на месте, все было то же: и это неуклюжее здание вокзала, которому, по странной прихоти архитектора, хотели придать вид паровоза, и старые, с измазанными мазутом боками, будки у переездов и кирпичное здание депо.

Но и на станции и на путях все было иное.

Когда-то оживленная, шумная станция теперь была безлюдна и пуста. Пути захламлены. Вместо наших могучих красавцев по тракционным путям[1] бегали приземисто-длинные немецкие паровозы с тендером, напоминающим понтонную лодку. И с путей доносились не многотонные радостные, бодрые голоса советских паровозов, а заунывные, однотонные гудки немецких «52».

Эти гудки говорили с Заслоновым чужими, враждебными голосами. В родном доме хозяйничал наглый враг.

Пальцы сами собою сжимались в кулак. Хотелось скорее, скорее что-то делать, чтобы противостоять врагу, бороться с ним, как борется вся страна.

Заслонов шел, не видя ничего от ненависти.

Он быстро прошел через переезд и вошел на территорию депо. Сердце забилось еще учащеннее,— ведь депо было близкое и дорогое.

---

[1] Тракционные пути — пути депо и вагонного хозяйства.

Деповская территория оказалась неузнаваемой. При советской власти у Заслонова в депо никто не нашел бы ни одного захламленного угла, всюду была чистота и порядок. А теперь — куда ни глянь — кучи мусора и шлака, а на междупутье валяется разный чугунный и железный лом.

«Вот вам и хваленая европейская культура!» — усмехнулся Заслонов, с огорчением глядя на изгаженное оккупантами депо.

Константин Сергеевич уже подходил к складу, когда из нарядческой навстречу ему показалась странная процессия: впереди шел машинист Капустин с помощником Васей Желудем, а сзади за ними плелся пожилой немец-железнодорожник с винтовкой за плечами. Это паровозная бригада отправлялась под конвоем в очередную поездку.

«Ага, побаиваются! Не доверяют!» — с удовлетворением подумал Константин Сергеевич.

Когда они поравнялись с Заслоновым, Капустин удивленно вскинул брови,— он никак не ожидал такой встречи.

А потом весело закивал головой.

Заслонов улыбнулся в ответ.

Через минуту он вошел в знакомый полутемный, узкий коридор. Справа глухо гудела «брехаловка» — так деповцы, шутя, звали комнату, где машинисты и кочегары ждали назначения на очередную поездку.

Константину Сергеевичу так хотелось бы заглянуть туда, но он открыл дверь налево, в нарядческую.

Нарядческая нисколько не изменилась: та же невысокая перегородка, в углу та же печь. Только за перегородкой вместо одного стола дежурного стояло два — друг против друга.

Слева сидел нарядчик — плешивый Штукель, выслуживающийся у фашистов предатель. А справа — начальник немецких паровозных бригад, пожилой немец с худощавым, сморщенным лицом. Глядя на его кислую физиономию, думалось, что у него вечно болит живот.

Заслонов только хотел обратиться к Штукелю, как сбоку раздалось:

— А-а, господин Заслонов!

Сказано было приветливо.

Заслонов обернулся. Перед ним стоял Генрих Манш.

— Здравствуйте, Генрих Густавович!

— Очень рад видеть вас, господин Заслонов. Вы к нам? — склонил голову набок Манш.

— Да, я хотел бы служить.

— Пожалуйте сюда, посидите, а я доложу господину шефу.

Манш предупредительно распахнул перед Заслоновым дверь в перегородке. Фашист удивленно воззрился: кто это, перед кем так лебезит переводчик? Тем более, что вид у Заслонова был далеко не внушающий уважения: поношенная, в нескольких местах прожженная тужурка, мятые брюки и видавшие виды сапоги.

Манш усадил Заслонова на стул, что-то шепнул немцу и убежал к шефу.

Штукель делал вид, что не узнает бывшего начальника, — листал бумаги, лежавшие перед ним на столе, а потом встал с места.

Заслонов не смотрел на Штукеля, но почувствовал на себе его взгляд.

Константин Сергеевич сидел, стараясь казаться спокойным. С безразличным видом смотрел в окно, за которым, задорно посвистывая, пробегали маневровые паровозы.

Сейчас там, у шефа, решалась судьба его дела. Рушится заслоновский план или нет? Своя личная судьба его не волновала. Не арест пугал его, а то, что, в случае ареста, он не сможет выполнить своего слова, данного партии и правительству.

Манш вернулся от шефа очень скоро.

— Прошу вас, господин Заслонов!— позвал он, широко открывая дверь из нарядческой.

Константин Сергеевич не спеша пошел вслед за ним по коридору мимо «брехаловки» и счетной. Вошли в кабинет шефа. За большим письменным столом сидел человек лет тридцати пяти, типичный немец: белокурый, с голубыми глазами.

— Вы начальник депо Орша, инженер Сацлоноф? — спросил он, с любопытством глядя на Заслонова.

— Я, я.

Шеф чуть повеселел: он принял это русское «я» за немецкое «да».

— Вы говорите по-немецки?

— Очень немного. Лучше будет — через переводчика, — посмотрел Константин Сергеевич на Манша.

Шеф продолжал кидать вопросы:

— Вы коммунист?

— Я беспартийный.

— Вы отлично работали у большевиков.

— Я не умею плохо работать.

— Вы получили даже награду? Крест...

Заслонов чуть улыбнулся («До креста мне еще далеко!..»).

— Я награжден медалью.

— Все равно. Значит, вы большевик?

«Так я и признаюсь тебе, что большевик!»

— Медалью за трудовое отличие,— подчеркнул Константин Сергеевич.

Манш, склонив голову, что-то быстро заговорил. Можно было догадаться, что речь шла не только о медали.

— А зачем же вы все из депо вывезли? — колол Заслонова взглядом шеф.

— Я выполнял приказ. Как же я мог не вывозить?.. Само депо ведь цело!

— Но вы увезли из депо все станки!

— А разве в Германии нет станков? Говорят, немецкие инструменты и станки лучше наших... — попробовал отговориться лестью Заслонов.

Манш, видимо, очень довольный ответами своего бывшего начальника, переводил, захлебываясь.

Заслонов смотрел в окно. Все это было похоже на очень трудный экзамен. Думал: «Кажется, не провалился... Спросит ли еще что-либо эта фашистская кишка?»

Выслушав переводчика, шеф минуту раздумывал. Потом еще раз пытливо оглядел Заслонова.

Невысокий, крепкий человек с неторопливыми движениями и спокойными карими глазами внушал ему уважение.

«Его портит нелепая русская борода и слишком скверный костюм. Но повелевать он способен!»

— Я назначаю вас в угольный склад,— быстро сказал шеф.

«Отвалил, нечего сказать! Это он по одежке встречает... Угольный склад... На худой конец возьмем и

это, но надо поддержать престиж советского инжсне-ра!»

— Благодарите шефа, Генрих Густавович, но я не буду... Поищу другой работы: я ведь инженер.

Эти две фразы Манш переводил что-то очень долго.

Когда Манш окончил говорить, шеф чуть сощурил глаза и сказал:

— Хорошо. Господин Сацлонoф, назначаю вас начальником русских паровозных бригад. Завтра явитесь на работу!

Он встал, показывая, что разговор окончен.

Заслонов поклонился и вышел. Манш остался в кабинете шефа.

Константин Сергеевич шел и ликовал: «Теперь мы тут рубанем!»

Заслонову не спалось. Еще было совершенно темно, когда он проснулся. Константин Сергеевич лежал и думал.

Сегодня он начнет работать в депо у фашистов. Константин Сергеевич обдумывал свою будущую роль. С одной стороны, надо держать себя так, чтобы не возбудить подозрений. Несмотря на любезность Манша, за каждым шагом начальника русских паровозных бригад будут зорко следить десятки глаз.

А с другой,— душа рвется к борьбе с врагом. Руки чешутся — мстить, мстить и мстить фашистам!

Но прежде чем он найдет способ, как удобнее и действеннее вредить врагу, надо подобрать людей. Всех, кого знал раньше, надо пересмотреть заново: не доверять своим прежним представлениям о данном человеке. «Протереть его наждачком!»

«Нужно действовать крайне осмотрительно, не спеша, но все-таки нужно торопиться. Дорог каждый час, дорога каждая минута. Надо помочь Красной Армии: ведь железнодорожник — родной ее брат! Надо сделать так, чтобы сорвать, застопорить этот непрерывный бег фашистских поездов,— тех, что день и ночь мчатся на восток, тех, что везут на фронт под Москву солдат в грязно-зеленых шинелях, длинногорлые пушки и неуклюжие громады танков с черными пауками на бортах. Под откос их!»

С такими мыслями лежать было невмочь.

Заслонов пришел в нарядческую раньше всех. Оказывается, для него уже было приготовлено место: посреди двух нарядческих столов стоял третий.

Следом за Константином Сергеевичем пришел на работу Штукель. Сегодня Штукель сразу узнал Заслонова, первый ему поклонился и назвал «господином Заслоновым».

Пришел и фриц. Он изобразил на своей унылой физиономии некоторое подобие улыбки и отрекомендовался: «Фрейтаг».[1] Сказал, что ему очень приятно будет работать вместе с «господином инженером Сацлоноф».

Глядя на него, Заслонов невольно вспомнил белорусскую поговорку: «Сморщился, как худая пятница». «Вот уж действительно по шерсти и кличка!»

День начался.

В нарядческую входили немецкие и русские паровозники. Фашисты были вооружены карабинами или пистолетами.

Русские бригады — старые знакомцы Заслонова, — неожиданно увидев его тут, не знали, что́ и подумать и как себя с ним держать.

Первое, что ясно отражалось на лице каждого при виде дяди Кости, была радость, смешанная с удивлением. Но это длилось только короткий миг. Удивление так и оставалось, а радость быстро уступала место презрению, еле уловимой насмешке, которая вспыхивала в глазах, а у более молодых и непосредственных — прямой ненависти.

Константин Сергеевич Заслонов, их «ТЧ», их дядя Костя, которого они так уважали и любили, Заслонов-патриот работает у фашистов! Сидит рядом с презренным предателем Штукелем!

О том, что Заслонов вернулся в Оршу, что кто-то видел его на улице, уже говорили в «брехаловке».

Выходило так, что фактически каждый из них пока что работал на врагов. Но они работали не по своей воле, а по принуждению, присланные в депо из концентрационного лагеря, откуда всех железнодорожников отправляли по месту прежней работы. Они терзались тем,

[1] Фрейтаг — по-немецки: пятница.

что вынуждены тут работать, презирали себя, но люто ненавидели фашистов и только ждали удобного случая, чтобы посчитаться с врагом.

Но в их представлении Заслонов ни в коем случае не мог допустить того, чтобы остаться у фашистов. Значит, он добровольно перешел к врагу.

Они были ошеломлены...

Это представлялось чудовищным, невероятным, но война уже научила всех, что многое и многих приходится переоценивать на ходу.

Заслонов сидел за своим столом, как всегда невозмутимый, неторопливый. И, кажется, не всматриваясь в лица, он видел всю эту пеструю смену чувств.

Часу в десятом в нарядческую вошел по-всегдашнему сутулый Норонович.

Заслонов сговорился с товарищами, что для начала он в первый же день примет на работу двух своих — Нороновича и Алексеева. Остальные должны были прийти через день-два.

У перегородки задержалась группа немецких машинистов. Они кончали разговор со своим нарядчиком и заслонили Нороновичу сидящих за перегородкой. Норонович обошел их слева и увидел перед собою за перегородкой Штукеля. Они встретились глазами — и быстро отвели взгляд.

Норонович протиснулся к Заслонову. Его лицо посветлело.

— Здравствуйте, това...— разлетелся он,— и осекся.

Штукель хитро покосился на Заслонова, но начальник русских паровозных бригад остался непроницаемым.

— Здравствуйте, господин Норонович, — сухо ответил Заслонов.— Что вам угодно?

Каждый оршанский паровозник знал эту интонацию Заслонова. Дядя Костя говорил так, когда собирался отчитывать механика за какую-либо тяжелую провинность: задержку в пути, опоздание к поезду.

Норонович помрачнел, насупился. Он мысленно посылал себе «черта-дьявола» за свою оплошность.

«Конспиратор, партизан!» — колол он себя.

Не поднимая головы, он вялым голосом стал

просить принять его на службу. Заслонов повел его к шефу.

Норонович еще не опомнился от конфуза, был зол на себя и смотрел угрюмо.

Шеф не возражал против принятия его на работу, но спросил:

— А он не заснет в будке?

— Нет, нет! — улыбнулся Заслонов.

Машинист был принят.

Когда вышли в коридор, Норонович хотел было что-то сказать в свое оправдание, но Константин Сергеевич так взглянул на него («нашел место!»), что тот поперхнулся.

Немного спустя пришел Алексеев.

Флегматичный Норонович не мог внушать по виду никаких опасений. Глядя на него, думалось: это спокойный человек, исправный машинист. За Нороновича Заслонов не боялся, что он не придется по вкусу немцам.

Но молодой, бойкий Алексеев, с живыми глазами, быстрыми движениями, слишком напоминал красноармейца. Сговариваясь накануне, Заслонов предупредил Алексеева, чтобы он, хоть для первого знакомства, держал себя косолапее, что ли. И теперь, когда Алексеев вошел и звонко сказал, не обращаясь ни к кому лично, «Здравствуйте!»,— это старинное общерусское приветствие прозвучало очень по-советски.

Штукель сразу поднял от стола голову и насторожился.

Алексеев, опять-таки не обращаясь ни к кому, спросил:

— Как поступить на работу?

Заслонов повел и его к шефу.

— Вот хороший машинист. Гут машинист! — аттестовал он Алексеева.

Контенбрук недоверчиво посмотрел на вошедшего. Этот паренек не понравился Контенбруку: в нем было что-то очень большевистское. Шеф спросил:

— А сколько ему лет?

— Двадцать пять.

— Он не может быть машинистом.

— Почему?

— У нас машинист должен иметь не менее тридцати лет.

— Он уже пять лет ездит машинистом.

Но шеф упрямо стоял на своем: «Нет, нет! Это мальчишка!»

«Если бы ты знал, как этот «мальчишка» вывел из Борисова последний поезд! — подумал Заслонов. — Ваш тридцатилетний спасовал бы!»

Пришлось зачислить Алексеева помощником машиниста.

6

Заслонов назначил Нороновича и Алексеева в разные паровозные бригады, чтобы через них узнать побольше народа. Нороновичу он дал в помощники молодого паренька Васю Желудя.

Вася был отрезан с эшелонами под Ярцевом, попал в концентрационный лагерь, а оттуда в депо.

— Парень, по всей видимости, наш, подходящий, — сказал Нороновичу Заслонов.— Его можно иметь в виду, но все-таки надо проверить: был у фашиста в лапах.

— Не успеет парень у меня полтонны угля сжечь, как я увижу, чем сегодня Вася дышит. Он с Капустиным когда-то ездил. Тот смеялся, что Вася очень любит покушать и знает наперечет, на какой станции много яблок, где хорошая рыба, а в общем парнишка, говорят, неплохой,— ответил Норонович.

Сегодня Норонович после большого перерыва впервые пришел в «брехаловку», комнату при депо, где паровозники обычно ожидали назначения в очередную поездку. Комната осталась та же: три окна, выходящие на тракционные пути, но вид ее сильно изменился. Раньше это был чистый, уютный уголок со столом, стульями, занавесками на окнах. А теперь здесь не было никакой мебели. Полкомнаты отгораживали простые нары, на которых валялась тертая, грязная солома.

Да и самочувствие, с которым Норонович сегодня входил сюда, было совершенно иное, чем прежде. Тогда он широко распахивал дверь, входил хозяином, а теперь шел робко, как за подаянием.

— Здоро́во, механики! — негромко сказал Норонович, входя. (Он уже хорошо запомнил, где и кому можно говорить «товарищ».)

— Здоро́во! — ответил кто-то из угла. Остальные не обратили на него внимания.

В «брехаловке» ждало много народа. Несколько человек спали на нарах. Трое машинистов — Мамай, Игнатюк и Ходасевич — разговаривали лежа. У топившейся печки собралось с десяток человек: кто сидел на корточках, кто на полу. Среди них Норонович увидал стариков машинистов: Куля — он вечно кашлял — и Островского. Возле стариков собралась молодежь.

К Нороновичу подошел невысокий, но плотный Вася Желудь. Его улыбавшееся, приветливое лицо было из тех, о которых говорят: «Бледный, как пятак медный».

— Здравствуйте, Василий Федорович!

— Ну что, тезка, собираемся в путь-дорогу? — спросил Норонович.

— Придется.

— А ты уже на немецком паровозе ездил?

— Как же, ездил с Капустиным. У них, Василий Федорович, на товарном не по три человека, как у нас, а по двое, без кочегара.

— А паровозы какие?

— Серия «52» и «54».

— Лучше наших?

— Где-е там! — махнул рукой Вася.— Ихние паровозы небольшие. Далеко немецким до нашего «ФД», как моське до слона! Когда немецкие паровозники увидали наш негодный, поврежденный бомбежкой «ФД» возле депо, они не верили, что он сделан в Советском Союзе. Мотают головами и лопочут: «Америка, Америка!» А Капустин показал на дощечку, на которой выбито по-русски, где построен паровоз. «Не верите,— говорит, — прочтите!» Нашелся один грамотей, прочел: «Ворошиловградский завод». Так потом немцы стоят и только белками ворочают: «О, руссише! Колоссаль!» — смеялся Вася.— В ихнем паровозе одно хорошо: на лобовом листу ящик такой есть: в нем можно пищу подогревать!

Норонович сощурился: Вася Желудь верен себе.

— Было бы что́, браток, подогревать, мы и без ящика найдем где! А кроме этого ящика, особых отличий нет?

— Нет. Вот разве пресс-масленка. Она у них внутри, слева, вот так,— показал рукой Вася.— А водяной насос у немцев смешно называется: «вассер-пумпа»...

— Ладно, разберемся во всем. Объездим и немецкого коняку. Справимся!

Норонович сощурился в улыбке и, секунду помедлив, негромко переспросил:

— Как, тезка, думаешь: справимся... с немцем?

— Справимся, Василий Федорович! — уверенно ответил Вася.

Норонович уже чувствовал: парень не изменился и не изменит.

— А если так, тогда давай закуривать.

И Норонович полез в карман за табаком

— Спасибо, я только что курил.

— Ну, как хочешь.

Норонович отошел к стенке. Он стал между нарами и печкой, чтобы слышать, что говорят и там и тут.

А разговоры с обеих сторон велись интересные: на нарах обсуждали положение на фронте, а у печки — промывали косточки Заслонова.

«Только бы Вася не помешал!» — подумал Норонович, неторопливо принимаясь свертывать папироску.

Но Вася уже был занят другим. Он поставил на подоконник сумку от противогаза, которая у всех паровозников служила дорожным мешком, и доставал оттуда вареную картошку и огурцы, собираясь подкрепиться на дорогу.

Норонович слушал, что́ говорят слева. С нар доносилось:

— Да, а Гитлер уже под Москвой, вот как!

Сказано это было не то с сокрушением, не то с удивлением.

Норонович, не поворачивая головы, узнал по голосу: это говорил Мамай.

— И Наполеон под Москву ходил, а что толку? — с жаром возразил Ходасевич.

— Теперь не при Наполеоне!

— Вот то-то, что Гитлер не Наполеон!

— Я вломлюсь нахалом в чужой дом,— скажешь, мне не дадут по шеям? — вмешался в спор Игнатюк.

— Будет сила — дадут, а не будет — и так останется! — возражал Мамай.

— Не будет, а есть!

— Что-то не видно!

— Увидишь!

Нороновnич подошел с папироской к печке, собираясь прикуривать.
У печки говорили о Заслонове.
— Смотрю вчера и глазам своим не верю: дядя Костя! — с возмущением рассказывал Пашкович.
— Да-а, вот тебе и дядя Костя! — протянул Куль и сразу закашлялся.
— И из-за чего пошел к ним?
— Известно из-за чего: из-за денег! — ответил Пашковичу молодой кочегар.
— А мне думается, как это... Я не знаю... Не верю... — выпалил Белодед.
— Не веришь? Вот пойдешь к нему за маршрутом, поверишь. Кто тебе подпишет наряд вести немецкий поезд, как не Заслонов?
Нороновnич протиснулся к печке. Разговор на секунду прервался,— Василий Федорович разобщил говорящих.
«Хворостят бедного Константина Сергеевича ни за что! Вот бы сам он послушал!» — думал, прикуривая, Нороновnич. Прикурив, он отошел на прежнее место.
— Да-а, запрягли. Как им удалось это, не знаю, а запрягли! — кашлял, но продолжал интересный разговор Куль. — Теперь Заслонов повезет!
— Повезет! — поддержало несколько голосов.
— Сидит, только брови хмурит.
— Он и раньше никогда горлом не брал.
— Это и верно. А лучше, если бы брал. Если б кричал, как другой, ругал бы. У меня был такой случай в прошлом году в январе,— начал Островский.— Возвращаюсь я из Лепеля с товарным на «щуке» 726. В пути порвал основную стяжку между тендером и паровозом и одну запасную. В Оршу прибыл на одной запасной. Докладываю Заслонову: так, мол, и так. И сам думаю: «Ну, сейчас начнется!» А он спрашивает: «А прибыл вовремя?» — «На семнадцать минут, — говорю,— раньше срока». Заслонов усмехнулся: «Самое основное — провести поезд по расписанию. Бить тебя,— говорит,— Александр Мартынович,— он ведь всех по имени-отчеству помнит — не буду, а сколько стоит ремонт, с тебя же удержу. Чтоб в другой раз был повнимательнее!»

— Справедлив, слов нет! — поддержал Куль.— Кого из машинистов, бывало, переведет в помощники, тот никогда не скажет: «Дядя Костя не прав!»

— К черту теперь его справедливость! Что нам с нее, если он предатель! — вспыхнул Сергей Пашкович. — Если такие, как Заслонов, за них, то. . .

Он не окончил, только безнадежно махнул рукой.

«Хорошо, что верят, будто Константин Сергеевич за немцев,— думал Воронович.— А с Сергеем придется осторожно поговорить: огонь-парень, да слишком прям!»

В это время в дверь просунулась плешивая голова Штукеля. Он подозрительно осмотрел всех и позвал:

— Воронович, Желудь, за нарядом!

Желудь собрал в противогаз недоеденную картошку и огурцы и, продолжая дожевывать, пошел вслед за Вороновичем в нарядческую.

Воронович вошел и молча поклонился. Заслонов сидел — ни улыбочки. Улыбался только тогда, когда оборачивался к Фрейтагу.

«Молодец, держится хорошо! Ну, Константин Сергеевич, не подкачаем и мы!»

У перегородки перед фашистским нарядчиком стоял пожилой железнодорожник-немец. На одном плече у него висела винтовка. Воронович догадался, что это и есть их «филька», как паровозники прозвали немца, сопровождавшего в поездке русскую паровозную бригаду.

Фашистский нарядчик передал маршрут Заслонову. Константин Сергеевич что-то приписал в нем и, вручая наряд «фильке», сказал Вороновичу и Желудю:

— Поедете с ним. Паровоз «52-1114». Полу́чите продукты.

Немцу выдали большую банку мясных консервов и буханку хлеба, а Вороновичу и Желудю — по триста граммов хлеба и по пятьдесят граммов консервов.

Желудь не стал даже укладывать свой паек, а тут же отправил в рот консервы и заел их хлебом.

— Ну и отвалили, нечего сказать! — даже плюнул от негодования Воронович, пряча паек в сумку.— Крохоборы проклятые!

— Вы еще не знаете, Василий Федорович, до чего фашисты жадные и мелочные. Угостит он товарища сигаретой и ждет, чтобы тот заплатил ему за сигарету,— шептал Желудь.

— Да ну? — удивился Норонович.— Вот так угощение!

— Честное слово! Увидите сами. Такие жмоты бессовестные!

«Филька» не дал им долго задерживаться, — подгонял, приговаривая:

— Ком, ком!

Пришлось идти к паровозу.

Норонович и Желудь шли впереди, а немец за ними сзади, покуривая трубочку.

Норонович, с ненавистью поглядывая через плечо на «фильку», бурчал:

— Ведет, как арестантов. Кочегаришка паршивый, а толкает машиниста первого класса. Что, Вася, разве можно терпеть? — наклонился он к помощнику.

— Нельзя, Василий Федорович! Никак нельзя! — горячо шептал Вася Желудь.

7

Заслонов уже проработал в депо целую неделю. На службе он ни с кем из железнодорожников не входил в разговоры, держал себя сухо, официально.

Было бы наивно думать, что фашисты так легко и просто доверились ему. Разумеется, за каждым шагом начальника русских паровозных бригад смотрели в оба глаза. Приходилось все время быть начеку.

Заслонов знал, что возле Орши работает подпольный райком,— так ему сказали в Москве,— но пока он еще не мог установить с ним связь.

Наконец райкомовский связной дал о себе знать. В воскресенье Заслонов шел из нарядческой домой обедать. Соколовская варила ему какой-либо жиденький картофельный суп, заправленный подсолнечным маслом. Другого у Константина Сергеевича ничего не было.

Идя к себе на Буденновскую улицу, Заслонов — любопытства ради — вздумал пройти через привокзальный базар на Застенковской улице. До войны на базаре колхозники продавали продукты и разные деревенские изделия — ведра, корзинки, корыта. А теперь базар превратился в самую настоящую «барахолку», где торговали чем угодно, и меньше всего продуктами. Главными

поставщиками были фашистские солдаты. Оккупанты спекулировали вовсю. Они предлагали кремни для зажигалок, сахарин, иголки, краску для материй, сигареты, бритвенные лезвия, электрические фонарики.

Небольшая грязная площадь кишмя кишела народом. Над морем голов, на громадной доске, возвышалась карта Европы, такая же, как была на вокзале. На карте черно-красной тесьмой отмечалась линия фашистского фронта.

Константин Сергеевич с удовлетворением заметил, что на карту никто не обращает внимания.

Он стал протискиваться сквозь толпу.

В толпе Заслонов сразу увидал нескольких знакомых. Издалека приветливо улыбнулась ему Марья Павловна Птушка. Деповцы Шмель и Домарацкий покупали у молодого немца-танкиста патефонные иголки. Среди платков баб-перекупщиц и серо-зеленых шинелей фрицев мелькнула лисья морда Штукеля — сегодня на работе его заменял Зильберт.

Интересного ничего не оказалось — типичная спекулянтская толкучка.

Заслонов старался поскорее выбраться из этого болота.

И вдруг среди толпы мелькнуло еще одно знакомое лицо.

Повязанная каким-то старым пуховым платком, в коротком кожушке — ни дать ни взять обычная спекулянтка, — стояла жена «ДСП» [1] — Попова, Надежда Антоновна, которая работала в парткабинете горкома.

Это была энергичная и дельная женщина.

Она разговаривала с какой-то старушкой.

Увидев Заслонова, Надежда Антоновна широко раскрыла глаза — явно обрадовалась этой неожиданной встрече, но не поздоровалась с ним.

Константин Сергеевич тоже прошел мимо нее молча.

«Как это она очутилась в Орше?» — мелькнуло у него в голове. Заслонов хорошо помнил, что Поповы собирались уезжать на восток с последним эшелоном железнодорожников.

Выходя из толпы, Заслонов полуобернулся и заметил, что Попова идет вслед за ним.

---

[1] «ДСП» — дежурный по станции.

Когда прошли железнодорожный переезд, Попова пошла рядом с Константином Сергеевичем.

— Вы разве не уезжали? — тихо спросил он.

Попова оглянулась — вблизи никого не было — и вполголоса ответила:

— Я оставлена для подпольной работы...

Заслонов сдвинул брови. Ничего не ответил, шел своей дорогой.

Попова семенила рядом.

— Константин Сергеевич, я понимаю вас... Вы можете не доверять моим словам,— волнуясь, говорила Попова.— Но я — верю вам, я верю в вас! Я связная товарища Ларионова, нашего секретаря райкома. Он организует на Оршанщине партизанское дело. Райком получил по рации с «Большой земли» сведения о том, что вы посланы сюда. Товарищ Ларионов хочет вас видеть...

— А где же Иван Тарасович? — отозвался наконец Заслонов.

— Он в Дрыбине. Он ждет вас. Приходите во вторник к Куприяновичу. Я предупрежу товарища Ларионова...

— Хорошо, я приду. А вы, Надежда Антоновна, будьте осторожны! — ответил Заслонов и свернул к себе на Буденновскую.

«Бедовая женщина! Горячая голова! — думал он. — Но здесь Иван Тарасович! «Отыскался след Тарасов». Это чудесно! Хозяин района на месте, — значит, заработаем по-настоящему!»

8

Константин Сергеевич заранее подготовил все и попросил разрешения у Контенбрука не являться во вторник на службу: Заслонов еще не имел ни одного выходного дня.

Шеф охотно отпустил его.

Во вторник ранним утром Заслонов пошел в Дрыбино.

Каждый день кто-либо из оршанских железнодорожников уходил в деревню за продуктами, и немецкие постовые уже привыкли к этому. Часовой издалека смо-

трел на удостоверение личности с фашистскими печатями и спрашивал:

— Кольхоз, я?

— Я, я, — ответил и Константин Сергеевич, проходя мимо.

Заслонов встретил секретаря райкома на улице, еще не доходя до хаты Куприяновича. Ларионов возвращался домой. Был он в коротком кожушке и валенках.

В первую секунду Иван Тарасович не узнал Заслонова, но, когда Константин Сергеевич его окликнул, секретарь райкома бросился к нему.

— Товарищ Заслонов, здравствуйте, дорогой! — жал он руку Константину Сергеевичу, вглядываясь в него.— Представьте, я вас не узнал. борода сильно меняет лицо. Ну, пойдемте, пойдемте, поговорим!

Было видно, что Иван Тарасович рад встрече.

И они направились к Куприяновичу.

Старик-железнодорожник жил вдвоем с женой. Дочери выросли и разлетелись в разные стороны, сын служил в Красной Армии.

Увидя «ТЧ», Куприянович не знал, как и принять дорогого гостя. Он уже дал команду жене — жарить яичницу, но Константин Сергеевич взмолился:

— Антон Куприянович, позвольте нам сначала поговорить, а потом уж и за стол можно!

— Ну, ладно. Женка, пойдем, не будем мешать!

И хозяева вышли из хаты, оставив гостей одних.

Заслонов рассказал Ивану Тарасовичу о переходе линии фронта, о пути из Москвы к Орше, о том, как население везде помогало заслоновцам.

— Во всякой работе самое главное — народ. Разве мог бы я жить и действовать тут, если бы на каждом шагу не чувствовал народной поддержки и помощи? — сказал секретарь райкома, внимательно слушавший рассказ.— А что же, товарищ Заслонов, вы намечаете делать в ближайшее время?

— Пока подбираем людей. Чутеньки осмотримся, пусть к нам привыкнут, а тогда дадим фашистам копоти!

— Правильно. Диверсии на железной дороге — наша самая лучшая помощь Красной Армии. Фашисты рвутся к Москве, — надо сорвать подвоз их подкреплений.

— Сделаем. Будут помнить Оршу!

— А как относятся к вам те рабочие, которые не знают о том, что вы вернулись сюда с определенной целью?

— Плохо,— улыбнулся Заслонов.— Считают меня предателем... Но это нам на руку...

— И, конечно, чем меньше у фашистов будет подозрений, тем лучше. Зима нынче ожидается лютая— так говорят все старики. Постарайтесь возможно дольше продержаться в Орше!

— Постараемся, чтоб нас не раскрыли!

— И все-таки не забывайте, что рано или поздно вам с товарищами придется уходить в лес.

— Я готовлю отряд. Подбираю людей, собираю оружие и боеприпасы.

— Как жаль, что тогда, в июне, мы не успели приготовить лесные базы! К тому же, началась эвакуация...

— Ничего, Иван Тарасович, еще создадим базы! — сказал Заслонов.

— Сноситься будем через Попову. Она человек преданный, энергичный.

— Да, это удобно.

— Чем вам помочь, в чем нуждаетесь?

— Хорошо бы достать рацию...

— Попрошу, чтоб прислали с «Большой земли». Обещали. Что еще?

— Больше пока ничего.

Минуту помолчали.

— Ну, знаете, товарищ Заслонов, чудесно, что вы в Орше! — весело говорил, потирая руки, Иван Тарасович.— Что ж, теперь, пожалуй, можно и хозяина пригласить? Куприянович уже заглядывал в окно.

Заслонов понял его переживания. Когда Иван Тарасович вновь пришел в свой район, положение секретаря райкома в первый момент оказалось затруднительным. Партийцев, которых оставили для подпольной работы, было мало: одни выехали куда-то, других арестовало гестапо.

В своем районе Иван Тарасович создал партизанские группы быстро, но в самой Орше, на крупном железнодорожном узле, такой группы еще не было.

А теперь в Орше, в самом логове врага, появился

Заслонов. И у него, оказывается, есть уже крепкая, сплоченная группа, готовый костяк партизанского отряда. Этому ли было не порадоваться!

В Оршу Заслонов вернулся поздно вечером. В доме Соколовских все спали. Константин Сергеевич легонько постучал пальцем в окно своей комнатушки,— он так условился с Михаилом Евдокимовичем. Соколовский тихонько открыл дверь.

Но наутро любопытный обер-фельдфебель все-таки спросил у Заслонова:

— Где вы так пузьно гуляйт?

— Хожу к старушке-учительнице учить немецкий язык.

— О, вьеликольепно-карашо! — расцвел немец.

9

Заслонов и Алексеев сговорились пойти вечерком к Птушке. Иван Иванович уже работал на старом месте в механическом цехе простым токарем. Заслонов хотел сколотить свое ядро среди ремонтников, и потому надо было поразузнать о настроении токарей.

В этот раз они у Птушки не отказались от скромного угощения, — ели и разговаривали о том о сем.

Когда окончили ужин и Марья Павловна унесла на кухню посуду, Заслонов спросил:

— Как чувствует себя Островский?

— Плохо,— ответил Птушка.

— Он ведь работает, — спокойно, как бы невзначай, вставил Алексеев.

— Да, работает. Но как может чувствовать себя советский человек, работая у врага?

Алексеев, потупив голову, что-то чертил ногтем по скатерти и сдержанно улыбался. Заслонов, наоборот, был серьезен и пытливо смотрел на Ивана Ивановича.

— А Мамай? — спросил Заслонов.

— Ну, Мамай — предатель. Тому что? Мамай прекрасно себя чувствует: он ждал фашистов!

— А много ли прежней молодежи у вас, Иван Иванович? — перевел Заслонов разговор на то, что особенно его интересовало.

— Кое-кто: Коренев, Пашкович, Домарацкий, Шмель, Вольский.

— А они как?

— Молодежь-то? — переспросил Птушка.

Он оглянулся кругом. В обоих окнах были вставлены зимние рамы, к счастью, сохранившиеся на чердаке. Кроме того, окна были завешены.

— У молодежи, Константин Сергеевич, — понизив голос, начал Птушка, — настроение...— он еще раз оглянулся и выпалил решительно: — Боевое! — И потом заговорил, все больше и больше оживляясь: — Чего тут сидеть сложа руки, когда вся страна отбивается от проклятых фашистов! Помочь надо, а не ждать, когда за нас сделает кто-то другой! Сколотить отряд. Вот машинист Ходасевич, старый буденновец. Ему команду — и все. А мы чего-то ждем!

Иван Иванович выпалил все одним духом и, откинувшись на спинку стула, посмотрел прямо в глаза Заслонову. Заслонова он всегда уважал, Заслонову он привык верить. Сейчас он высказал самое свое сокровенное, разволновался и вдруг с ужасом спохватился: «А что, если Заслонов выдаст меня? Если он — за немцев? Нет, нет! Не может быть!»

Кровь бросилась ему в лицо. Иван Иванович сидел, ожидая удара. Константин Сергеевич понял переживания Птушки. Лицо Заслонова утратило прежнюю настороженность и посветлело. Он обернулся к Алексееву:

— Анатолий, ты еще ничего не говорил Ивану Ивановичу?

Алексеев понял: этот вопрос Константин Сергеевич задает ради Птушки, чтобы показать ему, будто они и раньше доверяли Ивану Ивановичу. Заслонов прекрасно знал, что Алексеев без его разрешения ничего никому сказать не мог.

— Нет еще.

— Ну, так вот, дорогой Иван Иванович...— сказал Заслонов, придвигаясь со стулом к Птушке.

Он опасливо покосился на дверь.

— Никто не войдет. Жена моет посуду,— успокоил Иван Иванович.— Говорите смело!

Заслонов положил ему руку на плечо и начал вполголоса:

— Слушайте же!..

10

Прошло две недели. Контенбрук и Фрейтаг были довольны Заслоновым. Начальник русских паровозных бригад оказался точным, аккуратным, выдержанным. Он не кричал, но паровозники слушали его. Он не суетился, не бегал, но работа спорилась.

Шеф в своем кругу хвастался:

— О, я психолог! Я знаю людей! Я взглянул и сказал: этот инженер — прирожденный командир!

За последние дни депо Орша заметно улучшило работу. Теперь уже не случалось никаких проволочек с паровозными бригадами. Машинисты и кочегары продолжали возвращаться на прежнюю работу.

Вернулся в депо заведующий водоснабжением узла — Петр Шурмин.

Контенбрук сиял.

Заслонов ходил мрачный.

С большой осторожностью, очень осмотрительно выбирая по человеку, он постепенно расширял круг своих, надежных людей.

В депо выросла молодежная группа: она создалась вокруг Жени Коренева.

Люди были готовы в любой момент начать борьбу с оккупантами и только ждали от Заслонова указаний и сигнала к действию.

Особенно не терпелось молодежи.

В субботу вечером к Заслонову пришел Птушка.

Обер-фельдфебель Шуф сидел как раз дома. Говорить при немце было опасно,— услышит. Шептаться — покажется подозрительным.

Иван Иванович был заранее предупрежден о том, что немец понимает по-русски.

Пока Птушка говорил о погоде, Заслонов написал на бумажке: «Что случилось?» и передал бумажку и карандаш гостю.

«Хлопцы просят Вас поговорить с ними завтра в двенадцать часов»,— написал Иван Иванович.

«Какие хлопцы?»

«Наши, надежные. Комсомольцы. Человек пяток».

«Где?»

«У Шмеля».

— Хорошо, хорошо, я все сделаю! — сказал вслух Константин Сергеевич и бесцеремонно выпроводил из дома Птушку.

В этот же вечер обер-фельдфебель Шуф пригласил Заслонова сыграть в шахматы.

— Который это до вас ходиль? — вдруг во время игры спросил Шуф.

Он через стол смотрел в упор на Заслонова.

Заслонов спокойно обдумывал ход на доске. Ход в жизни был — на всякий случай — заранее, давно обдуман.

— Наниматься на работу в депо,— не торопясь, ответил Константин Сергеевич, побил своей пешкой неприятельского коня и только тогда поднял на противника глаза. Но обер-фельдфебель уже был поглощен тем, что произошло на доске.

— А-а, вьеликольепно-карашо! — машинально сказал он, хотя его конь был потерян.

И на этом разговор окончился, но Заслонов все намотал себе на ус.

На следующий день Заслонов с утра был в нарядческой, а в половине двенадцатого ушел как будто бы на обед. Он заглянул ненадолго домой и направился на Чугуночную улицу.

У Шмеля в доме собралась одна комсомолия. Алесь выпроводил мать к соседям, а старенькая, глухая бабушка сидела на кухне.

Молодежь сделала вид, что собралась на танцы — патефон играл разудалую «лявониху».

Константина Сергеевича сразу все обступили. Большинство не имело еще возможности близко видеть Заслонова и говорить с ним после его возвращения в Оршу.

Тут были Алесь и его сестра Вера, Домарацкий, Белодед, Пашкович, Женя Коренев и его приятель, центр защиты деповской футбольной команды, Леня Вольский — молчаливый, серьезный парень.

Каждый хотел пожать Константину Сергеевичу руку.

— А знаете, как меня Сергей в депо разделывал? — кивнул на Пашковича Заслонов.

Пашкович смутился.

— Знаем, знаем! — смеялись кругом.

— Под орех! Ну, хлопчики,— перешел на серьезный тон Константин Сергеевич,— прежде всего надо выставить посты, чтобы нас не накрыли тут, как воробьев в пуне.

— Сколько человек надо? — забеспокоились все.

— Человека два.

— А нас всего семь,— оглянулся Женя.

— Делать нечего, а надо!

— Пусть она уходит, — показал на свою сестру Алесь.

— Ишь ты, а я разве не хочу послушать? — запротестовала Вера.

— Алесь, сестру обижать не годится,— улыбнулся Заслонов. — У меня есть двоюродная сестренка Катя Заслонова, она в Ленинграде живет. Мы с ней когда-то пасли в деревне коров. Девчушка очень боялась Перуна. Так я в грозу отпускал Катю домой, а сам оставался один, хоть и мне было страшновато. А ты ишь какой! — улыбнулся Заслонов.

— Пойдем с тобой, Алесь,— взглянул на Шмеля Домарацкий.

И они ушли.

В комнате остались вшестером.

Заслонов стоял у печки, Вера и Женя сидели в углу у патефона, Белодед и Пашкович на стульях меж окон, а Вольский курил, прислонясь к дверному косяку.

— Ну, что накипело? — спросил Заслонов, обводя глазами небольшое, необычное собрание.

— Иван Иванович говорит, вы читали советские газеты. Как там у нас, в Союзе? — спросил Пашкович.

— Правда, что немцы Ленинград взяли? — прибавил Коренев.

— Сначала про положение на фронте, а потом о наших здешних делах,— попросил Вольский.

— Вчера мне рассказали последнюю сводку Информбюро.

— А кто рассказал? — живо спросила Вера, но сама сразу почувствовала, что спрашивать не стоило бы.

Заслонов строго взглянул на нее.

— Кто сделал — лишь бы сделал. Запомните: излишнее любопытство вредно! — Секунду помолчал и начал: — Фашистские собаки брешут, будто Ленинград взят, Ленинград не взят. Не видать немцам Ленингра-

да, как своих ушей! Вспомните, товарищ Ленин сказал: «Даже на один день нельзя сдать Питер врагу!» От Москвы фрицев уже хорошо гонят, прогонят и отовсюду. Весь советский народ сплотился вокруг Коммунистической партии и помогает Красной Армии бить фашистов. Надо и нам тут, во вражеском тылу, начать борьбу с захватчиками.

— Константин Сергеевич, так приказывайте!

— Давайте работу!

— Чего же мы ждем?

— Хоть эшелоны станем пускать под откос! — зашумели все сразу.

Заслонов улыбнулся:

— Сидя в Орше, вы не больно много эшелонов спустите под откос. Ну, взорвете один-другой паровозишко. Ну, удастся вам какой-либо товарный состав осей на сто сковырнуть, а дальше что? Вас сразу же сцапают — и делу конец! Важно выводить из строя не один, а десятки паровозов и не только по воскресеньям, а каждый день! Да чтоб самому при этом не попадаться фашистам в лапы!

— Так никогда не будет! — угрюмо сказал Пашкович и даже отвернулся к окну.

— Нет, будет! Добьемся! А пока нашу задачу подпольный районный комитет партии определяет так: подготовить кадры, раздобыть оружие, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. Надо быть готовыми в любой момент уйти в лес. Оттуда мы не по одному эшелону будем спускать под откос и действовать не только в пределах оршанского узла! Давайте дней с десяток плотно и займемся этим. А там получим указания, что́ делать дальше.

— Константин Сергеевич, на Орше-Западной пять цистерн с бензином стоят. Вот бы взорвать их! — выпалил Пашкович.

— Если сможешь, рви — дело доброе!

— Мы с Алесем Шмелем...

— Ну, комплексную бригаду ради пяти цистерн собирать не надо!

Все улыбнулись.

— Нет, Константин Сергеевич, больше никого!

— Ни пуха ни пера!

— Константин Сергеевич, а что, если бы пожарный

сарай спалить? — спросил Женя.— Там немецкие машины стоят. Ух, шикарно было бы! — Женя даже потер руки, предвкушая это удовольствие.

— Как же ты его подожжешь? — спросил Белодед.

— Слыхал, Константин Сергеевич сказал: «Излишнее любопытство вредно!» Сожгу — тогда изволь, поделюсь опытом! Значит, можно, Константин Сергеевич, можно? — обернулся к Заслонову Женя.

— Валяй жги! Только с одним условием: все обдумать и рассчитать хорошенько!

— Да мы уже давно все обдумали!

— Погоди, выслушай до конца. Действовать осмотрительно. Семь раз примерь, один — отрежь. Чтобы без провала!

— Не провалимся! — уверенно ответил Коренев.

— Женя, а если б я... Может, меня... — начал Петрусь Белодед.

— Много будет. Я с Леней Вольским надумал! Белодед, огорченный, насупился.

— Не печалься, Петрусь, я и тебе работенку дам,— сказал Заслонов. Он подошел к столу и начал высыпать изо всех карманов брюк и своего синего ватника, отовсюду железные четырехножки.

Молодежь кинулась к столу рассматривать невиданную вещь.

— Что это? — робко спросила Вера.

— Это четырехножка. Ее как ни бросай, она все вверх острием ляжет. Автомобиль на нее наедет — шину проколет; конь наступит — коню не поздоровится.

— Ловко придумано!

— Мирово!

— Хитрая штука! — хвалили комсомольцы четырехножку, рассматривая ее.

— Разбросать их надо на шоссе, где больше движения. Пусть этим займутся двое: Петрусь и Вера,— приказал Заслонов.

Белодед и Вера стали делить четырехножки.

— Идти надо вечером и засеять как следует. Вот и все, хлопцы! Позовите часовых!

Вошли Алесь и Домарацкий.

Заслонов еще раз оглядел всех.

— Что же, кажется, и добавочная работенка всем есть; всем, кроме Домарацкого.

— Ничего, Константин Сергеевич, я себе что-либо придумаю! — сказал Домарацкий.

— Ладно, думай! На этом сегодня кончим. Я выйду один, а вы посидите тут чутеньки, поиграйте, а потом расходитесь,— обратился к молодежи Заслонов.— И не все сразу, а по одному, по двое.

Дядя Костя пожал всем руки и вышел.

Патефон уже выводил ему вслед:

«Бывайте здоровы, живите богато! . .»

11

Женя Коренев и Леня Вольский давно присматривались к пожарному сараю, который одиноко стоял на площади.

С одной стороны к площади подходили опустевшие, заброшенные дворы и огороды, среди которых торчали трубы домов, уничтоженных во время бомбежек в первые дни фашистских налетов; с другой — пролегала улица. На ее противоположной стороне был расположен госпиталь. Двери сарая были обращены к улице. Фашисты приспособили сарай под гараж.

Женя и Леня как-то днем проходили мимо сарая. Женя обратил внимание на чердачное окно сарая. Воздушная волна от сброшенной неподалеку бомбы вынесла все стекла в раме, но одно из двух верхних как-то уцелело.

Пока Леня находил объяснение такому странному физическому явлению, Женя взглянул на это с иной стороны.

— А ведь на чердак можно взобраться, — смекнул он.

Отсюда и возникла мысль поджечь гараж.

Друзья перебрали много всяких вариантов поджога и наконец остановились на том, который показался наиболее легко осуществимым.

У гаража ходил часовой. Он методично, как заводной, обходил сарай кругом.

План ребят был прост: надо успеть влезть по стене к окну и бросить на чердак зажженную паклю, пока часовой не придет к окну с противоположной стороны сарая.

Улучить момент казалось возможным. Женя два раза сидел в воронке от авиабомбы и сквозь бурьян по-

долгу наблюдал за часовым. Он подсчитал, что солдат обходит сарай кругом в семьдесят секунд. Значит, в их распоряжении есть около минуты.

Оставалось отработать все движения так, чтобы они стали автоматическими: ведь дорога будет буквально каждая секунда!

Константин Сергеевич сказал: «Без провала!» Слово дяди Кости — закон!

Все свободное время они тренировались на квартире у Жени, где жил и Леня, потому что вся его семья успела уехать на восток. Ребята удивляли домашних непонятной пантомимой. Каждый день они по нескольку раз проделывали одно и то же. Женя смотрел на свои ручные часы и командовал:

— Давай!

Леня подбегал к стене и упирался в нее руками. Женя ловко вскакивал ему на спину, а потом становился на Ленины плечи, быстро вынимал из кормана зажигалку, зачем-то чиркал по ней. Наконец размахивался правой рукой, словно бросая что-то, и спрыгивал на землю. И тут они оба впивались глазами в Женины ручные часы.

— Минута!

— Нет, пятьдесят пять!

— Все равно плохо! Давай еще разок!

И ребята без устали начинали проделывать все сначала.

Наконец Женя и Леня добились того, что успевали сделать все в положенное время. Они приготовились и назначили вечер, в который должен быть подожжен гараж.

Бутылок с зажигательной смесью нигде не достали. Приходилось заменять ее чем-то своим, подручным. Решили подожечь и бросить на чердак старые, совершенно промасленные ватные Ленины штаны, которые для большей верности полили мазутом.

Когда совсем свечерело, парни потихоньку пробрались огородами и пустырями к площади. Они укрылись за печь разрушенного дома,— отсюда до сарая было с десяток шагов.

Часовой шагал не спеша, положив руки на автомат, висевший у него на груди.

Женя и Леня еще раз проследили за часовым. Он обходил сарай так: пять раз (точно!) шел по движению часовой стрелки, потом на минуту-другую останавливался возле двери и начинал свой обход в обратном направлении.

Они выждали, когда часовой после минутного отдыха снова пошел в обход.

Чуть только фашист прошел мимо чердачного окна и завернул за угол, Женя и Леня осторожно подбежали к сараю. Леня подставляет спину. Женя вскакивает и становится на плечи Лени. Леня слышит: ноги у Жени дрожат. Вот он достает из-за пазухи сверток.

— Как долго!

Вот чиркает зажигалкой раз, другой...

— Опаздываем! Часовой настигнет!

Наконец зажглась. Сразу ярко вспыхнул мазут. Осветилось все: стена, Женины руки. Женя бросает штаны через окно, не спрыгивает, а соскальзывает вниз. И оба мчатся в темноту, туда, за печь.

Под ноги попадаются какие-то камни, которых раньше, кажется, не было.

Падают на кирпич и смотрят, напрягая зрение.

— Часовой прошел?

— Нет еще.

— Чего возился?

— Как возился?

— С зажигалкой!

— Заела, проклятая!

— Бросил далеко?

— Да. Иде-ет!

В темноте они едва различили силуэт часового. Фашист медленно прошел под чердачным окном, продолжая свой надоевший маршрут.

Он еще не мог видеть, но Женя и Леня с радостью видели: на чердаке, разгораясь, росло пламя.

— Вата с мазутом не потухнет! — хихикнул Женя.

— Бежим, сейчас станет светло: увидят! — потянул друга за рукав Леня.

Они кинулись домой знакомыми тропами.

Ребята пробежали несколько шагов, когда сзади раздался выстрел и всполошные крики.

Они обернулись... В густой черноте ночи бушевало яркое пламя.

— У фрицев алярм! [1] — усмехнулся довольный Женя.

— Не такой еще алярм подымут, как до бензина дойдет! — сказал Леня.

Они стояли, в тревоге ждали:

«Неужели потушат? Неужели все пропало?»

Но вот раздался взрыв. Пламя высоко взметнулось вверх, осветив полнеба. Сомнений не оставалось: фашистские машины пылали.

А наутро в депо — на угольном складе, в мастерских,— всюду только и разговоров было о том, что ночью кто-то поджег фашистский гараж и в нем сгорело десять машин.

— Значит, не все же «штукели». Есть и у нас, в Орше, настоящий народ! — не обращаясь ни к кому, будто про себя, сказал Птушка.

12

Подготовку лесных баз, подбор людей на местах в партизанский отряд и в качестве связных Заслонов поручил энергичному, напористому Алексееву и хозяйственному Нороновичу.

Как-то, еще в конце декабря, Алексеев встретил в Орше Александра Шеремета, который до войны работал на восстановительном поезде. Старые товарищи разговорились.

— Ну, что поделываешь, Анатолий? — спросил Шеремет.

— Езжу машинистом.

— Да-а? — немного удивленно посмотрел Шеремет.— Я бы никогда...

— А ты где?

— Я механиком на мельнице, у себя в Грязине, знаешь?

— Слыхал. Так ведь и ты же работаешь? — усмехнулся Алексеев.

— Я — временно!..

— Надеемся, что многое тут временно! Вон от Москвы их уже прогнали!

— Конечно! Погоним этих мерзавцев — костей не

[1] **Алярм** *(нем.)* — тревога.

соберут! Я на твоем месте, Анатолий, ушел бы с железной дороги. Чего тебе? Я мелю, так все же и своему народу польза...

Алексеев смотрел на Шеремета, стараясь понять, что кроется за этим предложением.

— Придет пора, уйду,— сказал он уклончиво.

— Тогда приходи прямо к нам. У нас — леса и болота...

— Лесов в Белоруссии хватит.

— Не в этом дело. У нас народ в округе советский. Поддержим.

«Становится немного яснее»,— подумал Алексеев.

— Да прежде чем идти в лес, надо базу подготовить.

— А я о чем говорю? Приходи к нам — помогу: ведь я ж на мельнице. У меня и хлеб всегда, и люди.

— Честное слово?

— Вот тебе моя рука. Заходи, потолкуем по-настоящему.

— С удовольствием!

Анатолий пожал руку Шеремету, и они расстались.

Алексеев рассказал о встрече Заслонову. Посовещались с Чебриковым, Шурминым, обсудили: не провокация ли?

Алексеев был убежден, что не провокация.

— Пойду, Константин Сергеевич!

— Иди! — сказал Заслонов.

Алексеев пришел в Грязино, как будто в гости к старому приятелю. В деревне оккупантов проклинали, о них говорили, сжимая кулаки.

Так Алексеев наладил связь. Через Шеремета он узнавал все: в каких деревнях стоят фашистские гарнизоны, чем вооружены, где в окрестностях осели окруженцы, бывшие военные, на кого из них можно рассчитывать, наметил связных. У них образовался круг знакомых. Мало-помалу в деревнях Грязино, Казечино, Ступорово организовалась партизанская группа Заслонова.

Алексеев возвращался из Дрыбино домой. День клонился к вечеру. Ярко-красный закат предвещал на завтрашний день мороз.

Завтра Анатолию приходилось собираться в очередную поездку.

Алексеев жил у вдовы машиниста — Дарьи Степановны. И в этом чистеньком домике две лучшие комнаты занял офицер с денщиком. Фашист поместился у Дарьи Степановны раньше, чем Алексеев.

Хозяйка сказала постояльцам, что Анатолий — ее брат.

У Дарьи Степановны был шестилетний глухонемой сын Саша. Фашистский офицер смотрел на глухонемого мальчика с предубеждением. Денщик же Карл, пожилой сентиментальный немец, говорил с Сашей, иногда давал ему вылизать пустую банку из-под мармелада, совал кусочек сахару или какую-либо другую мелочь. Саша «разговаривал» с ним.

Разговор глухонемого белорусского мальчика и старика немца, не знающего ни слова ни по-белорусски, ни по-русски, был одинаков: состоял из мимики и жестов. Немец лучше понимал «пантомиму» глухонемого мальчика, чем разговор его матери.

Когда Алексеев пришел домой, он застал Дарью Степановну в волнении.

Постояльцев-фашистов не было, Саша спал.

— Что случилось? — встревожился Алексеев.

— Ой, до чего я напугалась сегодня! — всплескивая руками, зашептала Дарья Степановна.

— А что такое?

— Анатолий Евгеньевич, вы что оставили в комбинезоне?

Холодный пот сразу прошиб Алексеева. Он вспомнил: во внутреннем кармане комбинезона у него лежал капсуль от гранаты. Анатолий должен был передать капсуль товарищам, изготовляющим мины. Пришел из депо, торопился в Дрыбино, скинул рабочий комбинезон и повесил на стенку. Саша всегда любил шарить по дядиным карманам: в них он находил гвоздики, винтики.

— Одна вещица лежала,— смутился Алексеев.

Дарья Степановна вынула из комода капсуль.

— Эта?

— Она самая.

— Это патрон?

— Не патрон, но вещь...

— Военная?

— Вещь для игры не подходящая...

— Я только на минутку вышла за дровами. Вхожу, а Саша держит ее и уже хочет идти к Карлу похвастаться красивой игрушкой. Едва успела задержать его. Отняла. Саша — в рев. «Да-да-да»,— отдай, говорит. А фриц высунул в дверь рожу и, как Саша: «Дай, дай, мутер!» Пристал и пристал. Что-то лопочет. Понимаю, спрашивает: «Что взяла? Отдай киндеру!» А Саша к нему — объяснять. Или потому, что эта штука у меня в кармане лежит, или уже он так наловчился говорить с Карлом, кажется мне — фриц не понимает. Я показываю Карлу: мол, ручка, чтоб писать. Укололся бы киндер. А Саша свое: мотает головой — не то, не то! Что ты будешь с ним делать?.. Измучилась, пока отстали оба. Вы бы, Толенька, посмотрели, может, еще что-либо плохо лежит? — сказала хозяйка и ушла на кухню.

Над комодом висела картина, изображающая украинскую хату в тополях. Хата была розовая, а тополя фиолетовые. За этой смешной картиной Алексеев прятал свой «ТТ» и патроны, считая, что прятать лучше всего на видном месте — меньше подозрений. Но после сегодняшнего случая с капсулем Анатолий не рискнул оставить пистолет на прежнем месте. Он сунул «ТТ» и патроны за пазуху и пошел в сарай.

Дарья Степановна ни о чем больше не спрашивала его.

13

С каждым днем все крепче и крепче жал мороз. Уже по началу было видно, что нынешняя зима никого не помилует. А в конце декабря он стал таким, о котором в народе говорится: «мороз, мороз — семь баб повез».

Оккупанты сразу потеряли свой надменный, победоносный вид. Немец-железнодорожник, сопровождавший русскую бригаду, сидел на паровозе, закутав, как старуха, шарфами лицо,— только выглядывали слезящиеся на ветру глаза.

Константин Сергеевич дал всем своим приказ: поставить и мороз на службу партизанам.

— Вали на бурого! — втихомолку посмеивались железнодорожники-партизаны и старались валить на дедушку-мороза побольше.

Комсомольцы первыми использовали мороз в партизанских целях.

Однажды поздним вечером Алесь Шмель возвращался от Домарацкого, они жили неподалеку. Друзья сообща чинили девушкам патефон. Домарацкий пошел провожать Алеся до угла.

Мороз к ночи усилился. Дул резкий ветер, заметая снегом дорогу.

— Ну и погодка! Добрый хозяин собаки не выпустит! — сказал Шмель, наклоняя голову от ветра.

Впереди, в уличной полутьме, возвышалась какая-то гора. Когда друзья подошли поближе, гора оказалась трехтонкой.

Машина была нагружена громадными ящиками. Видимо, она уже простояла тут, у тротуара, некоторое время, потому что на брезенте, обтягивавшем кузов, лежал в складках снег.

— Что это они закуковали на дороге? — заметил Алесь.

— Должно быть, шоферы совсем замерзли,— холодина-то собачья. Да и дорогу сильно переметает.

Проходя мимо автомобиля, они глянули в кабину. В ней — никого.

— Ах, окаянные фрицевы души! Оставили малое дитятко без няньки! — шутливо сокрушался Шмель.

— Жалко: нечем проколоть камеру, — сожалел всерьез Домарацкий.

— Можно лучше сделать.

— А что?

— Налить в радиатор воды — и мотору капут.

— Давай нальем! — схватил Алеся за рукав Домарацкий.

Друзья оглянулись. Дом, напротив которого стояла машина, был темен. В соседних тоже спали. На улице — ни души.

— Что ж, напоим младенчика гусиным пивом, — сказал Шмель и решительно повернул назад.

— Каким пивом? — не понял Домарацкий.

— Мой покойный дед, бывало, так называл воду: гусиное пиво.

— Придется ведерка три принести.
— Почему три?
— Трехтонка,— значит, в радиатор входит двадцать семь литров.
— У нас ведра большие,— сами делали.
— Сбегаем и два раза для такого красавчика! Только прежде надо выпустить из радиатора антифриз.
— А это что за «антифриц»?
— Смесь против мороза. Немец хитер: на ночь воду из радиатора выпустит, смесь зальет.
— Откуда ты все это знаешь? — удивился Домарацкий.
— Да у нас на прошлой неделе бронетанковые машины стояли. Тоже на дворе. Я все видел. Если б не выставляли на ночь часового, я б показал им, что такое «антифриц»!
Через несколько минут друзья шли с водой: Коля нес два ведра, Алесь — одно.
— На патруля не напороться бы! — забеспокоился Шмель.
— Кто пойдет в этакую вьюгу? А если и наскочим,— воду несем. Что тут такого?
Подошли к машине. Еще раз осмотрелись — кругом лишь ветер да снег.
— Постой тут, а я выпущу из радиатора этого «антихриста».— Шмель оставил друга с ведрами на тротуаре, а сам подбежал к трехтонке и стал что-то делать у радиатора. Наконец он тихо позвал:
— Коля, давай!
Домарацкий поднес ведра.
Шмель открыл краник, выпустил смесь и стал лить в радиатор воду.
Вылил одно ведро — легче на душе. Второе — еще камень с плеч. Взялся за третье.
— Ну, вот и напоили сосунка!
— Вода не очень холодна — в сенях стояла,— жалел Домарацкий.
— Сойдет. Дедушка-мороз градусов прибавит. Весь блок пойдет к свиньям собачьим. Готово! А теперь, браток, уноси ноги! — Алесь передал Коле ведро и, перебежав улицу, исчез в ближайшем дворе.
Домарацкий тоже не стал мешкать у машины.

«Хорошо, что метет,— следов не останется!» — думал он, поспешая домой с пустыми ведрами.

Когда утром Домарацкий шел на работу, трехтонка стояла на месте. Возле нее суетился шофер. Он кричал и ругался. Немец-ефрейтор озабоченно ходил вокруг машины, дуя в кулаки.

На работе к Домарацкому подошел Алесь.

— Как здоровье малютки? — тихо спросил он.

— Простудился, бедненький, — весело, в тон ему ответил Домарацкий.— До сих пор лечат.

— Теперь его не так-то скоро на ноги поставишь. Вот что значит оставлять маленького без догляда!

С этого вечера Домарацкий и Шмель повели систематическую охоту на беспризорные немецкие машины.

Проезжие шоферы зачастую оставляли на ночь машины под открытым небом, а сами беспечно уходили в тепло.

Домарацкий и Шмель с вечера присматривали себе жертву. А когда над Оршей спускалась ночь, они осторожно подкрадывались к машине и наливали в радиатор воду.

Комсомольцы называли их «пожарная команда», но Домарацкий возражал. Он называл по-иному: «Холодная обработка фрицев по способу профессора Алеся Шмеля».

14

Заслонов действовал методично, по намеченному райкомом плану. В первый месяц ему надо было войти в доверие к врагам, разбить предубежденность, с какой они — вполне естественно — подходили к нему, как к бывшему советскому начальнику депо.

Хорошей постановкой работы он усыпил их бдительность и получил возможность перейти к активным действиям.

В его плане большую роль должен был сыграть мороз.

И он тоже не подвел Заслонова.

Как только ударили настоящие морозы, Заслонов начал с небольшого — дал приказ людям:

— Заливать пути!

Это значило, что паровозники должны были, где только предоставлялась хоть какая-либо возможность,

лить воду на рельсы, стрелки, крестовины. На обледенелых путях так легко свалить паровоз с рельсов.

Алексеев, которого Заслонов все-таки перевел на должность машиниста, однажды среди бела дня проделал следующее. Набрав воду в тендер, отвел колонку, а воду нарочно не закрыл, и она бурным потоком хлынула на рельсы.

Алексеев не заметил, что к паровозу с другой стороры подходили шеф и Заслонов. Контенбрук, увидев водопад, еще издали закричал и заругался. Заслонов поддержал немца.

Алексеев в первую секунду даже не поверил своим глазам: Константин Сергеевич был по-настоящему зол. Он отчитывал механика за непростительную небрежность, но не сказал, какую. Заслонов был сердит за то, что Алексеев прозевал Контенбрука.

После этого случая паровозники стали более осмотрительными и старались заливать пути ночью.

Общими усилиями паровозников и мороза оршанские пути стали больше походить на каток, чем на исправный рельсовый путь. Все кругом обледенело. Оккупанты вынуждены были скалывать лед.

В эти же дни Пашкович, работавший машинистом, изловчился и въехал ночью своим паровозом в бок товарного состава. Он разбил два вагона и повредил правый цилиндр паровоза.

— Надо было перевернуть паровоз набок,— сказал Заслонов Пашковичу.

Группы стрелочников и сцепщиков пользовались каждым удобным случаем — вьюгой, ночной темнотой, чтобы посильнее ударить по врагу: пускали состав на занятый путь, переводили стрелку в тупик, старались свалить паровоз, ослабляли сцепку.

На угольном складе машинисты незаметно подпиливали тросы углеподъемного крана, чтобы создать перебои в снабжении паровозов углем.

Заслонов смотрел, как отнесется к этой разнообразной «пробе пера» Контенбрук.

Шеф был недоволен, но пока что относил все за счет случая и зимы.

Тогда Заслонов, не теряя времени, перешел к еще более активной деятельности.

В один из дней он пришел на паровоз, на котором Доронин с помощником Пашковичем должны были отправиться под товарный состав.

— Знаешь инжектор? — сурово спросил Заслонов у старого машиниста.

Доронин удивленно посмотрел на него.

— Знаю, Константин Сергеевич.

— Не делай того, что знаешь! — сказал Заслонов и ушел.

Фашист-конвоир вопросительно смотрел то на Доронина, то на Пашковича.

— Начальник — у-у! — показал Пашкович глазами на уходившего в депо Заслонова.

— О, ja, ja! — поддакнул «филька».

В поездке как будто бы все шло нормально: машинист и кочегар делали, что полагается; уголь и вода были, но состав дотянулся только до станции Гусино, а не до Смоленска. Паровоз вдруг отказался работать.

«Филька» удивленно воззрился на обоих и все допытывался:

— Warum?

— Машинка капут! — отвечал Пашкович.

— Warum? — не отставал фашист.

— Мороз, мороз!

— О, ja, ja! — согласился наконец конвоир.

Состав был на несколько часов задержан, а паровоз отправили на буксире назад, в Оршу.

Чтобы это не было единичным случаем, Заслонов дал приказ паровозникам при всяком удобном случае замораживать инжекторы и воздушные насосы.

Существовавшая у оккупантов обезличка паровозов позволяла заслоновцам делать это: паровозная бригада не прикреплялась к определенной машине.

С линии один за другим стали возвращаться в депо поврежденные «52».

Когда цифра поврежденных паровозов сильно возросла, Контенбрук вызвал к себе начальника русских паровозных бригад.

— Скажите, герр Сацлонофф, почему происходит такое безобразие? — в гневе спросил шеф.

— О каком безобразии идет речь? — спокойно отпарировал Заслонов.

— Как, вы не знаете?..

Контенбрук вскочил со стула и забегал по кабинету. Он высыпал на Заслонова целую лавину негодующих слов. Их принимал помрачневший, озабоченный Манш.

Шеф перечислял все злоключения последних дней.

— Каждый день с пути возвращаются в депо паровозы. Неисправность, поломки,— почему это?

— Во-первых, я не начальник по ремонту паровозов. За качество ремонта я не отвечаю. А во-вторых, надо принять во внимание мороз. Такие морозы бывают у нас не каждый год.

— Раньше на ваших паровозах случались эти аварии?

«Манш знает: даже в студеную зиму 1939 года не бывало,— значит, говорить, что случались,— нельзя».

— Нет,— невозмутимо ответил Заслонов.

— А почему теперь происходят каждый день?

— Немецкие паровозы не приспособлены к здешнему суровому климату.

Контенбрук неласково смотрел на Заслонова. Начальник русских паровозных бригад был как всегда спокоен.

«Может, он прав?» — подумал Контенбрук и отпустил Заслонова.

Разговор с шефом еще не был выражением недоверия Заслонову, но тень такого недоверия уже сквозила,— Константин Сергеевич почувствовал. Иначе, много суше, стал держать себя с Заслоновым и Манш.

«Надо спутать им карты»,— подумал Заслонов и в тот же вечер заглянул к Петру Шурмину: настало время вывести из строя водоснабжение узла.

Вода была нужна не только для питания паровозов и промывочного ремонта, но и для проходящих воинских эшелонов и пожарных целей.

При каждой встрече с Шурминым Константин Сергеевич напоминал ему об этом:

— Как бы вывести из строя водоснабжение, а?

— Выведем. Пусть только усилятся морозы. В два счета выведем! — уверял Шурмин.

Он рассказал Заслонову, что́ собирался сделать. Достаточно было перекрыть три-четыре колодца — и мороз доделает остальное. Вода в трубах замерзнет, и трубы лопнут.

— Думаю, что уже пора перекрыть! — сказал Константин Сергеевич Шурмину, придя к нему после разговора с Контенбруком. — Морозец знатный!

— Хорошо, завтра прикроем их лавочку! — согласился Шурмин. — Вот-то забегают фрицы!

И на следующий день оршанский железнодоржный узел вдруг оказался без воды.

Катастрофа разразилась с утра.

Утром словно высохли все водоразборные краны. Паровозы ездили от одной колонки к другой, — нигде не было воды. Помощники машинистов во все стороны крутили винт — не помогало: кран хрипел, как удавленник, а потом и совсем затих.

За отсутствием воды остановилась работа в цехе промывочного ремонта паровозов.

По станции забегали кухонные солдаты и повара из немецкого госпиталя, расположенного в здании вокзала: нигде не оказалось воды, срывался утренний кофе.

К ним присоединились солдаты проходивших через Оршу немецких эшелонов. Бренча пустыми флягами и манерками, бегали немцы по вокзалу, путям и пристанционному поселку в поисках воды. У всех на языке было одно слово: «Вассер!»

Контенбрук метался как угорелый, но сделать ничего не мог. Он вызвал к себе Шурмина.

Шурмин пожимал плечами и говорил, глядя прямо в белесые, злые глаза шефа:

— А я тут при чем? Сами видите, какой мороз! Господин Манш знает, что и до войны не все колодцы были в исправности!

Найти из трехсот колодцев поврежденные было немыслимо: все триста лежали под снегом. Оставалось ждать весны.

Орша, регулярно отправлявшая поезда, теперь застопорила движение. На всех путях столпились составы. Для того чтобы паровоз мог отправиться из Орши с составом, приходилось сначала ему самому ехать куда-то за водой. Вода очутилась за «тридевять земель»: в сторону Смоленска — не ближе станции Красное, до которой пятьдесят километров, а по направлению к Минску и того более — шестьдесят девять километров, на станции Славное.

Это отнимало много времени и путало весь график движения поездов.

А найти виноватых не удалось. Виновным опять оказался дед-мороз, тот дед-мороз, которого всегда так любили изображать немцы: с пушистой длинной бородой и ворохом разных рождественских подарков.

Оккупанты не знали, что Константин Заслонов приберег для них еще один, самый дорогой новогодний подарочек.

15

Когда в Вязьме военные специалисты учили партизан-железнодорожников стрелять из винтовки и пулемета и бросать гранату, они одновременно обучали их и подрывному делу. В частности, заслоновцам рассказали, как сделать угольную мину, очень удобную для диверсий на железной дороге. Получался кусок угля, мало отличавшийся от обыкновенного. Угольная мина пришлась Заслонову по душе. Приготовить ее было легко и просто, а кроме того, она попадала в топку и взрывалась далеко от того места, где ее подбросили на тендер с углем. Установить, кто и где ее подбросил, было совершенно невозможно.

После диверсий на паровозах оршанского узла немцы стали больше следить за паровозниками. Заслонов решил, что наконец настало долгожданное время пустить в ход угольную мину.

Испробовать на деле первую угольную мину Константин Сергеевич дал расторопному Алексееву.

По внешнему виду мина ничем не отличалась от обыкновенного антрацита. Глядя на этот, казалось бы, безобидный кусок каменного угля, трудно было поверить, что в нем заключена такая разрушительная сила.

— Когда подбросишь мину на какой-либо тендер, обязательно запиши номер паровоза.

— Хорошо, Константин Сергеевич, — чуть улыбнулся Алексеев, пряча мину за пазуху.

Он вел товарный состав до Борисова. В Борисове, отцепившись от поезда, Алексеев поехал в депо для поворота паровоза и его экипировки.[1]

---

[1] Экипировка паровоза — снабжение углем, водой, песком и смазочным материалом.

Немец-провожатый, по обыкновению, не захотел оставаться на паровозе и мерзнуть, пока будут набирать уголь, воду и прочее, а ушел в диспетчерскую. Алексеев остался с Сергеем Пашковичем.

Экипировавшись, они стали рядом с паровозом минского резерва «52-1073», тоже готовым к отправке.

— Товарищ Алексеев, смотри, на паровозе никого. Это немецкая бригада,— зашептал Сергей, указывая на соседа.

Немецкая паровозная бригада, прибыв в оборотное депо, тоже никогда не сидела на паровозе, а шла в диспетчерскую и там ждала маршрута.

Сосед оказался очень подходящий.

Пока Пашкович караулил, Алексеев сошел со своего паровоза и быстро поднялся на тендер «52-1073». Он раскопал в угле ямку, положил туда угольную мину, засыпал ее углем и так же быстро слез. Дело было сделано.

Через минут десять к паровозу подошла бригада — пожилой рыжеусый «лекфюрер» — машинист и его молодой помощник. «52-1073» ушел на Минск. А немного спустя явился с маршрутом их немец-провожатый, и они отправились в обратный путь.

Вернувшись в Оршу, Алексеев передал обо всем Заслонову.

Стали ждать результатов.

На следующий день Чебриков, ездивший в Борисов, привез оттуда приятную новость: все паровозники оживленно говорили о том, что вчера, не доезжая до Колодищ, подорвался паровоз. Мина вырвала всю колосниковую решетку. Паровоз вышел из строя, а пока его на буксире тащили в Колодищи, загородил нечетный путь.

В тот же вечер Заслонов заглянул к Чебрикову — обсудить план дальнейших диверсионных действий.

Константин Сергеевич был в прекрасном настроении:

— Ну, фрицы, теперь держитесь!

Наконец сбылось то, о чем он мечтал все эти месяцы.

Следующую мину повез флегматичный, неторопливый Норонович. Чебриков предупредил его о том, что мина будет лежать или в котловане, или в старом

складе, где в грязи и мусоре ржавели два изломанных немецких паровозных котла.

Когда Штукель вызвал Нороновича в нарядческую, Константин Сергеевич, передавая ему маршрут, сказал начальническим, ничего, кроме приказа, не выражающим голосом:

— Едете с помощником Желудем на паровозе «52-2118». Не забудьте взять еду: вернетесь неизвестно когда.

Все это было сказано на одной ноте, без каких-либо подчеркиваний. Начальник русских паровозных бригад, вручая машинисту маршрут, так всегда и говорил. Сегодня к обычным словам была прибавлена концовка: «Не забудьте взять еду: вернетесь неизвестно когда».

— Слушаюсь, господин начальник! — ответил Норонович, а сам понял его слова так: «Не забудь, Василий Федорович, взять для немца гостинчик!»

Норонович вышел из нарядческой. В коридоре его ждали краснощекий Желудь и железнодорожник-немец, с которым они уже не в первый раз отправлялись в поездку. Это был смешной фриц: непомерно маленькая головка и выпученные глаза.

— Глаза у него по яблоку, а голова — с орех, — так определил немца в первый же раз Васька Желудь.

— Идите, а я сейчас. Живот, живот! — скорчившись, схватился за живот Норонович и пошел по направлению к старому складу.

«Чтоб только этот выродок проклятый не вздумал идти следом!»

Но немец шел с Васькой к паровозу.

Норонович юркнул в темный склад, присел у котла и запустил в него руку. Туда-сюда... Обыскал один котел, обшарил вокруг него — ничего. Даже пот прошиб от волнения.

«Не успеешь! Может, не тут, а в котловане или водосточной трубе?»

Бросился ко второму котлу.

Сунул руку и с облегчением вздохнул: пальцы нащупали кусок каменного угля.

Норонович ни разу еще не видал угольной мины. Константин Сергеевич запретил все расспросы о ней. «Было бы сделано, а кто сделал мину и где,— вам-то что?»

Норонович засунул мину на самое дно своей сумки от противогаза, сверху накрыл картошкой, огурцами, хлебом и вышел из склада. Он шел к паровозу, подтягивая ремешок брюк.

Когда Норонович поднялся на паровоз, немец, еще не успевший промерзнуть, но уже заранее топавший сапогами, тотчас же выразил Василию Федоровичу сочувствие и подал совет. Он поглаживал по своему животу рукой, приговаривая «бур-бур-бур», а потом прибавил словами:

— Кава, пан, кава! Гут. Тьепли кипьяток!..

И таращил глаза.

Норонович только ухмыльнулся в ответ, махнул рукой и сел на свое место — за правое крыло паровоза.

В Смоленске Василий Федорович удачно положил мину на тендер рядом стоявшего с ним паровоза вяземского резерва «54-1051».

А дня через три Норонович мог собственными глазами полюбоваться на дело рук своих: паровоз «54-1051» тащили на буксире через Оршу. Боковой лист котла был разворочен.

— Крестника своего видал? — тихо спросил у него Чебриков.— На четвертом пути стоит.

— Скоро этой родни столько будет, что со счету собьешься! — лукаво подмигнул Норонович.

16

Угольная мина получила широкое применение у партизан-железнодорожников. После Алексеева и Нороновича ею стали пользоваться и другие. Каждый день оршанцы-паровозники увозили ее в своих сумках по разным направлениям и особенно с поездами на восток.

Сбылись заслоновские слова: теперь ежедневно выходили из строя немецкие паровозы.

Заслонов через Алексеева и Чебрикова предупреждал товарищей о том, с какой осмотрительностью надо класть мину на чужой тендер, чтобы не попасться с поличным.

Машинисту, стоявшему в оборотном депо со своим паровозом рядышком с другими, улучить момент положить мину на чужой тендер не представляло сложной

задачи, но все-таки для этого нужны были отвага, выдержка, ловкость.

Пока все сходило благополучно.

Заслонов постарался оградить от провала и само производство мин: никто не знал, где и кто их делает. Все знали лишь одно — в минах недостатка нет.

Все шло по заведенному порядку. Получив маршрут, машинист на секунду забегал в открытый, захламленный сарай или в котлован за миной, которая лежала в условленном месте.

Он преспокойно вез мину до Смоленска, а там незаметно подкладывал ее на паровоз вяземского депо. Остальное доделывали сами немцы-паровозники: они собственноручно перебрасывали мину вместе с обыкновенным углем в топку своего же паровоза.

Заслоновцам иногда случалось видеть, какой эффект давала их угольная мина, когда взрывалась в пути на каком-либо перегоне. Особенно доставалось при этом классному составу, потому что у немцев отопление пассажирских вагонов шло непосредственно от паровоза.

Паровоз с развороченной топкой беспомощно стоял где-то в поле, на ветру, на тридцатипятиградусном морозе.

В штабных классных вагонах отопление прекращалось, и замерзающие господа офицеры уже приплясывали, стараясь согреться. Наиболее горячие из них бежали к паровозу ругать бригаду и узнавать, скоро ли вызволят их из этой беды.

А в метрах ста за пассажирским составом уже тянулся следующий — товарный, с пушками и танками, а за товарным виднелся санитарный... Всем им преградил дорогу подорванный заслоновской миной паровоз. И пока из ближайшего депо прибывала помощь, господа офицеры окончательно теряли терпение, а на пути выстраивалась в затылок целая вереница задержанных поездов.

Заслоновцы, едущие по свободному соседнему пути, посмеивались в душе, видя, как пляшут на морозе фрицы. А железнодорожник-немец, сопровождавший заслоновцев, смотрел на своих товарищей, попавших впросак, и авторитетно изрекал:

— Машинка капут!

Несмотря на то, что угольная мина выводила паровоз из строя быстрее и основательнее, чем что-либо иное, все-таки некоторые паровозники не могли устоять перед соблазном повредить тот паровоз, который они вели сами.

Машинисты выплавляли дышловые и буксовые подшипники, замораживали пресс-масленки и воздушные насосы. Иные рисковали брать с собою бутылку с соленой водой, чтобы лить в подшипники и создавать побольше трения.

Этому способствовало то, что немцы-железнодорожники, сопровождавшие русскую паровозную бригаду, не всегда были квалифицированными паровозниками и потому не могли за всем уследить, тем более, что стояли жестокие морозы. «Филька» сидел обычно укутанный с головой одеялом и думал об одном: как бы окончательно не замерзнуть.

За последние две недели, когда заслоновцы в основном пользовались угольной миной и паровозы оршанского депо поэтому редко выходили из строя, отношения между Контенбруком и Заслоновым немного улучшились.

Контенбрук не имел, казалось, основания быть недовольным начальником русских паровозных бригад. Паровозные бригады посылались на поезда без проволочек.

Контенбрук, разумеется, знал, что по соседству, на перегоне Борисов — Минск, а особенно Смоленск — Вязьма взрывались какими-то минами паровозы, но это все-таки не касалось его депо.

Через Оршу лишь тащились на буксире исковерканные, с вырванным нутром паровозы. Можно было видеть каждый день, как они «сплоткой»[1] следовали на запад.

Хотя ни один партизан-железнодорожник не попался с поличным, но немецкая разведка догадалась, в чем дело. И в Орше, как и в других депо, тоже попытались проверять уголь на угольном складе: перебрасывали по кусочку, всматривались — не в этом ли мина, а куски побольше разбивали.

---

[1] «Сплотка» — несколько паровозов, соединенных вместе (железнодорожный термин).

Заслоновцы посмеивались, глядя на бессмысленную, бесполезную работу.

— Ищи ветра в поле!

— Тут вам и немецкая овчарка не поможет!

Заслонов ликовал: партизанская работа шла полным ходом.

17

В январе все чаще стали появляться над Оршей советские самолеты-разведчики. Они сбрасывали листовки, «Вести из Советской России», «Сводку Информбюро», газеты. Немцы охотились за этой литературой и сурово наказывали тех, кто ее читал. Но советские люди тянулись к правде — старались поймать каждую такую весточку с «Большой земли».

О том, что дела идут совсем не так, как расписывала геббельсовская пропаганда, оршанцы могли судить по бесконечной веренице поездов, которые ежедневно следовали через Оршу с немецкими ранеными. Уже давно не хватало санитарных и пассажирских вагонов. Раненых перевозили просто в товарных. Вся Орша была переполнена ими. Эвакогоспиталь помещался в здании самого вокзала.

О положении на фронте говорили и те солдаты, части которых отводились в Оршу на переформирование.

Однажды Константин Сергеевич пришел домой обедать. В квартире была только Полина Павловна.

Заслонов ел картошку с квашеной капустой и рассказывал Соколовской о деповских делах: смеялся над тем, как у немцев захламлено и грязно в депо, как немецкие паровозы доведены нашими механиками до такого состояния, что стали течь, как решето.

В это время дверь отворилась и вошел немец-пехотинец, обтрепанный, худой и черный, с каким-то одичалым взглядом голубых глаз.

Он вынул из сумки два куска мыла и предложил поменять их на масло и яйца.

У Соколовской не было мыла, но также не было ни яиц, ни масла.

Немец посидел несколько минут, отогреваясь. Видимо, он хотел излить все то, что его потрясло. По-русски говорить он не умел, но Константин Сергеевич и Соколовская поняли его.

Их полк отвели в Оршу из-под Москвы: в полку осталось всего одиннадцать человек.

— Нур эльф! Нур эльф![1] — скривившись, повторял немец.

Он и сам еще не вполне верил в то, что остался жив.

Немец был совершенно подавлен мощью Советской Армии. Он топал озябшими ногами, дул в кулаки и твердил одно:

— Аллес капут!

Когда солдат ушел, Заслонов, усмехаясь в свои усы, сказал:

— Ну, этот вояка уже готов!

— А хорошо наша армия сбила с фашистов спесь! Вы бы, Константин Сергеевич, видели, с каким гонором они явились к нам. Какие шли сюда, а какие будут возвращаться!

— Многим из них совсем не придется возвращаться! — уточнил Заслонов.

Из газет, которые сбрасывали самолеты, оршанцы с удовлетворением узнали о советской ноте по поводу фашистских грабежей и зверств на оккупированной территории. Оршанцам все это было хорошо знакомо.

Железнодорожники, которые проезжали сотни километров, видели деревни и города, сожженные дотла фашистами. Все паровозники, ездившие в Смоленск, были свидетелями того, как на путях между Смоленск-Центральная и Смоленск-Сортировочная долго лежала неубранной гора голых тел советских военнопленных, погибших от голода и холода.

Из газет же оршанцы узнали о том, что 18 января в Казани состоялся митинг представителей белорусского народа. Заслоновцы с волнением читали обращение к белорусскому народу. В нем так горячо, так сильно говорилось о них:

«От лесов Налибокской и Беловежской пущ до седого Днепра, от древнего Полоцка до широких просторов Полесья поднялся неугасимый гнев народа против фашистских разбойников».

Комсомольцы быстро заучили наизусть страстные, горящие местью к врагу, вдохновенные строки Янки Купалы, обращенные к ним, к партизанам Белоруссии:

---

[1] Нур эльф! *(Нем.)* — Только одиннадцать!

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны!

Вскоре после разведчиков в Оршу наведались советские бомбардировщики. Они прилетели ночью.

На станционном дворе у немцев стояла наготове автомашина. Как только сообщили, что летят советские самолеты, она начала кружить по двору, и сирена неистово завыла.

Услышав этот вой, все немцы, работавшие в депо, сразу оставили свои станки и детали и кинулись в бомбоубежище.

Советские деповцы с удивлением смотрели, как беспечно оставляли фашисты и работу и станки. Когда, в начале войны, фашисты бомбили Оршу, наши железнодорожники не прекращали работу. А теперь с удовольствием бросались подальше от железнодорожной линии: фрицы не пускали никого чужого в свои бомбоубежища.

— Колька, и что это за люди? Видал? Фрицы побросали все — и тягу,— говорил Домарацкому Алесь, когда они, едва успев добежать до базара, юркнули в какую-то полузанесенную снегом щель.

— А фашистам что? Не свое ведь. Это ты не бросил бы так советский станок. А у них — чье-то! Им наплевать. Ох, и дают-от наши! — прижимался к земле Домарацкий.

Все дрожало от грохота бомб, которые падали где-то неподалеку.

Женя, который тоже обратил внимание на то, как ведут себя во время бомбежки оккупанты, подумал: «А нельзя ли воспользоваться этим?»

И он придумал.

На тракционных путях всегда стояло под парами несколько паровозов, готовых отправиться в рейс. При них находились один-два дежурных кочегара, следивших за топкой.

Во время бомбежки кочегары тоже предпочитали сидеть в бетонированном бомбоубежище, нежели в паровозной будке.

Обычно один из паровозов стоял на том пути, на который был наведен поворотный круг, а второй — на соседнем. Рельсы второго упирались просто в котлован. Стоило лишь пустить второй паровоз вперед, как он дойдет до конца рельс, а потом должен будет неминуемо рухнуть в котлован.

Тогда поворотный круг выйдет на какое-то время из строя. Во-первых, надо извлечь свалившийся и поврежденный паровоз, а во-вторых, его прыжок не пойдет на пользу и самому котловану... Придется серьезно чинить поворотный круг, а это значительно усложнит работу депо.

Налеты советских бомбардировщиков стали повторяться. Самолеты появлялись над военными объектами Орши ровно в двадцать четыре ноль-ноль.

Те фашистские деповцы, которые не работали в ночную смену, уходили заранее, с вечера, из Орши в какую-либо пригородную деревню спасаться от бомбежек. А ночная смена с мрачным видом шла в депо.

Работая, фашисты все время прислушивались, не воет ли сирена, чтобы за лязгом и стуком в цехе не прозевать воздушной тревоги. И чуть только начинала реветь сирена, они сломя голову мчались в бомбоубежище.

В следующий ночной налет, когда фашисты в панике разбежались и в депо и на путях не осталось ни одного человека, Женя не побежал вместе со всеми ребятами в поселок, а кинулся к поворотному кругу. Он словно спешил навстречу советским самолетам, летящим со стороны Смоленска.

Впереди, на тракционных путях, стояло четыре паровоза серии «52». Женя различал в ночной темноте их приземисто-длинные фигуры. Он изо всех сил бежал к паровозам, несмотря на то, что по деповским крышам, по вагонам, рельсам — кругом стучали осколки зенитных снарядов.

Фашистские зенитчики били не переставая.

Земля дрожала от взрывов советских авиабомб, которые падали где-то в районе Орша-Западная. Фашистские прожекторы чертили небо.

Женя не обращал ни на что внимания.

В голове было одно: «Добежать бы до «52»! Сбросить его в котлован!»

Он бежал напрямик к паровозам через рельсы, через какие-то детали, лежащие на междупутье.

Оставалось с десяток шагов.

«А вдруг кочегар не ушел в бомбоубежище?» — обожгла мысль.

Еще шаг-другой.

Женя прыгает на ступеньку подножки. Одним махом влетает в будку. Облегченно вздыхает: «Никого!»

Дрожащими руками переводит переводной винт, открывает регулятор.

Паровоз вздрагивает и плавно трогается с места. До поворотного круга остается метров пятьдесят.

«Теперь скорее вниз!»

Женя соскакивает с паровоза, больно ударившись локтями о подножки, и изо всех сил мчится в сторону, в темноту.

Сзади за ним раздался страшный грохот, лязг, треск.

«Упал, упал! Круг выведен из строя!»

Женя бежал все дальше и дальше от депо. Теперь его тревожила лишь одна мысль: а вдруг кто-либо видел?

Но, к счастью, все обошлось благополучно,— никто не видал, как Женя пустил паровоз на поворотный круг.

После этой ночи гитлеровцы стали выставлять в депо и на путях воинские посты: солдаты и во время бомбежек оставались на своих местах.

Впрочем, поворотный круг оказался настолько основательно выведенным из строя, что его не было смысла ремонтировать. Он так и остался искалеченным.

18

В феврале советская авиация стала чаще бомбить фашистов в Орше.

На фронте дела у фашистов были неважные: в 20-х числах января Красная Армия взяла Селижарово и Торопец. Шли знакомые Константину Сергеевичу места. От Торопца до Великих Лук, где учился Заслонов в профтехшколе, рукой подать: семьдесят четыре километра. Этот участок пути Заслонов знал хорошо, — здесь он ездил помощником машиниста.

Красная Армия перерезала одну из важнейших ком-

муникационных линий немецких войск, железную дорогу Ржев — Великие Луки. Оставалась Орша — Смоленск.

— Усилить удар! Побольше выводить из строя фашистских паровозов! — дал задание своим партизанам Заслонов.

В создавшейся обстановке громадное значение приобрел оршанский узел: через него шел главный поток фашистских подкреплений фронту.

Дядя Костя хотел провести какую-либо операцию на самом узле, чтобы ослабить его. Он совещался со своими ближайшими помощниками — Алексеевым и Шурминым — и наконец пришел к мысли, что надо заминировать ветку № 11.

Оршанский узел имеет круговую железнодорожную линию. Если основная магистраль занята, то можно пропускать поезда в обход ее через Оршу-Западную и Оршу-Восточную. Орша-Восточная соединяется с основной магистралью веткой № 11.

Ее-то и предложил заминировать Заслонов.

В последнее время движение по круговой линии усилилось, и хорошо было бы хоть на время вывести ее из строя.

— На восток беспрерывно идут воинские эшелоны, а мы и застопорим! — говорил дядя Костя.

— Константин Сергеевич, а что, если заминировать сразу в двух местах? — спросил Алексеев.

— Как это?

— Одну мину положить недалеко от Орши-Восточной, а вторую — ближе к магистрали, к 533-му километру. Когда будет взорван путь на ветке, фашистам придется слать вспомогательный поезд со стороны основной магистрали...

— И вспомогательный тоже взлетит! — понял мысль товарища Шурмин.

— Дело! Согласен! — одобрил Заслонов.

Сговорились, что тол перенесут вечерами поодиночке. Спрячут его в условленном месте, в кустах. А минировать будут вдвоем: Константин Сергеевич и Алексеев.

Первым отправился на ветку дядя Костя. Он положил за пазуху толовые шашки и потихоньку, спокойно пошел к Орше-Восточной.

На следующий вечер по его маршруту двинулся Шурмин, а потом — Алексеев.

За несколько раз благополучно перенесли три кило толу и лопату.

В назначенный вечер дядя Костя и Алексеев разными дорогами отправились к ветке. Каждый нес по одной железнодорожной мине. Константин Сергеевич только обошел Оршу-Восточную, когда его обогнал воинский эшелон. На платформах мелькали танки. Дымилась походная кухня.

«Кофе варят! Вот бы немножечко попозже,— было бы вам кофе!» — подумал Заслонов.

В кустах его ждал Алексеев.

— Видали? Только что прошел эшелон,— сказал Толя.

— Видел. Мы успели вовремя. Пойдем, — ответил Заслонов.

Они осмотрелись — на ветке не было ни души.

Подошли к полотну. Алексеев нес в мешке тол, Константин Сергеевич — лопату.

— Карауль, а я все сделаю! — сказал Заслонов.

Он стал подкапывать под шпалою землю.

Алексееву казалось, что дядя Костя делает медленно, что он мог бы скорее. Анатолий не выдержал и сказал:

— Константин Сергеевич, дайте я...

Но дядя Костя сердито отрезал:

— Управлюсь и сам!

И Алексеев уже больше ничего не говорил.

Наконец одну мину упрятали. Пошли дальше.

— Это ведь не летом. Земля мерзлая,— как бы продолжая разговор, заметил дядя Костя.

Окончательно стемнело.

Вторую мину закладывать было удобнее.

— Ну, вот и все,— поднялся Заслонов.— А теперь полный вперед!

И они быстро пошли к Орше-Центральной.

Заслонову очень бы хотелось побыть в депо в тот момент, когда фашисты узнают о катастрофе на ветке № 11, но вечером в нарядческой у него не было дел, и он направился домой.

На квартире оказалась только хозяйка.

Константин Сергеевич несколько раз за вечер под

разными предлогами выходил на веранду послушать, что творится в депо.

В депо стояла суматоха.

Заслонов видел, как отправлялся вспомогательный поезд.

«Значит, одна мина себя оправдала! Не может быть, чтобы в темноте нашли вторую!»

Он лег спать.

Наутро вся Орша говорила о том, что ночью на ветке № 11 партизаны пустили под откос воинский эшелон, который шел со скоростью пятьдесят километров в час, и что подорвался восстановительный поезд. С ветки привезли несколько вагонов убитых и раненых, а гестапо оцепило весь район.

— Ищи-свищи! — усмехнулся Заслонов.

19

Заслонов был в постоянном контакте с секретарем райкома. Энергичная, неутомимая Надежда Антоновна Попова бесперебойно поддерживала эту связь. Она передавала секретарю райкома результаты партизанской работы Заслонова на оршанском узле, собранные заслоновцами сведения о передвижении фашистских войск, местонахождении складов, а Заслонову приносила от секретаря райкома дальнейшие указания и поручения.

В феврале Ларионов захотел повидаться с Заслоновым. Они условились встретиться в воскресенье 15 февраля в том же Дрыбине у Куприяновича.

Заслонов отпросился у шефа и в воскресенье утром, взяв с собой мешок, пошел будто бы за продуктами в деревню.

Когда Константин Сергеевич пришел в Дрыбино, он застал у Куприяновича, кроме Ларионова, двух незнакомых крестьян, видимо, братьев. Они пришли к секретарю райкома по своим личным делам.

Увидев Заслонова, Иван Тарасович поднялся со скамейки и сказал крестьянам:

— Вот так бы решил ваше дело советский народный суд. Если вы — советские люди, то поступайте, как велит наш закон.

— Благодарим, товарищ секретарь! — ответил один из братьев и повернулся к выходу.

Второй секунду молчал, вертя в руках шапку: по всей видимости, совет секретаря райкома меньше устраивал его, чем брата, но, уходя, и он поблагодарил:

— Спасибо за совет!

И они оба вышли.

— Как видите, я тут все: и собес, и нарсуд,— улыбнулся Иван Тарасович, здороваясь с Заслоновым.

— А как же бы вы думали, товарищ? — несмотря на свою хромую ногу, живо подскочил к секретарю райкома Куприянович.— Вы — наша Советская власть. И мы должны ее уважать!

Затем так же ловко, как-то на одной пятке, повернулся к печке, у которой сидела его жена, и стал выпроваживать ее из хаты:

— Иди, посиди у Марьи. Будешь мешать тут!

— Антон Куприянович, зачем вы гоните хозяйку из дома? Мы с товарищем Заслоновым побеседуем тихонько в уголке,— урезонивал Куприяновича секретарь райкома.

Но Куприянович стоял на своем:

— Какие же разговоры шепотом!

Жена вышла из хаты. Накинув на плечи кожушок, ушел и сам хозяин. Слышно было, как он топал на крыльце — сторожил, чтобы кто-либо не помешал важному разговору.

Заслонов остался с Ларионовым с глазу на глаз.

— Значит, в общей сложности вы за январь месяц вывели из строя около шестидесяти паровозов? — сказал секретарь райкома.

— Пятьдесят восемь и один воинский эшелон на ветке № 11.

— Молодцы! Продолжайте и дальше так! Хорошо еще придумали вы заморозить водоснабжение.

— Это фашистам большой удар. Бывают дни, когда поезда с войсками не могут отправиться из Орши, потому что нет паровоза. Ждут, пока паровоз вернется с водой из Славного или Красного.

Иван Тарасович улыбнулся довольный.

— Теперь вам, товарищ Заслонов, очередное поручение. Наша авиация начнет сейчас бомбить Оршу: ведь у фашистов осталась одна основная линия Орша — Смоленск. Надо помочь советской авиации.

— Все точки, где и что у оккупантов находится, я переслал вам с Поповой. Вы получили?

— Да, да, все в порядке, все передано. Но для верности надо бы еще наладить сигнализацию.

— Мы будем сигнализировать чем можем: электрическими фонариками. А машинисты будут открывать топки паровозов.

— Я вот что еще раздобыл для вас,— сказал Ларионов, подавая Заслонову две ракетницы и патроны к ним.

— Вот за это спасибо! — благодарил Заслонов, пряча подарок в свой мешок.

— Затем надо усилить нашу контрпропаганду.

— Мы, Иван Тарасович, распространяем сводки Информбюро, разъясняем положение, где только представляется возможность: в депо, в пути, на базаре. А лучший агитатор — налеты нашей авиации. Все видят, что Красная Армия сбила с фашистов спесь. Да и раненых полным-полна Орша. Как бы фрицы ни пели, что их дела хороши, но раненых никуда не спрячешь!

— А как в депо, вам еще доверяют?

— Пока что доверяют.

— Никаких происшествий не было?

— Было одно.

— Какое? — насторожился Ларионов.

— Предателя одного чуть не поколотил,— улыбнулся Заслонов.

— Вы? — удивился секретарь райкома: он знал, что Заслонов горяч, но умеет владеть собой.— Кого это?

— Машиниста Штукеля, который работает в депо сменным нарядчиком. Грязный, подлый и мелкий человечишко! Один из тех, о которых в поговорке сказано, — он и от яйца отольет! Этот негодяй ударил ни за что машиниста Струка, пожилого человека. Я чуть сдержался, чтобы не стукнуть предателя, но только отчитал. Жаль, нельзя было сказать Штукелю все, что о нем думаю. Пришлось ругать, но под иным соусом. «Вы что,— говорю,— хотите вооружить против нас машинистов?!»

— А шеф как на это?

— Поддержал меня. Не потому, конечно, что ему жаль нашего человека, а просто боялся, что к ним не пойдут работать.

— Игру вы ведете великолепно, но прошу вас, будьте начеку. Чуть заметите, что вас начинают разгадывать, немедленно уходите из Орши. За Оршу не держитесь, оставьте там своих людей, а сами с ядром отряда — в лес. Кто скорее займет лес, тот и будет его хозяином. Из лесу вы сможете в любом месте бить по коммуникациям врага. Ну, вот, кажется, и все. Главное, повторяю: помогите во время налетов!

— Сделаем, все сделаем!

— Надо помочь нашей Советской Армии: в ней вся сила, а мы, партизаны, только ее помощники.

— Конечно!

Заслонов глянул в окно:

— Пора двигаться назад,— долго задерживаться не годится.— Он встал.— Будьте здоровы, Иван Тарасович!

— Желаю успеха, Константин Сергеевич! — крепко пожал ему руку секретарь райкома.

Заслонов вышел из хаты. На крыльце его задержал хозяин.

— Товарищ начальник, куда? — расставил руки Куприянович, не пуская Заслонова.

— Домой.

— А перекусить?

— Некогда, Антон Куприянович!

— Э, браток, успеешь, — это не к поезду. Не пущу! Сказано: гость — невольник. . .

— Поздно будет. Я не в гости приходил, а по делу. Дело важнее желудка!

— Так хоть в торбу насыплю чего, а то что ж: сюда с пустой и назад с пустой? Не годится: фриц не поверит, что ходил за продуктами.

— Пожалуй, он прав,— улыбнулся Иван Тарасович, вышедший провожать Заслонова.

Пришлось вернуться в хату.

Куприянович затопал по хате — только разлетались полы его кожушка. Он насыпал в мешок Заслонова муки, положил сала.

— Довольно, спасибо, довольно! — благодарил Константин Сергеевич, но Куприянович совал то какие-то блины, то картошку.

— Молчи, товарищ начальник! Это не в депо, тут я хозяин!

20

Накануне Дня Красной Армии советские самолеты сбросили листовки, в которых предупреждали население о том, что Орша будет подвергаться бомбежкам и чтобы поэтому население уходило из города.

Заслонов уговаривал Полину Павловну уйти на несколько дней к матери, живущей в деревне, в трех километрах от Орши.

— Вы женщина. Зачем вам зря подвергаться опасности? — убеждал он.

— А как же вы тут будете?

— Как-нибудь, — улыбнулся Заслонов, — с работы ведь не уйдешь!

Полина Павловна послушалась Заслонова — ушла в деревню. В доме остались одни мужчины.

Заслонов продумал со своим штабом, чем и как они могут помочь советской авиации.

Многие железнодорожники давно имели ручные электрические фонарики,— оккупанты продавали их на базаре. Решено было, что, когда по сигналу воздушной тревоги фашисты попрячутся в бомбоубежище, комсомольцы будут из разных мест сигналить ручными фонариками, указывая расположение депо, вокзала и четного парка, где стояли воинские эшелоны.

А Шмель и Домарацкий взялись пускать ракеты на здание депо.

Те же из паровозников, которые во время налета окажутся на паровозе, должны были почаще открывать топку, чтобы наши самолеты видели на путях огонь.

К вечеру 22 февраля все фрицы, свободные от ночной работы, потянулись из Орши в деревню, боясь бомбежки. Заслоновцы посмеивались, глядя на это организованное бегство фашистов.

23 утром Заслонов, идучи на работу, с особым чувством смотрел на четный парк, где сгрудились фашистские воинские эшелоны, на серые цистерны с бензином: все это сегодня взлетит на воздух.

В этот вечер Константин Сергеевич задержался в нарядческой и пошел домой в двенадцатом часу ночи. Соколовский еще не приходил с работы, а обер-фельдфебель сидел дома. Он уже был в туфлях, но еще не

ложился спать и весьма обрадовался приходу Заслонова.

— А-а, герр руссише шеф! Граем? — сразу же предложил он.

— Сыграем,— ответил Заслонов, раздеваясь.

Константин Сергеевич не собирался ложиться спать до налета и с удовольствием принял приглашение.

Сели играть в шахматы.

Константин Сергеевич как-то научил Шуфа известной детской песенке:

Черный рыжего спросил:
— Чем ты бороду красил?

Обер-фельдфебелю очень понравилась эта песенка. Всякий раз, как они садились за шахматы, Шуф, пощипывая свою рыжеватую бороду, начинал декламировать:

Черны рызиго просиль:
— Чем ти породу красиль?
— Я на золнышке лежаль,
Ферху породу тержаль...

Минуты казались Заслонову часами. Он никак не мог дождаться, когда прилетят наши.

Наконец заревела станционная сирена и гулко ударили зенитки. Обер-фельдфебель растерялся. Он вскочил со стула и первым делом задул лампу, хотя окна были закрыты ставнями. Потом, натыкаясь на вещи, стал впотьмах искать сапоги, видимо, собираясь спасаться в убежище.

В планы Заслонова не входило в эти часы оставаться одному без свидетелей.

Надежное, железобетонное бомбоубежище было только на станции, но бежать туда сейчас — безрассудно. У дома Соколовских, в палисаднике, между грушей и яблоней, была вырыта узкая щель. Сидеть в щели на морозе не особенно-то приятно.

— Куда вы собираетесь? Оставаться на месте — безопаснее, — сказал Заслонов.

Обер-фельдфебель нашел сапоги. Натягивая их на ноги, он хотел было что-то возразить Константину Сергеевичу, но успел лишь сказать: «А-абер...»,— как раздался потрясающий удар, за ним другой, третий, четвертый...

Домик весь вздрогнул. С шумом открылась и пушечным выстрелом грохнула, закрываясь вновь, входная дверь. В шкафу зазвенела посуда.

Шуф с одним сапогом на ноге повалился на кровать.

Заслонов оставался сидеть у стола перед шахматной доской. Он смотрел в темноту, улыбался и с удовольствием отсчитывал в уме: «Р-раз! Еще раз! Так их! Так!»

А обер-фельдфебель при каждом разрыве ругался по-немецки.

Сквозь щели ставен в комнату пробивались отблески близкого пожара. Заслонов с удовлетворением подумал: «бензинчик».

Зенитки неистовствовали.

Когда налет кончился, Заслонов и Шуф вышли на крыльцо. От железнодорожных путей домик Соколовских отделяли огороды, и с крыльца был виден почти весь узел.

Там стоял полный переполох. Еще догорали какие-то вагоны. На фоне пожара виднелись суетящиеся фигуры. Слышались крики фашистов, тревожные гудки паровозов.

Над лесом полыхало огромное зарево.

Обер-фельдфебель стоял потрясенный.

— О-о, колоссаль! — смог только с огорчением сказать он, и вернулся в дом.

Константин Сергеевич пошел вслед за ним.

Сгорели цистерны с бензином, сгорела часть вагонов, стоявших неподалеку от них, но разрушила ли бомбежка какой-нибудь цех, увидеть было нельзя. Идти же самому теперь в депо казалось Заслонову неосмотрительным.

Обер-фельдфебель так расстроился, что не захотел доигрывать партию. Стал ложиться спать.

Заслонов уже лежал в постели, когда пришел Соколовский.

Константин Сергеевич спросил у него, что разрушено в депо.

— Разворотило подъемку и смотровое № 14,— весело рассказывал Соколовский.

Шуф за стенкой, оказывается, тоже слушал сообщение Соколовского. Он, разумеется, не понимал, что

такое «подъемка» и «смотровое № 14», но все возмущался и посылал проклятия «Иванам».

— О, черт возьми!

— Опять же в цистерны попали. С одного разу! Вагонов на путях наломало и сожгло! .. И над лесом — дым и огонь. Что там в лесу было, кто его знает!

— О, черт!

Заслонов-то прекрасно знал: в лесу у фашистов были склады боеприпасов, фуража и прочего военного имущества.

— А наши сбиль какой самольет? — крикнул из своей комнаты Шуф.

— Черта с два! — выпалил Соколовский.

— О-о, два, цвай! Вьеликольепно-карашо! — обрадовался обер-фельдфебель.

Заслонов махнул Соколовскому рукой: мол, не объясняй, пусть дурак думает!

Соколовский не стал говорить,— он весело подмигивал Заслонову, потрясая кулаком.

Заслонов радовался: значит, партизанская сигнализация оправдала себя! Значит, железнодорожники помогли своему старшему брату — Красной Армии!

21

Алексеев вернулся из очередной поездки ночью 23 февраля, после бомбежки. Депо стало неузнаваемым: основной его цех «подъемки» и здание «смотрового депо», где производился технический осмотр прибывающих с линии паровозов, были сильно повреждены.

Груды кирпича засыпали пути и канавы, под ногами хрустело битое стекло. Голодные, раздетые пленные под конвоем эсэсовцев очищали пути от мусора и кирпича.

Алексееву очень хотелось бы поговорить с кем-либо из товарищей, но было уже поздно, и он прямо отправился домой. А утром, чуть свет, ушел в Грязино на целые сутки по делам организации лесной базы.

В Грязине подготовка базы шла полным ходом. Шеремет скопил на мельнице для партизан Заслонова двадцать пудов муки. Алексеев рассказал товарищам о том, как наша авиация на славу разбомбила фашистов в Орше.

Днем в Грязине были слышны взрывы и зенитная

пальба. Советские бомбардировщики снова сделали налет на оршанский узел.

На следующий день, 25 февраля, Алексеев часам к трем пополудни вернулся в Оршу. Когда он пришел домой, хозяйка шепотом сказала ему:

— Вчера арестовали Заслонова.

У Алексеева захолонуло сердце.

— А еще кого?

— Говорят, его одного.

Алексеев переоделся и пошел к Чебрикову. Надо было узнать обо всем подробнее и решить, что́ делать дальше. Он рассчитывал застать Чебрикова дома, потому что Сергей Иванович тоже был сегодня свободен от поездки.

Так и оказалось: Сергей Иванович сидел дома. Он был сильно встревожен.

— Слыхал, что вчера произошло? — спросил Чебриков.

— Слыхал. Кто арестовал дядю Костю?

— Гестапо.

— Где сидит?

— Сидел в полевой комендатуре.

— А теперь?

— В депо, в нарядческой...

— Как, дядю Костю выпустили? — радостно кинулся к Чебрикову Алексеев.

— Избили и выпустили. Увидишь: голова повязана.

— Ах, мерзавцы! А ты с дядей Костей говорил?

— Удалось мельком.

— В чем его обвиняли?

— Ему говорят: вы сигнализировали советским самолетам.

— Вот дьяволы, кое-что знают!

— Да. А дядя Костя отвечает: «Как же я мог сигнализировать, если во время налета играл в шахматы с обер-фельдфебелем Шуфом?» Вызвали обер-фельдфебеля. Он подтвердил, что Заслонов все время был дома. И дядю Костю выпустили. Улик-то — никаких.

— А что, поймали кого-либо из ребят с фонарями?

— Нет.

— И больше никого не арестовали?

— Нет.

— Кто-то донес на дядю Костю.

— Нашлись мерзавцы вроде Штукеля.

— Что будем делать дальше?

— Дядя Костя уйдет. Я покамест остаюсь для диверсий. А ты и все, кто наиболее подозрителен немцам — Шурмин, Коренев, Норонович, Пашкович, Шмель и другие, — готовьтесь уходить.

От Чебрикова Алексеев направился в депо, может, удастся как-нибудь перекинуться словом с дядей Костей.

Входить в нарядческую Алексеев опасался: дела никакого у него не было,— в нарядческой при всех не станешь же говорить о партизанских делах. Надо полагать, что за Заслоновым сегодня все-таки усиленно следят. Алексеев прохаживался по коридору, не отходя от двери в нарядческую, и думал, как бы вызвать Константина Сергеевича в коридор.

В томительном ожидании прошло несколько минут. И вот из нарядческой наконец вышло двое немецких железнодорожников. Один шагнул в коридор, а второй на секунду задержался у порога. Он широко раскрыл дверь и, держась за ручку, еще что-то говорил с Фрейтагом.

Алексеев подошел к двери и глянул в нарядческую. Заслонов стоял у своего стола и смотрел на немца, остановившегося на пороге. Голова у Константина Сергеевича была повязана. Лицо побледнело и осунулось, но в глазах горела неукротимая решимость. Дядя Костя остался верен себе: драться, так драться до конца!

На короткое мгновение глаза Алексеева и Заслонова встретились. Фриц кончил разговор и, закрыв дверь, ушел.

Алексеев медленно пошел к выходу. Сзади за ним хлопнула дверь — из нарядческой кто-то вышел Алексеев, не оборачиваясь, продолжал идти вперед. Человек, вышедший из нарядческой, нагонял его.

— Я уйду сейчас, а ты уходи с ребятами завтра, — обгоняя Алексеева, тихо сказал Заслонов.

22

Вместе с Алексеевым уходило четырнадцать ремонтников и паровозников. Анатолий накануне предупредил их, и они все ушли поодиночке в Дрыбино еще ранним утром.

Сам Алексеев рискнул немного задержаться. Ему хотелось посмотреть, что станут делать фашисты, когда узнают об исчезновении Заслонова.

Кроме того, надо было пустить гестапо по ложному следу,— так заранее сговорились с Константином Сергеевичем на случай его ухода из Орши.

Алексеев поручил нескольким товарищам, временно остающимся в Орше, распространить разные версии о том, куда скрылся Заслонов. Хотелось проверить это и самому еще больше подлить масла в огонь.

Он оделся, как для поездки: сумку от противогаза перекинул через плечо, котелок, с которым, по примеру немцев, паровозники не расставались, привязал к сумке, «ТТ» положил за пазуху и пошел в депо.

О том, что Заслонов не явился на работу, уже все знали. Депо было в возбуждении. Говорили только о Заслонове. Судили и рядили на все лады.

— Должно быть, опять арестовали!

— Кабы арестовали, разве Штукель не знал бы, а то бегают все — и шеф, и этот сухопарый.

— Арестовали бы, если б нашли. Еще ночью пришли за ним к Соколовским, а его и след простыл. Ищи ветра в поле! — с явным сожалением, что гестапо так обмишурилось, сказал Мамай.

«Значит, дядя Костя хорошо сделал, что ушел вчера! — подумал Алексеев.— Надо и мне сматывать удочки!»

— Говорят, видели сегодня в угольном складе.

— Эсэсовцы все депо обыскали,— нет.

— А я слыхал: Заслонов испугался бомбежки и ушел в деревню,— заметил простодушный машинист Стурк.

«Ишь, черт, как близко берет!» — посмотрел на старика Алексеев. И, чтобы направить разговор на другое, сказал:

— Куда там идти! — Так избили человека — лежит больной.

— А где лежит? — живо обернулся к нему Мамай.

— Ты же мне скажи — где,— насмешливо посмотрел на него Алексеев.

Островский ответил за Алексеева:

— В Орше, а где же? Вчера не дошел до Соколовских.

— Говорили, он подался на Оршу-Западную.

В дверь заглянул Штукель — должно быть, подслушивал. Он быстро окинул всех своими кофейными глазами и, увидев Алексеева, строго сказал:

— Алексеев, через час поедешь в Борисов с порожняком!

— Я готов,— ответил Анатолий и пошел из комнаты, будто бы вслед за Штукелем, который юркнул в нарядческую.

Все, что произошло ночью, после ухода Заслонова, он уже знал. Оставаться дольше было не к чему и даже не безопасно.

Алексеев быстро вышел из депо.

— Через час в Борисов! Сука продажная! Как бы не так! — усмехнулся он, быстро шагая в Дрыбино.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Алексеев не стал заходить в Дрыбино. Он знал, что товарищи, вышедшие из Орши ранним утром, не будут дожидаться его, а вместе с Константином Сергеевичем уйдут подальше, в Грязино. Туда направился и он.

Сегодня он шел быстрее, чем обычно. Чуть стемнело, а он уже входил в Грязино.

Хата Шеремета была полна народа.

Первый, кого увидел Анатолий, был хромой Куприянович. Старый железнодорожник стоял посреди хаты с трубочкой в руке и, конечно, рассказывал что-то веселое, потому что все смеялись.

Увидев Алексеева, Куприянович круто на одном каблуке повернулся к нему.

— Гляди, у нас гостей — со всех волостей! — обвел он рукой вокруг.

Действительно, тут было несколько местных парней, давно записанных в отряд Заслонова, человек шесть окруженцев и все свои оршанцы. В красном углу на лавке рядом с лейтенантом Луневым, который был давно намечен в начальники штаба отряда, сидел Заслонов.

Голова у дяди Кости была повязана, но глаза смотрели бодро.

— Антон Куприянович, и ты с нами? — спросил Алексеев, сбрасывая у порога сумку и котелок с плеч.

— А то как же? Старый конь борозды не портит. Ты не гляди, что я хромой. Я, браток, тебя из любого болота выведу! Я охотник! Сцепщиком уже быть не могу, но партизаном — за милую душу!

Алексеев подошел, поздоровался с Константином Сергеевичем.

— Рассказывай! — усадил его рядом с собою Заслонов.

Анатолий рассказал последнюю оршанскую новость о том, что прошлой ночью из гестапо приходили к Соколовским за Константином Сергеевичем.

— Вовремя ушел!

— Да, на этот раз уже не выпустили бы! — сказал Заслонов.

— Что и говорить, заиграли бы дьяволы человека! — махнул рукой Куприянович.

— А теперь — близок локоть, да не укусишь!

— Заслонов еще поставит фашистам добрый заслон! — усмехаясь, неторопливо сказал Норонович.

Большое оживление вызвал рассказ Алексеева о том, как мечутся по депо шеф и Фрейтаг, как рыщет всюду, подслушивая и подсматривая, Штукель.

— Забегали!

— Еще не так забегают!

Потешались над тем, какие слухи пошли распространять об исчезновении Заслонова.

— Это хорошо! Через день еще прибавят. Наплетут не такого! — смеялся Заслонов.

Выставив посты, спать легли пораньше.

Ночь прошла спокойно.

Весь следующий день решили готовиться к уходу в лес: надо было осмотреть одежду и обувь, наладить снаряжение, почистить оружие.

Утром Заслонов подал хороший пример, стал бриться, сбрил усы и непривычную черную бороду. Снова открылся его волевой, с ямочкой посредине, характерный заслоновский подбородок. Константин Сергеевич сразу же помолодел. Шеремет достал у кого-то в деревне для Заслонова новую пограничную фуражку с

зеленым верхом, потому что кепка, которую носил Константин Сергеевич, была потрепана и стара.

— Вот теперь наш начальник — во всей форме! — одобрил Куприянович.

Заслонов вертел в руках обновку и о чем-то думал. Потом сказал улыбаясь:

— Вспомнилось, как однажды я ни за что загубил свою новую кепку.

— Подбросил, должно быть, вверх, а кто-либо ударил из ружья в лет и разбил? — спросил Куприянович.

— Нет, сам постарался. Можно рассказать в назидание потомству. Было это в Витебске в 1932 году. Жил я на квартире у будущей своей тещи Анны Захаровны Сапуновой. Собирался сделать предложение моей теперешней жене Раисе Алексеевне. Купил новую кепку. Помню — такая коричневая с большим козырьком. Хорошая кепка. Надумал сначала поговорить не с Раисой, а с ее мамашей, Анной Захаровной.

— Правильно: тещу задобрить — полдела свалить! — поддержал внимательно слушавший Куприянович, который любил рассказывать, но зато умел и слушать.

— Пошел я на квартиру, вижу — момент подходящий: старуха одна. Я и начал. Веду речь исподволь, издалека. То да се. Говорю и не вижу, что руки теребят кепку.

— Заволновался, стало быть.

— Да, волнения хватило: парню двадцать два года, студент, до этого никогда не сватался, поволнуешься... Вертел, вертел, наконец благополучно завершил дело — договорился, успокоился, глядь — а козырек-то у кепки начисто оторвал. И сама кепка мятая, будто ее корова жевала! .. — окончил Заслонов и, как всегда, первый же рассмеялся.— Помните, ребята,— обратился он к молодежи,— будете свататься, кепок зря не рвать!

После завтрака комиссар отряда Алексеев, прихватив с собою комсорга Женю Коренева, пошел беседовать с колхозной молодежью. Они разъясняли положение на фронте и в советском тылу.

А все остальные партизаны принялись чистить оружие. Деревенские мальчишки, со вчерашнего дня не отходившие от партизан, притащили по приказу Куприяновича целый ворох тряпок и пакли.

Они заодно принесли и все свои запасы оружия: гранаты, тесаки, патроны,— все, что собрали по дорогам и в лесу, когда через деревню проходил фронт.

Хата превратилась в оружейную. Всем заправлял Куприянович. Старый охотник показывал, как надо чистить винтовку. Мальчишки не уходили из хаты, жались по углам, готовые услужить партизанам — подать, принести что-либо. Приход заслоновцев был для них большим праздником.

Кое-кто из взрослых покрикивал на ребят: «Не лезьте под ноги!», «Уйдите прочь!» — но Заслонов заступился за них:

— Не гоните! Пусть присматриваются. Это наши самые надежные связные!

Хотя на обоих концах деревни были выставлены посты, но мальчишки бегали за околицу смотреть,— не идут ли, не едут ли.

И первые увидели:

— Мужик и баба идут!

К удивлению всех, это оказались муж и жена Птушки.

— Вот и Птушки прилетели! — пошутил Норонович.

Все обрадовались мастеру и его жене.

— Марья Павловна, как вы-то решились? — спросил Заслонов.

— А что же мне одной оставаться? Я пригожусь, Константин Сергеевич: одежду починю, постираю, сварю что-нибудь... Стрелять вот только не умею да и, по правде сказать, боюсь...

— Обойдетесь и без этого, — ответил Заслонов. — С вас, Марья Павловна, мы начнем нестроевой взвод.

2

Чуть рассвело, а Заслонов уже поднял партизан: «Довольно отдыхать, пора приниматься за работу!» Пора уходить на свою лесную базу, которую приготовили за два месяца Алексеев и Норонович.

Партизаны собирались на новые квартиры бодро.

Обоза у заслоновцев не было. Единственное имущество — котел для приготовления пищи — везла на детских саночках Марья Павловна. А провиант каждый партизан нес в заплечном мешке. Даже дядя Костя не

согласился, чтобы кто-либо нес вместо него то, что приходилось на каждого человека по раскладке.

Из деревни пошли гуськом — след в след.

Огородами спустились к лужку, а оттуда прямо в болото, приминая ногами маленькие кустики, чтобы оставлять поменьше следов.

Приказано было громко не разговаривать и не шуметь.

На базу добрались благополучно. Три землянки и небольшой склад припасов, которые приготовили Алексеев и Норонович, оказались в порядке.

Свежих человечьих следов на снегу не было, — базу никто не обнаружил.

Едва партизаны сбросили с плеч мешки, как дядя Костя приказал отряду выстроиться.

Заслонов еще раз объявил, что командовать отрядом будет он, начальником штаба назначается окруженец — лейтенант Лунев, а командиром разведки Алесь Шмель и что райком партии утвердил комиссаром отряда Анатолия Алексеева.

После этого Заслонов привел отряд к партизанской присяге.

Когда присяга была принята, дядя Костя сказал перед строем:

— Помните, мы — партизаны. Мы — помощники Красной Армии. Партия называет нас: «народные мстители». Мы должны быть достойными этого почетного имени! Мы должны оправдать доверие народа, доверие нашей Коммунистической партии! Некоторые из вас говорят: «Зачем нам уходить в лес, а из лесу разыскивать врага? Фашист сам придет». Это неверно. Если мы будем сидеть дома, фашисты нас раздавят: партизанский отряд — не армия. Наше преимущество, наша сила — во внезапности нападения. И знайте: на время партизаном быть нельзя. «Сегодня воюю, а завтра — живот болит». Партизан должен воевать, воевать и воевать до полной победы над фашистскими захватчиками!

Железнодорожники видели,— в отряде у дяди Кости, как в депо, будет порядок!

Стали устраиваться на новом, необычном месте.

Очутившись в глубине густого бора, в десятке километров от жилья, как будто бы в полной безопасности, молодежь громко заговорила. Кто-то раскатисто рас-

смеялся, кто-то полным голосом окликнул товарища, как на прогулке.

Куприянович сразу же налетел на них:

— Чего орешь? Не за грибами пришел сюда. Фрица накликать хочешь?

Громкие разговоры и песни пришлось оставить.

Заслонов решил на следующее же утро начать партизанские действия.

Он отправил на шоссе две группы по три человека, а сам с Нороновичем, хорошо знающим местность, собрался пойти заминировать железнодорожное полотно.

— Константин Сергеевич, возьмите и меня с собой! — подошел Женя Коренев.

— А ты зачем? Мы вдвоем с Василием Федоровичем управимся.

— Я ведь ваш адъютант...

— Ну, ладно,— улыбнулся дядя Костя,— пойдем!

На базе с партизанами остались комиссар Алексеев и начальник штаба Лунев, молчаливый, небольшого роста человек с громадными усами.

3

Заслонов, Норонович и Женя долго петляли по лесу, путали следы и наконец вышли к опушке.

Впереди сквозь кусты виднелась железная дорога. Пошли еще осторожнее.

И вдруг по лесу гулко прокатился гудок паровоза и стало слышно, как застучали колеса вагонов.

— Опоздали! — огорченно зашептал Женя.

— Эх ты! — усмехнулся Норонович.— Разве не слышишь? Идет в сторону Витебска. Порожняк. А нам нужно, чтобы шел на Смоленск, и чтобы — с начинкой!

Когда стук колес замер вдали, партизаны, крадучись, вышли на опушку. Глянули из-за кустов.

Железнодорожная линия лежала как на ладони, метрах в пятидесяти.

Дядя Костя хотел было шагать еще дальше, но Женя схватил его за рукав:

— Патруль!

Со стороны Орши медленно шел по полотну гитлеровец с автоматом на шее.

Партизаны притаились, замерли.

Томительно тянулись минуты, пока часовой дошел до поворота и скрылся. Выждали еще минуты две — может, фриц повернет назад. Но он не вернулся.

Проверили снова: кругом ни души.

— Оставайся здесь и смотри в оба! Если увидишь опасность, свистни! — приказал Жене Заслонов.

— Я закричу совой. Я умею,— ответил Женя.

Дядя Костя кивнул головой в знак согласия и, пригнувшись, побежал к насыпи.

Длинный Норонович, неуклюже ссутулившись, поспешил за ним.

Женя зорко смотрел в обе стороны, направо и налево.

Так хотелось бы видеть, как дядя Костя и Норонович закладывают мину! Но останавливаться на них взглядом можно было лишь на мгновение.

Копают землю.

На железнодорожном полотне — никого.

Вот уже подкопали под шпалой.

На железнодорожном полотне — никого.

Вот достают из-за пазухи тол.

На железнодорожном полотне — никого.

Со стороны Витебска доносится гудок паровоза.

«Идет. Успеют ли?»

Норонович, пригнувшись, бежит назад.

«Успели!»

А дядя Костя еще лежит на месте, старательно заглаживает разрытую насыпь.

Хочется крикнуть: «Пусть так! Хорошо! Не заметят!»

Грохот поезда с каждой секундой все слышнее.

— Скорее! Скорее!

В висках у Жени стучит.

Наконец дядя Костя спрыгивает с насыпи и бежит к ним. Он кивает Жене, и они трое бегут вперед, вправо. Ложатся в кустах и смотрят...

Ждут...

Поезд уже вынырнул из-за поворота.

Затормозит машинист или нет? Взорвется ли мина? Паровоз все ближе, ближе...

И вот раздается взрыв, грохот. Паровоз валится на-

бок, и все тонет в страшном треске, лязге, скрежете металла.

Вагоны наскакивают друг на друга, ломаются, летят под откос. В дыму и столбах пыли мелькают какие-то машины, танки!

Дело сделано!

Заслонов поднимается и бежит назад, в лес. Норонович следует за ним. Они пробежали несколько шагов.

— А где Женя? — обернулся Заслонов.

Его нигде не было. Что такое? Где же он? Прислушались.

Сзади раздавались вопли, крик людей. По лесу прокатились выстрелы. Фашисты всполошились.

— Не случилось ли с ним чего? — встревожился Константин Сергеевич.— Он пошел назад, к опушке.

В это время из-за кустов вынырнул Женя. Его лицо сияло.

— Чего ты задержался? — строго взглянул на него дядя Костя.

— Я хотел посмотреть, что было в эшелоне.

— Чего же смотреть! Танки и автомашины.

— Но как перековеркало все! В кашу! Хорошо! — ликовал Женя, шагая за товарищами.

4

Отряд понемногу осваивался в лесу. Люди привыкали к новому положению и необычайной обстановке.

Большинство партизан составляла молодежь, нетребовательная, легко переносящая всякие лишения.

Из стариков был только один Куприянович, но дед чувствовал себя здесь уверенно и свободно.

Старый охотник хорошо ориентировался в лесу, умел бесшумно передвигаться, знал много такого, о чем молодежь даже и не подозревала.

Петрусь Белодед стоял на посту. Было холодно, и он притопывал на одном месте в настывших сапогах.

Куприянович проходил мимо.

— Что, ноги зашлись?

— Ага.

— А травицы сухой положил в сапоги?

— Нет.

— Трава помогает. Так замерзнешь. Надо найти способ погреться.

— Кабы костерок...— заикнулся Петрусь.

— Что ты, что ты! — накинулся на него старик. — И не думай! Сумей без огня обойтись!

Старый охотник огляделся. В нескольких шагах под елкой высился большой муравейник, засыпанный снегом. Куприянович подошел к нему, разгреб муравейник ногой и сказал:

— Становись, парень, сюда: как на печке будешь! И ушел.

Петрусь, хотя и не очень доверчиво и смело, но все-таки полез в середину развороченной муравьиной кучи и был очень удивлен, что старик сказал правду.

В этот день заслоновцев навестил секретарь райкома Иван Тарасович Ларионов.

— С новосельем вас, товарищ Заслонов! — весело сказал он, крепко сжимая руку дяди Кости. — Дали копоти фашистам в Орше, теперь постарайтесь здесь...

— Приложим все усилия, товарищ Ларионов!

— Слыхали: гестапо назначило за вашу голову тридцать тысяч марок?

— Напрасен труд: нас миллионы. Всех не перебьют!

Партизаны окружили секретаря райкома.

День выдался теплый, и беседа прошла на открытом воздухе,— в землянке всем было бы не поместиться.

Ларионов рассказал последние новости с фронта, рассказал и о том, что́ происходит на «Большой земле»: как повсюду в оккупированных районах, народ идет в партизанские отряды. Напоследок он сказал:

— Только не думайте, товарищи, что партизаны — всё. Не думайте: «Если б нам пушки да танки, мы бы прогнали со своей земли фашистов!» Это неверно. Самое главное не мы, а Советская Армия. Без нее нам не победить фашистов!

После общей беседы секретарь райкома с Заслоновым, начальником штаба и комиссаром пошли в землянку поговорить о дальнейших планах.

— Товарищ Ларионов, как бы нам раздобыть рацию? — обратился комиссар.— Без нее мы как без рук.

— Постараюсь получить с «Большой земли». Всех

сразу не удовлетворишь. Партизанские отряды растут день ото дня!

— Какие задания райком ставит отряду на ближайшее время? — спросил Заслонов.

— Надо разгромить фашистские продовольственные склады в нашем районе. Оккупанты награбили у населения много хлеба. В селе Будрине лежит две тысячи тонн зерна. Да и в бывшем совхозе Межево тонны две найдется. Все это приготовлено для гитлеровской армии. Нужно сделать так, чтобы гитлеровцы не ели нашего хлеба!

— Сделаем! — уверенно ответил Заслонов.— Сначала, Иван Тарасович, я думаю покончить с мелочью — с Межевым.

— Хорошо. Не возражаю.

— С Межевым просто: там у нас есть свой человек — сторож Миша, двоюродный брат Марьи Павловны Птушки, — напомнил комиссар.

— Прекрасно.

— А что же делать с хлебом? — спросил Заслонов.— Раздать окрестным деревням?

— Конечно. Организуйте быструю раздачу.

— Это мы проделаем в одну ночь,— сказал комиссар.

— А склад в Будрине придется сжечь,— иного выхода нет! — продолжал секретарь райкома.— С Межевым расквитаться легко: в деревне, что против совхоза, стоит только полицейский пост в десять человек. А вот в Будрине — сложнее. Там на охране склада — целый гарнизон, сорок полицаев с четырьмя пулеметами. Склад обнесен колючей проволокой. И на вышке — часовой с пулеметом. Надо хорошенько обдумать, как сделать. В лоб ведь не возьмешь. Ну, да, впрочем, мне вас этому не учить,— улыбнулся секретарь райкома.

— Уничтожим! Враги нашим зерном не воспользуются! — сдвинул брови Заслонов.

— Вот это на ближайшее время... А там получим указания центра. Конечно, по-прежнему ведите наблюдения за фашистскими перевозками по железной дороге.

— Мы, Иван Тарасович, постараемся сократить эти перевозки! — улыбнулся Заслонов.

— Тем лучше! Начало уже положено,— я знаю. Итак, товарищи, укрепляйтесь, растите и держите с нами связь! Я буду рядом с вами, в отряде товарища Лойко, — закончил Ларионов поднимаясь.

5

Марья Павловна охотно отправилась в Межево к брату — выяснить обстановку и обо всем с ним договориться.

Она принесла оттуда самые точные и подробные сведения.

Директором в «земском хозяйстве», как оккупанты называли совхоз, служил бывший торговец из Орши.

Оружие у него, вероятно, есть, но вряд ли он окажет сопротивление. Муки в хозяйстве много. Полицейский пост, который стоит в соседней деревне, ночью никуда не показывает носа. Телефонной связи у директора с оккупантами нет.

Миша согласился помочь заслоновцам.

Условились, что партизаны нагрянут на Межево в субботу ночью и Мишу свяжут, чтобы гестапо не заподозрило его в пособничестве партизанам.

Отряд Заслонова выступил поздно вечером. Днем тщательно проверили все оружие — оба пулемета и оба автомата «ППШ».

Командир отряда лично осмотрел, как снаряжен каждый партизан, не звенит ли у него что-нибудь на ходу. Заслонов на всю жизнь запомнил, как осенью при переходе через линию фронта у его людей на ходу что-то звякало и бренчало.

Он велел вынуть из карманов все лишнее и проверить, чтобы не получилось так, как было у Нороновича: коробка от монпансье, в которой Василий Федорович держал махорку, лежала рядышком с зажигалкой.

Один из грязевицких парней простыл — надрывно кашлял. Заслонов оставил его вместе с Марьей Павловной и Куприяновичем на базе.

— Когда вдруг схватит кашель, суньте в рот кусочек хлеба, — посоветовал начальник штаба Лунев.

— Наш механик Куль не годился бы в партизаны,— заметил Пашкович.

— Почему? — спросил Белодед.

— Куль беспрерывно кашляет, разве забыл?

Иван Иванович Птушка повел отряд; здесь он знал каждый шаг.

Ночь была не совсем удобная — совершенно тихая. Но по дороге партизанам никто не встретился.

Когда они стали подходить к Межеву, где-то в стороне тявкнула чуткая собачонка.

Партизаны полукольцом охватили Межево. Пулеметчики и Иван Иванович залегли на дороге в засаде. (Птушка остался с пулеметом потому, что в Межеве все помнили его и знали, что он родня сторожу Мише.)

Заслонов с остальными побежал к амбару, конюшням и дому директора.

— Кто идет? — крикнул Миша, притворяясь испуганным.

— Молчи! Убью! Руки вверх! — кинулось к нему несколько партизан.

— Я Миша, товарищи, я свой! — шептал по-настоящему перепуганный сторож.

— Вяжи его.

Партизаны стали вязать Мишу.

— Не очень туго? — спросил Пашкович.

— Не, пусть так, а то еще не поверят! Хорошо!

Мишу положили у стены. В огромном кожухе и валенках, он лежал, как гора.

Заслонов с группой товарищей взбежал на крыльцо директорского дома. В дверь застучали кулаки, ноги, приклады винтовок!

— Отворяй!

В доме проснулись, что-то загремело, должно быть, упал опрокинутый впотьмах стул; и из-за двери срывающийся голос испуганно спросил:

— Кто там? Что надо?

— Отворяй! — строго сказал Заслонов.

Рука, открывавшая дверь, видимо, дрожала, никак не могла нащупать засов.

Дверь отворилась.

На пороге стоял полный лысый мужчина в валенках и накинутом на белье полушубке.

— Руки вверх!

На него наставились пистолеты и винтовки.

Отшатнувшись в сторону, директор поднял руки вверх.

— Кто в квартире? — спросил Заслонов.

— Ж-жена и т-теща...

— Вооруженных нет?

— Нет.

Вперед уже пробежали Алексеев и Женя.

Послышались испуганные женские голоса.

— Не бойтесь, вам ничего худого не сделаем! — сказал, входя в комнату, Заслонов.

В одной руке он держал «ТТ», в другой — электрический фонарик.

— Забирайте ключи от амбара и пойдем! — приказал он директору.

Директор дрожащими руками достал из костюма ключи и так, неодетый, с непокрытой головой, пошел с партизанами.

— Из дома никому не выходить! Иначе будет плохо! — приказал Заслонов, выходя последним.

Норонович и несколько партизан уже выводили из конюшни лошадей и запрягали в розвальни. Им помогал разбуженный конюх хозяйства. Он все приглядывался к партизанам, стараясь в свете зажженной «летучей мыши» разглядеть их.

— Ребята, откуда вы? Чьи вы? — попытался узнать он.

— Мамкины, — неласково ответил Пашкович.

— Вы из лыжного десанту! — понимающе сказал колхозник.

— Меньше говори, больше делай, борода! — прикрикнул на него Норонович.

Директор открыл амбар. Желудь взял «летучую мышь» и первым вошел в амбар, освещая закрома.

— Горох.

— Хорошо! А там что? — шел за ним Заслонов.

— Муки немного... — поспешил директор.

— Чего врешь — немного? Тут пудов пятьдесят! — поправил его Вася Желудь.

— Крупа есть? — спросил Заслонов.

— Есть, вот тут, — услужливо указал директор.

Он догадался-таки повязать лысину носовым платком и ходил, словно у него болели уши. Партизаны быстро, весело грузили мешки на розвальни.

— Товарищ полковник (Заслонов приказал всем звать себя так, чтобы запутать межевцев), здесь еще масло есть! — крикнул шаривший по всем закоулкам Желудь.

— Давай его сюда!

— И бидон с чем-то.

— Там творог, — заикнулся директор.

— Что, хотел скрыть? Фрицам припасал? — повернулся к нему Заслонов.

— Нет-нет, забыл, господин... това... полковник... Мне бы хоть маленькую расписочку, что взяли, а то не поверят, — взмолился, чуть не плача, директор.

Он протянул Заслонову блокнот и карандаш.

— Напиши! — кивнул Алексееву Заслонов.

Анатолий взял блокнот и при свете «летучей мыши» стал писать расписку.

— Взято пшеничной муки килограмм...

— Пятьсот... — подсказал директор.

— Это с усушкой и утруской? — усмехнулся Норонович.

— Клянусь совестью — пятьсот!

Партизаны потешались:

— Совесть!..

— Если будешь клясться своей совестью, ничего не напишем! — сказал Пашкович.

— Дальше! — нахмурился Заслонов.

Директор диктовал:

— Гороху шестьсот сорок килограммов, крупы пятьсот пятьдесят, еще бак творогу и сметаны.

Заслонов взял блокнот и расписался:

«Получил 10 марта 1942 года полковник дядя Костя».

Передал блокнот директору.

На дворе стоял целый обоз — восемь нагруженных добром подвод.

— А теперь все межевские — к директору! Возьмите и этого, а то еще до утра замерзнет тут, — указал За-

слонов на связанного Мишу. Партизаны со смехом поволокли Мишу в квартиру директора. Туда же повели и конюха.

— Погостите у директора!

— Пусть он вас чайком попотчует! — хохотали партизаны.

— Товарищ старший лейтенант, входы и выходы заминированы? — спросил Заслонов у Лунева, когда пришли в дом директора.

— Заминированы, товарищ полковник, — не моргнув глазом, ответил Лунев, хотя ничего минировать и не собирались.

— Минами «сюрприз»?

— Точно так!

— До шести часов утра сидеть здесь! Кто попробует вылезть раньше, взорвет и себя и всех! В шесть разминируем! — сказал директору Заслонов, уходя с партизанами.

Подводы тронулись из Межева. На последней сидели пулеметчики.

— Высидят ли они до шести утра? — спросил, смеясь, Лунев.

— Будут сидеть как миленькие! — ответил Заслонов.

К утру все гитлеровские запасы Межева были развезены по окрестным деревням.

6

У заслоновцев нашлось много работы.

Они ежедневно выходили на шоссе подкарауливать одиночные фашистские машины и жечь мосты. Громили полицейские и волостные управы и каждый день на каком-либо перегоне минировали железнодорожное полотно.

— Хоть одному фрицу голову сорвите! — напутствовал всегда Заслонов своих партизан, уходивших на задание.

И они твердо помнили этот завет.

После того как партизаны на линии Витебск — Орша пустили под откос несколько воинских эшелонов, оккупанты усилили охрану пути.

Тогда, чтобы усыпить их бдительность, дядя Костя приказал минерам временно перекинуться на линию Борисов — Орша.

Заслонова больше всего беспокоило задание райкома ликвидировать громадный склад зерна в Будрине.

Ларионов прислал к нему связного с просьбой ускорить операцию.

Райком получил сведения, что оккупанты хотят еще до весенней распутицы вывезти к железной дороге из Будрина все две тысячи тонн зерна. Потому надо было торопиться.

А тут, как назло, ночи стали ясные, лунные.

В весеннюю, темным-темную ночь, когда не видно в двух шагах, легко можно подкрасться к складу и бросить бутылку с зажигательной смесью. Пусть даже устроена вышка и на вышке торчит с пулеметом полицай.

Но занялись Межевым, а тут нагрянуло полнолуние.

Каждый партизан вообще с ненавистью смотрел на луну. Она всегда была его врагом, а здесь еще более пришлась некстати.

Командир отряда ходил сумрачный.

Штаб придумывал разные варианты уничтожения склада, но не мог придумать ничего подходящего.

Так прошло два дня.

На третий ранним утром Заслонов умывался у своей землянки, когда к нему подошел адъютант — Женя Коренев. Его голубые глаза глядели по-мальчишески озорно. Женя был чем-то возбужден.

Сзади за ним стоял молчаливый и обычно угрюмый Леня Вольский. Но и он сегодня казался более оживленным и веселым, чем всегда.

Дядя Костя сухо ответил на приветствие друзей и ждал, что последует дальше.

— Товарищ начальник! — начал официально Женя. Так называли дядю Костю рабочие в глаза. — Разрешите мне и товарищу Вольскому рассказать наш план.

— Какой план? — удивленно повернул к Жене намыленное лицо Заслонов.

— План уничтожения склада в Будрине, — выступил вперед Леня. Дядя Костя улыбнулся.

— А-а, старые поджигатели! — вспомнил он, как

друзья прекрасно подожгли фашистский гараж. — Что ж, давайте послушаем.

И, вытираясь на ходу, он шагнул в землянку.

Здесь были комиссар Алексеев, начальник штаба, Лунев, Норонович и дед Куприянович, который пришел поговорить и поспорить с Нороновичем. Язвительный Норонович, как всегда, в чем-то не соглашался с Куприяновичем, насмешливо улыбался.

— Товарищи, важная новость, — сказал Заслонов, входя в землянку. — Вот друзья пришли рассказать нам о своем плане поджога будринского склада...

— Послушаем, — пододвинулся к столу Алексеев.

Комиссар вставал рано и был уже одет и умыт.

Начальник штаба натягивал сапог.

— Я сейчас... Уже готов! — стукнул он последний раз в пол каблуком.

Норонович сидел с краю стола, недоверчиво сощурив глаза. Ждал рассказа.

Непоседливый, хоть и хромой, дед Куприянович топал на месте. Новость его заинтересовала.

— Теперь я понимаю, почему они, — кивнул Куприянович на друзей, — с вечера до самой зари шепчутся в землянке и не дают другим спать. Уж я на них и покрикивал, признаться: «Спите, вы, полуночники!»

Заслонов высунулся из землянки.

— Горохов! — окликнул он партизана-окруженца, который пристроился на пеньке брить двух товарищей. — Скажи, чтоб ко мне никто не входил! Ну, рассказывайте, орлы! — сел дядя Костя на лавку.

Женя подошел к столу, сбитому из досок, и на его сосновой столешнице стал рисовать карандашом план села Будрина:

— Вот лес. Он подходит почти к гумнам крайних дворов. С краю села — склад. Бывшее «Заготзерно» или «Заготсено». Проволочный забор на столбах. Вышка, где часовой с пулеметом. Она устроена со стороны поля. Рядом со складом, шагах в тридцати, пепелище сожженной хаты. Двор спалили. Заборы разобрали на дрова. Против пепелища — через улицу — большой дом. Бывшая семилетка, казарма полицаев.

Женя на секунду остановился, собираясь с мыслями.

— Это все мы и без вас знаем, — беззлобно сощурился Норонович.

— Так это еще не план, не план, а только, как бы сказать, обстановка, — подскочил с несвойственной ему живостью Леня.

— Погодите, товарищи! Не мешайте! — остановил их дядя Костя, внимательно слушавший Женю. — А ну, дальше!..

Женя сдвинул на затылок кепку, отчего стал виден непокорный белокурый завиток на его лбу, и продолжал:

— План наш такой: главное — отвлечь внимание часового от леса. Сделать так, чтобы он не смотрел на огороды, а только на дорогу, то есть в противоположную сторону. Чуть он отвлечется, тогда — не зевать: подскочить к забору, бросить бутылку с зажигательной смесью — и наутек по канаве, к лесу. Проволока на столбах натянута только кругом, без поперечных рядов. Немного раздвинуть — и бросать. — Женя показал, как надо бросить бутылку.

— Все это хорошо, но нет главного: чем вы отвлечете часового? — спросил комиссар.

— Мы придумали! — быстро сказал Леня.

— Погоди, я скажу, — остановил друга Женя. — Мы придумали. В условленный час Леня, — кивнул он на Вольского, — медленно выедет из леса по дороге к Будрину. Часовой не может его не увидеть. Насторожится: кто это среди глухой ночи едет? Будет смотреть...

— А на чем Леня поедет? — спросил дед Куприянович.

— На лошади.

— На какой?

— На одной из тех, что мы взяли в Межеве.

— Так я и дам вам коня, чтобы пропал! — возмутился дед, который заведовал хозяйством.

— Конь не пропадет! Я ж его не брошу! — живо ответил Леня.

— Постой, Антон Куприянович, пусть доскажут, а там видно будет, давать им коня или нет, — улыбнулся Заслонов. — Ну, Леня поедет на лошади. А как — верхом?

— Нет. Запряжем в розвальни. На розвальни навалим хворосту, чтобы воз был побольше, пострашнее.

— И куда же он поедет?

— Поедет медленно от кустарников по направлению к селу. Дорога там прямая, часовой издали заприметит. Будет ждать Леню, когда он подъедет ближе. А я из канавы увижу, когда полицай обернется. Как только он станет смотреть на дорогу, так я к забору — и будь здоров!

— Ну, часовой может вдруг посмотреть и назад, — возразил начальник штаба.

— Может, товарищ Лунев. А что из этого выйдет? С вышки же он не побежит. А если ударит в рельсу — она висит на столбе, — я кинусь назад, а Леня тоже умчится в лес. Только и всего. Риску никакого.

— Положим, риск есть. Особенно для тебя. Ведь в случае тревоги придется отступать к лесу.

— Дядя Костя, а наши пулеметы зачем? Вы поможете мне отойти.

— Мне предложение ребят нравится! — одобрил дядя Костя. — Как, товарищи?

— При благоприятном стечении обстоятельств дело может выйти! — заметил начальник штаба.

— Принять их план, как говорится, за основу, — поддержал комиссар.

— А дед коня даст? — пошутил Норонович.

— Почему не дать? Дам, — ответил Куприянович. — А без риска в партизаны и ходить не надо.

Штаб решил не откладывать дела в долгий ящик и в эту же ночь провести операцию.

Стали готовиться.

Заслонов обдумал и разобрал все детали.

Жене придется ползти минут сорок пять в халате. А где же будут бутылки с зажигательной смесью?

Лунев сказал:

— В таких случаях, когда разведчик имеет груз, удобнее всего переползать на боку.

— Э, на боку очень заметно! Ночь чересчур светлая, — возразил Заслонов.

Нашли выход: пришить на спине халата специальный карман для бутылок.

Настала ночь.

Морозило. Дул небольшой ветерок. Луна светила ярко, но, к счастью, по небу ползли рваные облачка, они на минуту закрывали луну.

Отряд выступил с вечера. Идти было удобно, почти

без следов: наст хорошо держал человека, лишь кое-где проваливалась нога.

Заслонов шел с Женей. Он внешне был спокоен, но волновался за своего любимца.

— Смотри не торопись! Действуй осмотрительно и осторожно. Если увидишь, что дело не выйдет, не лезь на рожон. Лучше отходи.

— А вы сами разве отошли бы? — посмотрел, улыбнувшись, Женя. — Опасность у нас всегда на каждом шагу. Если что — живым не дамся!

Женя не хотел признаваться, но сегодня его била лихорадка, как перед трудным экзаменом.

Подошли к рубежу. Лес был хвойный, укрыться и замаскироваться было легко.

Заслонов отдал приказ — занять оборону, расположить пулеметы. Пулеметы смотрели прямо в окна казармы, в которой еще горел свет.

— Скоро ли потушат? — беспокоился Женя.

Леня должен был выехать из кустарника с возом хвороста ровно в два часа ночи.

На всякий случай его сопровождал Алесь с пятью разведчиками.

Кроме того, было условлено, что в случае какой-либо отмены Заслонов пустит для Лени зеленую ракету.

— Ветер от села — это хорошо! — шепнул Жене дядя Костя.

Медленно тянулось время.

Склад, обнесенный проволокой, похожий на громадную мышеловку, был как на ладони. Рядом с двумя большими амбарами высились стога сена.

«Сено — это великолепно: горючего больше!» — подумал Женя.

Ясно различались вышка и силуэт полицая. Блестело дуло пулемета, глядевшее на дорогу, откуда должен был показаться Леня.

— Дядя Костя, я поползу. Уже час десять, — шепнул командиру Женя.

— В окнах еще огонь...

— Пока доползу, потушат!

Дядя Костя ничего не сказал, — молча прижал к себе Женю.

Коренев лег и пополз по-пластунски на лужок, отделяющий лес от гумен.

Волнение у него сразу же улеглось, исчезло.

Он полз, стараясь применяться к местности, укрываясь за кочками, кустиками.

Свет в окнах казармы, который больше всего беспокоил Женю, погас. Он ждал только того, чтобы доползти до канавы, которая шла по огородам, между двумя дворами: там безопаснее.

Женя знал, что десятки глаз с тревогой смотрят на него, стараются различить его на снегу, а два «максима» охраняют каждый шаг. Но помнил он и о том, что два вражеских глаза глядят с вышки.

Село спало. Не было слышно ни собаки, ни петуха: всех прикончили оккупанты.

Женя не хотел особенно вглядываться в полицая на вышке: ему казалось, что полицай поймает этот взгляд.

Фигура часового и ствол пулемета четко вырисовывались на фоне ночного неба.

И вдруг потемнело — облачко закрыло луну.

Женя воспользовался небольшим затемнением, пополз быстрее. Стало жарко.

«Скорее бы канава, скорей!»

Вот и она. А облачко еще держится одним краем за луну.

В канаве Женя почувствовал себя более уверенно. Пополз дальше. Продвинулся вперед, пока через канаву не легла тень трубы сгоревшего дома, которая торчала на огороде, как чья-то длинная шея.

Остановился. Замер. Прислушался.

Часовой на вышке что-то мурлыкал про себя, потом громко высморкался.

Женя осторожно высунулся из канавы, оттянул рукав и посмотрел на ручные часы: без трех минут два.

«Чуть не опоздал!»

Проклятый полицай вертелся на вышке во все стороны, видимо, согреваясь. Женя терпеливо ждал. Заныли от неудобного положения руки, стал пробирать холод.

Но вот часовой остановился на месте, повернул голову на дорогу.

«Леня выехал!»

Терять времени было нельзя.

Женя встал и, пригнувшись, побежал к складам.

«Только бы добежать до забора!» — была одна мысль.

Часовой, видимо, услыхал его шаги, повернулся назад, испуганно крикнул:

— Кто там?

Слышно было, как он поворотил пулемет.

«Не торопись! Действуй хладнокровно!» — думал Женя, отстегивая пуговицы кармана, где лежали бутылки, но замерзшие пальцы не слушались его.

Не секунда, а целая вечность!

Но вот бутылки в руках. Ряды проволоки оказались реже, чем говорили разведчики.

Женя левой рукой немного приподнял верхнюю проволоку, размахнулся и с силой бросил бутылку в стену сарая.

Раздался сильный треск, вспыхнуло яркое пламя и резво потекло по сухой стене.

Он бросил вслед первой другую бутылку.

Пламя взметнулось еще выше.

Женя, пригнувшись, бросился к пожарищу. Зацепился за что-то и упал. Упал вовремя: вслед ему с вышки посыпалась пулеметная очередь.

Но стрелять полицаю долго не пришлось — по вышке сразу ударили оба партизанских пулемета.

Кроме того, Женю заслонила стена дыма и огня. Он вскочил и бросился в канаву.

С вышки больше не стреляли. Только в казарме послышался шум и крики. Но партизанские пулеметы уже перенесли свой огонь на четыре окна казармы, обращенные к дороге. Зазвенели, посыпавшись, стекла.

От пожара и луны стало светло, как днем. Три огромных склада и стога сена горели, как свечи.

Женя добежал до леса. Чьи-то руки подхватили его.

Женя поднял голову, — это был дядя Костя.

— Ты ранен? — встревожился командир. — На лице кровь.

Женя провел пальцами по лбу и щекам.

— Это я, дядя Костя, о проволоку, когда бросал бутылки...

— А Леня уехал?

— Унесся!

— Отходить! Довольно зря терять патроны! — крикнул Заслонов.

Пулеметы смолкли. Партизаны стали поспешно

отходить: каждую минуту можно было ждать, что из ближайших немецких гарнизонов примчится помощь.

— Пусть теперь полицаи греют руки! — усмехнулся, уходя, Норонович.

7

Заслонов собирал силы.

Весь март ушел на пополнение и укрепление отряда.

Походив по деревням, заслоновцы увидали, какой любовью к Родине и ненавистью к фашистским захватчикам горит советский народ. Грабежи и насилия, виселицы и тюрьмы, угон молодежи в рабство в Германию — все это звало к борьбе, к сопротивлению наглому врагу.

Народ поднимался. Сопротивление росло и крепло день ото дня. Из-под Витебска, Лепеля, Рудни — отовсюду шла молва о партизанских отрядах.

По рассказам местных колхозников, в лесах ближайших районов уже действовали отдельные, не связаные между собою группы народных мстителей.

Там партизанами командовал какой-то «лейтенант с усиками», в другом месте — колхозник Денис, в третьем — районный киномеханик.

Секретарь райкома Ларионов предложил Заслонову объединить все эти партизанские группы под своей командой.

Заслонов собирал окруженцев, осевших в ближайших сельсоветах. Окруженцы, люди, служившие в армии, знающие теорию и практику военного дела, были весьма нужны Заслонову. С теми, кто жил поближе, он говорил непосредственно, а жившим в более далеких деревнях посылал письма:

«Вы, как настоящий патриот Страны Советов, постарайтесь связаться с нами. Вас агитировать не следует, так как Вы политически грамотный товарищ и понимаете, что нашего строя никому не свергнуть. Наш строй нами же установлен. Немца мы с мечом и огнем, танками и самолетами к себе не звали, он сам пришел. Так пусть же он и знает, что от тех же средств и погибнет, которыми нарушил наш покой».

В марте фашисты объявили регистрацию окруженцев. Некоторые из них поддались на эту удочку — явились регистрироваться, и их сразу же посадили в лагерь за решетку, но большинство, не мешкая, ушло в лес.

Отряд Заслонова рос.

Слух об отряде дяди Кости уже катился по Оршанскому, Сенненскому, Богушевскому районам.

Стояли теплые весенние дни. В канавах, не смолкая ни на минуту, шумела вода. Над оттаявшими, влажночерными полями звенела ликующая песня жаворонка. Снег небольшими пятнами белел кое-где в кустах и лощинах. Проселочную дорогу окончательно развезло — ни пройти, ни проехать.

Женя Коренев и Леня Вольский шли в деревню Залужье к своему связному Остапу Крупене, бывшему колхозному бригадиру, за новыми данными о фашистских гарнизонах в Сенно, Смольянах и Богушевске.

Вся семья Крупени — жена, семнадцатилетняя дочь Галя и двенадцатилетний Юрка — помогала партизанам.

Немцы в Залужье не стояли. Но все портил староста: он недолюбливал Остапа, чувствуя в нем врага.

Женя и Леня только к ночи едва дотащились по грязи до Залужья. Хата Крупени стояла на краю деревни.

Партизан здесь уже ждали: глиняный черепок, висевший на заборе, — условный знак — показывал, что в хату можно входить смело.

Узнав у Крупени все новости, партизаны хотели было пускаться в обратный путь, но хозяева уговорили их остаться переночевать.

— Переночуйте, отдохните, — куда там идти! — убеждала хозяйка.

— Ночью по такой дороге какая ходьба! Только ботинки совсем разобьете да измучитесь понапрасну, — резонно говорил Остап.

Отправляя их на разведку, дядя Костя не ставил условия обязательно к утру вернуться назад, — слишком тяжела была дорога по непролазной грязи.

И друзья заночевали.

Так приятно было лечь спать, хотя и не раздеваясь, но лечь на сено, а не на колючие еловые ветки! Так приятно чувствовать под головою не слежалый, пахну-

щий плесенью, жесткий ком старой соломы, а настоящую мягкую подушку!

Проснулись разведчики с солнцем. Их разбудил горластый хозяйский петух, каким-то чудом уцелевший от прожорливых фрицев.

Женя и Леня встали бодрые, полные сил и пошли умываться.

Хозяйка усадила их за стол подкрепиться на дорогу.

Друзья кончали завтракать, когда в хату вбежал перепуганный Юрка, которого отец послал узнать, что слыхать на другом конце деревни.

— Староста идет с двумя солдатами! Уже около Сымонихи! — залепетал испуганный Юрка.

Женя и Леня выскочили из-за стола, невольно хватаясь за пистолеты и гранаты.

— Товарищи, погодите! — кинулся хозяин.

Он открыл дверцу в подполье, которое было устроено сбоку у печки.

— Лезьте сюда!

Раздумывать было некогда: отбиваться от фрицев — значит, провалить своего связного. Женя и Леня прыгнули в темную яму, где лежала картошка и другие овощи. Дверца захлопнулась над их головой.

— Попались! — плюнул с досады Леня.

— Ти-ише! — зашептал Женя.

В это время по полу что-то протащили, и над их головами какая-то вещь мягко стукнула о дверцу. В подполье стало еще темнее, закрылись последние узенькие щелочки света, а голоса наверху звучали еще приглушеннее.

«Опрокинули мешок с зерном, закрыли подполье», — сообразил Женя.

Вслед за этим раздались шаги и послышались голоса.

Пришли!

Они стали прислушиватся к тому, что происходит наверху.

— Ну, хозяин, подавай самогону! — глухо донесся чей-то низкий голос.

«Наверно, староста», — подумал Женя.

— Откуда у меня самогон? — спокойно ответил Крупеня.

— Давай по-хорошему, а то искать начнем, хуже будет!

«Сейчас все перероют. Обнаружат нас. Придется рубануть их», — подумал Женя.

— Ищите, — ответил равнодушно Крупеня.

— Какой у нас самогон? — волнуясь, заговорила хозяйка.

Ее голос слышался отчетливее всех, — видимо, она сидела возле мешка.

— Вот что выдумали: «самогону»! Мы же не гнали!

— Не хотите угостить, сами найдем! — сказал тот же низкий голос.

И по хате заходили. Слышно было, как открывали шкафчик, как лазили на печь.

«Сейчас, сейчас...»

Что-то лопотали солдаты. Женя уловил только одно:

— Шнапс, шнапс!

Рука крепко сжала пистолет.

Крупеня отвечал все тем же бесстрастным тоном.

Потом все вышли — очевидно направились шарить в чулане и на чердаке.

Голоса на некоторое время затихли.

Но вот опять над головой затопали шаги — непрошеные гости вернулись в хату.

— У тебя самогонка бывала! — сказал низкий голос.

— А теперь нет.

— Когда была, мы в хате не держали, — вдруг прозвенел тоненький голосок Юрки.

— А где?

— На гумне, в стогу.

— А ну, веди, посмотрим, не осталось ли там чего!

И опять наверху настала тишина.

«Молодец Юрка: догадался увести проклятых!»

Женя провел рукою по вспотевшему лбу, шее. Впервые схватился: кепка-то осталась на лавке.

И вдруг над головой зашуршало, дверца поднялась, сверху посыпалось какое-то зерно, и друзья увидали бледное от испуга лицо хозяйки:

— Пошли на гумно. Лезьте скорее на чердак, — там уже смотрели!

Женя и Леня одним махом выскочили наверх, кинулись на чердак. В сенях, у маленького оконца, сторожила Галя, — она смотрела на гумно. Женя глянул

из-за ее плеча. У небольшого стога сена стояли Юрка, отец, староста и два солдата. Фашисты ретиво кололи сено штыками.

Женя взобрался за Леней по лестнице на чердак. Тут было не то, что в тесном подполье, — есть где развернуться. Возле длинной печной трубы стояли прялки, разобранные кросна. На веревке висели сухие, прошлогодние веники.

Друзья легли на песок потолочного настила за лежак трубы, как за бруствер, и приготовились к бою.

С улицы донесся плач Юрки.

— Говори, щенок, где? — кричал все тот же низкий голос.

— Я же сказал, что нет.

— А где?

— Нигде у нас нет!

«Вот подлюга, паренька трясет!» — стиснул зубы Леня.

Голоса стали приближаться к дому. Еще раз подошли к хате. Солдаты что-то недовольно говорили, но уже уходили прочь.

Бедный Юрка продолжал всхлипывать.

— Товарищи, где вы?

На лестнице показалась голова Крупени.

— Мы тут, — встали друзья.

— Ушли проклятые! Слезайте, будем кончать завтракать. Есть еще клецки с салом!

— Да ну их! — махнул рукой Вольский.

Когда спустились вниз, Женя обнял заплаканного, но сияющего Юрку.

— Молодец, Юрка! Сообразил!

— Откуда они взяли, что у нас самогон? — спросила Галя.

— Пьяницы. По всей деревне ищут, — ответил отец.

— У тебя же была одна бутылка, — почему ты им сразу не отдал, чертям этим? —сказала Остапу жена.

— Хватит им и сала, что взяли. Килограммов пять было. А самогонка есть, я бы ее отдал,— пропади они с ней вместе! — да бутылка стоит вот где! — топнул ногой по дверцам подполья Остап. — В углу за кадкой! ..

— Как они наших шапок не увидали?—спросил Вольский.

— У Жени кепка — ее прятать не надо, а на вашей железнодорожной я сидела, — покраснела Галя и, смеясь, протянула Лене порядком измятую фуражку.

— Э, ничего, — она всякое видала! — ответил Леня.

К вечеру друзья благополучно вернулись в отряд.

8

Заслоновцы уже обстрелялись в мелких повседневных стычках с фашистами и приобрели кое-какой боевой опыт.

Дядя Костя решил, что настало время провести более значительную операцию.

Хотелось померяться силами с хорошо вооруженным военным гарнизоном, а не разрозненными группами фрицев или отрядами полицейских.

— А то получается, что мы бьем полицаев да отдельных офицеров. Совсем как в фашистской считалке: «Айн-цвай — полицай, драй-фир — официр!» — шутил Константин Сергеевич.

Штаб остановил свой выбор на гарнизоне, охранявшем железнодорожный мост на пятьдесят втором километре линии Витебск — Орша.

Разведчики Алеся собрали о нем точные данные.

Гарнизон насчитывал тридцать фашистов с двумя станковыми пулеметами и одним минометом.

Мост с обеих сторон защищали дзоты. Земляные откосы были опутаны несколькими рядами колючей проволоки, на которую фрицы навесили пустых консервных банок и жестянок. При малейшем прикосновении к проволоке вся эта «посуда» поднимала неистовый трезвон.

На правом берегу реки, под откосом, стояла казарма гарнизона. От нее вверх на мост вела длинная деревянная лестница.

Заслонов подробно и точно разработал план атаки и познакомил с ним всех своих бойцов.

Прежде всего партизаны прерывают связь с ближайшими станциями: Богушевской — с одной стороны и Стайками — с другой стороны.

И хотя фашистские поезда уже избегали ходить

ночью, но, на всякий случай, партизаны минировали с обеих сторон железнодорожное полотно.

Затем десять партизан с одним пулеметом под командой Нороновича занимают опушку леса на левом берегу, против казармы гарнизона. Оттуда можно будет держать под пулеметным обстрелом лестницу, ведущую от казармы на мост.

Когда главные силы Заслонова начнут обстреливать мост, фашисты поспешат из казармы по лестнице на помощь караулу. Тут Норонович и преградит им дорогу пулеметным огнем.

Фашистский миномет, конечно, станет нащупывать пулемет Нороновича, и тогда Заслонов должен взбежать с остальными партизанами на мост и забросать миномет и дзоты гранатами.

В день, назначенный для атаки, партизанская разведка вела наблюдение за мостом с утра.

К своему исходному рубежу ушел заранее Норонович. Главные силы со вторым пулеметом выступили под вечер.

В лагере осталось четверо: Марья Павловна, двое больных партизан и дед Куприянович, которого дядя Костя назначил комендантом лагеря.

Уже было темно, когда группа со всеми предосторожностями подошла к мосту и расположилась справа от него.

Вечер был теплый. Где-то мирно квакали лягушки. Звенели и немилосердно жалили комары.

Заслонов волновался, как тогда, когда впервые взялся деповскими силами производить сложный подъемочный ремонт громадного «ФД».

Как-то будут держать себя в открытом бою его железнодорожники?

Он наблюдал за товарищами. Деповцы внешне были спокойны.

В двадцать два часа фашистский патруль, хотя и не так беспечно, как проходил месяц тому назад, но все-таки не чуя опасности, прошагал по полотну к мосту, возвращаясь с обхода.

В двадцать два часа двадцать минут обе подрывные группы должны были с двух сторон заминировать железную дорогу и порвать фашистскую связь.

В двадцать два часа тридцать минут начиналась атака.

Минутная стрелка дошла до шести.

Заслонов дал знак.

Партизаны начали перебегать от опушки к колючей проволоке и встали, скрытые насыпью. Затем на полотно полезли Коля Домарацкий и Леня Вольский. Они первые открыли стрельбу по часовым на мосту. Заслонов не успел оглянуться, как мимо него наверх проскользнул Женя, — он не мог отстать от друзей.

Тишину апрельского вечера разорвали выстрелы.

На мосту поднялся переполох. Ударили в рельс — часовые били тревогу. И тотчас же заговорил фашистский пулемет: он бил по трем партизанам, укрывавшимся за рельсами.

В ответ на это с противоположного берега застрочил пулемет Нороновича. Видимо, гарнизон попытался бежать наверх, на выручку своим.

Фашистский миномет тоже вступил в дело — открыл огонь по группе Нороновича. Мины с воем неслись в лес.

Фрицы были введены в заблуждение: теперь они думали, что главные силы партизан наступают со стороны Богушевска.

— Пулемет наверх! — скомандовал Заслонов.

Пулеметчики вымахнули с пулеметом на насыпь и ударили по минометчикам с тыла.

Миномет смолк. Огрызался только пулемет.

Партизаны бросились вперед: «Ура-а!»

Заслонов узнал голос Жени, — адъютант был впереди.

Дядя Костя побежал вместе со всеми.

Фашистские пули свистели вокруг.

В дзот полетели гранаты, — он замолчал.

Пулеметный расчет второго дзота, который был обращен в сторону Богушевска, сам прекратил стрельбу, — фашисты кинулись наутек.

Гарнизону некуда было деваться. Проволочное заграждение, спускавшееся до самой реки, отрезало им дорогу.

Партизаны расстреливали фашистов сверху. Казарма горела.

Взвод Нороновича был уже на мосту. Партизаны собирали трофеи и минировали мост.

Гарнизон был истреблен.

Заслоновцы стали поспешно отходить, — мост должен был вот-вот рухнуть.

Дядя Костя прыгал с насыпи последним.

Вслед раздался сильный взрыв: вверх полетели доски, камни. Мост рухнул.

Партизаны Заслонова выдержали с честью первый бой с гитлеровской регулярной частью.

9

Однажды утром к заслоновским постам прибежал связной Петька, мальчик из деревни, расположенной у самой железной дороги.

— Мне надо к дяде Косте! — запыхавшись, выпалил он.

Петьку привели к Заслонову.

— Дядя Костя, из Богушевска приехали на машинах. Будут прочесывать лес.

— Много приехало? — спросил Заслонов.

— Много-много. Полная деревня. Будут прочесывать.

— Так, так. Прочесывать, говоришь? — машинально переспросил Заслонов, думая о чем-то своем. — Ну, молодец, Петрусь, спасибо! Беги, брат, домой! — хлопнул он по плечу расторопного паренька.

— Придется отойти? — вопросительно посмотрел на Заслонова Лунев.

— Это первая атака фашистов — и сразу отходить? — Черные брови Заслонова совсем сошлись у переносья. — Не резон! Запомните, товарищи: без боя не будем отдавать н и о д н о г о пункта! Пусть фашисты боятся нас, а не мы их! Подводы с припасами немедленно отправить в сторону Сенно. В Куповатский лес. Где Куриянович? Пускай дед командует обозом! А мы будем гостеприимными, — встретим гостей у порога!

Разведка тотчас же поспешила навстречу врагу. Сзади за нею цепью двинулись партизаны.

В лагере остался с обозниками Куприянович. Дед неторопливо, по-хозяйски укладывал партизанские пожитки, собираясь в дорогу.

Когда Заслонов, уходя, оглянулся, он увидел, как

Марья Паловна Птушка, покраснев от натуги, тащила к подводам большой чугунный котел.

План Заслонова был такой: партизаны встречают фашистов в двух километрах от своей базы — у лесной прогалины. Завязывают с ними перестрелку, задерживают их, чем дают возможность Куприяновичу уехать подальше. Потом, с боем, медленно отходят к лагерю. Хотя партизан вдвое, а может быть, и втрое, меньше, чем фрицев, но на их стороне преимущество: здесь знакома буквально каждая тропинка, каждый кустик, а оккупантам все внове.

Подходя к партизанскому лагерю, они невольно на какое-то время должны будут задержаться. В этот момент заслоновцам надо оторваться от врага.

Все пулеметы Заслонов сосредоточил на своем левом фланге, потому что справа партизан защищало болото.

Заслонов шел с пистолетом в руке. Старая ватная куртка была распахнута, пограничная фуражка сдвинута на затылок.

Подошли к прогалине. Залегли.

Вскоре вернулась разведка. Алесь доложил командиру:

— Идут!

Но уже и без доклада было ясно, что фашисты близко: в лесу стоял шум и треск, слышались голоса фрицев, запели одиночные пули. Фашисты, не видя врага, палили в белый свет, как в копеечку.

Они довольно беззаботно высыпали на прогалину, и в ту же минуту заслоновцы ударили по ним из автоматов и винтовок. Несколько солдат упало. Фашисты отхлынули назад и залегли.

И тотчас же, словно заикаясь, но все-таки быстро-быстро залопотал пулемет. Началась перестрелка.

Фашисты засыпали пулями. Весенний лес дрожал от выстрелов.

Партизаны стреляли реже, — приходилось беречь патроны.

Заслонов стоял за вывороченным корневищем громадной сосны. Женя Коренев лежал неподалеку за толстым пнем. Он неторопливо стрелял, старательно прицеливаясь.

Однажды, перезаряжая винтовку, Женя мельком взглянул на дядю Костю. Заслонов увидал: лицо у Жени

было возбужденное, голубые глаза глядели весело, без страха.

«Молодец, не робеет!» — подумал Константин Сергеевич.

Перестрелка продолжалась около часу. Куприяновича с его мешками и горшками, конечно, давно уже и след простыл.

Фашисты попытались обойти левый фланг Заслонова, на котором был комиссар, но партизанские пулеметы отбили их.

Наконец Заслонов приказал отходить — нечего было зря терять патроны. Партизаны, отстреливаясь, отходили.

Вот и знакомые, обжитые шалаши, мятая, истертая солома, ломаные розвальни, потухший костер.

Пока фашисты палили по пустым шалашам, покрытым побуревшей хвоей несмело приближались к ним, ожидая засады, заслоновцы быстро оторвались от врага.

Пройдя километра три, Заслонов остановил отряд и подсчитал свои потери в первой стычке: легко ранеными оказались два окруженца да без вести пропал машинист 3-го класса Дролев.

10

Под вечер отряд Заслонова подошел к условленному месту — Великому Селу.

Не доходя до деревни, заслоновцы встретили Марью Павловну. Она сама попросилась у Куприяновича выйти навстречу отряду. Марья Павловна очень беспокоилась за мужа. Иван Иванович никогда не держал в руках ружья: в армии не служил, охотником не был; а тут нáте — пошел в бой! Увидев мужа живым и невредимым, Марья Павловна расцвела.

— Немцев ближе Смолян нет. Мы стоим туда дальше, в лесочке, вон там, возле Рая, — говорила она Заслонову.

— Только возле Рая? А мы поведем вас в самый Рай, — пошутил Заслонов.

Отряд, минуя деревни Великое Село и Рай, вошел в большой Куповатский лес и расположился в нем. Дорог в лесу не было. Только на противоположной его

стороне через деревни Утрилово — Куповать — Кузьмино проходила проселочная.

Эту ночь отряд провел под открытым небом. Ночь была теплая, ароматная. Заслонов устал за день, но как-то не мог уснуть. Он с комиссаром устроился под громадной елкой. Алексеев лежал тихо, должно быть, уснул. Заслонов ворочался, глядел в чистое, звездное небо, слушал, как где-то протодьяконскими октавами стонут жабы. Комары не давали покоя. Константин Сергеевич не курил, прогнать их было нечем — только отбиваться, а идти к костру не хотелось. У костра сидел по-стариковски мало спавший Куприянович. Он напевал свою любимую «беду» — неизвестно кем и когда сложенные вирши, напевал тоненьким комариным голоском:

Ах ты, беда-неволюшка,
Несчастная ты долюшка...

Если подойти к нему, придется говорить не о том, что мучает, неотвязно стоит в мозгу целый вечер.

Заслонов поднялся и сел, отбиваясь от комаров.

Вдруг комиссар повернулся к нему и спросил:

— А что, если он, подлец, просто убежал?

— Я и сам об этом думаю, — ответил Заслонов, поняв, что и Анатолия преследует та же мысль.

Оказывается, комиссар тоже не спал, но не хотел тревожить дядю Костю, думая, что тот спит.

Весь вечер их обоих беспокоила мысль об исчезновении Дролева. Заслонов подробно расспросил всех, кто был рядом с Дролевым во время боя. Выяснилось, что рядом с ним шел Петрусь Белодед. Они были на правом фланге, у самого болота. Белодед рассказывал, что Дролев стрелял, вместе со всеми отходил, а когда от Заслонова прибежал Алесь с приказом отходить быстрее влево, Белодед потерял Дролева из виду.

— А не убили его?

— Мне кажется, вроде он ничего, не был ранен, — как всегда, не смог определенно ответить Белодед.

— С кем Дролев был в группе? — спросил Заслонов у комиссара, который продолжал лежать.

— С Белодедом и Желудем.

— Хорошо, что все они здесь, а не в Орше. А про тех, что там, про Чебрикова, Шурмина и других, Дролев не мог знать?

— Знать не знал. Ему никто не говорил. Помните, в Грязине он как-то обмолвился: «Я и не знал, что нас так много!»

Оба молчали.

— Может, погиб? — сказал Анатолий.

— Все возможно, — согласился Заслонов, снова укладываясь. — Все возможно. . .

Обосновавшись на новой базе, Заслонов пришел с комиссаром к такому выводу, что им пора вызвать из Орши остальных товарищей: Чебрикова, Шурмина и всю их группу. После ухода Заслонова слежка за железнодорожниками усилилась до чрезвычайности. Производить диверсии стало очень сложно.

— Здесь они принесут больше пользы. А у фашистов останется еще меньше паровозников, — сошлись на этом Заслонов и комиссар.

Обдумали, кого бы послать в Оршу с поручением, — известить всех и привести сюда, и остановились на Коле Домарацком.

Домарацкий — парень ловкий, умный и все-таки с актерскими способностями. Уходя из Орши, он захватил с собой — на всякий случай — накладные, на пружинке, усы, и, когда прикреплял их к носу, Домарацкого было не узнать. Однажды, подходя из разведки к своим постам, Коля по-мальчишески захотел пошалить — прицепил усы, а окруженец, стоявший на посту, чуть не застрелил его.

Сам Коля обрадовался интересному заданию.

Со слов Заслонова и комиссара Коля заучил наизусть все девятнадцать фамилий железнодорожников, которые должны были прийти с ним из Орши. Взяв с собою пистолет и полпуда муки — Константин Сергеевич попросил передать подарок Соколовским, — Домарацкий ушел.

Алесь провожал дружка до Лемницы.

Домарацкий благополучно дошел до Орши. Патрулей он не боялся, потому что у него сохранились немецкие удостоверения и пропуск на хождение ночью. Он был готов в любую минуту к такому диалогу с патрулем:

— Где был?

— Ходил в деревню продавать соду. Вот обменял на муку.

Все фашисты знали, что в деревнях охотно покупают соду.

Вечером Домарацкий пришел в оршанский пригород Хороброво к машинисту Иванову — он был в списке. Коля сказал Иванову, куда он должен явиться, а сам направился в Оршу.

Домарацкий нацепил усы и спокойно шел. Несколько знакомых встретились с ним лицом к лицу, но не узнали Коли. Домарацкий, посмеиваясь в фальшивые усы, шел дальше.

Но, к несчастью, его издалека узнал по походке Дролев.

«Что это? Так ходит только Коля Домарацкий», — подумал Дролев, увидя в вечерних сумерках знакомую высокую фигуру. Выдать Домарацкого гестапо представляло Дролеву прямую выгоду.

Дролев записался в партизаны, не очень задумываясь над тем, что он делает. Работать он не любил вообще и все искал жизни полегче.

Так во время финской кампании он согласился поехать в командировку на Кировскую железную дорогу. Дролеву надоели скандалы его многочисленных возлюбленных, которых он заводил на всех узлах.

Но в командировке ему не понравилось — надо было работать по-настоящему. Тогда Дролев стал осаждать начальника дороги телеграммами, будто тяжело заболела его жена, оставленная в Орше.

Начальник Кировской железной дороги запросил Оршанское депо телеграммой, и Заслонов ответил так:

«Начальнику Кировской железной дороги, копия машинисту Дролеву.

Все жены машиниста Дролева, находящиеся в Орше, Минске, Брянске и Смоленске, живы и здоровы. Дальнейшие просьбы машиниста Дролева рассматривать как симуляцию.

Заслонов».

Пришлось оставаться до конца кампании.

Свободной, легкой жизни ждал Дролев и сейчас, в партизанском отряде, но быстро понял свою ошибку.

Очутившись в лесу, где приходилось спать на чем и как попало, жить впроголодь, мерзнуть в карауле по

ночам и делать то, что приказывают, Дролев понял, что партизанское дело — не для него.

А тут еще начались стычки с фашистами.

И в первом бою Дролев предпочел бросить винтовку в болото, благо оно было рядом, и вместо того чтобы отступать вместе со всеми, побежал по знакомой дороге в Оршу. Здесь он сам явился в гестапо и через два дня — хотя и не без повреждений — вышел на волю. К огорчению Дролева, он не знал никого из железнодорожников, находящихся в Орше, кто работает с Заслоновым. Вся группа, к которой принадлежал он, была вместе с Заслоновым в лесу, а здесь многих можно подозревать, но точными данными Дролев не располагал.

И вдруг представился такой великолепный случай отличиться в глазах гестапо. Теперь гестапо будет довольно Дролевым!

Не медля ни минуты, Дролев побежал в гестапо.

Ночью, когда все в доме Домарацких спали, явилось гестапо.

Дролев не ошибся — Коля Домарацкий был в Орше.

Наутро вся железнодорожная Орша знала о том, что от Заслонова пришел Коля Домарацкий и что его арестовало гестапо.

Иванов не стал мешкать и в тот же день ушел из Орши.

Вместе с ним, но каждый своим путем, ушли все восемнадцать железнодорожников. Иванов предупредил Чебрикова и Шурмина о том, что Коля пришел за остальными товарищами.

Для партизан стало ясно, что Домарацкого предал Дролев.

Все знали, что он вернулся назад, попросту говоря, сбежал. Гестапо его арестовало, но выпустило. А так как работать Дролев вообще не любил, то предпочел болтаться на рынке, где спекулировал вместе с немцами, терся вокруг депо — подслушивал и подсматривал.

Коля Домарацкий умер героем — не выдал никого.

— С каким заданием послал тебя в Оршу Заслонов? — допытывались у него фашистские палачи.

— Сказать, что всех нас не перебьете! — бесстрашно отвечал Домарацкий.

11

Заслоновцы с радостью встретили группу товарищей, пришедших из Орши.

После первых приветствий Шурмин вынул из рюкзака новые, защитного цвета галифе и протянул их Константину Сергеевичу:

— Вот вам подарок от оршанцев!

— Спасибо, спасибо. Пригодятся нам, — сказал Заслонов.

Вечером он позвал к себе в шалаш Нороновича, которого назначил командиром одного из отрядов. У машиниста совершенно износились брюки: заплата на заплате.

— Возьми, Василий Федорович! — Заслонов протянул ему галифе, которое принес Шурмин.

— Дядя Костя, зачем? Так это ж вам... — замялся Норонович.

— Не разговаривай, бери! У меня еще целые, видишь, — указал он на свои железнодорожные черные штаны, вправленные в сапоги. — А ты — командир отряда, а ходишь в рваных! Бери, — приказал дядя Костя.

Нороновичу пришлось подчиниться.

Сюда же, в Куповатский лес, Иван Тарасович Ларионов прислал со своим связным радиста и рацию, доставленные через фронт.

Перед Заслоновым стояла высокая русая девушка, лет восемнадцати.

Она четко отрапортовала, что прислана в распоряжение полковника Заслонова.

— Вот и чудесно! — просиял дядя Костя. — Наконец-то мы будем иметь прямую связь с «Большой землей». Получим взрывчатку, боеприпасы...

— Будем регулярно слушать сводки Информбюро. Сможем своевременно обо всем оповещать население, — развивал свои планы комиссар Алексеев.

— Вас как зовут? — спросил Заслонов.

— Валя.

— Вы будете у нас с Марьей Павловной. Марья Павловна! — позвал Заслонов.

Марья Павловна поспешила на зов командира.

— Вот познакомьтесь — наша радистка, Валя. Поступает на ваше попечение.

— Здравствуйте, Валечка! — пожала ей руку Птушка. — Вы, вероятно, хотите покушать, отдохнуть?

— Нет, спасибо! Прежде всего я хочу посмотреть, как наша рация...

— Правильно! Дело прежде всего! — похвалил дядя Костя.

Ему хотелось поскорее связаться с «Большой землей».

— А ну, ребята, помогите!

Женя и Леня только и ждали этого.

— На месте они помогут, а вот как будет в походе, когда по болоту шлепать придется? Кто понесет всю эту музыку? — пошутил Норонович.

— А что в походе? Никого просить не станем, донесем куда надо! — откликнулся с елки Леня.

С их помощью Валя быстро натянула антенну и через несколько минут уже выстукивала позывные.

С этого дня у Заслонова наладилась регулярная связь с «Большой землей». Теперь Заслонов получал задания от штаба и мог согласовывать свои действия с операциями Советской Армии. А комиссар своевременно распространял среди окрестного населения сводки Информбюро и чаще проводил беседы о том, что́ делается на «Большой земле» и как вся Советская страна дает отпор гитлеровским захватчикам.

12

После теплого, благостного апреля настал холодный май. Куда девались и солнце и тепло! Грязно-серые тучи затянули небо, полил дождь, стало холодно и неуютно.

— «Май, май — коню сена дай, а сам на печь удирай!» — ежась под холодным ветром, вспоминал старую белорусскую поговорку дед Куприянович.

— Когда цветет черемуха, всегда холод, — прибавил Птушка.

Но от этих верных народных примет партизанам не становилось легче. Все ходили нахохлившись, в сырой, непросохшей одежде.

В один из таких непогожих дней вернулись из разведки Алесь и Сергей Пашкович.

После гибели друга, Коли Домарацкого, Алесь вы-

брал себе в напарники пылкого Сергея Пашковича, и на разведку они ходили вдвоем.

Вместе с ними явился на базу молодой курносый парень в плащ-палатке и лихо сидящей на голове пилотке. Был он среднего роста, чуть повыше Алеся, крепок, светловолос и голубоглаз.

С обоих разведчиков текло. Зимняя шерстяная кепка Алеся утратила всякие очертания — оплюхла, как старый обабок. Брюки были мокрехоньки, ботинки — в грязи.

Не в лучшем виде предстал перед командиром соединения и Сергей. Сухими у них обоих оставались лишь автоматы.

А курносый паренек не казался промокшим, хотя и пилотка и плащ-палатка почернели от дождя.

Заслонов с комиссаром и начальником штаба стояли у землянки.

По выправке курносого, по его твердому шагу всем было ясно, что это кадровый военный. Заслонов нашел еще одно подтверждение: сапоги у незнакомца были чисты.

— Товарищ командир, разрешите доложить, — както особенно по-военному начал Алесь, останавливаясь перед Заслоновым.

Пока отряд состоял из одних железнодорожников, которые работали под начальством Константина Сергеевича не первый день и в представлении которых Заслонов так и остался командиром, дисциплина поддерживалась сама собою. Как и в депо, слово дяди Кости было для железнодорожников законом.

Но с тех пор как в отряд начали поступать посторонние люди, для которых командир отряда Заслонов был совершенно незнакомым человеком, Константин Сергеевич стал строить свои взаимоотношения с подчиненными на военный лад.

В первые дни Заслонову, хотя по натуре и дисциплинированному и собранному, но все-таки сугубо гражданскому человеку, все эти «разрешите обратиться», «есть выполнить приказ» и прочее были смешны, казались пустой, ребячьей игрой в солдатики. Но очень скоро Заслонов понял, что в военной обстановке все это является неотъемлемой частью дисциплины и что так удобнее и легче.

И теперь, слушая Алеся, Заслонов думал: «Молодец! Ишь навострился!»

— По вашему приказанию товарищ Коноплев доставлен! — браво доложил Алесь и отошел в сторону.

Курносый стоял перед Заслоновым.

Несколько дней назад один из связных передал Заслонову, что к нему хочет перейти небольшая группа партизан, базирующихся у них в лесу. Заслонов приказал вызвать к себе на базу командира этой группы.

И вот теперь он стоял перед Заслоновым.

С первого взгляда Коноплев понравился Константину Сергеевичу; его открытое лицо располагало к себе.

«Бравый хлопец, не кисель! Не струсит, не сдаст». Заслонов любил таких боевых.

Коноплев сделал шаг вперед, четко приставил ногу и, приветствуя, отрубил:

— Товарищ командир, старший лейтенант Коноплев прибыл в ваше распоряжение!

Заслонов протянул руку:

— Очень рад! Знакомьтесь: вот комиссар, — показал он на Алексеева. — А это — начальник штаба товарищ Лунев.

Коноплев пожал обоим руку.

Заслонов подошел к своим разведчикам, которые стояли в стороне.

— Что это, хлопцы, вы такие мокрые, а вот товарищ старший лейтенант вроде сухой? — улыбаясь, спросил Заслонов.

— Как не вымокнуть, когда целыми днями — из куста в куст? — нахмурился Сергей. — Это ведь, дядя Костя, не на паровозе!..

— Константин Сергеевич, важно, чтоб разведчик вышел сухим из дела, а что у него брючонки мокрые, — это разведчику по штату положено! — бодро ответил Алесь, выжимая свою кепку. Из кепки текло что-то бурое. — По крайней мере хоть мазут деповский с себя смоем!

— А поглядите-ка, — не унимался Заслонов, — у товарища Коноплева сапоги и те блестят.

— У меня голенищ нет, нечему блестеть, — поднял ногу, обутую в солдатский ботинок, Алесь.

— А ведь и на старшего лейтенанта, поди, дождь лил. Не так ли? — обернулся Заслонов к Коноплеву.

— Точно, товарищ Заслонов, кропил. Мои ребята вторую неделю под дождем мокнут, все на ходу, нигде не приземлились окончательно. Но мокнем и как-то все ие промокаем. Сами смеемся: настоящая «шестнадцатая непромокаемая дивизия...»

Все рассмеялись.

— А почему шестнадцатая? — спросил комиссар.

— Нас всего шестнадцать: пятнадцать бойцов и я, — ответил старший лейтенант.

— Ну, пойдемте, товарищ Коноплев, в нашу берлогу, потолкуем чутеньки, — пригласил к себе в землянку Заслонов.

Алексеев и Лунев пошли вслед за ними.

Группа Коноплева была принята в заслоновское соединение. Коноплев к ночи привел своих молодцов в Куповатский лес.

Утром Заслонов поговорил с каждым из них.

У такого бравого командира и бойцы оказались соответствующие. Они были разных родов оружия и из разных мест: калининские, полтавские, московские, томские, ленинградские.

Особенно тепло встретил Заслонов ленинградца, сержанта Лешу Грачева.

— Люблю Ленинград, он мне как родной! Я в Ленинграде прожил первые тринадцать лет своей жизни, на Васильевском, на Седьмой линии. Отец приехал с семьей из Белоруссии на заработки. Мне тогда и года еще не было, — рассказывал Заслонов.

Грачев попросился в разведку Он сказал, что в финскую кампанию служил в разведке и эту начал разведчиком. Кроме того, вместе с «шестнадцатой непромокаемой» скитался по лесам и болотам Витебщины.

Коноплев хорошо рекомендовал сержанта Грачева. Грачев окончил Педагогический институт, партиец, орденоносец. Заслонов назначил Грачева помощником командира разведки.

Командир партизанской разведки Алесь Шмель привел сержанта Грачева к своим хлопцам. В разведке были: Сергей Пашкович, машинист Игнатюк, два окруженца и шесть человек из местных, сенненских парней.

Их тотчас же окружили разведчики.

Грачев, знакомясь с товарищами, сказал:

— Я разведчик старый... Мог бы кое-что рассказать. Поделиться опытом.

— А что ж, это неплохо! Давай, товарищ Грачев! — поддержал Алесь.

— Ну, что же сказать? Идя в разведку, прежде всего надо проверить оружие, снаряжение и собственные карманы, — начал Грачев.

— Чтоб ничего не бренчало, — догадался один из разведчиков.

— Да, верно! Подходить к деревне...

— Не с концов, а с середины, — подсказал другой.

— Еще до того, как входить, — поправил Грачев, — слушай, — лают ли собаки. Если лают, — значит, в деревне чужие люди...

— Фрицы приехали: «яйка, масло», — вполголоса, но так, что все услышали, вставил Сергей Пашкович.

Алесь недовольно покосился на товарищей.

— Но нехорошо, если уже не тявкает ни одна собачонка, — значит, нарочно всех собак заперли. Входить в деревню — тут уж правильно говорили — надо с середины, а к хате — со стороны огородов, где нет окон.

— Само собою!

— Конечно!

— Знаем! — раздались голоса.

— Входя в деревню, вечером, держи винтовку или автомат как можно ниже к земле, чтобы издали не было видно, что́ несешь. А войдешь в хату, не спеши закрывать дверь: а вдруг увидишь такое, что надо немедля назад. Пока нашаришь в полутьме в незнакомой хате щеколду, тебя и стукнут! Если понадобится где-либо спросить дорогу, сразу не спрашивай ту, которая тебе нужна...

— Насчет этого мы уже ученые!

— Три-четыре спросишь...

— Верно!

— А вот, товарищ, скажи мне — как надо идти по лесу, чтоб тихо было? — спросил подошедший Куприянович; не стерпело старое охотничье сердце.

— Идти мелкими шагами, — ответил Грачев.

— Так, так. И главное, ребятки, идучи, не хватайтеся за сухой валежник и не трогайте пней. Пень часто гнилой. Тронешь его, а он и рассыплется, затрещит... А по болоту как? — хитро смотрел на сержанта дед.

Грачев улыбнулся:

— В болоте надо идти с кочки на кочку.

— И по кустикам, сынок! Вот то-то! — гордо обвел всех глазами Куприянович. — Я, брат, — старый охотник, все знаю. Кабы мне годков полсотни скинуть, я бы пошел в дело...

— А если придется переходить речку или озеро, где надо, чтобы не услышали, — знаете, как идти по воде? — продолжал Грачев.

— Э, товарищ дорогой, у нас озер и речек много! Под Лепелем тут все скрозь рыбаки, знают, как ходить по воде. Не раз с бреднем таскались. Идешь и ноги суешь по дну, вот так, — показал Куприянович.

— Верно, дедушка. Как на лыжах идешь, так надо идти и по воде.

— Ну, на лыжах я, хромой, не ходок! — замотал головой Куприянович, вызывая у всех улыбки.

— Товарищи, а по компасу вы ходить умеете? — быстро спросил Грачев, оглядывая всех.

Разведчики потупились.

— Как мыши по цимбалам, — ответил за всех Алесь.

— Зачем нам компас, если мы тут до самого Лепеля все знаем! — сказал один из колхозников.

— А карту читать?

— Слабо ориентируемся, — признался Пашкович.

— Ну так вот, давайте и займемся компасом и картой. Это азбука разведчика, ее надо обязательно всем знать!

Куприянович не стал слушать дальше, шагнул в сторону.

— Антон Куприянович, куда же ты? — окликнул его Алесь.

— Вы молодые, учитесь. А старику зачем компас, если солнце есть? А карта — мне его карта больше голову закрутит! — махнул рукой дед и отошел от разведчиков, которые тесным кольцом окружили сержанта Грачева.

13

Слух о бесстрашном командире партизан-железнодорожников дяде Косте, который проводил в Орше, на виду у фашистов, дерзкие операции в самом депо,

а теперь из лесу бьет оккупантов, катился все дальше и дальше.

К дяде Косте потянулись одиночки и группы народных мстителей.

Заслонов собирал вокруг себя эти разобщенные силы.

Боевые дела на железнодорожных линиях шли полным ходом.

Чаще всего доставалось фашистским поездам на излюбленном, хорошо изученном заслоновцами перегоне Стайки — Богушевская. Как ни патрулировали оккупанты железную дорогу, партизаны все-таки ухитрялись минировать ее.

И не раз летели под откос немецкие танки, орудия, автомашины, а с живой силой получалось так, как пелось в партизанской частушке:

Черепа на рукаве,
Кресты на груди.
Черепа лежат в траве
Где ни погляди!

Заслоновские разведчики зорко следили за передвижениями на железной дороге по всем линиям, идущим из Орши на Витебск, Смоленск, Могилев и Минск.

И особенно наблюдали за линией Витебск — Орша. По ней в мае фашисты перебрасывали громадное количество военной техники и солдат.

Все полученные данные немедленно передавались по рации на «Большую землю».

Заслонов наконец добился того, о чем мечтал: в результате постоянных действий на линии Витебск — Орша значительно сократилось движение поездов: фашисты уже боялись ездить ночью, и поезда шли только днем.

— Погодите, голубчики, мы добьемся того, что вы по всем магистралям сможете продвигаться только днем, да и то с опаской! — говорил Заслонов.

Не забывал дядя Костя и фашистские «земские хозяйства». Заслоновцы изымали на мельницах запасы муки и зерна. Несколько раз — по старой памяти — наведывался Заслонов в Межево.

Связные из ближайших к Межеву деревень сообщили Заслонову, что на складах хозяйства фашисты со-

брали двадцать тонн зерна, награбленного у населения разных деревень. Зерно предназначалось для снабжения гитлеровской армии.

Заслонов решил захватить эти запасы. Он окружил Межево, выставил на всех дорогах, ведущих к нему, заставы с пулеметами, а сам поехал раздавать зерно крестьянам окрестных деревень: Межево, Шемберово, Мальжонки, которые были оповещены об этом.

Дядя Костя стоял у амбара, наблюдая, как разбирают добро.

В деревнях жили впроголодь, питались одной картошкой, и люди не помнили себя от радости.

У амбаров было похоже на ярмарку: толпились женщины, старики и дети. Комиссар и командиры отрядов Шурмин и Норонович смотрели за раздачей зерна.

Толпа весело гудела:

— Вот и дожинки[1] у нас!

— Тетка Агата, что так мало насыпала?

— Взяла, сколько донесу.

— Петрок, тебе не тяжело? — спрашивал восьмилетний паренек у младшего братишки, который еле тащил свою непосильную ношу.

— Не-е, донесу! . .

Смущенно переглядываясь между собой, несмело подходили к амбару молодые девчата.

— Не робей, девки! За своим идете! Подходи смело! — подбадривал комиссар, стоявший в дверях амбара.

— Что с таким мешочком пришла, не могла большого взять? С таким только за перцем идти, а не за житом.

Вот от амбара с большим мешком за плечами идет старушка. Мешок у нее тяжелый, льняной, а зерна в нем насыпано только в одном уголке.

— Почему так мало взяла, бабуся? — окликнул ее Заслонов.— С пустым мешком ворочаешься домой.

— Сыночек, больше не подыйму! Силы нет! .

— А прийти было некому?

— Некому. Одна осталась: дочку проклятые угнали, а сынок в армии.

[1] Дожинки *(белорус.)* — последний день жатвы.

Старуха опустила мешок на землю и беззвучно заплакала, вытирая слезы концом головного платка.

— Кто знает, может, и того уже нет...

Заслонов обернулся. Женя без слов понял дядю Костю. Он подбежал к старухе и осторожно взял из ее рук мешок.

— Погоди, бабуся, я досыплю и снесу к тебе. Погоди!

И Женя скрылся в толпе.

Старуха повернулась к амбарам.

Через минуту Женя, сгибаясь под тяжестью мешка, шел назад.

— Ну, бабушка, показывай, куда нести!

— Ах ты, мой родненький! — всплеснула руками старуха.— Вон туда, стежечкой, напрямик,— указывала она.— Спасибо, товарищи! — проходя мимо Заслонова, благодарила она, смеясь и плача.— Если бы не вы, с голоду пришлось бы...

— Не нас благодари, а советскую власть!

— А кто же вы? Вы же наша советская власть! Вы нас в обиду не даете! — продолжала старуха, а потом, увидев, что Женя уже далеко, засеменила вслед.

— А себе оставили, товарищи? — подошел к Заслонову древний дед с мохнатыми, зелеными от старости седыми бровями.

— Оставили, дедуля!

— Нажнем, тогда и вы будете сыты, а вот до жнива еще надо дожить.

— Бери побольше, дедуля. Бери и спрячь, чтоб фриц не нашел. А о нас не беспокойся — хватит и нам!

— Ну, глядите же!

И он затопал босыми ногами к амбару.

Когда весь амбар опустел, Заслонов сказал директору «земского хозяйства», который уже хорошо знал полковника дядю Костю:

— Если вздумаете у кого-либо из этих крестьян отнять хоть сто граммов,— расстреляю! А хозяйство все сожжем!

Директор забожился, прикладывая руки к груди, но Заслонов, не слушая его уверений, пошел прочь.

14

В июле месяце Заслонов получил радиограмму Центрального штаба — свести все отряды в одно крупное соединение.

Заслонов быстро произвел реорганизацию. Комиссаром бригады остался Алексеев, начальником штаба — Лунев.

15

Заслонов с успехом выполнял задание Центрального штаба: каждый день на железных дорогах «треугольника» происходили крушения поездов.

К 1 августа заслоновцы пустили под откос более тридцати вражеских эшелонов, и было получено по рации новое указание — начать разгром фашистских экономических баз. До этого уничтожались волостные управы и полицейские посты, а теперь было приказано ударить по деревенским маслозаводам.

Разгром маслозаводов преследовал двоякую цель: с одной стороны, уничтожался аппарат фашистского принуждения и срывались поставки гитлеровской армии, а с другой — улучшалось продовольственное положение населения. Маслозавод выходил из строя, и крестьяне могли сами пользоваться молоком, вместо того чтобы сдавать его оккупантам.

Когда же фашистские власти допытывались, почему не выполнен налог, у каждого крестьянина был готов благовидный ответ: сдал бы, да некуда сдавать.

Ближайший к заслоновским базам маслозавод был расположен в деревне Горбово. Горбово — большая, в полтораста дворов, деревня — лежало в центре «треугольника», и его гарнизон давно мешал операциям Заслонова. Теперь предстояло разделаться и с ним и с горбовским маслозаводом.

16

После разгрома горбовского гарнизона Заслонов отвел свои силы назад, к Драгалям.

Два отряда поместились в Драгалях, два, — в соседней деревне Шарково, а штаб вместе с партизанами

Шурмина и Нороновича расположился в лесу, в шести километрах юго-западнее Драгалей.

Константин Сергеевич каждый день ждал, что оккупанты пошлют против него войска, чтобы выбить Заслонова из «треугольника», где он совершенно парализовал движение фашистских поездов. А теперь, после того как он среди бела дня разгромил крупный горбовский гарнизон, враг, по его мнению, конечно, ускорит нападение.

И Заслонов не ошибся.

Партизанская разведка не спускала глаз с ближайших фашистских гнезд — Добромысля и Любавич, откуда прежде всего можно было ждать наступления.

Фашисты могли также нанести удар и с юга, со стороны Красного, но за этим направлением следили разведчики партизан соединения Смирнова, стоявшего в деревнях Зорчин — Волково — Мохначи, километрах в шести от Драгалей.

Смирнов со своими партизанами пришел в «треугольник» в день разгрома Горбова. Он тотчас же связался с Заслоновым, и они условились, что Смирнов будет наблюдать за Красным.

Разведчики Алеся принесли Заслонову тревожные вести: в Горбово вместо двухсот человек пришел целый батальон, а Любавичи переполнены пехотой, бронемашинами и танками. И все это были отборные части эсэсовцев.

Заслонов несколько дней назад узнал о том, что в «треугольник» с фронта отводятся якобы на отдых три эсэсовские дивизии. Он так и сообщил тогда по рации Центральному штабу.

Кроме того, было достоверно известно, что фашисты со вчерашнего вечера стали патрулировать шоссе Витебск — Орша на участке река Лучеса — совхоз «Высокое».

А в полдень круг замкнулся совсем: к Заслонову неожиданно приехал со своим комиссаром Смирнов, — он привез последние новости.

Заслонов давно слыхал о партизанском отряде Смирнова, действовавшем на Витебщине, но с его командиром не встречался еще ни разу.

Смирнов был высокий, осанистый мужчина лет со-

рока пяти, с громким, начальническим голосом и видом заправского, лихого «рубаки».

Комиссаром у него был скромный молодой человек, учитель.

Когда приехали гости, Заслонов и Норонович сидели в шалаше у Шурмина. Смирнова и его комиссара встретили Алексеев и Лунев. Они вместе шли к палатке командира.

Увидев гостей, Заслонов и командиры вылезли из шалаша. Заслонов стоял между высокими Шурминым и Нороновичем.

— Вот и товарищ Заслонов,— подходя, сказал Смирнову Алексеев.

— Здравия желаю! — козырнул Смирнов и протянул руку Нороновичу.

В карих глазах Заслонова мелькнул смех. Норонович оторопело отстранился.

— Я не Заслонов. Вот Заслонов! — указал он на Константина Сергеевича.

— Ах, простите, товарищ Заслонов, — не смутился Смирнов, оборачиваясь к Константину Сергеевичу. — Простите — обознался!

Он жал руку Заслонову и с интересом смотрел на этого небольшого и по виду совершенно не воинственного человека.

Когда все перезнакомились, Смирнов начал:

— Что ж, оказывается, фрицы нас окружают? Сегодня утром в Красном высадился целый полк эсэсовцев. Они так и хвастаются: мы, мол, приехали уничтожить всех витебских партизан! Партизан — капут!

Смирнов, видимо, был не на шутку встревожен.

— Мои хлопцы на такую фашистскую брехню вот что всегда говорят: «Не перейдя леса, не кажи гоп!» — усмехнулся Заслонов. — Пусть-ка сунутся сюда!..

— А все-таки что-то надо предпринимать, товарищ Заслонов!

— Сейчас обмозгуем!

Константин Сергеевич спокойно вынул из планшета карту, разостлал ее тут же, на земле. Все сели вокруг карты.

Лунев привычно нарисовал карандашом три большие стрелки, идущие к партизанским базам из Красного, Добромысля и Любавич.

— Несомненно одно — нас блокируют, — уточнил начальник штаба, хотя и без этого все было ясно.

— Да, мы завтра же будем окружены,— сказал Алексеев.

— Нужно выходить из мешка, пока не поздно! — категорически отрубил Смирнов и стал вытирать платком вспотевший лоб.

Заслонов сосредоточенно смотрел на карту, тихонько посвистывая.

Смирнов не выдержал:

— Что же все-таки будем делать, товарищ Заслонов?

— Драться! — поднял на него глаза дядя Костя.

— Слишком большое неравенство сил: у нас какая-то тысяча человек, а у него вон сколько! А если еще он бросит на нас танки и авиацию. . .

— Вы что, под самолетами ни разу не были? — удивленно посмотрел на него дядя Костя. — А мы — столько раз! . . Ну, лягух драгалевских в болоте перебьет — это верно, а партизан — никогда! А с танками пускай попробует сюда сунуться! . .

— И все-таки, товарищ Заслонов, выходить из мешка придется, — осторожно вставил комиссар Смирнова.

— Выйти всегда успеем!

— Ой ли?

— Ручаюсь! — Заслонов приподнялся и сел. — Я берусь вывести в любой момент оба наши соединения.

— Вы, товарищ Заслонов, возьмете на себя ответственность за всех нас? — переспросил, оживившись, Смирнов.

— Возьму! — твердо ответил Заслонов.

«Дядю Костю задело. Сказал — докажет!» — подумал Алексеев, глядя на Заслонова. Анатолий знал характер Константина Сергеевича.

— Командуйте, я согласен! — ответил Смирнов, взглянув на своего комиссара.

Это предложение устраивало Смирнова.

— Да, да, пусть товарищ Заслонов временно. . .— поддержал его комиссар.

— Конечно, временно. Но завтра я все-таки обо всем радирую Центральному штабу, — сказал Заслонов.

— Само собою! . .

— А теперь давайте подумаем сообща, где и как мы будем драться,— взялся за карандаш Заслонов.

Все нагнулись над картой.

Весь главный удар Заслонов принимал на себя. Он решил боем привлечь к себе и те фашистские силы, которые могут направляться из Любавич. А Смирнов должен был удерживать врага, идущего из Красного, на своем рубеже Мохначи — Волково.

— А пока всем нам надо немедленно рыть окопы и делать дзоты, — сказал напоследок Заслонов.

Смирнов и его комиссар тотчас же уехали к себе.

Когда заслоновцы остались одни, Норонович, щурясь в виноватой улыбке, подошел к Заслонову:

— Дядя Костя, чего это он меня за вас принял?

— О, он еще не знает! — ударил Нороновича по плечу приковылявший дед Куприянович.— На твои пригожие штаны глядючи!

— Да ну тебя! — недовольно отмахнулся Норонович.

Заслонов улыбался:

— Плох тот солдат, Василий Федорович, который не думает быть генералом! Погоди, дождешься: дадут и тебе соединение!

17

Женя сладко спал, несмотря на то, что на его груди лежала голова Сергея Пашковича, а с другой стороны в плечо уперся лбом, словно собирался бодаться, Петрусь Белодед.

Жене снился великолепный сон: деповцы играли с минским «Динамо».

Счет был 3 : 0 в пользу оршанцев. Женя вырвался вперед, красиво обвел двух защитников и оказался один на один с вратарем.

Он хочет ударить по мячу, но его ногу кто-то дергает в сторону. Он делает последнее усилие — и просыпается.

Комиссар Алексеев тормошит всех ребят:

— Подъем! Подъем! Комсомол, вставай!

Сна как не бывало.

Проклятые фашисты! Если бы не они, если бы не война, — спали бы до первого гудка и играли бы

в футбол, хотя и не с минским «Динамо», но играли бы!

Но ничего. «Разобьем врага, тогда заживем!» — всегда говорит дядя Костя.

Женя проворно вылезает из шалаша, встряхивается, поправляет кобуру пистолета, который во время сна съехал на живот.

В лесу темновато, солнце еще не взошло.

Из шалаша один за другим показываются ребята. Поеживаются от утренней свежести. Кто-то, кашляя, закуривает, кто-то уже смеется.

Заторопились к ручью умываться.

Сегодня предстоит большая работа: надо вырыть окопы, сделать дзоты. Фашисты могут нагрянуть в любую минуту.

Жуя на ходу корку хлеба, вареную картошку, яблоко — что у кого нашлось, — собирались на лесной опушке.

Дядя Костя с комиссаром и начальником штаба уже стоят там, указывая, где рыть окопы, где сделать дзот.

Сразу стало ясно: не хватает лопат, топоров и прочего инструмента.

— Пусть двое сбегают в Драгали, — обернулся к Жене Заслонов.

Алесь и Сергей охотно побежали в деревню.

Прошло минут пятнадцать, а ребята все не возвращались. Командир ходил по опушке, то и дело поглядывая на дорогу.

— Что они там,— молочко пьют? — буркнул Нороно-вич.

— Не может быть, не таковские! — ответил комиссар.

— Идут! — первым увидал Женя, не спускавший глаз с деревни.

Алесь и Сергей возвращались не одни, — их окружали парни и девушки, обгоняя взрослых, спешили к лесу ребятишки,— каждый нес что-нибудь: пилу, лопату, топор.

Вся деревня шла помогать партизанам.

Карие глаза Константина Сергеевича засветились.

— Говорят, сила партизан — в лесах. Не в лесах, а в народе! — сказал он.

18

В этот день на условленный лесной аэродром прилетел самолет Центрального штаба.

Он привез боеприпасы, литературу, а от партизан взял раненых.

Заслонов передал пилоту письмо, прося его отправить на «Большой земле» по адресу.

Константин Сергеевич писал жене:

«Ритуся, здравствуй! Здравствуйте, мои дорогие бусеньки Муза и Иза!

Пишу вам из далекого тыла, из БССР, оккупированной немцами. Деремся с ними не на жизнь, а на смерть, деремся отчаянно и очень серьезно. Имеем убитых и раненых, но зато сами убиваем еще больше, воюем по-настоящему.

Я командую в тылу большим партизанским соединением. Хочется вас очень видеть, но будем живы, увидимся.

Погибну — значит, за Родину, так и объясни ребятишкам».

19

15 августа проработали спокойно,— фашисты еще не наступали. На следующий день утром Заслонов только что кончил передавать по рации данные для Центрального штаба партизанских действий, как со стороны Горбова затрещали выстрелы.

Лес удесятерил их.

На «Большую землю» оставалось лишь передать всегдашнюю партизанскую просьбу относительно присылки боеприпасов. Просьба кончалась энергичным заверением:

«За каждый патрон отчитаюсь головой фашиста!»

Константин Сергеевич протянул радистке текст этой телеграммы.

— Успеешь — передай! — и заторопился к опушке леса, где расположились партизаны.

Гул в лесу рос.

Женя взял автомат наизготовку и пошел сзади за Заслоновым.

В бою он всегда поворачивал кепку козырьком на-

зад. И теперь он шел так, словно собирался вместе с дядей Костей лететь на «жар-птице»...

С этого момента весь день промелькнул, как одна минута.

Ни присесть, ни поесть, ни напиться воды — некогда.

От Горбова на отряд Чебрикова двигался батальон пехоты. Чебриков укрыл в густом ельнике вдоль дороги пулеметы и автоматчиков. Он пропустил мотоциклистов-разведчиков, а когда на дорогу вышла колонна эсэсовцев — «мертвая голова», он так ударил по ней, что на дороге действительно осталось мало живых голов.

Фашисты пошли в наступление со всех сторон.

С севера двигались два батальона, из Любавич — целый полк с шестью броневиками и семью танками.

На этом центральном направлении оборону держали Норонович и Коноплев. Два разных командира: один нетороплив, другой горяч. Но оба одинаково успешно отбивали врага.

Заслонов, конечно, был там, где жарче. Партизаны знали эту привычку дяди Кости. Он появлялся в самых опасных местах, подбадривая товарищей:

— Рубай фашистов!

Партизаны Смирнова тоже сдерживали натиск целого эсэсовского полка.

Но в полдень от Драгалей прибежал связной. Командир их отряда Апанасенок был убит, партизаны смешались, и фашисты захватили высоту с кладбищем в метрах трехстах от деревни.

Известие было неприятное: партизаны потеряли весьма выгодный пункт.

— Вольский, ко мне! — позвал Заслонов.

Леня поднялся и живо побежал к нему.

— Примешь отряд Апанасенко: он убит.

— Есть принять отряд! — ответил Леня и уже хотел идти, но Заслонов задержал его.

— Постой! Кладбище занято фашистами. Мы ударим на клабище с тылу. Тогда поможешь выбить оттуда эсэсовцев.

Заслонов осматривался. Женя сразу понял: надо послать, а кого, дядя Костя еще не решил: народу мало.

— Дядя Костя, я пойду! — попросил он.

— Ладно! — согласился Заслонов.— Возьми из разведки человек восемь. Ступайте!

— Будет сделано! — ответил Женя и побежал за людьми.

А Леня Вольский со своим связным поспешил к Драгалям. Женино задание было не из легких, но пришлось разведчикам по душе. Они охотно пошли пробираться кустами в обход Драгалей.

Наконец подползли к кладбищу.

Где-то вверху вжикали редкие партизанские пули, — это по кладбищу стрелял отряд Вольского.

На кладбищенском холме окапывались около тридцати фашистов. Среди березок устанавливали пулемет.

— Выскочим, забросаем гранатами пулеметчика, а потом — на ура! — сказал Женя.

Так и сделали.

На эсэсовцев неожиданно сзади полетели гранаты, а потом раздалось «ура!». Разведчики бежали, стреляя из автоматов. Отряд Вольского со своей стороны кинулся на приступ.

Эсэсовцы растерялись и покатились с кладбища в поле.

На холме среди нескольких вражеских трупов остался исправный пулемет. К нему подбежали двое партизан и поворотили пулемет в сторону фашистов.

Вольский тотчас же занял высоту.

— Спасибо, Женька! — крепко обнял он друга.

Партизаны очень обрадовались цинкам с патронами.

— Теперь есть чем палить, а то выстрелишь и смотришь в подсумок: много ли осталось патронов? — радовался Вольский.

Женя с разведчиками вернулся к Заслонову и доложил о том, что задание выполнено.

— Молодчина! — похвалил своего адъютанта командир.

За день заслоновцы отразили по всей линии пять атак. Августовский день пролетел незаметно.

Когда стало вечереть и с лугов потянуло ночной свежестью, Заслонов отдал приказ: на ночь всем отойти в глубь леса.

К лесу со всех сторон стягивались партизаны.

Отходили не только партизаны, но и драгалевские колхозники, кому удалось уйти от врага. Шли и гнали скот.

Заслонов приказал не задерживаться на лесной опу-

шке,— она у фашистов была хорошо пристреляна, а в глубине леса минометный и артиллерийский обстрел без корректировки не мог причинить большого вреда.

Партизаны заняли круговую оборону по лесным просекам.

На землю спустилась густая, теплая августовская ночь. Звездное небо окрасилось зловещим отблеском пожара, послышались одиночные выстрелы и крики: это эсэсовцы, наконец заняв Драгали, в бессильной злобе расправлялись со стариками, женщинами и детьми, которые не успели уйти с партизанами.

20

В штабную землянку Заслонов приказал поместить раненых, а сам расположился под ветвями густой ели, как в шалаше.

Вокруг него сидели старшие командиры — Алексеев, Лунев, Смирнов со своим комиссаром и начальником штаба.

Дядя Костя собрал товарищей, чтобы обсудить создавшееся положение и наметить план дальнейших действий. Оставаться на месте в драгалевских лесах было уже нельзя: фашисты блокировали партизан, а с рассветом постараются еще больше сжать кольцо. Приходилось думать о том, куда передвинуть партизанские соединения.

Мнения всех сходились на одном: надо сегодня же ночью оторваться от фашистов.

Смирнов предлагал отходить на запад, в лесистый Сенненский район.

Заслонов категорически возражал против этого: он не хотел так скоро и просто уступить фашистам важнейшей «треугольник» железных дорог: Орша — Витебск — Смоленск.

— Только денек подрались с фашистами и оставлять им «треугольник»? Ни за что! Слишком жирно фрицу будет!

В ночной темноте не было видно лица дяди Кости, но по голосу чувствовалось, что он возмущен таким предложением.

— А что же делать? Драться здесь? — спросил Смирнов.

— Нет, отойти.

— Куда?

— Не на запад, конечно. Фашисты только и ждут, чтобы мы двигались в том направлении. А мы спутаем их расчеты: отойдем, но на север.

— На север? — удивился Смирнов.

— Да. На запад уйти мы всегда успеем. А пока потаскаем фрицев по белорусским болотам. У нас ни обозов, ни пушек. Мы всюду пройдем, а вот посмотрим, как они будут прыгать с кочки на кочку...

— А куда на север? — спросил Лунев.

— К озерам Верхита — Казенное. Кликните командира разведки.

— Я здесь,— подошел Алесь Шмель.

— Возьми одного человека и сейчас же сам посмотри, что делается у фашистов на дороге Горбово — Драгали!

— Константин Сергеевич, я с ним пойду. Можно? — попросил Женя.

— Ступай! Только осторожнее!

Алесь и Женя с большими предосторожностями пробрались к лесной опушке.

Фашистов вблизи не оказалось. К ночи они уходили подальше от леса.

Разведчики подползли к дороге и легли, притаившись, в кустах. Всматривались в темноту августовской ночи, прислушивались...

У Драгалей было тихо: фашисты закончили расправу с населением. Деревня догорала.

От Горбова доносился гул моторов.

На дороге же не было ни души. Очевидно, фашисты спали спокойно в населенных пунктах, где расположились воинские части с танками, минометами, орудиями. Оккупанты считали, что партизанам все равно не вырваться из окружения.

Алесь и Женя решили пройти немного кустами по направлению к Горбову. Они подошли к пригорку, когда услыхали впереди гул мотора и грохот гусениц.

— Танк! — шепнул Алесь.

Друзья поднялись на пригорок и выглянули из кустов.

В темноте ночи где-то там вдалеке грохотал по до-

роге танк. А впереди него шла легковая машина. Свет ее фар падал яркой полосой на проселок.

— Впереди легковая! — удивился Женя.

— В ней едет кто-то важный.

— Откуда ты знаешь, что важный?

— Танк охраняет легковую,— объяснил бывалый разведчик Алесь.

— Вот бы забросать этого важного гранатами,— вырвалось у Жени.

— А мы посмотрим, близко ли за автомобилем пойдет танк, — ответил Алесь, снимая с пояса гранату.

Танк как-то натужно затарахтел, затрещал и вдруг смолк, легковая машина продолжала нестись вперед.

— Танк отстал. А ну, давай забросаем! — взволнованно сказал Алесь и прыгнул из кустов в канаву.

Женя последовал за ним.

Они притаились в ожидании машины.

Свет фар уже залил сосны на откосе и телеграфный столб с оборванными проводами.

Автомобиль легко взлетел на пригорок.

Алесь поднялся и швырнул в него гранату, Женя бросил вторую.

Яркая молния на мгновение осветила дорогу, сосны, телеграфный столб, а потом еще большей чернотой все покрыла ночь.

Фары потухли. Автомобиль лежал бесформенной массой.

Алесь выскочил на дорогу.

Шофер, очевидно, был убит при взрыве. Из кабины опрокинутого автомобиля вылезала, крича, какая-то фигура. Алесь дал по ней очередь из автомата. Фашист упал.

Женя, пригнувшись, бежал вслед за товарищем к машине, хотя и не знал, зачем Шмель бежит к автомобилю, если с ним все было покончено.

Алесь зачем-то нырнул в машину и через секунду кинулся назад, закричав:

— Женя, бежим!

Медлить в самом деле не приходилось: танк, остановившись было на дороге, уже мчался полным ходом к месту происшествия.

Он поливал пулеметным огнем все вокруг. Пули цокали в придорожные деревья, в песок.

Алесь и Женя скатились по канаве с пригорка и кустами бросились к лесу.

Очутившись в безопасности, запыхавшийся Женя спросил у товарища:

— Чего ты копался в машине? Что там нашел?

— Эх ты, разведчик! В машине я нашел портфель! И он взмахнул перед носом Жени каким-то большим предметом.

Партизанские посты были начеку.

Алесь и Женя пошли с донесением к своему командиру.

Заслонов сидел все там же, под елкой.

— Ну, что вы там подняли такой тарарам? Разве нельзя было тихо? — сначала накинулся он на разведчиков. Но, узнав все обстоятельства, остался очень доволен разведкой.

В портфеле оказались бумаги.

Лейтенант Лунев знал по-немецки. Его накрыли плащ-палаткой, и он при свете электрического фонаря перевел найденные документы.

Убитый был генерал-майором, комендантом Смоленска. Он доносил командованию о том, что витебские партизаны окружены в драгалевских лесах и есть основание полагать, что они попытаются прорваться на юго-запад в район Стайки — Орша.

— А, что? Кто прав? — сказал Заслонов. — Нас будут ждать там, а мы вынырнем вон где. Подымайте понемногу народ. Идем на север! — приказал он.

21

Только через день фашисты напали на след Заслонова. Теперь эсэсовцы шли за партизанами по пятам. Каждый день они считали, что уже окончательно окружили партизан, но Заслонов снова ускользал от них.

Пока было светло, он отбивал все многочисленные атаки и не допускал врага проникнуть в глубь леса, а как только наступала ночь, снова выходил из окружения.

В борьбе с превосходящими силами фашистов Заслонову помогали повсеместная поддержка населения и прекрасное знание многими партизанами-колхозниками своих лесов и болот.

Партизаны все несли на себе и потому могли проходить такими болотами и звериными тропами, куда не решались соваться эсэсовцы.

С севера Заслонов неожиданно спустился снова на юг, в урочище «Денисов мох».

На третий день этого маневрирования и беспрерывных боев Заслонов устроил фашистам ловушку.

Впереди, в намеченном маршруте, лежала широкая поляна. С двух сторон она упиралась в болото.

Заслонов выслал вперед три отряда. Они заняли оборону на противоположной опушке леса.

Замыкающим отступавших был отряд Коноплева.

Эсэсовцы шли следом. Им казалось, что наконец-то они настигли партизан.

Когда коноплевцы, не отстреливаясь, кинулись через поляну, фашисты, распаленные погоней, забыли о предосторожности, хлынули за ними из леса и очутились на открытом месте.

Партизаны скосили их из пулеметов и автоматов. Вся поляна покрылась трупами.

В конце концов Заслонову удалось пробиться к Ордышевскому озеру, и на восьмой день скитаний «треугольник» и все три эсэсовские дивизии остались позади.

Проходя через железнодорожную линию Витебск — Орша,. на которой Заслонов спустил под откос столько поездов, он приказал и в этот раз заминировать обе колеи.

Голодные, измученные беспрерывными боями, не спавшие по целым суткам, партизаны с радостью стали на короткий отдых в знакомом лесу между Богушевской и Стайками.

Когда выставили посты и расположились, Заслонов вызвал радистку Валю и приказал ей наладить рацию.

Надо было немедленно связаться с командованием и донести обо всех многодневных боях с тремя эсэсовскими дивизиями, о том, что эсэсовцы ликовали преждевременно: разгромить витебских партизан им не удалось.

Фашисты понесли большие потери; у партизан убито не более пятидесяти человек, а у эсэсовцев — около батальона.

Необходимо было отправить на «Большую землю»

раненых. Разведчики Алеся нашли лесную поляну, удобную для посадки самолета.

Валя с помощью Жени натянула антенну и наладила связь.

Она передала телеграммы и переключилась на прием.

— Самолет будет завтра в четыре ноль-ноль,— продиктовала она Жене, который помогал ей записывать.

Дальше шла телеграмма штаба, поздравляющая Заслонова с награждением его орденом Ленина.

Женя сразу бросился к палатке командира.

Константин Сергеевич, худой и черный, сидел со Смирновым и командирами на земле у разостланной карты.

— Дядя Костя! — крикнул издали Женя. — Новость!

— Что такое? — нахмурился Заслонов, поднимая голову от карты.

— Вы награждены орденом Ленина! Поздравляю!..

Краска залила щеки Константина Сергеевича. Он поспешно встал:

— А ты часом не сочиняешь?

— Честное слово!.. Радиограмма. Валя только что приняла!

К ним бежала с листком бумаги радостная Валя. Сомнений не оставалось.

К дяде Косте со всех сторон потянулись руки. Его обнимали, поздравляли.

К командирской палатке отовсюду бежали партизаны: новость мгновенно облетела весь лагерь.

— Качать дядю Костю! — крикнул Куприянович. Дед уже не думал о том, что в лесу нельзя громко говорить.

Партизаны подхватили Заслонова на руки и стали подбрасывать его вверх, крича «ура!».

22

После того как самолет увез раненых и оставил какое-то количество боеприпасов и литературу, Заслонов собрал штабы обоих соединений, чтобы подытожить совместную операцию и потолковать о планах на зиму.

— Ну, вот видите, товарищ Смирнов, я говорил «выведу» — и вывел! Ушли и фрицу хвост наломали. Пусть не хвастается, что уничтожит партизан. Жили и жить

будем! Теперь нам придется разойтись. Близится зима, надо рассредоточиться, легче будет укрываться и легче прожить!

— Я думаю, товарищ Заслонов, что на зиму лучше перейти за фронт. Дождемся весны, черной тропы, и тогда опять нагрянем сюда! — высказал свое мнение Смирнов.

— А осень и зиму что ж? Предоставить все «новому порядку»? Новый лад — петля да кат? — усмехнулся Заслонов. — Нет, из этих районов я никуда не уйду. Наших пять районов — Орша, Сенно, Богушевск, Толочин, Лиозно — по населению равны европейскому государству. Народ поднялся на фашистов, видит в нас свою защиту и опору, — а мы уйдем за фронт? Нет, я останусь здесь и буду вместе с народом бороться против оккупантов! Буду помогать Красной Армии гнать фашистов с родной земли! — горячо сказал Заслонов.

23

Заслоновская бригада переживала второй организационный период — приближалась зима и снова приходилось думать об оседлой жизни, о базе, потому что уже никакой кустик не укрывал и не согревал партизана. Надо было строить землянки и запасаться на зиму продовольствием. Приближалась неизведанная еще первая партизанская зима, и у многих невольно возникали сомнения: как же можно воевать, когда в поле и в лесу будет по пояс снега, когда ступишь, а за тобою неотступно пойдет твой же след, когда ударит трескун-мороз и хуже волка завоют метели?

— Это не на паровозе — хоть с боков и поддувает, да зато в середке — баня, — говорил кто-то из скептиков.

— Старой бабе и на печке ухаб! — поддевал такого скептика Норонович.

— Ну, пареного мертвеца еще не видали, а мерзлого — случалось, — не сдавался тот.

Но однако никто из скептиков не думал уходить из отряда, и все дружно валили деревья и рыли котлованы для землянок.

А по ночам, по старой партизанской привычке, уходили на железную дорогу минировать пути, и каждый

день на участке Орша — Витебск и Орша — Минск взрывались фашистские поезда.

Чуть только отряд обосновался на новом месте, как сейчас же об этом проведали звери и птица. Лисица, хорек и даже робкий, всего боящийся заяц стали держаться поближе к партизанам, смотрели — нельзя ли чем-нибудь поживиться возле человека. По деревьям скакали, треща, сороки, над лагерем кружились вороны, выдавая этим присутствие в лесу людей.

— Вот в разведке и примечай: куда звериные следы идут, там где-то человек неподалеку хоронится,— учил молодежь наблюдательный Куприянович.

Однажды вечером Алесь Шмель и Сергей Пашкович отправились в очередную разведку в деревню Козлы узнать, что делается у немцев в гарнизоне Межево. Вечерок выдался подходящий для разведки: луна, которую ненавидели, проклинали все разведчики, не светила, снег еще не выпал, кругом была непроглядная осенняя темень.

Земля замерзла, и шаги на дороге слышались издалека. Чтобы не стучали сапоги, партизаны обмотали их тряпками.

Они шли знакомыми, много раз исхоженными тропами.

Окрестные деревни все сплошь были партизанские, и Алесь и Сергей хоть по привычке всматривались в темноту и прислушивались к малейшему шороху, но все-таки шли не так сторожко, как в другом, незнакомом и чужом месте.

Алесь шел, невольно вспоминая, как в начале осени они чуть не убили связного из этой же деревни, Микиту. Накануне они условились с ним встретиться вечером в кустах у болотца, и Микита пришел, неосмотрительно надев только что купленный у фрица немецкий мундир.

А Сергей думал о том, как все течет и все меняется. Год назад, едучи на паровозе через такой вот мрачный, темный лес, он с нетерпением ждал, когда кончится лес и поезд вырвется на освещенные пути какой-либо станции. А теперь он шел по такому лесу, шел и рад был бы, если бы этот лес стал бы еще более темным и тянулся бы до самых хат.

Но лес кончился. Пошли кустарники. За кустарни-

ком был маленький лужок, на котором, Сергей хорошо помнит, стоят два стога сена, а за лужком — Козлы.

Со стороны деревни не доносилось никакого шума, собак в Козлах давно перестреляли фашисты.

Разведчики прошли кустарник. Обычно они не шли прямо через лужок, а обходили его стороной, но сегодня было так непроглядно темно, что Сергей, шедший первым, смело пошел напрямик.

Не успел он сделать и двух шагов по лужку, как от дальнего стога раздался окрик:

— Хальт!

Хлопцы кинулись назад в кусты и сразу же упали на землю. Вслед им посыпалась автоматная очередь — кустарник затрещал. Алесь и Сергей помнили добрый совет умудренного опытом разведчика Грачева. Он говорил:

— Если ночью напоролся на засаду, падай. Жди, пока фриц стреляет. У него в автомате тридцать два патрона. Чуть немчура кончит стрелять, не медли — срывайся и беги. Пока фриц достанет из-за голенища кассету, пока перезарядит — пройдет минута. Потом снова падай.

Алесь и Сергей следовали этому совету — и хотя, быть может, бежали и не с такой выдержкой и падали чаще, чем полагалось по Грачеву, но все обошлось благополучно. Они быстро свернули в сторону, в канаву и канавой добрались до леса. В лесу отдышались, осмотрелись.

Сергей исцарапал щеку, ругал неизвестного фрица:

— Чтоб его, подлеца, первая пуля не минула! Сидит и даже не курит, проклятый!

Алесь хоть и ушиб, падая, колено, но смеялся:

— А не ходи босиком! Зачем шел напрямки через луг?

— Да ведь в Козлах никогда фрицы не стояли! Вчера их не было!

— А сегодня есть. Тут дело нечисто!

Они вернулись на базу и тотчас же доложили обо всем дяде Косте.

Заслонову не понравилось это сообщение.

— Пронюхали, собаки! Будет дело!

Он усилил посты и сам почти не ложился в эту ночь.

Чуть посерело в лесу, он отправил свой небольшой обоз и нескольких женщин, бывших в отряде, в сторону Куповатского леса.

Марья Павловна Птушка не хотела уезжать.

— Константин Сергеевич, а кто же обед сварит?

— Обойдется лысый без гребня,— ответил за командира Куприянович.

Заслонов назначил Марью Павловну командиром обоза, и она уехала.

Бойцов у Заслонова было маловато, и даже Куприянович остался поэтому с дядей Костей.

В полдень по лесу пошел гром — стала бить фашистская артиллерия и минометы.

Вороны и сороки с криком полетели прочь.

— Опять пришла беда. Это называется: встань, беда, не лежи! — ворчал Куприянович и, хромая, пошел в цепь занимать круговую оборону.

Партизаны не очень испугались обстрела — не впервой.

— Шуму на рубль, а дела — на копейку!

— Это фриц на психику действует!

Над лесом низко прогудел самолет. Все ждали бомб, но вместо них сверху, точно хлопья снега, посыпались маленькие бумажки.

— Что это, фрицы полмиллиона марок за мою голову обещают? — усмехнулся Заслонов, глядя, как падают листовки.

Алексеев поднял одну из них. На листовке было напечатано по-русски: «Вы окружены. Сдавайтесь!»

— Дураки, нашли, чем пугать!

— Погоди, бумажка, кажется, тонкая, сгодится на закурку.

Только когда стало немного темнеть, из деревень Козлы, Логи, Мальжонки двинулись в наступление фашистские цепи.

— Подпустить их поближе, а потом дать копоти! — приказал Заслонов.

Когда оккупанты подошли метров на пятьдесят, Заслонов подал команду. Тут впервые сегодня заговорили партизанские пулеметы. Разговор оказался коротким: более двадцати пяти фрицев не встало с земли, остальные отступили.

Октябрьский день угасал.

Фашисты продолжали перестрелку, которая была не страшна партизанам.

Через час фрицы предприняли последнюю попытку атаковать лес.

— Первая рота — налево, вторая — направо! — крикнул Заслонов, хотя у него всего навсего было шестьдесят человек.

Партизаны и на этот раз отбили оккупантов с большим уроном.

— Видно, не дадут нам здесь житья. Придется перебираться в Сенненский район, — сказал Заслонов.

— Придется, — согласился комиссар.

Партизаны с сожалением собирались уходить.

— Эх, жалко землянку. Столько трудов положили!

— Не горюй, сделаешь еще! Зима — долга!

В глухую ночь Заслонов ушел из Логовского леса так же удачно, как не раз уходил из-под самого носа у оккупантов.

24

Головы своей зря не подставим, и если придется, то будет она потеряна за великую железнодорожную державу, за Родину!

К. Заслонов

К 25-летней годовщине Октябрьской революции Центральный штаб назначил Заслонова командиром партизанской зоны.

Центральный штаб партизанского движения прислал Заслонову радиограмму, вызывая его на «Большую землю».

Заслонов решил провести перед отъездом совещание со своими командирами отрядов. Он созвал их в деревню Куповать, где стоял штаб отряда имени Кутузова.

На рассвете 13 ноября 1942 года Заслонов приехал в Куповать с комиссаром и начальником штаба. Его сопровождал неразлучный адъютант Женя Коренев.

Деревня Куповать лежала у самого леса. Лес обступил ее, подошел к Куповати вплотную.

Совещание происходило в хате колхозного счетовода Маруси, где размещался штаб отряда.

Вся деревня в один миг узнала о том, что к ним приехал сам дядя Костя. На Витебщине имя Заслонова знал каждый ребенок.

О Заслонове ходило много разных легенд. В хату к Марусе повалил народ. Первым пришел сосед Маруси, колхозный конюх Апанас, старик с курчавыми, до странности черными волосами. Он с угрюмым, сосредоточенным видом не выпускал изо рта трубки. Говорил Апанас мало, больше слушал.

Хата Маруси тотчас же наполнилась народом. К дяде Косте несли все свои горести и обиды. К нему шли на совет и на суд.

Старушка просила «пензию» по убитому в финской кампании сыну-красноармейцу. Невестка жаловалась на свекровь — нет житья.

Шли просто поговорить, узнать что на «Большой земле», как дела на фронтах.

Заслонов внимательно выслушал всех, поговорил, а потом сказал:

— А теперь надо, товарищи, нам потолковать о наших партизанских делах.

Апанас поднялся с места.

— Пойдем, пускай командиры говорят. Не будем им мешать.

И он затопал к выходу. За ним повалили из хаты мужики и бабы. Остались одни партизаны.

Заслонов рассказал о положении на фронте и в советском тылу, об успехах Советской Армии, затем выслушал доклады командиров отрядов о подготовке к первой партизанской зиме, обсудил вопрос о соревновании отрядов.

Уже свечерело, когда окончилось совещание. Заслонов вышел из накуренной хаты на крылечко. Дядя Костя не курил, а командиры так надымили самосадом, что не продохнуть. Заслонов стоял, с удовольствием вдыхая свежий, морозный воздух. Падал снежок. Было тихо. Где-то, должно быть, в Утрилове, лаяли собаки. В полураскрытую дверь доносились из хаты голоса командиров: боевые товарищи не могли наговориться.

На улице со стороны Кузьмина послышались шаги нескольких человек и говор. Заслонов обернулся и ждал — кто же это? К удивлению Заслонова, он увидал разведчика Лешу Грачева и трех бойцов, с которы-

ми Грачев был послан на пятьдесят четвертый километр заминировать железную дорогу.

— Что так быстренько? — спросил их Заслонов.

— Дошли только до Рыднева, товарищ начальник! — доложил Грачев.

— Почему?

— Из Межева идут сюда три батальона фрицев. Видимо, думают окружать Куповатский лес.

— Пойдем, расскажи,— сказал Заслонов, уводя Грачева и его товарищей в хату.

Грачев рассказал всем эту неприятную новость.

— Мы не спускали с них глаз. Борок, Коздой, Лесниково, Рай — все деревни с востока уже заняты гитлеровцами. Около батальона направилось сюда, на Кузьмино — Пурплево.

— Ясно, — хотят окружить нас. Какая-то собака донесла, что мы тут,— заметил Алексеев.

— Петр Дмитриевич, — обратился Заслонов к командиру отряда имени Кутузова, — Верину. — Немедленно выставьте по дорогам к Куповати засады. С севера от Утрилова и с юга от Кузьмина. Человек по десять.

— Есть выставить засады! — повторил приказ Верин и поспешно вышел из хаты.

— Надо отходить. Силы неравны: у них не меньше тысячи, а у нас — горсточка людей,— сказал Чебриков.

Заговорили все. Командиры советовали отойти, пока не поздно. Один Алексеев молчал. Он знал, что уговоры бесполезны: дядя Костя без боя ничего не сдает.

И Заслонов остался верен себе.

— Если даже фрицы уже заняли все деревни с запада и северо-запада, я еще не вижу основания уходить. Давайте ужинать и ложиться спать.

Так и поступили.

Уже поужинали, когда вернулся Верин.

— Ну, как, Петр Дмитриевич? — спросил у него Заслонов.

— Заставы на местах. Со стороны Утрилова будет стоять группа лейтенанта Терехова из четырех человек.

— Это какого Терехова?

— Присоединились к нам сегодня утром.

— А не уйдут?

— Нет.

— Пусть помогут соседи — нас маловато.

Когда командиры улеглись, кто на полу, кто на печке, Заслонов окликнул:

— Товарищи, а ведь завтра четырнадцатое ноября. Ровно год, как мы вернулись в Оршу!

— Да, годовщина. Как скоро время идет,— сказал Чебриков.

...Наутро встали рано. За ночь прибавилось снежку, все кругом побелело.

Командиры спокойно позавтракали и вышли из хаты.

В это время на южной стороне деревни от Кузьмина часто заговорили пулеметы.

— Ну вот, пошла писать! — буркнул Норонович.

— Что ж, рубанем! Товарищ Верин, держите их с запада, а мы все туда. Самый нажим будет, по всей видимости, с юга, — сказал Заслонов, вынимая маузер.

25

Дяди Кости сердце жаркое
Схоронила Куповать.

Народная песня

Уже три часа длился неравный бой. Оккупанты несколько раз бросались от деревни Кузьмина в атаку, но заслоновцы отбивали их своими двумя пулеметами. Здесь у партизан позиция была более выгодная: гитлеровцам приходилось подыматься из низины на высоту.

Заслонов успевал всюду — он был здесь, на южной стороне Куповати, и перебежками (свинцовый дождь поливал всю деревню) наведывался на северную ее окраину. За ним неотступной тенью следовал Женя Коренев.

Лейтенант Верин держал оборону с запада. И здесь позиция у заслоновцев была надежная — их прикрывала незамерзшая речонка Оболь. Фрицы раза два попробовали было сунуться, но безрезультатно.

С севера от деревни Утрилова фашисты совершенно не показывались. Этот участок наблюдали партизаны из группы Терехова. Тут весь день стояла тишина.

В самой Куповати, на ее северной окраине, Засло-

нов оставил на всякий случай Грачева с его тремя разведчиками.

Заслонов подбежал к Грачеву. Сержант стоял за углом сарая, не спуская глаз с леса. Разведчики лежали за грудой камней, готовые к бою.

Заслонов был весел и бодр: потерь в отряде не было, партизаны держались стойко.

— Товарищи, все пустяки! Мы никуда не уходим. Держим до последней хаты. А ночью отойдем. Тереховцы еще на месте? — спросил Заслонов.

— На месте. Скучают. Я только что оттуда,— ответил Грачев.

В это время фашистам удалось поджечь в Куповати колхозный сарай. Заслонов поспешил туда. Дед Апанас с какими-то двумя парнишками, не обращая внимания на визг пуль, вытаскивали из сарая дуги, хомуты, выкатывали колеса.

— Это ж колхозное. Пригодится! — говорил Апанас.

Заслонов убедился, что огонь не угрожает соседним постройкам — сарай стоял поодаль, ветру не было — и вернулся назад к Грачеву. Он только присел на камень, как неожиданно со стороны Утрилова раздалась беспорядочная винтовочная и пулеметная стрельба.

— Эге, пытаются уже отсюда! — насторожился Заслонов, подымаясь.

Не прошло и минуты, как из лесу на дорогу выбежал, отстреливаясь, молодой партизан. Он был без шапки и хромал, припадая на одну ногу.

Партизан не успел добежать до куповатских хат: пуля фрица уложила его.

«Тереховцев смяли!» — с тревогой подумал Заслонов.

Между деревьями показались мышино-зеленые мундиры оккупантов. Грачевцы, лежавшие за камнями, уже били по ним. Женя Коренев тоже поливал их из автомата.

Заслонов отступил за сарай, приготовившись встретить врага лицом к лицу.

— Дядя Костя! — вдруг раздался испуганный крик Жени, перезаряжавшего автомат.

Заслонов обернулся. Сбоку к нему бежал по огородам длинноногий фашист.

Константин Сергеевич поднял маузер, но уже было поздно, что-то обожгло голову и полоснуло по животу. Заслонов упал.

Женя с проклятием выпустил всю обойму по фрицу, который поразил Заслонова. Он подбежал к дяде Косте, приник к нему, командир был мертв.

Заслонов лежал, уткнувшись лицом в первый чистый снежок.

На снегу ярко алели пятна крови. Зеленая пограничная фуражка дяди Кости отлетела в сторону.

Было больно, было тяжело и было обидно: отряд — цел, а командир — убит. . .

Глотая слезы, Женя кое-как отцепил полевую сумку Заслонова, вынул из его безжизненных пальцев маузер и кинулся назад: фашисты валили из лесу густой цепью.

Женя отбежал за дом и в последний раз оглянулся, прощаясь с дорогим командиром.

Дядя Костя лежал на снегу, разбросав руки.

Короткие полы его желтой кожанки распахнулись, точно Заслонов хотел в последний миг обнять, закрыть, заслонить собою от врага родную советскую землю.

ЭПИЛОГ

Советская Армия безостановочно гнала фашистов на запад.

Из лесов и болот выходили отряды народных мстителей — партизан.

Их почетное дело было сделано.

Шли молодежь и убеленные сединами старики. Шли мужчины и женщины.

Молодежь торопилась влиться в ряды Советской Армии, чтобы гнать гитлеровцев все дальше и дальше.

Пожилые люди возвращались по домам к своей мирной работе, которую оборвала война, возвращались, чтобы восстановить разрушенные фашистами села и города.

Партизанский отряд оршанских железнодорожников имени Константина Заслонова подходил к шоссе.

Позади остались укрытые в болотах лесные базы и не приметные для чужого глаза заветные тропы.

Позади остались славные годы самоотверженной борьбы с наглыми захватчиками.

Впервые за три боевых года партизаны шли без всякой предосторожности, громко переговариваясь между собою.

Вспоминали о своем командире партизанской зоны, бесстрашном Константине Заслонове, который погиб зимою 1942 года.

— Эх, жалко, дядя Костя не дожил до этого радостного дня! — с горечью сказал Женя Коренев.— Какой человек был!

— Душевный, золотой!

— Человек, полный жизни! Никогда не терял бодрости духа, даже в самую трудную минуту. И вот победа пришла... А его нет...

— Да, обидно, что погиб так рано. Ведь он пробыл в партизанах только год, а сколько сделал!..

— Погиб, но погиб славной смертью, как герой, в неравном бою. Шутка ли! Полсотни партизан удерживали целый батальон фашистов! Дали возможность старикам, женщинам и детям уйти в лес, спастись...

— Ух, и косили мы тогда гитлеровцев,— сказал Алесь Шмель.— Дорого заплатили они за смерть дяди Кости!

— Плохо считаешь,— заметил Алексеев.— Ты посчитай, сколько за эти годы в Белоруссии возникло заслоновских партизанских отрядов. Посчитай, сколько все они уничтожили фашистов. Сколько взорвали складов, пустили под откос поездов!

— Погодите, я все слышу, вы говорите: «Константин Заслонов погиб»,— вмешался дед Куприянович.— А я с вами не согласен! Константин Заслонов жив! Не забудет народ своего героя!

— Правильно! Верно! — горячо поддержали партизаны.

Вот и фронтовая дорога.

По шоссе нескончаемым потоком двигались на запад советские танки, самоходные пушки, автомашины.

— Ох и сила же, силища валит! — восхищенно говорили партизаны.

— Нет, никому на свете не сломить ее!

— Еще бы! Ведь это Советская Армия!

Увидев выходящих из лесу партизан, солдаты и офицеры махали им фуражками, пилотками.

Партизаны радостно отвечали на приветствия.

У перекрестка заслоновцы остановились: здесь одни сворачивали на запад, а другие — на восток.

Боевые товарищи прощались, крепко обнимая своих друзей, с которыми делили последний кусок хлеба и последнюю обойму патронов.

— Ну, сынок, счастья тебе и удачи! — говорил дед Куприянович, глядя на возмужавшего, закаленного в боях с орденом на груди, Женю Коренева.— Ишь, какой стал за эти годы! Вытянулся! — ласково хлопнул его по плечу старый железнодорожник.

— Верно, Антон Куприянович, подрос немного,— улыбнулся Женя, крепко сжимая его руку.

Он вместе с деповскими друзьями-слесарями направлялся в армию.

Вот уже отряд разделился надвое. Оршанцы расходились в разные стороны. Слышались последние фразы:

— Гоните гитлеровских собак с нашей земли!

— До самого Берлина погоним!

— А вы тут поскорее налаживайте мирную жизнь!

— Сделаем! Дядя Костя всегда говорил: «Разобьем гада, все отстроим! Станем еще сильнее! Заживем еще лучше!»

И каждая группа пошла своей дорогой.

Они шли разными путями, но к одной цели — мирному созидательному труду на благо Советской Родины.

1948—1954

СОДЕРЖАНИЕ

Леонтий Иосифович Раковский

Михаил ТУХАЧЕВСКИЙ ★ Константин ЗАСЛОНОВ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977, 496 стр. План выпуска 1977 г. № 107.
Редактор *И. С. Кузьмичев.* Художник *Н. И. Васильев.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *М. А. Ульянова.* Корректор *Ф. Н. Аврунина.*
ИБ-847
Сдано в набор 10/XI 1976 г. Подписано к печати 24/V 1977 г. М 11603.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 15 1/2. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 26,36. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1277. Цена 1 р. 85 к.
Издательство «Советский писатель» Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

ОПЕЧАТКА

На стр 215 строчку 15-ю снизу следует читать так:
«Карельцы», весело переговариваясь с торговками и уже